

ФГБУН Институт Востоковедения РАН

С. В. Прожогина

МАГРИБИНКИ РАССКАЗЫВАЮТ...

(Очерки о судьбах женщин и об особенностях прозы
писательниц Алжира, Марокко и Туниса XX–XXI вв.)

**Москва
2020**

ББК 83.3. (6Ал +6Ту + 6Мар)

П 80

Рецензенты:

д.и.н. Крылова Н.Л. Главн. научн. сотрудник, руководитель группы гендерных исследований Института Африки РАН.

к.ф.н. Кукушкина Е.С. Доцент, зав. кафедрой ИСАА.

П 80 С.В. Прожогина

МАГРИБИНКИ РАССКАЗЫВАЮТ...

(Очерки о судьбах женщин и об особенностях прозы писательниц Алжира, Марокко и Туниса XX–XXI вв.)
– 468 с.

ISBN 978-5-89282-969-4

В книге проанализированы многочисленные образцы прозы писательниц Алжира, Марокко и Туниса XX–XXI вв. в аспектах гендерных различий во франкоязычной литературе стран Магриба, в способах презентации таких актуальных проблем как эмансипация и модернизации традиционных форм жизни мусульманок в постколониальную эпоху, а также в особенностях их культурной и национальной самоидентификации в условиях выбора между Востоком и Западом. Автор работы уделяют немалое внимание и проблеме отражения в творчестве магрибинок, особенно алжирок, воздействия процессов радикализации ислама и вызванных ими новых социокультурных противоречий. Особо отмечается творчество Д. Дебеш, А. Джебар, Д. Хафсийи, Малика Моккедем, Джюры, Я. Шами, М. Бей, С. Бахешар, С. Беншенкун, Н. Гессус и др. выдающихся магрибинок.

*Утверждено к печати Редакционно-издательским советом
Института востоковедения РАН*

ISBN 978-5-89282-969-4

© Институт востоковедения РАН, 2020

© С.В. Прожогина, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

К Читателю	5
«Гендерные различия» в магрибинской литературе как особые типы художественного пространства и отражения социальных конфликтов	8
Магрибинки в поисках опор и самостоятельности	43
Формы мусульманской традиции и локусы ее охранения в книгах магрибинок	77
Как утолялась «жажда свободной жизни» в творчестве магрибинок	115
Зарисовки деспотизма и гнета оков новой несвободы (магрибинки об эпохе исламизма).....	166
На круги своя как удел мусульманки? (О «Господнем Замысле» и людском умысле: по следам женских откровений в магрибинской литературе)	245
Особенности ощущения культурной «порубежности» в литературе франкоязычных магрибинок.	326
Заключение	368
Résumé	374
Приложение	375

...И приметить в ночи многозвёздной
Охранительный свет маяков...

Н. Гумилев

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть время, в которое живем мы. А есть время, которое живет в нас. Это очевидно. Однако каждый переживает это время по-своему. На мой взгляд, уже суммирующий опыт и увиденного, и прочитанного, оно – это внешнее и внутреннее время (и в художественных произведениях, и в искусстве в целом) воспринимается, анализируется, запечатлевается, критикуется или утверждается и в жизни, и в творениях женщин несколько иначе, чем у мужчин. Возможно, потому, что это вполне естественно, – ведь даже в том аспекте, который я решила выбрать для ознакомления Читателя, мир женщины и ближе, и понятнее именно самой женщине, пусть даже не столь отчетливо или же столь объективно, как в его мужском осознании.

Писательницы Алжира, Марокко и Туниса пришли и в «большую», и в «массовую» литературу почти одновременно с теми авторами, кто впоследствии стал основным фондом и уже классического, и современного франкоязычия в Магрибе. Оно сложилось в эпоху созревания национального самосознания, антиколониального сопротивления еще в 30–40-е гг., расцвело в 50–60-е, пополнилось «новой волной» в 70–80-е, а в 90–2000-е уже, хотя и заметно повзрослев (учитывая долголетнее присутствие на поприще мировой литературной франкофонии видных магрибинцев), все еще продолжает удивлять своим многообразием.

Не только потому, что магрибинцы, будучи арабами, берберами или другого происхождения (чем изобилует «Запад» Северной Африки – Магриб), усвоили опыт то-

го колониального наследия, который был тесно связан с долгим присутствием французов на этой земле, впитав в себя лучшие традиции их культуры и взяв на свое «вооружение» и их язык, давая свой ответ и на колониальную литературу о Магрибе¹, делая часть новой культуры Магриба заметной составляющей и ярким дополнением к арабоязычной, создавая некую особую, новую национальную систему литературы этого мира. Но и потому, что наступившая эпоха глобализации по-своему обеспечивала и облегчала диалог с миром именно на языке европейском. И сами рассказывая, повествуя «о себе», магрибинцы привлекали не только к своим проблемам и заботам, но и надеждам. На тот особый диалог Востока и Запада, который и был, и остается условием взаимопонимания и взаимоусилий человечества по поддержанию и сохранению миропорядка, приемлемого именно в пределах гуманизма. И что показательно, именно женщины-писательницы (из в целом преимущественно мусульманского региона) активно участвуют в этом процессе, и отстаивая и свою «самопринадлежность», и свою, магрибинскую, специфику жизни, и заботясь о том, чтобы найти согласие с окружающим миром, надеясь на то, что он будет или лучше, или просто не «чужим», но всегда способным понять «другого».

А в подзаголовке моей работы уточнение в названии размышлений о некоторых аспектах и проблемах, замеченных мной в творчестве магрибинок, – неслучайно. Это именно очерки, потому что о каждой упомянутой мной писательнице можно написать отдельную книгу (материала более чем достаточно), как и о каждой отмеченной в их творчестве проблеме можно создать целое теоретическое исследование. Но мне важно было со-

¹ Подробно о колониальной литературе см. в «Истории национальных литератур стран Магриба» (в 3 томах). М., 1993. Отв. ред. С. В. Прожогина.

брать воедино в этом мной представленном Читателю своде разнообразия анфас или в профиль, штрихами или отдельной краской, в реальном или удаленном (только в прочтении источников) приближении: портрет наших современниц-магрибинок, живущих или живших по ту и по другую сторону Средиземного моря и объединяющего, и разъединяющего цивилизации Северной Африки и Европы.

Что же касается того женского «Портрета», который воссоздан в моей книге 2006 г.², то он преимущественно затрагивает творчество именно писателей-мужчин, знаменитых магрибинцев, которые писали свои романы прежде всего во имя Освобождения своих обществ и своей национальной истории от власти религиозных догм и засилья традиций, несовместимых с их пониманием Прогресса и приобщения к Современности. Магрибинки-писательницы будут по-своему относиться и к «заветам предков» и к возможностям, предоставленным модернизацией, показывая свою глубину и боль переживаемых ими побед, и свершений, и поражений, создавая свой, особый, мир в их, женском, «слове явленном» Он – не лучше, но и не хуже его «мужского» осмысления.

Может быть, мои очерки и переводы некоторых текстов помогут Читателю ближе понять этот мир.

² См.: Прожогина С. В. Женский портрет на фоне Востока и Запада. М.: Наука, 2006.

«ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ» В МАГРИБИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КАК ОСОБЫЕ ТИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА И ОТРАЖЕНИЯ СОЦИ- АЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Все уже давно привыкли, что и в искусстве, и в литературе замечательные образы женщин созданы и кистью, и пером, и «взглядом» мужчин – великих художников и писателей. Ну кто не знает «иконных» ликов женщин, запечатленных, к примеру, и в русском, и в итальянском искусстве: излишне говорить о христианской Богородице и под кистью Рублева, и на фресках Чимабуэ, Джотто, на полотнах Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, Корреджо, Тициана, в скульптуре Микеланджело и мн. мн. других художников, создавших феноменальные портреты женщин, и конечно же в творениях таких художников, как русские Боровиковский, Левицкий, Брюллов, Серов... Я бы сюда добавила, что даже в музыке одни из лучших мировых романсов и оперных арий, где раскрывается мир женщины, созданы именно мужчинами, – вспомним А. Скарлатти, Глинку, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Верди, Пуччини и мн. мн. других великих... Что уж говорить о художественной литературе, подарившей *мир Женщины* в творениях Бальзака, Мопассана, Флобера и, конечно же, Карамзина, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова и т. д. и т. д. и т. д.

Это не значит, что женщины – поэты, музыканты, писательницы – не «заявляли» о себе на протяжении Истории, рассказывая так или иначе о «своем» и о «себе».

Конечно, и в поэзии древнегреческого о. Лесбоса, и в арабской, и в европейской традиции, пусть уже близкой к веку Просвещения, да и далее, вплоть до конца XX в., громко звучали женские имена (только в одной Франции, к примеру, можно вспомнить хотя бы М-м де Севиньи, Колетт, Дюрас, Саган и др.). А сколько их, звонких имен женщин в сегодняшней русской...

Но и в новой, уже постколониальной, истории арабских стран Магриба, где по-своему развивались традиции французской культуры, проникшие довольно глубоко с конца XIX – начала XX столетия, в образовавшемся здесь национальном литературном франкоязычии громко и абсолютно уверенно звучали уже с начала 30-х, но особенно в 50-е гг. XX в. не только мужские голоса (и алжирца – Улд Шейха, и марокканцев – Дриса Шрайби, Тахара Бенджеллуна, Абдельхака Серхана, алжирцев – Катеба Ясина, Мохаммеда Дибба, Рашида Буджедры, Рабаха Беламри, тунисца – Альбера Мемми и др., воплотивших в своих основных книгах мир женских судеб под властью традиций¹), но и женские тоже – и Лейлы Дебеш, и Асси Джеббар, и Маргариты Таос², ярко запечатлевших судьбу женщины-магрибинки (особенно мусульманки) на фоне социально-исторических перемен, вписавших образ Женщины в судьбу самой Извечной Традиции магрибинской жизни, попавшей в «излом» на рубеже эпох и культур. Конечно, мужских имен было в свое время больше, потому и особо резонансных. Хотя в сугубо «мужском» творчестве нельзя не отметить его

¹ См., к примеру: Ould Cheick. Miriem dans le palmes. Oran, 1936; Dris Chraïbi. Le passé simple. P., 1954; Un ami viendra vous voir. P., 1967; La civilisation, ma mère! P., 1972; Mort au Canada. P., 1975; Kateb Yacine. Nedjma. P., 1956; Albert Memmi. Agar. P., 1955; Rachid Boudjedra. La répudiation. P., 1969; L'insolation. P., 1972; A. Wahhab Meddeb. Talismano. P., 1979; Phantasia. P., 1987; Mustapha Tlili. La montagne de Lion. P., 1988; Tahar Benjelloun. L'enfant de sable. P., 1985; La nuit sacrée. P., 1989 и мн. др.

² О М. Таос Амруш 40–50-х гг. XX в. см. подр. в «Истории национальных литератур стран Магриба». М., 1993. Том «Алжир».

особый аспект – почти *трагедийного* отражения жизни мусульманки – в оковах, в засильи и бесконечной Власти традиций далекого Прошлого, обрекавших женщину на абсолютную несвободу ни личного выбора своей «замужней» судьбы, ни своего социального статуса, «самоопределения» в окружающей реальности и абсолютную зависимость от власти мужа и даже своих сыновей. И даже относительность свободы жены и матери в практически всегда наглухо закрытых дверях своего дома воспринималось писателями, создавшими образ женщины-мусульманки, как «тюрьма» [«большая или малая, но всегда – тюрьма», – писал Дрис Шрайби в своем раннем романе «Простое прошедшее» (1953), да и в произведениях дальнейших лет]. Но и даже в одном из своих романов-фантазий, написав воображаемый портрет марокканки на фоне всесильного проникновения Прогресса и модернизации жизни, писатель не смог изобразить новые интонации в мотиве «приобщения» женщины к возможностям, открывшимся за дверью ее Дома, от прежней горечи: даже и «новые пути» жизни, открывающиеся его героине, исполнены не только глубокой авторской иронии, но и каким-то предчувствием скорого конца всех *иллюзий* (роман «Это цивилизация, мама!», 1982).

Я уж не говорю о дилогии марокканца Тахара Бенджеллуна «Песчаное дитя» и «Священная ночь» (за что писатель получил Гонкуровскую премию в 1987 г.) или о его первом романе «Харруда», вышедшем еще в 60-е гг., да и о других его творениях, где женщина, даже «взяв голос» или «прозрев» трагизм своей судьбы, когда мусульманская традиция жизни обрекает ее либо на полное «смирение» со своим «заточением во мрак», либо на *уничтожение* своего женского существа [как, к примеру, сделали с одной из героинь его творчества –

девочкой, «превращенной» волей Отца в «мужчину», ибо он не захотел рождения еще одной дочери и назвал своего ребенка мужским именем, а потом и воспитал его *как мужчину*, скрывая от окружающих тайну его подлинного рода, что она поняла с возрастом, но так и не смогла выйти из своего «мужского обличья» и, покинув стены родного дома, оказалась за решеткой клетки, выставленной на всеобщее насмехательство (роман «Песчаное дитя»)]. Но и даже сумев выбраться на дорогу «поисков Света», рассказать миру правду об уделе «обреченности» мусульманки «на неволю», героиня Т. Бенджеллуна попадает в сети «братства», якобы борющегося за «свободу женщины», и, в конечном счете, испытывает страшное насилие, лишаясь реально «своего естества»: в этом «объединении» мусульмане особо понимали смысл женской Свободы (роман «Священная ночь»).

Усилил и подчеркнул мотив «торжества Мрака» в мире женщин Востока, подвластных воле Традиции, последователь Бенджеллуна уже в 90-е годы, марокканец Абдельхак Серхан в своем произведении «Солнце сумерек» (получившем Премию «Арабского мира» в 1994 г., о котором я тоже написала немало и даже присутствовала на церемонии вручения писателю этой весьма почетной премии, вполне заслуженной, ибо присужденной за мастерство «писать *правду о жизни*»...). Отмечу, что и А. Серхан, и Тахар Бенджеллун долго продолжали писать о некоей «трагедийности» вообще в родной стране. Т. Бенджеллун даже назвал вполне символически один из своих романов 2000-х гг. «Это ослепляющее отсутствие света»: о жизни *каторжника*... Но это «сияние мрака», увы, и позже как бы только подтвердила его сооте-

чественница Малика Уфкир, сама проведшая на каторге 15 лет...³

Я могу долго приводить примеры и особой мощи, и возможностей кисти художников слова – магрибинцев, писавших свои женские портреты на фоне Истории, Эпохи, в том числе и эпохи уже давно свершившегося в своих странах «стыка цивилизаций». Именно в Магрибе, когда с его колонизацией Францией, «растянувшейся» в разных его странах на разные временные отрезки (в Алжире – с 1830 до 1962, в Марокко и Тунисе с начала XX в. – 1912 г. до 1956 г.), принесшей с собой не только особые формы угнетения, но и особые задачи «аккультурации аборигенов», случилось так, как это ни парадоксально, что в сознание колонизованных пробились именно идеалы и французского Просвещения, и даже концепты, заложенные в главном лозунге Франции – «Свобода, Равенство и Братство». Они были хорошо усвоены магрибинской, «автохтонной» интеллигенцией...

Поэтому мотив Света, особо отличавший писателей-магрибинцев, принадлежавших к ее «передовому отряду», не случаен.

Так и было в Алжире, где уже **после** достижения страной Независимости, после почти 8-летней кровавой борьбы за свою независимость, не случайно по-особому звучат и яркое творчество Р. Буджедры (с его первыми романами, целиком посвященными судьбе мусульманки, – «Отвержение», «Солнечный удар», – да и др., написанными уже после 70-х гг., в 80-е и 90-е, и в 2000-е годы), и творчество Р. Беламри, поэта и прозаика, рано умершего в эмиграции, но успевшего создать такие свои шедевры, как «Раненый взгляд», «Солнце сквозь сито»,

³ См. Т. Bendjelloun. Cette aveuglente absence de la lumière. P., 2001 ; М. Oufkir. L'étrangère. P., 2006.

«Каменный приют», созданные в конце 80-х – начале 90-х гг., где воссозданы судьбы своих соотечественниц.

Говоря об алжирцах, писавших о «женской доле», об «уделе мусульманки», невозможно не сказать, что помимо тенденций резкой критики определенных традиций в современном обществе, уже в прозе 50-х гг. существовало и такое «романтическое» и даже символическое обращение к образу женщины, как роман Катеба Ясина «Неджма» (1954, переведенный на русск. яз.), где само имя (как и название произведения) героини означает в переводе с арабского – «Звезда». Писатель связывал эту «звездность» (один из его романов тоже носит название «Звездный полигон») не только со «Светом», разгоняющим «**Мрак** вечной ночи», но и с другим «вечным уделом» его Родины, не раз боровшейся в Истории с многими завоевателями – *отстаивать свою Свободу*. И его «Неджма» становится неким образом *непокоренности* (в романе героиня отказывается всем своим женихам, пытавшимся «приручить» ее) самого Алжира, в год выхода в свет его произведения уже поднявшегося на битву за свою Свободу и Независимость.

Возможно, что этот роман стал и неким лейтмотивом литературы новой эпохи, когда и поэзия, и проза, и драматургия Алжира была охвачена этой «жаждой» Свободы как Освобождения прежде всего от Власти Чужого. Но именно в творчестве женщин-алжирок этот мотив зазвучал и просто как необходимость желанной Свободы, как «жажда раскрепощения» от всего, в том числе и от того, что связано и с «оковами» религиозной Традиции. И именно так назвала свой первый роман – «La soif» («Жажда») замечательная писательница, которую литературные критики сразу сравнили с популярной в то время во Франции Франсуазой Саган (а впоследствии за свои заслуги перед литературой А. Джеббар была избрана

и членом Французской Академии в 2005 г. — для женщины вообще, тем более алжирки, это было не только почетно, но и редко...). Роман появился на рубеже 1953–1954 гг., и его героиня была «образцом» попытки личностного выхода на путь самостоятельного выбора и своей судьбы, и возможности влиять на судьбы своих современниц. Но Ассия Джебар уже имела как бы «предшественницу» такого рода пробуждения от «мрака Ночи», — я имею в виду роман Дж. Дебеш «Лейла», вышедший в свет незадолго до публикации романа «Жажда», хотя героине этого произведения пришлось испытать все тяготы власти и даже засилья Традиции Прошлого, выйдя замуж за человека, предавшего ее (уже «современную», «цивилизованную», уже «открывшую свое лицо», имеющую образование и профессию), «укрыв» ее в глухом горном селении и отдав в плен старых верований и представлений о мире и жизни. Она, конечно, освободится из «плена», но цена Свободы была немалая, — полная утрата веры, в отличие от героини А. Джебар, в надежность и святость идеалов, завещанных предками... (Подробно об их творчестве — ниже).

Своеобразное эхо поисков женщиной «Свободы и Независимости» прозвучит спустя многие годы и в романе туниски Хафсийи Джелилы «Пепел на заре» («Le cendre à l'aube», Tunis, 1974), героиня которого, став «абсолютно свободной» в выборе своей «женской доли», меняя своих возлюбленных, останется, в конечном счете, совсем одна и будет размышлять о том, что радость жизни — не в том, что обретаешь возможность *выбора* своего пути, но в том, с **кем** и **как** ты по нему пройдешь «рука об руку»...

Можно было бы сразу от темы этого тунисского романа перекинуть почти «прямой» мост к теме книги, ставшей уже давно известной алжирской писательницы

Малики Мокеддем, вышедшей под названием «Мои мужчины» («Mes hommes») уже в 2003 году. В этом повествовании слышится эхо и «Пепла на заре», поскольку автор сосредоточена на очень личностных и глубоко психологических моментах в жизни женщины, которой так и не удалось обрести счастья в совместной жизни ни с одним из ее возлюбленных, выбранных ею совершенно свободно, вне всяких законов мусульманской традиции... Это, конечно, – не вполне случайно для магрибинки, даже давно живущей в эмиграции, во Франции... Но врач по профессии, с трудом получившая среднее образование у себя на родине, в Алжире, была вынуждена покинуть свою страну, *«перейти пустыню» жизни* там, где именно вековая Традиция обрекала ее на «маргинальное» существование (ибо ее давняя семейная история не давала покоя стражам традиционной морали: ведь ее земляки считали, что ее мать, совершившая в молодости, как им казалось, «прелюбодеяние», была забита до смерти ее мужем, осужденным государственным законом на тюремное заключение... И практически, его оставшаяся совсем одна дочь была *«запрещена»* для общения с «добропорядочными» людьми...) Возможно, выросшая «духовно», ибо удочеренная семьей сельского учителя французского происхождения, но женатого на алжирке (что в стране тоже было не редкостью), девочка уже в юные годы стала мечтать о том, что хотела бы освободиться «от цепей всех предрассудков». Она со временем уедет, станет не только медиком, но и профессиональной писательницей. И, обращаясь к своему Прошлому, подобно другим магрибинским художникам слова – мужчинам, с не меньшей силой своего пера воссоздаст свой портрет женщины на фоне эпохи, Традиции, связав ее судьбу с необходимостью *преодоления* «оков» Прошлого во имя Будущего. Поэтому как бы

«прямой» возврат к теме, волновавшей магрибинок еще и в 50-х гг., в 70-е гг. только оттеняет психологизм и глубину «женского портрета на фоне эпохи» и подчеркивает особую «остроту» и особую боль пера женщины-писательницы, в отличие от тоже весьма проникновенных и порой даже тяжелых мазков кистью (или их ударов) по полотну художественного слова писателями мужчинами-магрибинцами.

Но это не означает «хуже» или «лучше». Просто жизнь женщины в книгах магрибинок ощущается по-другому. Даже когда они пишут на одну и ту же тему и затрагивают одну и ту же, даже «обще-гендерную», социально-политическую или этнокультурную проблематику. Видимо, есть еще и уровень *самоощущения* (себя, своего «естества») в окружающем мире. Женщина видит его не только своими глазами, но и чувствует его своей плотью, а значит – несколько по-иному рисует и свой (или своих современниц) портрет на фоне истории, культуры и даже социо-конфессиональных столкновений. К примеру, вступая в переключку с творчеством уже своего далекого предшественника в литературе Туниса – А. Мемми, еще в 50-е гг. поставившего проблему неудачи смешанных браков представителей разных религий (роман «Агарь», 1958), существующих и поныне в его родной стране (где соседствуют и ислам, и иудаизм, и христианство), Адель Арви в своем романе «Жозабет и Мурад» (1981) воспринимает, в отличие от А. Мемми, драматически конфессиональную нетерпимость. Писательница не просто протестует против устойчивых традиционных правил, практически исключая возможность *обычного семейного счастья*, если супруги по происхождению своему «чужеродны», но и, подобно Мемми, детально разоблачая – методом точного и пристального «бытописания» – нереальность *«анахронизма*

Традиции» (не дающей возможности мусульманке или католичке, как в «Агари» Мемми, адаптироваться в иудейской среде), совсем «по-мужски» клеймит позором и называет *крахом* все «гражданские достижения» эпохи Независимости, которую добился тунисский народ, освободившийся от колонизации.

Но бывает и «наоборот»: Суад Геллюз в своих романах [«Простая жизнь» («La vie simple». Tunis, 1975), «Сады на севере» («Les jardins du Nord». Tunis, 1982)] прямо утверждает необходимость *опоры на традиции жизни*, возрождения тех устоев человеческого существования, которые были «завещаны предками». Именно этим заветам женщина, утверждает Суад Геллюз, должна быть покорна, «смиряться с ними», ибо «сохранение корней» как «очага жизни» – долг именно женщины. И в этом плане ее пристальное «бытописание» своеобразия уже немногочисленных потомков «андалусийцев» (арабов и берберов, когда-то, еще в VIII в., завоевавших Испанию и удержавшихся на юге Европы до середины XV в.), проживающих на севере Туниса, не кажется избыточным, если сравнивать ее метод с бытописанием А. Мемми. (Тем более, что андалусийские традиции – несколько иные...)

Однако, у А. Арви и в конце 70-х, и в 80-е, и в 90-е гг. есть немало число соотечественниц, которые разочарованы именно «плодами Независимости» и встревожены «анахронизмом» разных традиционных и конфессиональных устоев, только ускоривших формирование в стране радикальных – и социальных, и политических, и конфессиональных – тенденций. Айша Шайби, Эмна Бель Хадж Яхья, Азиза Фаляли, Хэле Бежи, Алийя Мабрук и мн. мн. другие женщины-писательницы, отряд которых значительно пополнился и в 90-е, и в 2000-е гг. (что привело одного из исследователей культуры Туниса

– Жана Фонтэна – даже к созданию женского рода во французском термине «сугубо мужского рода», обозначавшим профессию писателя – *écrivain*, – изменив его на неологизм *écrivaine*), и сегодня не прекращает пополняться.

Можно перечислять десятки имен тунисских писательниц (от таких, как Хэле Бежи, Алии Мабрук, Найды Ферши, Хедийи Баракет, до Жаклин Бисмут или новеллисток Лины бен Мхини и Иман Бассалах), пишущих по-французски и показывающих нам особым, чисто «женским взглядом» картину окружающего их мира, где происходят резкие перемены, вызывающие и «сдвиги» в отношениях с Традицией Прошлого, и прорывы «прогресса» современности, и даже подспудно зреющие новые романтические надежды на «обретение любви» между Востоком и Западом... «Чисто женское» освещение этих, в общем-то глубоких социально-культурных и даже политических проблем проявляется и в отборе определенных деталей быта, связанного именно с миром женщин, и в подчеркивании некоторых «сентиментальных» мотивов, заставляющих оценить [в рамках даже исторического прошлого такие постепенно обесценивающиеся понятия как взаимодоверительность, дружба, любовь (даже в пределах межэтнических отношений внутри Туниса)].

Подобной характерной чертой отмечены и глубоко психологичные романы, повести, новеллы современных писательниц и Марокко, и Алжира, где несмотря на «особость» социально-политического устройства (Марокко – королевство с опорой на устойчивые традиции Прошлого, Алжир – Народная Республика, где есть демократические основы, тяжело переживший гражданскую войну 90-х гг. и до сих пор еще страдающий от угроз и вызовов исламского фундаментализма), «женский

отряд» пишущих на французском языке замечательных художников слова значительно пополнил свои ряды. В Марокко только за последние два десятилетия просто засверкали многочисленные книги и Фаттумы Джерари Бенабденби, и Сихам Беншекрун, и Ясины Шами, и Криссултаны Ривэ, и Тассадит Имаш, и мн. др., как и в Алжире – романы, повести, новеллы не только М. Моккеддем, но и Маисы Бей, и Хурийи Бусседжры, и Зинеб Лабиди, и др. (о творчестве которых мы регулярно извещали и журнал «Азия и Африка сегодня», и успели в своих совместных исследованиях «гендерной проблематики» с Н. Л. Крыловой рассказать и показать его «образцы»: см., напр., «Гендерные аспекты конфликтов». М., 2010; «Путь к себе», М., 2013).

Появление многих женских имен в литературе магрибинцев (включая и этнических магрибинцев, «осевших» в эмиграции во Франции, о чем я подробно написала в своих книгах «Восток на Западе» и «Иммигрантские истории» (М., 2002–2004), не означает, что как-то «заглох» или «померк» голос и оставшихся в живых, и не доживших до сегодняшнего дня выдающихся мастеров магрибинской словесности – мужчин, прославивших и марокканскую, и алжирскую, и тунисскую литературу и в 50–60–70-е и начале 2000-х гг. [таких как М. Диб, А. Мемми, Дрис Шрайби, Р. Мимуни, Тахар Бенджеллун, Рашид Буджедра и др., пришедших на литературное поприще уже в конце 90-х гг. (например, Буалем Сансаль или Мухаммед Моллесеуль)], в контексте наплыва творчества магрибинок. Наоборот, они все, эти и мужские и женские голоса или манеры письма, взаимно дополнили друг друга, создав целостный портрет своей эпохи *разными красками*. [Недаром сегодня особо знаменитый алжирец, переведенный на многие языки мира, М. Моллесеуль взял себе женский псевдоним – Ясмينا

Хадра, – под которым и опубликовал значительное число своих произведений... Но и не даром именно Ассию Джеббар сделали впервые в истории франкоалжирских отношений действительным членом «Французской Академии изящных искусств» – именно за «силу ее таланта», за глубокое проникновение в «смысл современной эпохи». Один только ее сборник новелл о гражданской войне в Алжире «Оран, мертвый язык» (Assia Djebar. Oran, langue morte». Р., 1997) может поставить писательницу в один ряд и с Рашидом Буджедрой, и с Рашидом Мимуни, и даже с Мохаммедом Дибом, запечатлевшими новую трагедию – гражданскую войну 90-х – начала 2000-х гг. – своей страны в некоторых своих романах].

Говоря в своем повествовании об особенностях «мужской кисти» и «женского пера» в литературном творчестве магрибинцев, сделавших франкоязычие «*своим оружием*» (как сказал классик новой алжирской словесности – Катеб Ясин), я хочу лишь подчеркнуть и способность мужчин объемно видеть контрасты и противоречия постколониальной эпохи, и силу переживаний конфликтов и искренность надежд на возможность гармонического сосуществования и Настоящего, и «опор Прошлого», и традиции, и модернизации, а проникновенно заглядывая в Будущее, и на возможность взаимопонимания и Востока, и Запада (как это характерно сегодня, к примеру, в творчестве тунисских новеллистов).

Но посвятив эту свою книгу в целом многолетним изучениям творчества тех магрибинок, где отражены именно *судьбы женщин*, я хочу отметить, что в понятие «женской литературы»⁴ я, конечно же, включаю на-

⁴ Впервые термин «женщины-писательницы» (как неологизм существующего для этой профессии слова *écrivain (écrivaines)*) был использован, как я отметила,

стоящую **художественную** словесность, созданную писательницами, важную для понимания особой *психологии* женщины, ее судьбы на фоне эпохи со своей особой, специфической доминантой. Не только социальной или идеологической, характерной для современных – XX–XXI вв. – магрибинских писателей-мужчин (и алжирцев, и марокканцев, и тунисцев). Она их отличала на всем протяжении развития национальных литератур этого региона, зародившихся еще в колониальную эпоху и продолжающих звучать и по сей день.

Но и романтический образ «Неджма» – звезды – Катеба Ясина, и Мать из романов Шрайби и Тлили, и идеальная Возлюбленная из книг А. Меддеба чаще конденсируют в своих образах всю боль и исторических, и общественных противоречий и конфликтов, связанных с гнетом политическим, и засильем конфессиональных догм, социальным неравенством, вековых предрассудков или навязанных норм повседневного бытия (будь то диктат «общества потребления» или – особенно сегодня – угрозы исламистов)...

Очевидность острого социального или даже политического акцента на образе Женщины в литературе именно франкоязычных магрибинцев-мужчин понятна и потому, что именно этот отряд магрибинской интеллигенции сыграл не только свою особую роль в эпоху формирования национального самосознания народов Алжира, Марокко, Туниса, боровшихся за Независимость, но и свою первостепенную роль в постколониальной борьбе за подлинное Освобождение своих стран от наследия Прошлого – против всех форм и политического, и социального, и духовного рабства. «Вольнолюбивые» и «обличительные» интонации именно франкоязычной лите-

тунисским ученым Жаном Фонтэном в его труде: J. Fontaine. *Ecrivaines tunisiennes d'origine juive*. T., 1991.

ратуры магрибинцев (особенно поэзии) 40–50–60–70–80–90-х гг. XX и первых лет XXI века – не столько особого рода «наваждение» великих традиций французского Гуманизма или литературы французского Сопротивления, но ставшая естественным атрибутом новой национальной литературы Магриба как *потребность Человека в антиколониальном Освобождении*, но и функцией всей предшествующей Истории, исполненной набегов чужеземцев, захватов ими родных магрибинцам земель, войн, колонизации (французская только завершила эту череду «несчастий»: именно с этим состоянием часто сливался образ Отчизны в творчестве художников...⁵).

Образ Женщины поначалу, конечно, как нельзя лучше соответствовал **образу Родины**, поднимавшейся на битву за Независимость, или **образу общества**, обрекавшего человека на страдания, ибо понимавшего свою *самобытность* и самостоятельность только как совокупность неких «патриархальных» устоев и религиозных традиций, не подлежащих эволюции и прогрессу, исключаяющих *всякое* вторжение Чужого...

Но ведь именно это вторжение как проникновение в сознании магрибинцев самой **возможности Другой** жизни во всех ее проявлениях уже в эпоху французской колонизации (при соприкосновении автохтонов с европейской частью колониального общества), а после слома колониальной системы ворвавшееся в новую реальность и понимание *необходимости перемен, открытости* (в полном смысле, в том числе и сброса женщиной чадры) Востока Западу, его понятиям гражданских **прав и свобод** человеческой личности заставляло писателей-мужчин концентрировать в образе Женщины и энергию

⁵ См., напр., сб. стихов алжирца Малека Хаддада: «Несчастье в опасности» (Le Malheur en danger. P., 1956).

порыва человека к выходу из «тюрьмы» старого мира, и боль этого прорыва, встречи с Новым миром, утрат старых иллюзий, боль обретения «новых цепей» и жизни только в вечном **ожидании** Свободы...

«Бессловесность», «бесплотность», «призрачность» существования мусульманки в мире, где уже бушевали катаклизмы «революционных бурь», заставляли, к примеру, марокканских писателей (Катиби, Хайреддина и особенно Тахара Бенджеллуна⁶) наделять именно Женщину необычайной силой надежды на Преображение, доверять ей миссию «Прорыва к Свету», а алжирцев – миссию «искоренения Зла» (алжирец Набиль Фарес воплотил ее в сказочной силе Великанши, *убивающей* Людоеда⁷), наделять Женщину способностью *не подлежать ни одному* из тех, кто пытается взять ее «в плен» (Харруда – «женщина-птица» Бенджеллуна, «неуловимая» Неджма Катеба Ясина).

Мужчинам-магрибинцам, писавшим о Женщине, была, возможно, понятна и эта способность, и эта сила, не понаслышке ведома и эта боль, – они знали почти всё о жизни своих матерей и сестер в родительском доме⁸, где царили и беспредельная, а порой и жестокая власть Отца (воплощавшего Хранителя патриархальной традиции и мусульманских понятий Чести), но и огромный авторитет Матери, хотя и «закрытой» в стенах «малой тюрьмы» – Дома, семейного очага, но наделенной одновременно и могуществом его *охранения*, хотя и лишенной права на выбор (ее, как правило, отдавали или продавали в дом мужа), но обладавшей нечеловеческой силой

⁶ См., напр., его роман «Харруда» (Harrouda. P., 1973) и диологию «Песчаное дитя» и «Святую ночь»).

⁷ См., напр., роман N. Fares «Le Champ des oliviers». P., 1972 или его научное исследование об «ogresse» (в докт. диссертации).

⁸ Об этом характере воспитания **сыновей** в магрибинских семьях см. «Приложения» в нашем исследовании «Женский портрет на фоне Востока и Запада». М., 2006.

защиты своих детей; терпевшей невероятные муки унижения своего человеческого достоинства, но и учившей своим примером необходимости «снять саван молчания» (*le linceuil du silence* – Т. Benjelloun) – запрета на Жизнь, а значит, – учившей необходимости Свободы⁹... Отсюда – столь уплотненная **метафоризация образа Женщины** в литературе мужчин-магрибинцев, столь заметная тяга к **символизации** в этом образе основных концептов эпохи обретения Независимости и постколониальной борьбы за восстановление утраченных идеалов Освобождения.

Отсюда – и почти патетическое переживание судьбы Женщины как *трагедии*. И не случайно, что даже такой крупный художник, как алжирец М. Диб, начав с почти спокойного *бытописания* («Большой Дом»¹⁰), воссоздавая портреты *обычных* алжирских матерей и жен, постепенно наращивая интонации эпические, рисуя уже портрет охваченной пламенем освободительной войны страны («Пожар»¹¹), сгущает их в **символике образа Моря как стихии Свободы** («Кто помнит о море»¹²) и делает именно Женщину – героиню романа – **Проводницей в мир борьбы за Освобождение народа**. Но именно М. Диб показал и весь трагизм этого образа, его *трагический удел*, когда рассказал о судьбе партизанки Арфийи (роман «Пляска смерти»¹³), жертвовавшей жизнью во имя спасения борцов за Свободу, совершавшей свой подвиг во имя своей страны, которая сумела забыть и о

⁹ В этом плане романы алжирца Рашида Буджедры (почти все — от «Отвержения» и «Солнечного удара» до «Глени» и «Дождя» — наглядный пример именно таких «уроков жизни»). О писателе см. подробно в наших работах: «Магриб: франкоязычные писатели 60–70 гг.». М., 1980; «Для берегов Отчизны дальней...». М., 1992; «Литература Алжира». М., 1993; «От Сахары до Сены». М., 2001, «Алжирская сюита». М., 2014.

¹⁰ M. Dib. La grande maison. P., 1952.

¹¹ M. Dib. L'incendie. P., 1954.

¹² M. Dib. Qui se souvient de la mer. P., 1952.

¹³ M. Dib. La danse du roi. P., 1968.

ее идеалах, ее почти неодолимом призвании стать *Матерью нового мира*. Оказавшийся никому не нужным в мирные дни героизм партизанки, разрушая пафос Освобождения (связанный именно с образом Женщины как воплощения Истории страны и ее страданий), одновременно утверждал в романе М. Диб интонации нового трагизма, связанного с **неосуществленностью идеалов борьбы за Независимость**. Можно было бы сказать, что М. Диб поспешил (ведь прошло всего несколько лет, как Алжир обрел ее), если бы не продолжающие звучать и по сей день эти интонации, обретшие в творчестве писателей и 70-х, и 80-х, и 90-х гг. (и далее!) оттенок не только *забытости* идеалов Освобождения, но и их *предательства* и даже какой-то метафизической обреченности страны на извечную череду новых страданий¹⁴...

...В этом мировидении была, конечно, не только «мужская» сила взгляда, способная к широким, масштабным обобщениям, обладающая способностью придать «суровые краски» пейзажу окружающего мира. Была, конечно, и некая доля сострадания к *неизбывности* женской судьбы, должной свершаться, как полагают мужчины-магрибинцы, в предназначенном именно ей, женщине, замкнутом круге *малого пространства* этого мира, границах Дома и Семьи. (Уже «хронологически» один из первых «собственно» алжирских писателей – Улд Шейх, использовавший французский язык в своем творчестве, пытаясь показать *необходимость западного образования* для женщины-мусульманки, приобщения ее к *современности*, – ведь одна из героинь его книги «Мирием среди пальм» (1936) – лётчица, овладевшая столь трудным делом и искусством как вождение самолетов, в конечном счете возвращает казалось бы уже

¹⁴См., напр., романы Р. Мимун «Тягость жизни» («Une peine à vivre». Р., 1991), «Проклятие» (La malédiction. Р., 1998).

вышедших на дорогу прогресса детей в мир Матери. Она в романе Улд Шейха и сама не чужда веяниям новой цивилизации и состоит в «смешанном браке» с европейцем, но сама и настаивает на возвращении детей в русло ее **Традиции** жизни, прилагая усилия для *сохранения «своей веры»*, а значит, – Закона, определяющего ее существование *прежде всего* в лоне семьи.)

Хотя **прогресс** (как трансгрессия запрета на извечность и неизбежность женского удела) именно в эпоху колонизации при всей *разделенности* европейской и мусульманской среды неизбежно «стучал в дверь», стоял на пороге Дома, настойчиво предлагая Женщине «переступить» его, идти в школу, получить *другое* Знание Жизни (не забудем, что французы ввели и своё школьное образование в своих колониях и протекторатах...), узреть преимущество другой цивилизации, эмансипирующей от оков Традиции, старых обычаев и воззрений, полагающих именно *незнание, неведение* Женщины почти равносильным самому концепту ее *«Чистоты»*...

И наиболее смелые женщины сами переступали этот порог и даже брались за перо, чтобы рассказать **о самих себе, своем мире**, впустившем в себя и веяния времени, и дыхание перемен, позволившие *осознать* и свою судьбу, и свои притязания, и свои трудности *перехода* в новый мир, и даже драму своего *столкновения с этим другим* миром, и свою попытку понять необходимость *связи* и с родным, как и неизбежность разрыва с поколением отцов и матерей. Эта **уже собственно «женская проблематика»**, пропущенная сквозь призму *женского взгляда* и женской души, остающаяся почти неизменной и по сей день (даже в творчестве уже рожденных на Западе магрибинок), начиная с алжирок Маргариты Таос-Амруш (романы «Черный гиацинт», «Улица тамбури-

нов»¹⁵), или «Азизы» Джамили Дебеш¹⁶, или «Жажды» Ассии Джебар¹⁷ (ставшей лауреатом множества международных литературных премий), или туниски Джелилы Хафсийи (роман «Пепел на заре»¹⁸), включая творчество целого отряда тунисок 70–80–90-х гг. (Суад Геллюз, Фриды Хашеми, Нимы Моати, Суад Хедри, Айши Шайби, Эмны Бель Хадж Яхьи, Аззы Филяли, Алии Мабрук, Софи Эль-Гуль и мн. др., о ком я говорила выше), также как и марокканок, пополнивших плеяду магрибинских писателей в 80–90-е гг. XX в. (Суад Бахешар, Сихам Беншекун, Надийи Шафик, Халимы Бен Хадду, Хурийя Бусседжра, Ямина Шебаб, Рита Эль Кайят, Фарида Эль Хани Мурад и мн. др.), которые свидетельствуют и об **особом качестве** литературы, созданной женщинами¹⁹.

При все еще существующем (увы!) с неким ироническим оттенком определении «дамское рукоделие», нельзя не признать и особой его тонкости, и особого психологического настроения, и особой проникновенности взгляда (дозволенный **себе**, на **саму себя**) на собственную жизнь, свое «я», и особой пронзительности своего страдания и сострадания к окружающему миру. Отсюда и неотъемлемый **лиризм** женской прозы и поэзии, несмотря на отраженные в них драмы своей жизни, и особость **своей позиции** в нем, этом мире, ибо она чаще всего сопряжена с попыткой *преодоления порога, дозволенного границами исламской Традиции*, иногда несколько расширенными людьми разных поколений). Но вырастая

¹⁵ M. Taos Amrouche. Jacinte noir. P., 1947 ; La rue des tambourins. P., 1960.

¹⁶ Dj. Debèche. Aziza. Alger, 1955.

¹⁷ A. Djébar. La soif. P., 1957.

¹⁸ J. Hafsia. Cendre à l'aube. Tunis, 1975.

¹⁹ Основные их произведения отмечены в обобщающих работах тунисских исследователей: J. Fontaine. Création littéraire des femmes en Tunisie (bibliographie complète). – in : Notre librairie. № 146. P., 2001; библиографию на первое десятилетие XXI в. творчества женщин-марокканок см. в альманахе **Plurel** № 15: Le Récit féminin au Maroc. Rennes, Presse universitaire, 2005.

par excellence из основополагающего конфликта «внутреннего» и «внешнего», расширенного до противостояния «своего» и «чужого», при всей напряженности и даже драматизме этого конфликта, завершающегося порой (особенно в творчестве магрибинок, рожденных на Западе²⁰) даже гибелью героини, «женская» литература, в отличие от мужской о Женщине, **лишена пафоса отрицания** окружающего миропорядка, сгущения политического смысла в требовании необходимости своего особого освобождения и заострения символизации своей судьбы как судьбы всего общества.

Реалистичность, порой натуралистическая тщательность детализации в описании окружающего, углубленный психологизм попытки проникнуть в свой собственный мир и мир «другого», выстроить логику своего поведения и обосновать отношение к себе «других», нарочитая «заземленность» сюжетов (хотя всегда сопряженных с определенной эпохой и ее проблемами), отменное бытописание (тонко различающее не только саму предметность мира, но именно ее суть, ее форму, ее «аромат», ее предназначенность определенным моментам жизни – будь то платье, шарф, кувшин, ларец, склянка с духами, занавеси на окнах и двери, ингредиенты традиционных блюд, и т. п.), призванное не столько романтизировать «патриархальную старину», ее уклады, ее ритуалы (хотя в творчестве М. Таос имеется и этот элемент нарративности), сколько опереться на *изначальную* твердыню окружающей жизни, вычленив из нее те ее устои, которые не избудут. Особые семейные ценности кажутся извечными, непреходящими, хотя со временем героини книг писательниц-магрибинок с горечью наблюдают и их «коррозию», и даже их агрессию...

²⁰ О них подробно: С. Прожогина. Иммигрантские истории. М., 2001; Восток на Западе. М., 2003.

Можно было бы сказать, что **мотив разлада** мечты женщины об **опорах**, их поиска в окружающей действительности – константен для литературы магрибинок. [Не только потому, что он звучит на протяжении более полувека, – если начать отсчет с «Азизы» Дж. Дебеш (1953 г.) и остановиться хотя бы на таких романах, как «Девушка и мать» алжирки Лейлы Маруан²¹ или таких книгах ее соотечественницы Малики Мокеддем, как «Запретная»²² или «Мечты и убийцы»²³, но главным образом потому, что проблема *засилья мусульманской Традиции*, удерживающей женщину в оковах некоего «ортодоксального» миропонимания порядков и обычаев исламского общества, приходит в столкновение с новыми возможностями и вызовами Жизни. **Власть** мира мужчин над миром женщины остается, увы, прежней, а с сегодняшним наступлением исламских радикалистов даже усиливается, и потому и актуальна в литературе женщин, упорно продолжающих отстаивать **свое право** на личную свободу и независимость.

Но если писатели-мужчины продолжают сопрягать женское бесправье, женскую несвободу с *неправедностью политического миропорядка*, Власти, царящей в стране, с «бесправием всего народа», с попранной Справедливостью и Свободой (как это делают марокканские писатели Тахар Бенджеллун или его последователь Абдельхак Серхан²⁴), сгущая в метафоре образа страдающей женщины **необходимость разрушения Старого мира**, то сами женщины будут упорно и настойчиво пытаться найти *реальный выход*, уйти, скрыться, уехать, наконец, радикально изменить свою жизнь, *приспосо-*

²¹ L. Marouan. La jeune fille et la mère. P., 2005.

²² M. Mokeddem. L'interdite. P., 1993.

²³ M. Mokeddem. Les rêves et les assassins. P., 1997.

²⁴ См., напр., его роман «Траур собак» (Le deuil des chiens. P., 1998) или более ранний – «Сумерки Солнца» (Le soleil des obscurs. P., 1992).

биться к Другому миру, вырвавшись из цепей Традиции, обрекающей ее на затворничество, невежество, «Мрак Жизни» или просто даже на Смерть (как в повести магрибинки Ферида Кессас «История бёрки»²⁵, где обычаи мусульманской семьи, в которой росла героиня книги, и нормы существования женщины в западном социуме оказываются несовместимыми).

Это не значит, что сила **художественного обобщения** в книгах мужчин-писателей больше или полнее: у них другие задачи. Но если пристально взглянуть на смысл «частной» истории жизни, поведенной марокканкой Суад Бахешар в повести «Ни живых цветов, ни погребальных венков»²⁶, то рассказ о судьбе девушки, выросшей в хлеве вместе с животными (ибо рождение дочери и до сих пор в южных племенах Марокко считается «бесчестьем»), только в четырнадцать лет научившейся говорить, читать и писать с помощью спасшего ее от *нечеловеческого существования* деревенского Учителя, давшего ей «Свет знания», но не уберегшего ее от мрака человеческих предрассудков, – не менее суггестивна и символична, чем «Песчаное дитя» Т. Бенджеллуна, или «Солнце сумерек» (а еще точнее, «Сияние мрака» А. Серхана). Заклейменная людьми (в буквальном смысле слова: соплеменники раскаленным железом нанесли чудовищное увечье-клеймо девушке, позволившей себе *свободную любовь* с сельским пастушком), героиня повествования совершает побег из мира, где царят в отношении к женщине «глухота» и «слепота» людских сердец, подвластных лишь «воле старейшин». Она будет пытаться обрести приют там, где, казалось бы, должны властвовать другие порядки, в городе, *открытом морю*, дышавшем ветром Свободы, Надежд... Но и там познает

²⁵F. Kessas. Beur'sstory. P., 1990 («бёры» – французская унижительная номинация североафриканцев, родившихся во Франции).

²⁶S. Bahéchar. Ni fleurs, ni couronne. Casablanca, 2000.

унижение, встретившись с бесчестьем, бесправием, «коррозией» людских сердец, пока не будет спасена человеком, *чужестранцем*, почти таким же одиноким, как и она, прожившим и свою нелегкую жизнь на *чужой стороне*, тоже по-своему спасаясь от *прошлого*, царящих и в его стране предрассудков, хотя Настоящее ни для него, ни для героини повести так и не наступило. Он умер, завещав ей свое состояние, а она, пытаясь *восстановить законность своего рождения*, вернувшись в родное селение, не нашла даже следов своего существования на этой земле, где царили «забвение и бессилие» людей, не способных изменить мир к лучшему...

Такого рода «простые» свидетельства, которые запечатлены и в огромной массе произведений марокканок, буквально хлынувшей с конца 80-х – начала 90-х гг. XX в., – и в книгах алжирок М. Моккедем и Лейлы Маруан, не постеснявшихся рассказать о жестокости нравов и суеверий, тирании мужчин, царящей в «традиционных» алжирских семьях и по сей день (Малике Моккедем, сумевшей, вопреки воле братьев, стать врачом, и Лейле Маруан, получившей несмотря ни на что высшее филологическое образование в Университете, это *особенно больно*, ибо Алжирская война за Независимость обещала и женщинам Свободу), и в романах тунисок, все чаще сталкивающихся с попытками исламистов восстановить «незыблемость» мусульманской морали²⁷ [в стране, где к статусу женщины сразу же после обретения Независимости (1956 г.) власти отнеслись наиболее либерально]. Вспышки исламизма, происходящие и здесь весьма болезненно, показывают особую силу женщин, **«взавших слово»**, ибо оно – свидетельство из уст *самих постра-*

²⁷ См., напр., роман Э. Б. Хадж Яхьи «Параллельные хроники» (E. Belhadj Yahia. Chroniques frontalières. Tunis, 1991).

давших, или их сестер, обреченных исламскими радикалами на «безмолвие» и бесправие...

Но сам всплеск «женской литературы» – и новеллистики, и поэзии, и романистики – как в Магрибе, так и в Европе в среде североафриканской эмиграции и среди представителей второго поколения «иммигрантов» («бёры») уже на исходе 70-х (если начать отсчет с повести Зулики Буккорт «Растерзанная плоть»²⁸) и особенно в последние два десятилетия XX в. – был показателен, и достаточно парадоксален (на фоне усиления тенденций исламизма). Но и вполне закономерен: *средоточие стагнации внутренних конфликтов мусульманского общества* – сами женщины, словно отстраняясь от связанной именно с их образами окружающей реальности, преодолевая социальный и конфессиональный барьер, отделяющий их от возможности стать в один ряд с художниками-мужчинами, эту реальность по-своему уже давно запечатлевавшими, сумеют воспользоваться пусть неполными, но дарами Независимости, показав полную реальность собственного мира, увидев смысл своего существования и своего предназначения, пытаясь выразить **сами** и свою боль, и свои сомнения, и свои тревоги. И даже свое смирение с необходимостью «принятия обычаев» и устоев родной Жизни... И это была не только эволюция социальная, гендерная, но и художественная: картина мира, встававшая в литературе Магриба с середины XX века, была дополнена и особыми красками, и особой, психологической остротой и пронзительностью «женского взгляда».

Да она и была бы и не полной, и не точной, если бы сами женщины не привнесли в нее и свою правду, и свое понимание Жизни и Смерти, Любви и Ненависти, смыс-

²⁸ Z. Boukkort. Le corps en pièces. P., 1976.

ла своей Эпохи и – главное – сегодняшней истории своих народов.

Они вошли в литературу и как живые свидетели **основных конфликтов современности** (всё творчество Ассии Джебар, начиная с 50-х гг. XX в. до XXI столетия, ее книги: «Нетерпеливые», «Дети нового мира», «Наивные жаворонки», «Любовь и фантазия», «Оран, мертвый язык», «Оставшаяся не захороненной» и др.²⁹ – написаны по «горячим следам» и Алжирской войны за Независимость (1954–1962 гг.) и новой, гражданской, разразившейся в стране под натиском исламистов в конце 80-х гг.), и как «носители» **живой повседневности**, исполненной и конфессиональных, и этнических, и социальных, и политических противоречий, от которых женщины страдают особо. Это у **них** на глазах убивают их детей, это **им** подкидывают в корзине отрезанную голову мужа рассвирепевшие «стражи морали» в годы гражданской войны в Алжире (книга Латифы Бен Мансур «В год затмения солнца»³⁰ почти автобиографична); это **их** память исполнена видениями чудовищных расправ с партизанами в горах Алжира, которым они помогали и в качестве связных, и в качестве санитарок, в годы антиколониальной борьбы не прощает предателей: рассказы Матерей о своих мужьях, фотографии и документы отцов, отдавших жизни за Свободу, заставляют и по сей день «стучать пепел» в сердцах их дочерей (яркий пример – повесть Маиссы Бей «Послушайте, Горы!»)³¹ Но эта *повседневность* зависима и от бессмысленных попыток Отцов выдать своих дочерей замуж **насильно**, лишить Любви, а значит и Жизни. И дочери бе-

²⁹ См.: Assia Djebar. Les Impatients. P., 1958 ; Les enfants du nouveau monde. P., 1962 ; Les alouettes naïves. P., 1967 ; L'Amour, la fantasia. P., 1985 ; Oran, langue morte. P., 1997 ; La femme sans sépulture. P., 2002 и др.

³⁰ Latifa Ben Mansour. L'année de l'éclipse. P., 2001. Подр. – ниже.

³¹ M. Bey. Entendez — vous dans les montagnes... P., 2002.

гут из Дома, или сходят с ума, затравленные, и земля начинает дрожать и разверзаться под их ногами, поглощая всё, что заставляло их страдать, заставляя забыть Прошлое, начать новую Жизнь (Маисса Бей запечатлела это в своем романе «Только не возвращайся!»³²). Любопытно отметить, что вечный символ Свободы – Море, превращаясь в одном из романов М. Бей в пространство жизни героини на побережье, во время летних каникул, тоже становится *источником особой боли*: время показавшейся Свободы, способствуя Любви, заставляет героиню нарушить запрет, тайно встречаться со своим возлюбленным, а потом испытать муки позора, унижений и даже смертельного «побиения камнями»³³. Героиня марокканки Лейлы Маруан в ее книге «Девушка и мать» тоже оказалась жертвой, замученной почти до смерти собственной семьей³⁴. И это происходит тридцать лет спустя после того, как другая героиня из книги туниски Дж. Хафсийи «Пепел на заре», бросая вызов Традиции и условностям, живет свободно, встречая каждую свою Любовь как «зарю нового дня» Жизни и расставаясь со старой, как с надоевшей, наскучившей обыденностью...

Напрашивается вопрос, не превращает ли «женская литература» свой «дискурс» в нарочитое «заземление» проблем, уходя вглубь конкретной, частной жизни, «десакрализуя» прежние символы? Но ведь и в книге Маиссы Бей «Только не возвращайся!» Море по-прежнему остается *зовом Освобождения* (именно к нему, морю, бегут люди, спасаясь от землетрясения); а в книге Малики Мокеддем «Я начинаю»³⁵ Море становится источником Очищения, Омовения души Человека, Простран-

³² M. Bey. Surtout ne te retourne pas. P., 2005.

³³ M. Bey. Au commencement était la mer. P., 1996.

³⁴ L. Marouane. La jeune fille et la mère. P., 2005.

³⁵ M. Mokeddem. N'zid. P., 2001.

ством его Свободы (как и в романе М. Диба «Беги к дикому берегу»³⁶ или уже упомянутом «Кто помнит о море»)...

Но и Землетрясение из романов Диба, как и из других книг магрибинских писателей³⁷, из *катаклизма* как символа *разъятия двух миров* («своего» и «чужого» у Диба, «старого и нового» у Хайреддина, а потом и у Маиссы Бей) тоже превращается именно в *символ* в творчестве Нины Бурауи: и как *насильственного отторжения* человека от родной земли, и как *радикальных общественных трансформаций*, происходящих в Алжире³⁸.

Так что, очевидна не только *эстетическая преемственность* «женской литературы», но и ее способность владения «мужской» силой художественного письма, а порой и превосходством «мужской» способности глубоких обобщений, и необычайной *проникновенности в человеческую психологию* («Раненый возраст» Нины Бурауи или «Жоржетт!» Фарида Бельгуль³⁹ – выдающиеся примеры этого умения писательниц виртуозно вести свое повествование и от лица «столетней старухи», и от имени маленькой девочки, не выдержавших встречу свою с Западом – с Новым, Другим, а на поверку оказавшимся просто *чуждым* им миром).

Эти два автора – представители многочисленной уже части литературы магрибинцев, родившихся во Франции. Их творчество, естественно, отличается от произведений магрибинок, живущих в Алжире, Марокко или Тунисе, несмотря на общность используемого языка.

³⁶ M. Dib. Cours sur la rive Sauvage. P., 1964.

³⁷ См., напр.: M. Khair-Eddine. Agadir. P., 1967; H. Kréa. Le seisme. Alger, 1962.

³⁸ См.: N. Bouraoui. Seisme, 2000; Le garçon manqué. P., 2001. О мотивах «катаклизма» в литературе Магриба см. подр. нашу работу «Любовь земная». М., ИВРАН, 2004.

³⁹ F. Belgoul. Georgette! P., 1986; N. Bouraoui. L'âge blessé. P., 1998.

Однако вопрос о том, насколько «бёры»⁴⁰, уже практически интегрированные в западный социум и тесно связавшие свое творчество с его проблемами и своего в нем существования, относятся к «миноритарной» части французской литературы (и этнически, и эстетически) или же к собственно магрибинской, развивающейся по «другую сторону моря», остается открытым. Определять «национальную принадлежность» литературы «бёров», как и делить магрибинскую по «двусоставности» географической приходится каждый раз, исходя из конкретных и даже индивидуальных особенностей творческих устремлений авторов. Одни из них, несомненно, связаны с литературой магрибинских *эмигрантов* и *иммигрантов* и по проблематике, и по настроению (очевидность ностальгических мотивов по *утраченной родине, пусть даже «исторической»*), как, например, книгах Ахмеда Зитуни или Мустафы Кензи и даже Азуза Бегага; другие, наоборот, отличаются характерными для *иммигрантов из второго поколения* (не просто «осевших», но родившихся на Западе) настроениями протестными, бунтарскими, связанными с неприятием западным обществом их почти агрессивно заявляемой «французскости»: ведь они, «бёры», имеют основания называть Францию **своей родиной** «по праву почвы», хотя их социализация здесь сопряжена с огромными трудностями, да и социо-психологический климат (недоверие, пренебрежение, а порой и шовинистические настроения со стороны «коренных» французов к арабам) способствует этому. Отсюда – непрекращающийся именно в литературе «бёров»-**мужчин резкий критический настрой**, высокий градус именно **социально-политического реализма**, затрагивающего в их произ-

⁴⁰ Напомним об этом неологизме: «бёр» (фр. beur) – на верлане, «языке наоборот», означает «араб» (используются в обратном порядке согласные звуки).

ведениях основные, внутренние противоречия **западного мироустройства**, его политической системы, проблем характера и способов интеграции иммигрантов «принимающим» их обществом⁴¹. Это не означает, конечно, уже некую «вращенность» литературы «бёров» в собственно поле французской культуры, сегодня очевидно обретающую полиэтнический и поликонфессиональный «состав», несмотря на все противоречия «политики интеграции». Но то, что творчество их развивается в контексте общелитературного процесса Франции – очевидно. Как и очевидно то, что оно – «поливалентно», ибо по-своему продолжает и художественную традицию, связанную с магрибинской, всегда отличавшуюся и острым социальным критицизмом, и особой «чувствительностью» к проблемам конфессиональным, и особой причастностью своей к концепту средиземноморской «общности» с Францией, и общим с ней «историческим прошлым», где была не только долгая колонизация, но и совместная борьба с фашизмом в годы Второй мировой войны...

Отсюда – и особая в их творчестве реакция при встрече героя их произведений с унижающим его человеческое достоинство взглядом «Чужого», и особая личность героя литературы «бёров» – мятежная, болезненно реагирующая на свою «отверженность» или маргинальность в мире, где ему отведено особое место – «зона», «окраина» большого города, где обитают иммигранты, чаще встречающиеся с «теневой», неблагополучной стороной жизни, в основном обрекающей человека жить в замкнутом круге нищеты, необразованности, надеясь на

⁴¹ О книгах «бёров» см. подробно в наших работах: «Между мистралем и сирокко. М., 1998; Восток на Западе. М., ИВ РАН, 2003; «Вошедшие в храм Свободы». М., 2008 и др., где имеется и библиография других исследований.

случайные заработки или на почти невероятную удачу⁴². И основной конфликт, переживаемый героем произведений «бёров»-мужчин (Насера Кеттана, Мехди Шарефа, Азуза Бегага, Ахмеда Калуаза, Мунси и мн. др.), — это прежде всего конфликт **своего** «я» с миром **«Чужого»**, преимущественность оценки окружающего, **внешнего**, взаимоотношений «зоны» (и внутри нее) с остальным миром.

У «бёрок»-женщин — это только фон, усиливающий основной конфликт интеграции, в котором именно **«свой»** мир, мир восточной, «патриархальной» семьи, где выросли дети иммигрантов, не может окончательно вписаться в контекст западного общества, живущего по своим законам. И это при том, что процесс реальной социализации именно **женщин** из среды «бёров» идет гораздо успешнее (они более востребованы на обычной, невысококвалифицированной работе). Но женщины-писатели сосредоточены именно на моментах **столкновения, несовместимости восточных традиций жизни, сохраняемых эмигрантами и иммигрантами, с нормами республиканского устройства и морали французского социума**, где нередко проявления превосходства над всеми «инородцами» и «иноверцами»...

Разность «своего» и «чужого» бёрки чувствуют особенно остро, ибо Власть отца и братьев в мусульманской семье — стражей извечных религиозных запретов и устоев — остается незыблемой и в окружении абсолютно другой среды, — где светская школа, иные принципы жизни, образования, иная организация досуга, иные нормы общественного поведения (где **все** — и мужчины

⁴² Сами «бёры»-писатели (за редчайшими исключениями) обычно в большинстве случаев являются авторами одной, двух, максимум — трех книг, поэтому не считают и себя «выбившимися в люди», «поднявшимися вверх» по социальной лестнице. О «среднем» классе в среде «бёров», «избранных судьбой» немногочисленных «удачниках», см., напр., кн.: Philippe Bernard. La crème des beurs. P., 2004. Фрагменты перевода в нашей работе «Вошедшие в храм Свободы». М., 2008.

и женщины по закону – **равны** в правах) постоянно подталкивают самих женщин к *трансгрессии* сферы «запретного», нарушению родительских правил, диктатов семьи, что приводит постоянно **к кризису поколенческих отношений**, а зачастую – и разрыву с семьей, или даже смерти героинь произведений «бёрок» (см. уже отмеченные нами выше книги Фериды Кессас, Зулейки Буккорт, а также Малики Вагнер, Тассидит Имаш, Айши Бен-Айссы, Сореи Букеддены, Джюры, Лейлы Хуари⁴³ и др.).

Их «повести о жизни» – почти документальное свидетельство о *повседневности иммигрантов* (причем воссозданной *предельно реалистически*, в отличие, скажем, от налета романтизма в некоторых романах об иммигрантках Тахара Бенджеллуна – «Опустив глаза» или «Сладкая каторга»⁴⁴, где и «патриархальная старина», и семейные устои «патриархальной семьи», и повседневное существование девушки-иммигрантки отмечены, в отличие от его же трагической повести-притчи о североафриканцах-эмигрантах «Одинокое заключение»⁴⁵, присутствие оттенка излишней «оптимизации» судьбы магрибинки на Западе).

Но это не означает наличия в литературе женщин-магрибинок только социального или конфессионального аспекта в рамках противоположности *двух миров*, в которых *одновременно* существует женщина. Отличающиеся особым знанием «женской души», глубоким в нее проникновением, не преднамеренным, но естественным психологизмом как логическим следствием «прямого» рассказа от «первого лица», когда и автор, и героиня практически представляют *единое целое*, произведения

⁴³ Об их творчестве см. подробно в наших работах «Между мистралем и сирокко» (1998) и «От Сахары до Сены» (2001).

⁴⁴ T. Benjelloun. Les yeux baissés. P., 1991 ; Les raisins de la galère. P., 1997.

⁴⁵ La réclusion solitaire. P., 1976.

женщин заметно отличаются от «мужской» литературы показом «внутренних болезней» самого иммигрантского (как и в целом – магрибинского) сообщества, зачастую ведущих к собственно **интеграционным конфликтам** в недрах западного мира.

Само по себе это чрезвычайно важно для литературы как формы общественного сознания. Но не менее важно и то, что именно в «женской» литературе иммигрантов впервые возникает и продолжает исследоваться проблема *самоидентификации* (культурной, социальной, национальной) иммигрантов (этнических североафриканцев – арабов или берберов) и как **кризисного** ощущения своего положения *между двумя мирами* или даже в «*нигде*» (книги Сорейи Нини «Они говорят, что я – “бёрка”», Нины Бурауйи «Несостоявшийся мальчик», Лейлы Хуари «Лейла ниоткуда»⁴⁶), или как ощущения своей вечной обреченности на *иммигрантство*, «ничейность» или даже «изгойство» (как в книгах Сакинны Букеденны «Гражданство: иммигрантка», Нины Бурауйи «Раненый возраст»⁴⁷ и др.), или же, наоборот, как ощущения своей *равнопринадлежности* и тому (своему, магрибинскому), и другому (западному, французскому) мирам [документальные книги кабилской певицы, избравшей сценический псевдоним Джюра (вершина горного хребта на ее родине, в Алжире) «Покрывало молчания», «Сезон нарциссов»⁴⁸; А. Бенайсы «Рожденная во Франции»⁴⁹; «Между двух я» Суад Бельхаддад⁵⁰, как и лирическая повесть Софии Мумен «Мой отец – малыш “бико”»⁵¹].

⁴⁶ S. Nini. Ils disent que se suis une beurette. P., 1983 ; N. Bouraoui. Le garçon manqué. P., 2001 ; L. Houari. Leila de nulle part. P., 1993.

⁴⁷ S. Boukhedenna. La nationalité: immigrée. P., 1988 ; N. Bouraoui. L'âge blessé. P., 1998.

⁴⁸ Djura. Le voile de silence. P., 1990 ; La saison des narcisses. P., 1993. Подр. см. ниже.

⁴⁹ A. Benaïssa. Née en France. 1990.

⁵⁰ S. Belhaddad. Entre deux «je». P., 2001.

⁵¹ S. Moumen. Mon père, le petit bicot. P., 2005.

Но глубоко пережитая или проанализированная ими и как «*mal de soi*» – состояние своей личностной дискомфортности⁵² в условиях и восточной, и западной цивилизации, или же, наоборот, как ощущение своего владения «*богатством*» и той, и другой культуры, или же как осознание своей уже состоявшейся «*ассимиляции*» (в том обществе, где человек живет), – эта проблема **самоидентификации** именно в творчестве женщин исследована не только всесторонне, но и обретает некий жизнеутверждающий «вектор», особо ярко проявленный в творчестве Джюры и в книге Софии Мумен: пережив ли трагедию (Джюру, вышедшую замуж за француза, пытались убить ее собственные братья, когда она ждала рождения своего ребенка), поняв ли все драматические перипетии судьбы эмигрантов-родителей, женщины трезво выбирают **путь Жизни** – обычной, *простой*, на той земле, где они *уже живут*, но обязательно надеясь на Счастье, на новую Весну, на «*сезон нарциссов*», на рождение своих детей, которые *построят новый, обязательно светлый и радостный мир*.

Ну, а те, что из Жизни ушли, или она их убила, останутся не просто упреком, горестным напоминанием, но и уроком для тех, кто эту жизнь у них отнял.

И когда сегодня именно у магрибинок – и в Алжире, и в Марокко, и в Тунисе – появляются собственные исследования своей «женской литературы»⁵³, или женской судьбы мусульманки в современном мире⁵⁴, или же когда они сами отвечают на вопрос, в чем же особенность их творчества – в наличии ли некоего тонкого «женского начала» (*le féminin*) или же, наоборот, женской силы

⁵² Об этой проблеме см. нашу работу: «*Mal de soi*» или кризис самоидентификации в пространстве Востока и Запада в кн.: «Чужое: опыты преодоления». М., 1999. Отв. ред. Ш. М. Шукуров.

⁵³ Ahlem Mosteghanemi. Algérie. Femme et écriture. P., 1985.

⁵⁴ Fadéla M'Rabet. Une femme d'ici et d'ailleurs (La liberté est son pays). P., 2005.

и даже ее «агрессии», ее специфических притязаний на свою «женскость», на равную с мужчиной Свободу, по́нятую как абсолютную «эмансипированность» (**le féminisme**), то они отвечают, что «**просто пишут Жизнь**». Во имя самой Жизни. Во имя Свободы. Не совершая при этом ни особого акта повстанчества, ни мужества, ни подвига, не претендуя на «мужскую силу», не объявляя себя «феминистками», не совершая ни акта «высвобождения своей сущности» (*la délivrance*), не доказывая никому своего превосходства. Быть художником и быть женщиной. Оставаться ей и знать, что главное – это Жизнь, которую и надо сберечь от насилия и разрушения, и непременно дать взойти росткам Новой⁵⁵. Даже если они возвращаются к традициям, царящим в *родительском доме*, неудовлетворенные результатами своей обретенной Свободы...⁵⁶.

Подробнее о проблемах, рассказанных в творчестве магрибинок, попытаемся сообщить в наших его «иллюстрациях» и обобщить далее в тексте этой работы.

⁵⁵ Siham Benchekroun. Être une femme, être marocaine ; Ecrire. — in : Le Récit féminin au Maroc. Pluriel, № 15, p. 17–23.

⁵⁶ См. данную в Приложении к этой книге повесть (фрагменты) марокканки Я. Шами «Церемония».

МАГРИБИНКИ В ПОИСКАХ ОПОР И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Встреча с миром женщин Магриба (Алжир, Марокко, Тунис), – это, скорее, прежде всего сегодня, как и вчера, визуальное удивление. Остался, конечно, белый хаик – длинное шелковое покрывало, скрывающее лицо и фигуру, наброшенное на платье, либо расшитый кафтан по праздникам, но и все больше просто «европейских» одеяний, обычных, или нарядных, но это зависит от страны. В Марокко – меньше, в Тунисе – больше, в Алжире – чаще только в городах... Хотя и в горных районах теперь многое изменилось. Одни женщины – более сдержанные в общении, по-французски не говорят, другие, наоборот, охотно разговаривают, и о своих сокровенных делах тоже. Раньше – не на исходе XX (начале XXI), а в середине его, общение женщин с чужестранцами было делом не совсем разрешенным исламской традицией. Другое дело – выучившиеся в школах европейского образца (еще одного наследия колониализма)¹ женщины-интеллигентки (интеллектуалки, как их здесь называют на французский манер). Учительницы в школах, а сегодня и преподавательницы в вузах и техникумах, сотрудницы современных предприятий, дикторы, дизайнеры, адвокаты, врачи, – профессий множество (и никакие почти не запрещены). Они практически все двуязычны, хотя арабский – основной в семье и на

¹ Французская колониальная — именно таковая — политика «ассимиляции автохтонов» была свойственна всем скрытым и явным формам колониализма: от протекторатов (Марокко, Тунис) до статуса «французского департамента» (Алжир) — С. П.

работе, но на интервью идут охотно, от европейек мало чем отличаются, разве что этнически выраженными признаками, говоря свободно и охотно и о том, что пережили, прежде чем достигли «своего уровня», и какие трудности в семьях своих преодолели, и как нелегка жизнь «эмансипированной женщины», да еще если она не замужем. Свобода мышления и коммуникаций не всегда совмещаются с замужеством, если к тому же муж придерживается «старых правил»...

Ну, а если вам встретится женщина-писатель, или вы уже прочли ее книги, то она вам откроет целый мир вами *невидимого*, неразличимого в общем поверхностном визуальном взгляде, мир неведомого, особенного – тот внутренний мир сокровенных забот, желаний, мечтаний, сожалений, любви, – всего того, что не узрешь, не различишь, не услышишь даже в откровенной случайной беседе, интервью или переписке... Мир, открываемый женщинами-писательницами, а теперь их очень много в Магрибе, – это совсем другой мир, встающий со страниц книг писателей мужчин. Их слепок эпохи, образ окружающего мира исполнен глобальных проблем и забот. Дыхание времени – и в книгах женщин. Но это «дыхание» более интимное, более «камерное», более исполненное забот и сомнений повседневных, бытовых, супружеских, или психологически связанных с самоопределением, с необходимостью обретения личного места в окружающей жизни, где много больших и малых огорчений, разочарований, утрат иллюзий...

Эмансипация женщин Востока – дело, конечно, огромного масштаба, но, получив образование, расширив горизонты знания и социального зрения, женщина не лишила мир женщин, встающий со страниц их книг (или данных вам интервью), тонкой пронзительности взгляда, умения найти в «закоулках» повседневности и

забот бытия то, что не всегда подвластно мужскому взгляду. Словом, «гендерный акцент», – непереносимое условие характеристики мира, воссозданного женщиной-художником, писателем, поэтом. Это условие непереносимое, априорное, и его не сотрешь ни при каких манипуляциях с «повсеместным» *стиранием различий* в эпоху глобализации... Разве что, наоборот, расширившееся знание мира, осознание современной эпохи, миграции, жизнь в эмиграции (даже не постоянной), дали женщине возможность сравнения, сопоставления, обострили ту часть их художественного сознания, которая связана с пониманием *различий*. Окружающая реальность обретает под пером магрибинок оттенок не то чтобы особой «душевности», но однако смягчается под спудом забот о судьбах людей, живущих на перекрестке Востока и Запада.

«Зеркалом, стоящим у дороги жизни» (Стендаль) литература была всегда и везде, но для моего региона это особо важно, ибо оно, это мое «зеркало», не только отражает жизнь трех стран – Алжира, Марокко и Туниса, но сейчас во многом и Франции, учитывая количество выходцев магрибинцев-иммигрантов из второго и уже третьего поколения тех, кто уехал в лихие годы после обретения их странами Независимости на Запад. Но проблема «самоидентификации», а попросту, определения себя, своей предназначенности, понимание своей самостоятельности, своего «я», своего пути в жизни и своих опор возникла в литературе магрибинок не только в эмиграции, на стыке Востока и Запада, когда приходится делать решительный выбор «С кем я?», «Кто я?», «Куда идти дальше?», когда сомнения в самовыражении и своей тождественности с кем-то приобретают властный призыв, учитывая и зов семьи, и восточной традиции жизни, и непосредственное присутствие Запада, а

гораздо раньше, когда приходилось задумываться и выбирать между свободой и зависимостью. Причем свободой личной, свободой собственного «я» от диктата традиции, от власти и Востока, и Запада. Если Восток, как казалось ранее, обрекал женщину преимущественно на Молчание, то в последние десятилетия XX и в начале XXI в. уже не только этот вопрос волнует женщин в самом Магрибе.

Женская эмансипация раньше всего проявилась в Тунисе; там Хабиб Бургиба уже в 1956 г. сразу после установления в стране Независимости узаконил женское образование, женское движение, позволив женщинам учиться в вузах, работать, жить самостоятельно. Акцентация личной эмансипированности выражалась уже в 60-е годы в том, что женщины во многих случаях становились главой семьи, принося доход, заработок, порой имея возможность найти работу быстрее и удачнее, чем муж. (Так было и в Марокко в эти годы, и в Алжире — чуть позднее). Они были полноправными членами семьи мужа, и никто не мог упрекнуть их в том, какое платье они носят или как причесываются. Мать мужа оставалась по традиции хозяйкой дома, но невестка была уже свободной от гнета старых традиций (выходить без сопровождения мужчины на улицу, уходить погулять с подругами, сидеть в кафе, посещать салоны красоты и пр. ...). В Алжире в это время еще шла война за Независимость, но и в Марокко король Мухаммед V уже позволил женщинам ходить в школу, посещать высшие учебные заведения. Но если речь шла о женщине незамужней, либо избравшей сознательно холостяцкий образ жизни, либо еще искавшей своего Возлюбленного, то можно сказать, что выбор, основанный на такого рода свободе, всегда был в литературе особо отмечен поисками своего «я», самоутверждением, само-

выражением как существа «абсолютно свободного», не боящегося цепей общественной морали и укоров старейшин. В Алжире уже в середине 50-х, на пороге Независимости, появляются книги, где такого рода личности считают именно женскую свободу основой той великой Свободы, которую отвоевывала страна у колонизаторов. Романы Асси Джебар «Жажда», «Дети Нового мира», или роман Джемили Дебеш «Азиза»² написаны так, как будто их писали «девушки с Запада» (недаром А. Джебар назвала алжирской Франсуазой Саган!) – столь смелы были рассказы о своих чувствах, о потребности *воли*, о том, что женщина больше не желает знать, что она, согласно Священной книге – Корану – «ниже по своему достоинству», чем мужчина. Это уже взгляд не со стороны, а с подлинным знанием мельчайших деталей традиций, обрекавших женщину на жизнь только в наглухо закрытых стенах дома и в тисках патриархальной семьи и ее нравов: эта жизнь больше уже не могла быть единственным идеалом ни Любви, ни Замужества...

В Марокко такие голоса оформились позднее, здесь было царство писателей-мужчин: Дрис Шрайби, Тахар Бенджеллун и др., которые описали женский удел мусульманки со страстью опровержения всех догм и всех видов социального насилия и угнетения³. Поэтому женская душа раскрывалась под пером величайших художников, но это были совсем другие оттенки и краски, чем в книгах женщин-писательниц, уже работавших в новой литературе Магриба. Поэтому, если говорить о том, что без женщин был невозможен путь к прогрессу и независимости, путь к желанной Свободе от уз колониализма,

² Assia Djebar. *La soif*, 1957 ; *Les enfants du nouveau monde*, 1958 ; Djémila Dèbèche. *Aziza*. Об этих книгах см. подробно ниже.

³ Driss Chraïbi. *Le Passé simple*, 1954 ; *Les boucs*, 1955 ; *La succession ouverte*, 1962 и др.

то можно сказать, что голос Ассии Джебар был не только *жаждой Свободы* молодой девушки, но голосом самой жизни, взывающей к Свету, к Радости, к полноте Счастья. Без преувеличения, — маленький роман А. Джебар (ставшей впоследствии, как мы отметили выше, членом Французской Академии изящных искусств) стал выражением самой «Жажды» Жизни огромной части алжирского народа, отдавшего немало жизней его национально-освободительной Революции.

От векового рабства освобождалась не только женская душа, мечтавшая о Любви, о счастье жить без *домашнего рабства*, слепого послушания, оков религиозных догм, запретов, извечного «стыда», который должна была терпеть женщина-мусульманка. Героиня Джебар мечтала о *Воле*, как о глотке свежей воды, о той воле, когда человек сам вправе распоряжаться своей душой, своим сердцем, своим телом, жить в «полете Мечты и предчувствии Счастья». Это, в общем, первая женская лирическая книга от первого лица с первым нарушением «запрета» рассказать о том, **как** хочет женщина быть счастливой... Но и повествование Д. Дебеш — тоже смелый вызов старому миру, но в нем больше его критической оценки (старых, дремучих традиций, живущих в далеких глубинках страны, где о женщинах можно забыть вообще как о человеческих существах). Роман Джебар — скорее о будущем, а не о прошлом мире, если, конечно, это будущее не будет разбито впрах утратой иллюзий. Что и случилось и с героиней писательницы, и с ней самой уже позднее... Но порой свобода и воля для женщины со временем могут обернуться лишь мечтой о «сладком плене» любви и счастья...

А порой горечь утраченных иллюзий, когда женщина имеет, как кажется, все для счастья и свободна, зву-

чит в книге туниски Хафсии Джелилы «Пепел на заре»⁴, где возможность и выбора возлюбленного, и свобода от патриархальной семьи и ее нравов (где царит диктат матери мужа), и свобода смены «партнеров», и муки ревности, и муки счастья не прибавляют героине уверенности в себе; самостоятельность оказывается иногда тягостной, а Любовь «без конца и края» только добавляет неуловимый привкус усталости от самой возможности никем не контролируемого выбора. И безбрежные границы любви утомляют вседоступностью. А потому утренний рассвет не приносит облегчения и счастья, он словно подернут серой пеленой, похожей на пыль пепла на розовом восходе зари. И единственным утешением было осознание своей принадлежности к *своему народу* во время его праздника Независимости...⁵

Так что же и кто же «я»? Кем должна, кем могу быть, каково мое предназначение? Героини магрибинок, «вольные женщины», как бы ставят этот вопрос с самого начала развития новых литератур Магриба, хотя и не сопрягают его пока с властью общества, с его зависимостью от Запада или независимостью, с его Свободой, с его диктатом общественного мнения и новой моралью, которая рождалась в условиях сосуществования разных миров и разных культур. У колониализма были свои цепи, но и свои способы аккультурации, и западный образ женщины потихоньку просачивался в сознание восточ-

⁴ Hafsia Djelila. *Cendre à l'aube*, 1973.

⁵ Мне довелось встретиться с уже давно знаменитой туниской в 1984 г., когда она работала директором культурно-просветительского Центра в столице, Тунисе, и я услышала от нее о том, что она, «как всегда — свободна», и счастлива тем, что отдает свои знания подрастающему поколению. Хафсия Джелила дала и мне много дельных и полезных советов, познакомила с интересными людьми, писателями, художниками. Была приветлива и сдержанна, уже пожилая, но все еще красивая, хотя и с тенью какой-то внутренней печали на лице. Во всяком случае, такой она мне запомнилась. И еще очень удивленной, когда узнала, что ее единственный роман «о личной судьбе» я давно уже прочитала «от корки до корки». С большой благодарностью за знание еще одной судьбы магрибинки... (С. П.).

ной. А это означало, что личное «я» не может жить только без привязи к «окостенелым» нормам и традициям. Оно еще должно соединиться с чувством *личной ответственности* за свою жизнь и свое предназначение. Где-то подспудно, в глубине души, рассвет Свободы занимался вместе с туманом романтических иллюзий, которые быстро созрели в эпоху национально-освободительной войны с колониализмом и быстро рассеивались в постколониальное время. Писатели-мужчины вообще вплоть до конца 80 – начала 90-х гг. (особенно в Алжире и Марокко) будут настаивать на том, что **ничего не изменилось** в существовании женщин-мусульманок, что повсюду царит все тот же «траур собак»⁶, и происходит все то же «отвержение» несчастных существ, подобно собакам («нечистых» существ для мусульман), не имеющих права на личный выбор⁷... У них, мужчин, был «взгляд со стороны», хотя и не совсем, однако реально задевающий основы общества, где Независимость и Свобода не принесли радикальных изменений в общественный строй и общественные отношения, основанные на шариате – мусульманском праве, во многом как бы «ущемлявшем» положение женщин⁸.

...Вопрос о «самоопределении» и самоидентификации женщины-мусульманки вставал еще в 40-е гг., в эпоху колониализма. Даже у принявших католичество алжирок – возьмем, к примеру, Маргариту Таос Амруш, известную писательницу и деятельницу культуры. В ее раннем произведении «Черный яхонт»⁹, написанном еще в 1947 г. появляется этот акцент *самоутверждения*, пусть в рамках той среды, где разность ее с другими ви-

⁶ См.: A. Serhan. Le deuil des chiens. 1998.

⁷ A. Serhan. Le soleil des obscurs, 1992.

⁸ R. Belamri. L'asile de pierre, 1992. Об этом, как и о других отмеченных произведениях, см. подр. в моей работе «Магрибинский роман». М., 2007 и др.

⁹ M. Taos Amrouche. Jacinthe noire, 1947.

дели только по оттенку кожи, – культура в «европейской школе», где училась девочка – героиня романа, была уже *общая*, да и конфессия тоже, но оставалась дистанция *различия*, отличия девочки-берберки, обучавшейся в школе католической миссии наряду с «местными» француженками. Но вся семья ее, как и ее горная местность, была уже во власти «белых отцов» – католиков-монахов, прививших «местным» детям-автохтонам с раннего возраста французскую культуру. Однако «Черный яхонт», как называли школьницу европейцы, оставался заметным *этнически*, и девочка чувствовала, что она – «не своя», «другая», и ей не хватало **опоры**, которая вскоре станет именно ее способом самоутверждения в мире. Она, как и сама писательница, понесет свою родную культуру на Запад, станет известной берберской певицей и танцовщицей, будет пленять мир *своими* национальными сокровищами – голоса, костюма, текста песен, жеста, танца... А заодно М. Таос-Амруш и продолжит писать по-французски, уже на склоне лет напишет роман «Воображаемый возлюбленный»¹⁰, где отразит блуждания своей души и полет сердечных фантазий... Но и в ранней книге своей – «Улице тамбуринов»¹¹ – она будет защищать не только свои традиции, но и девичьи мечты о женском счастье, о мечте о свободе, о счастье «жить по-своему»... В «Воображаемом возлюбленном» – скорее, уже европейский взгляд на то, как должна жить «свободная женщина», не знающая, что такое религиозный запрет, старые догмы и патриархальные нравы семьи, требующей от *дочери* полного послушания.

Можно, заглянув в будущее, сказать, что М. Т. Амруш последовала Джюра (псевдоним кабийской певи-

¹⁰ М. Taos Amroiche. L'amant imaginaire, 1975.

¹¹ La rue des tambourins. P., 1956.

цы), которая тоже пленяла воображение парижан экзотическими танцами и песнями горных берберов. Ей ее свобода и известность достались тяжелой ценой: ее старший брат, противившийся ее браку с французом, решил убить ее прилюдно, вспоров ей живот на восьмом месяце беременности. Женщину и ребенка удалось спасти, брат был осужден, а Джюра осталась верна своим принципам жизни, сочетая «свое» и «чужое» в гармонии любви и счастья. И в книге своей, уже вышедшей после трагедии, «Сезон нарциссов»¹² она защищала свое право быть и «той», и «другой», право на надежду, что восторжествует Весна Человечества... Однако о кровавом следе этой судьбы будут помнить долго, он напоминал не только ужасной расправой, но и судом над человеком, который защищал «свое право» на убийство. Поэтому в вышедшей уже позднее книге Суад Бельхаддад «Между двух “я”»¹³, желание быть и «той», и «другой», и североафриканкой, и европейкой, жить, где нравится и не чувствовать себя «ущемленной» ни на Востоке, ни на Западе, несмотря на весь молодой задор и уверенность, что «старые традиции» можно легко преодолеть, их не замечая, вызывала сомнение в сиявшем романтизмом оптимизме молодой женщины...

И хотя «смешанные браки» все еще продолжают множиться, это не значит, что этноконфессиональные противоречия преодолены, и в восточных, и в западных семьях не остаются твердыми принципы, защищающие вековые традиции в поведении дочери или сына, в воспитании детей, должны знать, **кто** они, и **откуда** родом¹⁴. «Вседозволенность», надо сказать, во Франции, среди молодежи все чаще «обрывается» в этнических гетто, которых становится в стране, особенно в больших

¹² Djura. La saison des narcisses, 1994.

¹³ Souad Belhaddad. Entre deux «je». P., 2001.

¹⁴ Подробно см.: Крылова Н. Л. и Прожогина С. В. Смешанные браки. М., 2002.

городах, все больше, и «целостность» нравов этих самовозникающих компактных поселений мусульман, оберегается не только традициями мусульманской жизни, но и присутствием мечетей, где юноши учатся жить по законам шариата и девушкам не дозволяется выходить замуж «за иностранца»... Хотя именно «смешанные браки» – немалое основание для проверки успехов политики интеграции эмигрантов, серьезный аргумент в пользу возможности сосуществования и скрещения разных миров на одной земле...

Но даже в случаях удачных остается какой-то след, «зазубринка», «укол в глаз» – на эти пары смотрят, их пристально разглядывают, делают вид, что не замечают, и это *различение* остается надолго, продолжая сохраняться в жизни метисов, – плодов любви этих смешанных пар¹⁵... В детских садах, в начальных школах особенно. Когда-то романтический порыв героини А. Джебар безраздельно отстаивал только *свою свободу*, не замечал «другого». Теперь все чаще именно «свое» и «чужое» отмечается в человеке, а разделение на эти категории (не просто «тот» и «другой», но именно «свой» и «чужой») заметно раскалывает общество, где полиэтнизм уже очевиден...

Почитайте книги Сорейи Нини, Тассадит Имаш, Лейлы Себбар и мн. др. магрибинских писательниц-иммигранток во Франции, и вы поймете всю боль души тех, кто пытался устоять на перекрестке миров, думая, что выбирает свободу. Причем, следует заметить, что мужчины на этом «перекрестке» – не более стойки, они страдают не меньше от расистских оскорблений, женившись на мусульманке, или наоборот, когда французка выбирает себе в мужья мусульманина. «Вдова и повешенный» Лейлы Себбар – яркое свидетельство та-

¹⁵ Подробно см.: Крылова Н. Л. и Прожогина С. В. Метисы. Кто они? М., 2004.

кой истории¹⁶, когда мужчина-магрибинец не выдержал «французского контекста» и свел счеты с жизнью.

Поэтому ни дилемма, характерная для героинь книг магрибинок (мне все равно, кто я, — или «та», или «другая»), или утверждение, что мне все равно, кто я: я и «та», и «другая», не являются признаками завершающегося процесса самоидентификации; просто это — явления мультикультурной эпохи, когда выбор своей культурной идентичности не столь прост, а если связан с конфессией, то и ответственен.

Осадок (или остаток?) ощущения различия культурного, цивилизационного, этно-конфессионального, остается с основным векторным измерением. Путь ли только на Запад или только на Восток, путь ли туда и обратно с вбиранием в себя черт и восточной, и западной женщины для магрибинок — западных арабов, живущих на южной границе Средиземноморья в непосредственной близости к Европе, — этот путь самоопределен извечно. И они всегда будут чувствовать и знать, что их удел — быть и «той», и «другой» в какой-то мере. Даже отважная алжирка Малика Мокеддем, врач по профессии, избавившись от гнета типичной патриархальной семьи, где за каждым ее шагом следили братья по велению отца, уехав во Францию, став *писательницей* на доступном всему миру языке рассказывающей правду о своей жизни, когда пишет свои повести и романы¹⁷, в исповедях этих не может абсолютно точно «пришвартоваться» ни к одному из берегов: на восточном — власть Традиции, погубившей и ее мать, и ее судьбу. На западном — томят воспоминания о прошлом... Восточный берег связан с детством, юностью, с первой любовью. Западный — с властью чужой морали, чужими нравами, хо-

¹⁶ Leila Sebbar. La veuve et le pendu. P., 1990.

¹⁷ Их немало, и многие отмечены выше в наших сносках. — С. П.

тя и в ореоле свободы действий и выбора. И в названии ее романа «N'Zid», в переводе на французский означающее «Я возвращаюсь», – постоянство движения, скитания – хоть и вынужденно – в открытом море на корабле, на который она попала каким-то образом, смутно припоминая причины, скитания в поисках, где бросить якорь... Они не заканчиваются ничем, но героиня романа, так и не выбрав берега, слышит постоянно далекий напев флейты пастушка, которого в юности любила слушать она, предаваясь мечтам о счастье...

Вечное скитальчество как обреченность на постоянные мятежные поиски свободы и счастья чем-то напоминает интонации «Пепла на заре» Хафсийи Джелилы, где серый оттенок рассвета мешал «розовым» ожиданиям...

Свобода достается трудным путем и часто смотрится с невероятным удивлением: якорь, если он все-таки брошен женщиной, то уж в глубину невероятную. А потому оказывается прочной основой спокойствия ее души и тела, уравновешенности между свершившимся супружеством, выбором Дома, и терпеливым ожиданием восторгов идеальной любви и счастья. И тогда неважно, кто ты, – «та» или «другая», главное – *бросить якорь*, обрести покой, пристать к берегу...

Как рассказывает алжирка Фарида Бельгуль, для женщины, пусть даже еще девочки, важным оказывается – остаться «самой собой». Героиня ее особо любимого мной романа «Жоржетт!»¹⁸ маленькая арабка из эмигрантской семьи, обучающаяся во французской школе (подобно героине туниски Хафсийи Джелилы из «Пепла на заре»), ни в коем случае не хочет быть похожей ни на одну из своих школьных подруг-француженок и носить похожее на них имя: ни Жор-

¹⁸ Farida Belgoul. Jeorgette!, 1989.

жетт, ни Доминик, ни Матильда... Тем более не хочет подписать *чужое* письмо (которое ей дала какая-то французская бабушка, сидевшая в саду на скамеечке и которой редко писал ее сын, а ей так хотелось похвастаться «новым» письмецом перед соседками...). «*Никаких чужих имен*, – твердо решила девочка. – Я не Поль и не Жан». Этого не случится никогда. Главное – сберечь *Свое имя*, **Малика**. Пусть даже повсюду властвует чужой авторитет и повсюду – чужие люди... Но Жизнь ей не улыбнется. В семье не дождутся ее возвращения из школы. Тяжелый грузовик раздавит ее по дороге. И мечты о том, что она сумеет «остаться самой собой» в любимой ей семье своих родителей так и не сбываются. И Фарида Бельгуль, можно сказать, ставит жуткую точку, раздавив маленькую девочку в чужой стране...

Нечто похожее на этот финал поисков «своего я» и в через десять лет вышедшей книге полу-алжирки, полу-француженки (по матери) Нины Бурауи «Раненый возраст»¹⁹. Она, пережив трагедию вынужденного отъезда семьи во Францию (в родном и горячо любимом Алжире, уже всю символически отмеченном реально случившемся землетрясением, шла гражданская война, и все так или иначе «не вполне арабы» подвергались жестким репрессиям), тяжело воспринимает оказавшуюся в «холодной» и не менее враждебной окружающей среде. Европа, Франция не только кажутся абсолютно «чужими», но и заставили еще больше и глубже понять и природную красоту Алжира, и ничем не восполнимую привязанность к любимой земле, «оставленной за Морем». Она так страстно будет желать воссоединения с нею, так безумно искать ее повсюду, где были хоть какие-нибудь ее приметы, что уйдет в лес, в чащу его, где

¹⁹ N. Bouraoui. L'âge blessé. P., 1998.

у корней «могучего дерева», уходящих «куда-то в глубину», станет рыть, скрести ногтями чужую «холодную землю», чтобы докопаться, «дойти до истоков» *своей*, залитой солнцем и омываемой теплым морем, исполненной прекрасных воспоминаний о счастливом детстве...

...Она, героиня Н. Бурауи, конечно, погибнет в вихре своего безумия. Но писательница, несмотря и на личные тяжелые испытания и в своей судьбе, оставила глубокий след в литературе, тех алжирцев, которым и до сих пор, уже давно живущим в эмиграции, не удастся забыть свою «самосущность», «имя собственное»...

Возможно, надо искать компромисс. Приспосабливаться, приноравливаться, сглаживая углы непонимания, недовольства. Претерпевать раздражения чуждостью, серостью, а не яркостью платья берберской матери... Вообще, как быть с выживанием даже там, где окружает тебя и в твоей стране, вовсе не чужой, а там, где ты родилась, диктат строгой мусульманской общины, который не всегда, да просто никогда, не может совместить твои порывы уже получившей образование женщины с тем, что ждет в глухих стенах традиционного дома на новой родине. В пространстве современного социума, ты – дизайнер, журналистка, врач, адвокат, учитель и пр., а в доме мужа – послушная рабыня его матери... Стоит ли удивляться реакции марокканки Малики Уфкир, написавшей две автобиографические книги («Чужестранка» и «Узница»)²⁰ после выхода на волю с каторги, где она провела в темноте 18 лет со своей семьей (ее отец был казнен, обвиненный в заговоре против короля Хасана II) и отвергшей общество, в котором предстояло жить заново? Когда-то она училась в престижном лицее вместе с дочерью короля, когда-то чита-

²⁰ Malika Oufkir. La prisonnière, 1995; L'Etrangère, 2006.

ла множество книг, свет которых помог выжить ее семье во мраке подземелья: Малика пересказывала их содержание, словно Шахерезада, тянув время, чтобы люди, слушавшие ее, жили дальше... Но когда случился подготовленный, наконец, побег, и все оказались на родной земле, на свободе, Малика поняла, что она, уже почти сорокалетняя женщина, — здесь — чужая. То, что открылось взору, не радовало. Прогресса она не увидела, а рутину старого пережить не смогла. Свобода женщины здесь показалась иллюзорной. И она выбрала Запад. Но и там все оказалось не так радужно, как ей, старой узнице, мерещилось по ночам. Запад был падок на сенсации, но дружелюбие было показное, личная жизнь не складывалась, и что оставалось? Двигаться дальше, лететь в Америку, оттуда снова во Францию, но только не возвращаться туда, где современный мир зиждется на законе «давно одряхлевших традиций»... Документальное повествование М. Уфкир стало болью самовыражения испытавшего не только почти двадцатилетний ужас тюрьмы человека, но и нежелание мириться с «чудесами» прошедшего быстро времени, которое принесло женщине не столько освобождение от мрака невежества, сколько, в конечном счете, *необходимость смирения* с законом шариата. И в этом плане образованные магрибинки, в отличие от героини повести Фарида Бельгуль, сравнивая себя с европейскими женщинами, не просто не хотят им «уподобляться», но считают себя «лучше», ибо живут жизнью *праведной*, упорядоченной, несуетной, воспитывают детей по морали, *завещанной предками*, не позволяя торжествовать закону «публичной жизни». Это — со слов матерей семейств, из книг женщин-магрибинок, которые о свойствах души женской знают не хуже, чем их великие соотечественники — марокканцы Дрис Шрайби и Тахар Бенджеллун, или

алжирцы Рашид Буджедра и Рабах Беламри. Но это только «сгущенное» представление о разности Востока и Запада. В книгах современных магрибинок есть описания – не меньше и не проще, чем в книгах их соотечественников, писателей-мужчин, о дремучих обычаях Востока, о жутких женских традициях, следуя которым можно умертвить плоть женщины, если ее обвинят в «прелюбодеянии»... (или закидать камнями до смерти – дело обычное, даже сегодня...²¹)

Так, в повести упомянутой уже выше Суад Бахешар «Ни живых цветов, ни погребальных венков»²² сила художественного обобщения не меньше, чем в творчестве Д. Шрайби, Р. Буджедры, А. Серхана – писателей-мужчин, рассказавших свои истории о власти «дремучих» традиций. Описанная С. Бахешар судьба девушки-марокканки, выросшей «в хлеве вместе с животными» (ибо рождение *дочери* и до сих пор в некоторых, особенно южных, племенах считается «бесчестьем» для мужчины-араба) и только в четырнадцать лет научившейся правильно говорить, читать и писать с помощью спасшего ее от *исчезновения*, от нечеловеческого существования деревенского учителя-француза, давно поселившегося в этих краях, кажется современному читателю невероятной. Но Суад Бахешар сумела рассказать так, что всё произошедшее не только ей знакомо или ведомо ей самой, но стало и некой отметиной эпохи, которая снова стала бороться со «Светом знания», особенно если оно как-то связано с желанием *Свободы*... А Учитель, конечно, научив девушку читать и писать, не мог не привить ей этого желания. Но и не смог уберечь ее от мрака человеческих предрассудков. Заклейменная своими односельчанами (буквально!), она под-

²¹ См. роман М. Бей «В начале было море» – M. Bey. Au commencement était la mer, 1996.

²² Souad Bahéchar. Ni fleurs, ni couronnes, 2000.

верглась пытке раскаленным железом, нанесшей ей чудовищное увечье, умертвившее ее живую женскую плоть. Ведь девушка как-то позволила себе *свободную любовь* с сельским пастушком на лоне природы. И ее выследили и почти убили. Но у нее остались силы вырваться из мира, совершить побег оттуда, где еще царят в отношении к женщине «глухота и слепота» людских сердец, подвластных лишь «воле старейшин». Она, конечно, будет пытаться обрести приют там, где, как ей казалось, властвуют «другие порядки», в городе, на Севере страны, «открытом Морю», манящим простором Свободы, Надежд... Но и там познает унижение, встретится с бесчестьем мужчин, бесправием женщины, «коррозией» людских сердец, пока снова не будет «спасена», как ей показалось, *чужестранцем*, тоже одиноким, тоже прожившим свою нелегкую жизнь на *чужой стороне*, спасаясь от своего прошлого. Хотя реально, в «настоящем времени», ничего особого ждать от своего будущего ни той, ни этому ждать не приходилось. «Спаситель» умер, завещав ей свое состояние, а она, пытаясь восстановить «законность» своего рождения, вернувшись в родное селение, не нашла даже «следов своего существования» на этой земле. Повсюду царило «забвение» и бессилие изменить что-то к лучшему...

... Власть Традиции жизни мусульманки такова, что и до сих пор если замужней мусульманке доведется вдруг испытать любовь к другому мужчине, то кара постигнет ее неминуемо: или муж убьет соперника и расправится с женой жестокими побоями, или опозорит и того, и другого за «адюльтер» так, что один будет вынужден сесть в тюрьму, а другая, со всем своим потомством, на всю оставшуюся жизнь будет «запрещенной», «неприкасаемой», проклятой своими родственниками, односельчанами, соплеменниками. Подобная ситуация —

в романе алжирской иммигрантки, живущей во Франции, Малики Моккедем – «Запрещенная»²³, где героиня, даже вернувшись через много лет в родной городок по просьбе врача местной больницы помочь ему (ее однокурснику по учебе), во время трудной операции, испытывает все еще длящуюся ненависть к ее семье соплеменников, помнящих «позор» ее матери, когда-то изменившей мужу. Отказ больных лечиться у нее (да еще «у женщины»!) вынуждает ее покинуть родные края, в которых и на исходе XX века царили всё те же обычаи и предрассудки...

Но Малика Моккедем написала и о том, как укрепляются причины живучести «прошлого в настоящем», как женщина все чаще становится объектом насилия мужчин, угнетения старших братьев, следящих за каждым шагом своих сестер – школьниц, студенток и даже уже работающих, самостоятельно обеспечивающих свою жизнь. Она вынуждена не только терпеть унижения слежки, угрозы, побои, но и платить своим «попечителям» за возможность учиться и жить самостоятельно. Причины эти названы «стрелами исламизма», – всё усиливающегося в Алжире, как и в других мусульманских странах радикального ислама, не разделяющего тенденции общественного прогресса и приобщения женщин к образованию, которое так или иначе зависит от знания наук, развивающихся на Западе.

Алжирка Ассия Джебар (единственная мусульманка-североафриканка, ставшая Членом Французской Академии) в 90-х гг., в самый разгар исламского интегризма в родной стране, опубликовала на Западе ужасающие документальные свидетельства расправы исламистов с алжирской интеллигенцией, когда с писателей, журналистов, поэтов, учителей буквально сдирали кожу, рас-

²³ Подробно об ее творчестве см. ниже.

стреливали в упор, дабы «избавить», «очистить» общество от тех, кто «продался Западу».... Но в книге ее новелл «Оран, мертвый язык»²⁴, словно доведя эти примеры до крайности, писательница, воспользовавшись хроникой текущих событий, создала картину, возможно самую чудовищную по сути своей в современной литературе Магриба – казни учительницы на глазах у детей, школьников, обучавшихся у нее французскому языку, ворвавшимися на урок исламистами. Они отрезали ей голову (теперь это не «новость» – подобные «картинки» просто шли в прямой трансляции боевиками так наз. Исламского государства...), поставили ее на учительский стол и предупреждали: «Так будет с каждым», кто будет вам рассказывать сказки на языке Чужого».

А потому упомянутый выше небольшой роман алжирки Маиссы Бей «В начале было море», где позволившую себе на каникулах с семьей взрослую девушку «пляжный» роман с соседом по даче убили, *забросав камнями*, возмущенные братья и их друзья, и просто жители прибрежного поселка, обвинив в «смертном грехе» (без согласия родителей, без ведома братьев, – «какая любовь может быть дозволена девушке?») и совершив, по их мнению, «законный» «благочестивый», а главное – безнаказанный поступок...

Но разве продолжать жить «обесчещенной» лучше, чем позорная смерть от забрасывания камнями по очень древней традиции (разоблаченной когда-то еще Христом)? И девушка, героиня новеллы М. Бей «Жасмином ночь благоухала...»²⁵, изнасилованная исламистами, попавшая в больницу с увечьями, не пытается спастись, но предпочтет смерть, покончив с собой, по «подсказке» старой санитарки, понимавшей, что жить дальше нор-

²⁴ Assia Djebar. ORAN, langue morte. P., 1997.

²⁵ M. Bey. Sous le jasmin, la nuit. P., 2004.

мально, даже излечившись от тяжких последствий, девушке не придется: на нее будут всегда указывать пальцем. Она – уже «отмечена грехопадением»... Может быть, жестокая мать в повести Хурийи Бусседжры «Обнаженное тело»²⁶ **сама** «обесчестила» свою дочь заранее, едва та созрела, **сама** совершила физическое уничтожение ее девственности только потому, что сама знала, испытав несчастное замужество, что такое жизнь мусульманки, которой никогда не дозволена радость женского счастья, его обретения или его проявления («это – бесстыдно»), и заранее обрекла дочь на позор? Но и неизбежность жизни в замкнутом круге власти мужчины, дома, его семьи никому не нужного существования женщины как личности, разве это не позор бытия для тех, кто когда-то мечтал о равенстве и свободе?.. Жестокость повести «Обнаженное тело» словно и приоткрывает тайну завесы «вечного стыда и страха» мусульманки, и прорывает эту завесу, уничтожая причину страха, лишая дочь девственности. Но «хранение» чести женщины в исламе – дело спасения собственной чести мужчины²⁷, а потому мать по-своему мстит и мужу, который в повести – воплощение ничтожества. Но совершенный матерью поступок одновременно дает возможность и второго прочтения названия книги, где французское «*dérobé*» может означать и «навсегда скрытое» упрятанное тело, т. е. мать сознательно обрекает тело дочери «*на молчание*», ибо знает, что зов плоти – ничто, а счастье взаимной любви и радости для мусульманской женщины почти невозможно...

²⁶ Houria Boussejra. Le corps dérobé. Casablanca, 1999.

²⁷ Подр. об этом см. приложение к нашей работе: С. В. Прожогина. Женский портрет на фоне Востока и Запада. М., 2006; Ахлем Мостеганеми. Мать и жена в жизни алжирского мужчины.

...Женщины, конечно, не смиряются. Они хотят жить свободно и счастливо²⁸. Их трудно замучить всех, живущих на одном из самых красивых пространств Северной Африки, где давно смешались многие цивилизации, и где нелегко «вытравить» тот дух Средиземноморства, в котором сильно и дыхание Европы... Немало марокканок, тунисок, алжирок, переживших и террор, и насилие, эмигрируют (см., напр., повесть туниски Эмны Бельхадж Яхьи «Пограничные хроники»²⁹, но немало женщин продолжают терпеть установленные старыми традициями порядки. Всё больше обнаруживает себя в литературе и такая проблема как продажа магрибинок в «сексуальное рабство» в Саудовскую Аравию, в гаремы шейхов Персидского залива³⁰; и всё также и сегодня процветает на знаменитой Торговой площади в Марракеше «спрос» на малолетних мальчиков иностранными туристами; и всё также молодые служанки в богатом доме (или юные слуги) обязаны еще и исполнять и «особые желания» своей госпожи или господина...³¹

Однако, возвращаясь к практически автобиографическим свидетельствам Малики Уфкир, упрекать ее в выборе жизни на Западе, или в ее «посторонности» своему Марокко (вспомним, что повесть ее называлась, как и роман А. Камю, только в женском роде, – «L'étrangère») не приходится, хотя и новая ее жизнь была «не слаще», как и любая другая, выбранная поневоле... Просто вечные поиски «лучшего» не бывают облегчением, но порой полным разочарованием – как это

²⁸ См., напр. книгу марокканки Fatouma Djerar iBenabdenbi. *Souffle de femme*. Casablanca, 1999.

²⁹ Belhadj Yahia, E. *Chroniques frantalières*. Tunis, 1991.

³⁰ T. Benjelloun. *Le premier amour est toujours le dernier* (новелла «L'amour fou»). P., 1995; Houria Boussejra. *Femmes inachevées*. P., 2000 (новелла «Mira»). Перевод фрагментов см. ниже.

³¹ Houria Boussejra. *Femmes inachevées* (новеллы «Aicha», «Chrifa», «Fatma» и др.).

случилось с героиней романа, к примеру, туниски Хафсией Джелилы «Пепел на заре», а затем и подтвердилось в творчестве алжирки М. Моккедем³². Малике Уфкир еще повезло, ее не казнили за побег с каторги, потому что в Марокко редко найдешь того, кто забыл, кем был ее отец, высший офицерский чин, генерал, позволивший себе бунт против абсолютной власти монархии...

Поиски «воли» стали предназначением его дочери. А в жизни своей на каторге, во мраке подземелья, среди крыс, картину которой запечатлела бывшая лицеистка, учившаяся французскому языку, литературе и «хорошим манерам» вместе с дочерью самого короля, знавшая жизнь придворных, марокканской знати, — не столько ужас пережитого в заключении, сколько своеобразная метафора настоящего, той реальности³³, где под ярким солнцем «современности», технического прогресса, социальной эволюции и даже эмансипации, могут царить где-то в глубине страны (да и большие города — не исключение...) мрачные нравы, и где только «побег» или эмиграция порой избавляют от кошмара бытия...

Но было бы неправдой сказать, что эта интонация продолжает доминировать в литературе Марокко. В книгах современных марокканок есть рассказы и веселые, и ироничные, и с незлобивой сатирой на нравы и обычаи «традиционных семей»³⁴.

Так же происходит и в книгах алжирок. Вот, к примеру, в конце XX века на другом берегу Средиземного моря неожиданно прозвучало эхо давней книги

³² Подробнее о ней см. ниже.

³³ На эту же тему написан и роман Тахара Бенджеллуна «Это ослепительное отсутствие солнца» (T. Bendjrloun. Cette aveuglante absence du soleil. P., 2000).

³⁴ Об этом подробно см. в нашей «Антологии магрибинской новеллистики». М., 2019.

Д. Шрайби «Это цивилизация, мама!» в творчестве живущей во Франции Минны Сиф. В ее книге «Ужасно по-берберски»³⁵ вызов Современности заставил даже алжирскую Мать защищать жизнь своих детей, оказавшихся вместе с ней в иммиграции. Сама научившись сопротивляться Натиску Времени, «развернувшего» жизнь ее семьи на совсем другом фундаменте, она научила и их не сдаваться, упрямо и упорно ждать свой Новый день, надеясь на человеческую солидарность...

Автор книги, Минна Сиф, – алжирская берберка, выросшая в Марселе, где нашли приют многочисленные мигранты со всех побережий Средиземного моря, пишет о том, что магрибинцы не должны чувствовать здесь себя уж совсем как на «холодной чужбине». Повсюду, в разных кварталах огромного города было и сейчас много и других «выходцев» из Северной Африки, например французов, перебравшихся в метрополию после обретения Независимости Алжиром, так наз. *pieds-noirs* – европейцев, потомков первых колонистов...

Но арабов и берберов, как казалось героине повести М. Сиф, было «особенно много». Они заселили бедные «зоны» Марселя, быстро разраставшиеся, наступавшие с окраин на город, плотным кольцом окружавшие его, наводнявшие его «шумными и пестро одетыми» женщинами с многочисленными ребятами... Арабская и берберская речь слышалась (и слышится сегодня) повсюду – не только на пустырях и городских свалках. Специфические запахи магрибинской кухни доносятся, как и звуки арабской музыки, из городских кофеен и бистро... Это есть и в Париже, в «арабских кварталах». Но обретавший «восточный колорит» южный город с его почти «африканской жарой» «помогал» иммигрантам чувствовать себя «как дома», к тому же они и получали

³⁵ M. Sif. *Méchemment berbère*. P., 1998.

здесь работу, могли учить детей, иметь приличное жилье, социальные права... Поколение старших, потихоньку приспособливаясь, уже «не рвалось» на родину, а поколение детей, взрослея, и не помышляло менять «этот берег» на другой, оставшийся за морем.

Конечно, была и нищета, и всегда не хватает денег на самое необходимое – новую обувь и одежду для детей к началу учебного года; мать экономила на продуктах, покупая «самые дешевые», да и из приготовленного «лучший кусок» отдавала отцу, сама довольствуясь тем, что «осталось в детских тарелках»...

Конечно, жизнь проходила в тесноте, и редко случалось даже здесь «выбраться к морю», отдохнуть, всем, но особенно матери, которой постоянно приходилось искать *возможность подработать*... Она вставала с зарей и ложилась за полночь, – «рая» здесь она не обрела, но и *не озлобилась*, скорее смирилась с тем, что «*повсюду есть свои трудности*»... Ну, а что они, «арабы» (здесь всех магрибинцев – даже берберов – так называют) – люди «второго сорта», то к этому тоже давно привыкли, – ведь все они работали на самых тяжелых работах...

Женщины в иммигрантских семьях смирились и с тем, что их мужья, обычно неграмотные, проведя несколько лет на шахтах, рудниках, заводах, в грузовых портах, на уборке улиц, ремонте дорог, канализации, строительстве домов и пр., – часто становились инвалидами, некоторые – хотя и мусульмане – спивались, а другие, как отец молодой героини романа (*alter ego* автора), – и вовсе бросали свои многочисленные семьи и исчезали куда-то, иногда и надолго, а иногда и насовсем, забывая о своем потомстве...

Но женщины, особенно те, кто был родом из далеких горных селений, где суровая жизнь и природа приучили

их к умению выжить и сопротивляться трудностям, гордые и себялюбивые берберки и здесь, в европейском городе, сумели приспособиться, сносили унижения и насмешки (сохраняя свою манеру одеваться в «пестрое» и «яркое» и повязывать голову цветастым платком) и за-светло шли мыть полы в богатые дома и виллы, а днем бегали по рынкам в поисках чего-нибудь «попроще»; потом готовили, стирали, кормили детей и снова, ночью уже снова шли на работу – мыть посуду в барах, чтобы в семье *всегда был «кусок хлеба и кусок мыла»*...

Они всё успевали, как когда-то в родной деревне, даже «пошутить с подругами» и посудачить со знакомыми, узнавая все «местные новости» – кто умер, кто у кого родился, где играют свадьбу...

Родной говор, слава Богу, *слышался повсюду*, да и вывески на магазинах, булочных, прачечных становились все больше похожими на «свои», североафриканские («У Браима», «Цветок Джербы», «Роза Суса» и т. п.); открывались даже «хаммамы» – традиционные «мавританские бани», где можно было покрасить ладони и ступни ног хной, для особой «красоты»...

Словом, тяжелые будни, иммигрантскую «повседневность» женщины пытались *скрашивать* ощущением «домашности», «привычности», **не поддаваясь** «гнету Чужбины»... Она и так подстерегала их всех, как только пересекали люди границы своих «зон», своего квартала, когда-то, еще в XIX в., возникшего неподалеку от марсельского порта, и давно уже предназначенного городскими властями к сносу, к реконструкции, тем более, что дома, где жили иммигранты, никакой «исторической» ценности не представляли, – эти, построенные «стихийно», панельные многоэтажки... Но мусульманские женщины, пожив на Западе, **научились защищать свои права**, их «новая жизнь» заставила и митин-

говать, и выходить на демонстрации, по-женски, как это делают только магрибинки, сопровождая все манифестации своими звонкими гортанными трелями, выражая свои «предельные» чувства...

И когда будут рушить бульдозерами их дома, некоторые из женщин не захотят покинуть свои уже «насиженные» гнезда, будут сопротивляться машинам и людям, разрушающим их, до последних сил, защищая «свой очаг»...

Конечно, им построят новые бараки, иммигранты переберутся в новые «зоны», но вряд ли их жизнь, – родителей и стариков – изменится радикально: Традицию своего бытия, своих праздников, своих обрядов они перенесут с собой, хотя и **будут продолжать приспосабливаться к окружающему миру**. Они слишком устали раньше «от войн и горя», чтобы затевать еще одну борьбу...

Но дети их не очень рады ни «восточному колориту» Марселя, ни пестрым нарядам своих матерей, из всех сил старающихся как-то «стереть» следы убогости иммигрантской жизни. Молодежь, научившись от старших, от матерей *выживанию*, стремились теперь жить **отдельно, за барьером нищеты**, разделявшим два мира, в одном из которых жили те, кто «правильно говорит по-французски», где «девочки **всегда** играли и учились вместе с мальчиками», где не знали, что такое «власть Отца», «долгий пост», «скорбное клеймо иммигранта», нужного обществу только как дешевая рабочая сила... Новое поколение подрастало, «затаив горечь» разных обид, сознавая свою *непохожесть*, свою *особость*, но одновременно и надеясь на то, что придет день, и все люди «станут похожими друг на друга», что *исчезнет черта*, по которой проходит граница чьего-то богатства и их бедности. Поэтому *переезду* в новые жилища мо-

лодежь скорее радовалась, вовсе не сожалея о «еще раз утраченном Доме»... Надеюсь, что, возможно, начнется и их Новая жизнь. И казалось теперь, что именно здесь, на юге Запада, где почти стерлась и сама граница между Европой и Африкой, Город как бы «затаился» перед грозой, или «спит» пока еще, **«сжав кулаки»** (с. 15), хотя и знает, что Рассвет уже скоро...

Его и ждет старшая дочь своей «ужасно берберской» Матери, научившей своих «сердитых» детей **жизнестойкости**. Они, и это понимает их Мать, сами проложат дальше «свою дорогу». Самостоятельно. Помня, конечно, и жалея тех, кто так и не сумел до конца *разделить* свою прошлую и свою сегодняшнюю жизнь, как бы продолжившую «горный край» в пространство Чужого мира... Но может быть, именно это *соединение* и помогало **выстоять** «ужасно берберской» Матери и научить своих детей видеть **новые горизонты**?

Писательница делает, таким образом, Мать неким символом Моста между Прошлым и Будущим. Реальность такого персонажа, в отличие от героини почти фантастического романа Дриса Шрайби «Это цивилизация, мама!» – несомненна. Так порой выживало и выживает на Чужбине первое поколение эмигрантов, – иначе не было бы на этой земле тех, кого сегодня здесь зовут *выходцами* из иммигрантской среды. Им предстоял не менее трудный путь – вrastания в ту землю, которую выбрали для них родители. Опыт Матери, научившей *сопротивлению чужому*, пригодится, конечно. Но горечь этого опыта скажется в том, что Прошное, Корни, Традиции, эта, с грустным юмором названная молодой героиней романа М. Сиф «ужасно берберская» (или арабская – какая разница?) сущность, эта остаточная сила *разности твоей* с Другим, будет постоянно рождать Конфликт с окружающей действительностью, сталки-

вать «свое» и «чужое» в мире, где живут люди, изначально оказавшиеся на **разных горизонтах** Жизни. О «Конфликте интеграции» я писала много. Здесь же, как это ни печально, но придется сказать, что книга Минны Сиф, возродившая через четверть века образ полной сил и надежд Матери, созданный еще в середине прошлого столетия марокканцем Д. Шрайби, Женщины, радостно и энергично открывшей дверь, смело вышедшей на дорогу Свободы, чтобы «помочь человечеству», остается пока только *вызовом миру*, способному родить некую попытку истинного раскрепощения... Однако, Попытку.

И в этом этапе восхождения Женщины к своей Свободе звучит ее ответ Диктату Современности, видны ее *самостояние*, манифестация ее возможности, *ее способности изменить этот мир к лучшему*.

И еще хочу сказать, что есть нечто особенное в современных повестях и романах о женской душе, написанных женщинами, если отвлечься от горечи жизни, описанной порой безжалостно и жестоко³⁶. О чем бы ни писали сегодняшние магрибинки (марокканки особенно, и я имею в виду книги Фатумы Джерари Бенаденби, Марии Гессус, Ясмины Шамы, Криссултань Риве и мн. др.), есть в их повествованиях одна константная или глубинная мелодия, имеющая точный вектор. Женщина, кто бы она ни была, каким бы ни было ее образование, уровень жизни, какое бы ни было ее отношение к старым традициям, властвующим в современном обществе, словно *успокаивается*, обретая якорь *семейной жизни* (и тут уже не важно – был муж желанным избранником или приведен в дом его родней для образования пары и по договору с родителями девушки). Это успокоение –

³⁶ Об этом подр. см. в нашей статье «И дольше века длится ночь...», в кн. «Насилие и терроризм» (гендерный аспект). М., Ин-т Африки, 2016.

как обретенное равновесие, как найденная гавань, пусть даже в ней бушует часто непогода (или просто разведенная уже женщина возвращается в *родительский дом*)³⁷. И здесь самое время вспомнить книги, написанные уже на склоне лет туниской учительницей Магерцией Амирой Бурназ («Тунис 20-х гг.»; «Тунис 30-х гг.»)³⁸, о которых много писала критика в 80–90-е гг., ибо никто до нее не запечатлел так детально колониальную и предвоенную эпоху, никто так ярко не сумел показать причины устойчивости довольно архаичного уклада жизни в традиционных семьях, как это сделала, вспоминая молодость, мать, отца, сестру, мужа, соседей, весь «свой квартал», где жила в Тунисе ее семья (еще жили и люди разных вероисповеданий), трудную повседневность будней и радость праздников, как это сделала М. Бурназ.

Везде царила мать, а потом и ее старшая дочь, героиня повествования. Отец как бы уходил на второй план, хотя все в доме знали, что Он и есть тот центр, вокруг которого все и вращается: он был и хозяином своего дела (продавцом тканей) и работал с клиентами, и ходил на рынок, а женщины занимались хозяйством, готовили, мыли, шили, поддерживали связи со всеми жителями многонационального квартала туниской столицы, которые любили эту гостеприимную, услужливую, всегда умеющую найти подход к другим людям семью, в которую приходили и за советами, и за помощью. Обретенный в Доме мир, покой и порядок держался до самой Второй мировой войны. Пока не потребовалась эвакуация и прочие испытания, которые могли бы и разрушить другие семьи, но эту – нет. Здесь воплотилось в жизнь твердое правило. *Вокруг матери и отца*

³⁷ См., к примеру, в «Приложении» повесть «Церемония».

³⁸ M. A. Bournaz. Tunis des années 20; Tunis des années 30, 1993.

*собиралась семья, которая поддерживала всеми силами традиционный порядок вещей. Не было разлада, все воспринимали окружающий мир, как складывались обстоятельства. Главное – было довольство и спокойствие матери и уверенность отца. Иллюзий какого-то особенного счастья жизни никто не питал. Дети учились, потом преподавали сами (ковроткачество и рисунок), организовывали досуг, и это все, особенно во время войны (она началась в стране уже в конце 30-х гг. XX в.) из последних сил и сбережений. И переживали все тяготы перемещений, бомбардировок, держались все вместе. Надежда была только на одно – **всё вернется**... Всё будет, как прежде. Ибо Дом и семья – как якорь и в эпоху «модернизации».*

И вот этот лейтмотив книги М. А. Бурназ не избывает, даже знаешь, что автору – более 80-ти лет, что жизнь – другая, что всё изменилось, но она уверена, что все лучшее продолжается... И просто вливает эту веру в своих читателей. И мотив этот не менее настойчиво пробивается из книги в книгу и у молодых тунисок³⁹, и они, особенно в годы полного краха надежд на «жасминовую революцию» в первом десятилетии XXI века, – словно уверены, что всё «солнечное», всё «радостное» еще можно вернуть, даже убедить в этом стариков, возвратить им радость жизни и надежды на мир и покой в доме, у себя в стране, на своей земле⁴⁰... И молодые марокканки, пусть даже не восхищенные обретенным покоем души и равновесием, пусть даже не нашедшие искомого признания «на службе», не могут не удовлетвориться после случившегося замужества наступившим покоем и порядком, и молодые женщины словно *смахи-вают пепел неудач*, затягивавших рассвет густой пеле-

³⁹ См.: Nouvelles de Tunisie. P., 2002; 2012.

⁴⁰ См.: Iman Bassalah. Les fleurs de pois, in «Nouvelles de Tunisie». 2012.

ной. Даже если приходится эмигрировать или оплакивать разбитые мечты о Совершенном Возлюбленном. Семья не то чтобы успокаивает, но восстанавливает изломанность души, неуверенность в себе, в своих силах и возможностях... Этот мотив лично мне по душе. Хотя я имею свое представление о женской доле магрибинок и по книгам их соотечественников-мужчин, которые беспощадны в зарисовках старого мира, держащего в оковах темных предрассудков новый, рвущийся вперед, и по своим личным наблюдениям жизни знакомых мне марокканок, алжирок, тунисок

Конечно, пока еще трудно сравнить кого-нибудь в Марокко с Дрисом Шрайби, нарисовавшим на все века портрет марокканской Матери, ее шаги и в бездну новой цивилизации, и в пропасть черной рутины жизни под властью Патриарха-мужа⁴¹. Пока еще трудно найти что-то равноценное книгам Гонкуровского лауреата Тахара Бенджеллуна, написавшего свои романы о женской участи как реквием надежд на исход из мрака обычаев и суеверий...⁴² Пока еще нет художника, запечатлевшего женскую долю в оковах религиозных догм так, как это сделал А. Серхан⁴³. И у алжирцев, и у тунисцев есть свои крупные мастера, и вряд ли кто может сравниться с Р. Буджедрой⁴⁴, навсегда оставившим «рану» в литературе Магриба от существующего в исламе обряда «отвержения» женщины (или образа «отвернутой» матери, как это сделал и его соотечественник Рабах Белламри).

Конечно, «мужская кисть» и «женское перо», как я уже отмечала, – различные и по своей цели, и по своему вкладу в историю литературного франкоязычия стран Магриба. Но в совокупности все книги, а их множество,

⁴¹ Chraïbi Driss. *Le passe simple*, 1953 и др.

⁴² Tahar Behjelleoun. *L'enfant de sable*, 1985.

⁴³ Abdelhak Serhan. *Le soleil des obscurs*, 1992.

⁴⁴ О его книгах см. подробно мою работу «Алжирская сюита». М., 2014.

вышедших в постколониальную эпоху и даже ранее, в настоящее время являются свидетельствами тех внутренних противоречий общества, которые рождают не только горечь от «тех широких полотен» жизни их стран, словно созданных для рая своей немыслимой красотой, но и условия, когда возникают в этих райских уголках земли братоубийственные войны уже в 90-е гг. XX в. Но в то же время – из этих книг сегодня молодые писательницы черпают свое вдохновение, и как женщины, как матери, как милосердные сестры не могут устоять перед надеждой, что новая эпоха, встреча с новым миром, с его цивилизацией покончит со страданиями и жестокостями, и новый рассвет жизни не будет затмен всполохами гроз и несчастий⁴⁵.

И мне даже показалось, что неслучайно именно Тахар Бенджеллун, написавший столько жестоких повествований о судьбе мусульманки, вдруг создал книгу, хотя и назвав ее «Виноград каторги»⁴⁶, о женщине, которая преодолевает всё, даже чужбину, даже крушение своего дома, но идет вперед, смотрит на будущее радостно открытыми глазами, в которые брызнули, наконец, пусть в самом конце романа, рассветные лучи яркого солнца...⁴⁷

И видя именно в женщине *свою опору*, связывая с ней свои мечты о прекрасном, зная немало о страданиях мусульманок, матерей, которых можно «просто так» выкинуть из дома, трижды произнеся сакральную формулу, и взяв себе новых жен, мужчины, магрибинцы-писатели с глубоким состраданием и нежностью относятся и сегодня к своим героиням. Как это внезапно сделал Р. Буджедра, написав свой роман «Похороны»⁴⁸,

⁴⁵ См., напр.: Fallouma Djerari Benabdenbi. Souffle de femme, 1999.

⁴⁶ T. Benjelloun. Les raisins de la galère, 1997.

⁴⁷ О нем, как и о других марокканских писателях, см. подробно мою работу «Марокканский ноктюрн». М., 2015.

⁴⁸ Rachid Boudjedra. Les funérailles, 2003.

где именно женщина становится героиней Новейшего времени, возглавив антитеррористическую борьбу с исламским интегризмом. Но и творчество Ассии Джебар, и творчество Малики Моккедем, и Маиссы Бей и многих других писательниц сегодня посвящено памяти таких же бесстрашных героинь, оставивших след в истории мира, страдавших, пожертвовавших своей жизнью или погибших под натиском насилия над с огромным трудом завоеванной когда-то Свободы, в жестоко нарушенном «порядке Жизни»⁴⁹.

И в галерее женских образов в магрибинской литературе, созданной писательницами-женщинами, героини ищут себя, отдавая свои силы главному своему делу: строительству родного Дома, в котором будет царить этот «Порядок вещей». Восстанавливается он и в самой литературе: писательницы-магрибинки активно участвуют в процессе эволюции ее жанрового разнообразия, используя «малые» формы прозы, изменяют и ее общую тональность, включают и иронию, и юмор, и мягкую лирическую интонацию⁵⁰.

Будем надеяться, что «женское перо» отточит еще больше и свою остроту, и свою тонкость, не позволив себе раствориться в бездне «массовой культуры». «Мои» магрибинки обрели и свою самостоятельность, и свою уверенность, найдя **свои опоры** в надежном фундаменте *сопротивления* угрозам Жизни.

⁴⁹ Так называл Рашид Буджедра, следуя древним философам, состояние мира до хаоса, воцарившегося в стране в эпоху гражданской войны в Алжире в 90-е годы в своем романе «Le Desordre des choses», 1990.

⁵⁰ См. нашу «Антологию магрибинской новеллистики». М., 2019.

ФОРМЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ ЖИЗНИ И ЛОКУСЫ ЕЕ ОХРАНЕНИЯ В КНИГАХ МАГРИБИНОК

Если пристальнее присмотреться к сущности женской проблематики в творчестве магрибинцев, то можно было заметить в выше изложенном важнейший аспект: некий диссонанс древних устоев Традиции жизни и вызовов модернизации, современности в целом. В середине прошлого, так стремительно пронесшегося XX в., многие страны, в том числе и страны Магриба, выходили на дорогу Свободы, пытаясь избавиться от колониального угнетения. За этим трудным и даже мучительным процессом следили не только историки, политики, социологи. Художникам, писателям особенно, он также был не просто небезразличен, но глубоко интересен именно тем, что это были особые **муки рождения нового мира, нового человека**, которому предстояло идти по новому пути.

Но могла ли долгожданная политическая Независимость как шаг в Будущее гарантировать реальное избавление от Прошлого? Ведь в нем – не только груз колониализма, но и многовековое наследие тех эпох, которые не очень заботились о **Свободе личности**. Тем более, об освобождении женщины-мусульманки. Поэтому для современных художников-магрибинцев в целом процесс **о с в о б о ж д е н и я** человека – это реальная картина Настоящего времени, в котором надо суметь различить и истоки, и преграды, мешающие обретению человеком тех идеалов, с которыми он совершал свой шаг в Будущее. И для многих писателей, как я отметила

выше, именно образ Женщины в окружавшем их мире стал средоточием основной боли Новой эпохи, – в нем словно сконцентрировался конфликт Настоящего и Будущего, ибо Прошлое оставалось живым и почти застывшим именно в пространстве женской судьбы...

...Мусульманский Восток долго, почти до XIX в., больше воспевал Красоту женщины, Любовь к ней (в «классической» поэзии почти соединяя эти концепты с Божественной сущностью)¹, и только на волнах пробуждавшегося национального самосознания, в контексте новых историко-политических событий и острых социальных противоречий восточные «просветители» – и философы, и писатели – обратились к ее судьбе и жизни в *современном мире*. Ставили вопросы (и предлагали свои решения) и о необходимости получения женщиной светского образования, и о ее гражданских правах и свободах... (Египет, Сирия, Ливан, Турция отличались в этом плане особой настойчивостью и упорством, можно сказать даже и отвагой.) Действительно, зачем было «реформировать» всё то, что так основательно, детально, так почти заботливо изложено в основе мусульманской религии, в Коране, где сказано почти всё о главном долге и предназначении Женщины, о *ее роли в семье*, ее правах и обязанностях, как и правах и обязанностях мужчин в отношении к ней? Ее судьба – и в ее настоящем и в ее будущем – была предопределена в Священной Книге мусульман, а, значит, и узаконена главным Законом их жизни...

Однако, Коран, видимо, не смог дать ответы на все поставленные и постоянно встававшие перед человеком Нового и Новейшего времени вопросы в процессе исто-

¹ В Магрибе особенно ярко это проявилось в лирической поэзии эмира Абд-эль-Кадера (или Абд-аль-Кадира) [1808–1883 гг.], считающегося основателем современного Алжира, возглавившего сопротивление его племен французским колонизаторам.

рического развития исламских обществ. И как всегда это было в Истории, о Женщине писали, спорили, решали ее Судьбу, в основном мужчины.

Это сегодня в Тунисе уже введен в научный обиход неологизм – *écrivaine* (жен. род от *écrivain* – «писатель», – слово во франц. яз. всегда бывшее только мужского рода, несмотря на наличие именно в истории именно французской литературы значительных имен женщин...). «Отряды» и тунисок, и марокканок, и алжирок, пишущих и по-арабски, и по-французски (особенно с конца XX в.), настолько уже велики в общем писательском «корпусе», что о «женской литературе» пишутся специальные исследования². Но еще и в середине прошлого, XX века, голоса женщин в литературе и культуре Магриба в целом, вообще позднее, чем другие арабские страны обратившегося к «женской проблематике» как таковой, – раздавались крайне редко. (Исключением были разве что Ассия Джебар и Лейла Дебеш.) И если образ женщины где-то константно возникал в литературе, то, конечно же, это были «голоса» мужчин (Д. Шрайби, М. Диб, М. Маммери, Т. Бенджеллун и др.). Во франкоязычной литературе алжирцев, марокканцев и тунисцев – как основном предмете наших исследований – «женский портрет» мусульманки на фоне историко-культурных, социальных и даже политических проблем возникает в Алжире только в 20-е гг. XX в. в творчестве, к примеру, А. Хаджа Хаму³, и позднее – в творчестве Улд Шейха⁴, т. е. еще в колониальную эпоху, когда собственно алжирский, автохтонный пласт национальной культуры только начал формироваться.

² См., напр., работы Jean Fontaine, Guy Dugas, Charles Bonn и др.

³ Роман «Зохра, жена рудокопа»: A. Hadj Hamou. *Zohra, la femme du mineur*. Alger, 1925.

⁴ Выше отмеченный роман «Мирием среди пальм»: Ould Cheikh. *Miriem dans les palmes*. Alger, 1936.

Но в контексте колониальной литературы в целом (представленной, в основном, европейцами), эти первые ласточки алжирской литературы, хотя и считавшиеся в плане художественном лишь образцами «литературного ученичества», впервые затронули проблему *положения мусульманки*, с образом которой была связана именно ее социальная и культурная роль передачи и сохранения «вечных» ценностей жизни и ее религиозных традиций.

Так, героиня А. Х. Хаму *противопоставлена* писателем своему мужу, который, нарушая заветы Аллаха, предавался пороку алкоголизма, доведя свою семью до полной нищеты. Появившись на страницах французского литературного альманаха, этот роман только в 1977 г. был напечатан в нескольких номерах алжирской газеты «Эль-Муджахид», вызвав критические оценки, суть которых сводилась к тому, что это было произведение «в духе колонизаторов», искавших причину всех бед алжирского народа «в нем самом». Были и другие, полагавшие, что писатель пытался в своем романе «соединить европейский образ жизни с *исламским кодексом чести*»⁵. Но так или иначе, именно в этом произведении читатели, естественно франкоязычные, могли встретиться с образом современной им алжирки-мусульманки, что само по себе было уже значительным в плане постепенной трансформации женской проблематики в литературе Магриба.

В «Мирием среди пальм» (переизданном только в 1985 г.), в плане создания женского портрета **в контексте современности**, автором создан образ алжирской Матери, дети которой от смешанного брака с французом (что само по себе было редкостью в колониальную эпоху, — чаще алжирские мужчины женились на французках, особенно в эмиграции), хотя и получили евро-

⁵См. «El-Moudjahid-culture», № 246, 1977.

пейское образование, **должны** были, так считала их Мать, **продолжить те традиции жизни, которые позволяют им «не офранцузиться до конца»**. Мать осуществит свою мечту, найдя мусульманку-невесту для своего сына и мусульманина-мужа для своей дочери, сохранив тем самым своим детям их **«алжирскую сущность»**...⁶

Можно не соглашаться с французскими исследователями, не видящими «особой эстетической ценности» в первых художественных опытах алжирцев в недрах колониального общества⁷, но даже относясь к ним как образцам литературного «ученичества», нельзя не обнаружить в них примет Нового времени, услышать его дыхание: это была эпоха становления национального самосознания и подготовки алжирцев к движению за Независимость. **И опора на «традиционные ценности» жизни, ее религию, на собственные устои**, помогавшие алжирцам *самоопределиться* в недрах колониального мира и как-то сохранить и свою *самобытность*, и свою *целостность* – не разрушиться, не разъединиться – была, на мой взгляд, и задачей этих писателей, и основным смыслом их произведений.

Но вот уже почти в канун битвы за освобождение Алжира от колониализма, **в 1947 г.**, раздался и другой голос – на этот раз самой женщины, «алжирской мусульманки», как об этом почти с гордостью свидетельствовали газеты, журналы, рекламные анонсы, – Джамили Дебеш, чья повесть «Лейла, алжирская девушка» (**Débeche Dj. Leila, la fille algérienne**) была напечатана на страницах издававшегося французами женского литературно-художественного и общественного альманаха («Revue sociale féminine littéraire artistique», № 1, 25/IX-1947).

⁶ Наш подробный анализ этого романа см. в «Истории литературы Алжира». М., 1993 (авт. коллектив).

⁷ См., напр., J. Dejeux. La littérature algérienne contemporaine. P., 1975.

Героиня этого повествования, наоборот, **бросает вызов именно традиционному обществу**, своей семье, отказываясь жить в «четырех стенах» родительского дома, «вдали от прогресса», не желая продолжать свое «арабское образование», требуя права на свою «личную свободу», уходит из родного гнезда и остается жить у знакомых французов, принявших ее «как дочь» в лоно своей семьи...

И поскольку для меня значима не только «визуальная антропология» или обычный для литературоведа «обзор истоков» рождения современной словесности, но и *тщательное прочтение текста художественного повествования, незнакомого Читателю*, то я познакомлю Читателя с той «картиной мира», которая представлена в книгах Д. Дебеш, тем более что в выбранных мною «иллюстрациях» содержатся бесценные этнографические и социо-политические «зарисовки».

Сама Дж Дебеш, принадлежа к благополучной среде алжирских буржуа, получила образование в европейской школе и продолжила учебу в университете, работая впоследствии над юридической диссертацией об «избирательном праве» алжирских женщин (точнее, об отсутствии такового и его последствиях – политических и социальных). И первая ее повесть – это, в сущности, по собственному признанию автора «Лейлы», – «романизированный вариант» ее научной работы. Таким образом подчеркивалась главная цель и забота молодой алжирки, решительно защищавшей **идеи «социального прогресса»** и требовавшей хотя бы предоставления мусульманке права избирательного голоса, что было в то время сродни требованию вообще изменения ее гражданского статуса в целом.

С точки зрения тех соотечественников Дж. Дебеш, которые отстаивали прежде всего идею *политической*

свободы Алжира, его национальной независимости, «Лейла, алжирская девушка» являла собой пример полной «оксидентализации», т. е. своей «прозападной», «ассимиляционистской» позиции, занимаемой той частью идеологов колониализма, которые отстаивали «социальный прогресс для автохтонов», чье общественное устройство полагалось ими **«варварским»**, **«диким»**, **«отсталым»**. И таким образом алжирские националисты решительно относили начинавшую писательницу к лагерю *«защитников колониализма»*...

Однако, Дж. Дебеш не сложила своего «оружия» и уже в разгар национально-освободительной войны в 1955 г. опубликовала свою вторую книгу – роман «Азиза»⁸, где открыто полемизировала и с защитниками «национальных идей», совмещенных с *традиционализмом*, и по-своему разоблачала *«традиционные устои»* жизни, отнимавшие у женщины-мусульманки личную свободу, право на собственный выбор своей судьбы, своего места в окружающем и быстро меняющемся мире...

Не случайно, что роман «Азиза» (его тематическую интерпретацию я начну с необходимой, с моей точки зрения, экспозиции) – а это уже было произведение «полноценного» художественного жанра – был опубликован в то время, когда шла Алжирская антиколониальная война (1954–1962), хотя очевидно, что события, описанные в нем, относятся к концу сороковых – самому началу пятидесятых; и позиции французов здесь еще довольно сильны, и действия алжирских политиков и «активистов» еще несут печать зависимости, «подготовительного» периода, стихийной «митинговости» или «подпольности». Однако автору важно было показать именно эту стадию политической «кухни», когда зрели и еще долго проявлялись те внутренние разногласия и

⁸ «Aziza». Alger, 1955.

противоречия в лагере и тех, кто был на одной стороне, и тех, кто стоял на другой (что само по себе создавало довольно редкую картину – в литературе Алжира – жизни колониального общества **в преддверии его конца**).

«Мозаика» колониального Алжира складывалась не только из сосуществования на одной земле разных этносов (и европейцы были «многосоставны», и среди алжирцев были и арабы, и берберы, и представители других этносов), разных конфессий, разных культур, но и социальных слоев, где были не только крупные колонисты и промышленники, но и мелкие землевладельцы, коммерсанты, интеллигенты (школьные учителя, преподаватели лицеев и высших учебных заведений, писатели, журналисты, художники и т. д.), среди которых были и выходцы из автохтонного населения страны, сумевшие получить французское образование. И фиксация этих «примет» колониальной жизни – довольно интенсивна в романе Дж. Дебеш и в биографиях подруг и друзей героини, и в описании различных кварталов и столицы, и других крупных городов, и алжирской «глубинки». Но и сама «интрига» завязывается в недрах колониального общества, его *«смешанного состава»*, когда молодая алжирка, сотрудница французского агентства печати, оказывается на приеме в доме крупного журналиста, где встречает в кругу званных и именитых соотечественников и «сливок общества» своего друга детства, который, как и она, – родом из далекой деревни, но успешно начинающего свою карьеру, став модным адвокатом.

Оба «соплеменника» выглядят «почти европейцами», одетые в европейское платье, прекрасно говорящие по-французски даже между собой, мало чем отличаются от окружающих...

Но Дж. Дебеш пишет своей роман, стремясь, скорее, ограничить его сюжет чисто «любовным планом», а потому ее зарисовки своей, привычной и ей, и ее героям среды, не столько самоцель, сколько фон, на котором развивается основное действие, задуманное как событие, связанное в основном с личной жизнью Азизы. Да и словно «наугад» выхваченный из текста Корана («II; 235) эпиграф («наугад», потому что не вполне точно соответствует смыслу оригинала во французском переводе: в обращенных в Коране к мужчинам назиданиях речь идет, как следует из предыдущих его строф, о «вдовах», а не «невестах», роль которой вскоре будет суждено играть Азизе), настраивает именно на этот, любовный «лад» (но и «разлад» тоже): «На вас греха не будет в том // Коль к этим женщинам намеком тайным // Вы обратитесь с предложением о браке // Или сокроете в своей душе намерение это, – // Ведь ведает Господь о том, // Что Вы о них в заветной памяти храните, // Но тайных обещаний не давайте им // И речь пристойную ведите. // На узы брака с ними не решайтесь, // Пока не истечет назначенный им срок⁹ // И знайте – ведает Господь // Всё, что сокрыто в ваших душах. // Остерегайтесь гнева Бога... (Коран. Сура 2, аят 235. М., 2001. Все переводы на русск. яз. имеют именно **этот** смысл. Здесь я использую перевод В. Пороховой. – С. II.).

Но как и в несколько расширенном писательницей смысле этого коранического **послания мусульманским мужчинам** («Желание жениться на женщине... абсолютно не делает вас виновными перед Богом, – переводит Дебеш. – Он знает, что вы не можете помешать себе

⁹ «Четыре месяца и десять дней» было отведено Аллахом вдовам, чтобы выждать возможность их очередного замужества. Здесь и далее — цитаты из текста романа, переизд. в 1985 г. в Париже.

думать о женщинах...»¹⁰), изначально слышится некий диссонанс, так и в изображенном ею «фоне» – среде, где завязывается действие, – почти сразу же отмечается некий «распад», расслоение его на очевидно **разнородные части**, хотя и связанные рамками одного общества: мусульманскую – алжирскую и европейскую.

Алжирцы, пришедшие на великосветский прием со своими *закутанными в белые покрывала* женами, тяготеги друг к другу, стояли несколько поодаль от других гостей, образуя отдельную группу, а те – свою. И в отличие от своей бойкой подруги, тоже алжирки, но сразу отдавшей предпочтение европейскому кругу гостей, Азиза, хотя и больше похожая именно на них, почувствовала некую «неловкость»: **«Ни там, ни здесь я не ощущала себя на своем месте»** (признаётся она себе самой) (с. 9).

Свои, алжирцы, казалось, слишком подчеркнуто противопоставляли себя французам, разговаривая между собой по-арабски, хотя и привели сюда своих женщин, что противоречило обычаю... А среди европейцев были и те, которых Азиза старалась избегать еще со времен своей учебы в Университете, где они преподавали: в их речах она не раз слышала презрение к мусульманским студентам, недоверие к их возможностям и способностям постижения «современной науки»...

Были и журналисты, не стеснявшиеся сказать вслух о том, что, «несмотря на столетие колонизации», алжирцы так и не восприняли «цивилизацию». «Эти дикари никогда не станут культурными людьми. Им и два века будет недостаточно» (с. 10). Заметив этих людей на

¹⁰ Из эпиграфа к роману «Азиза»: «Le désir d'épouser une femme, soit que Vous le fassiez paraître, soit que Vous receliez dans Vos coeurs, ne Vous rendra point coupable devant Dieu. Il sait que Vous ne pouvez Vous empêcher de songer aux femmes. Mais ne leur promettez pas en secret, à moins que l'honnêteté des discours ne voile votre amour» (По свидетельству специалистов, французские переводы ближе к тексту арабского оригинала. – С. П.).

приеме, Азиза, несмотря на то что сама была здесь принята как «равная среди равных», почувствовала себя *чужой* среди всех этих «своих»... Спас Азизу от плохого настроения Али, которого представила ей ее французская подруга.

В сером европейском костюме и ярком галстуке молодой адвокат был неотразим... Они вспомнили друг друга, свое детство, проведенное в родном обоим селе-нии, вспомнили, что оба принадлежат к одному довольно знатному и древнему роду, восходящему, как говорят, к знаменитому арабскому племени Корейшитов, из которого – «сам пророк Мохаммед»; улыбнулись тому, что, несмотря на все свое благородное происхождение, *они оба не остались со своей родней в горной деревне*, уехали в город учиться, предпочли жизнь и учебу в столице, французскую школу, Университет; и вот теперь, спустя столько лет, жизнь снова свела их в этом престижном обществе и салоне...

Девушка, давно осиротевшая, жила со своей старой кормилицей, зарабатывая на жизнь собственным трудом. Али – в родительской семье, перебравшейся к нему в Алжир. Пригласив Азизу в гости, он не скрывал своих чувств к ней и надеялся, что и его родные вспомнят о ней и полюбят ее тоже...

Так Азиза снова оказалась в кругу традиционной семьи, где отец сохранял почетное звание Шейха (совершив в молодости хадж к святым для мусульман местам) и все обращавшиеся к нему с приветствием и не называли его иначе, целуя при этом его руку... Авторитет его был непререкаем. Мать носила традиционную одежду – длинное, глухое, с ручной вышивкой платье-кафтан, подпоясанное широким поясом, покрывала голову платком и никогда не выходила на улицу одна, без сопровождения старшего сына. Тот тоже придерживал-

ся «арабского образа жизни», был дружен с теми, кто состоял в «политических группировках, **защищавших национальные традиции**» (с. 19). Он честно сказал пришедшей в дом к Али Азизе, что знает о чувствах молодых людей, но не разделяет выбор своего брата и желает и Азизе, «**давно живущей на западный манер**», подобрать себе в мужа «кого-нибудь из европейцев» (с. 20). Хотя и он, как и Али, носил костюм английского покроя и тщательно подобранный к нему галстук, не покрывал, как отец, голову феской, что заставило Азизу усомниться в «искренности его предостережения». Видимо, подумала, старший брат «подобрал» в жены младшему «кого-то позначительнее», чем она... Но, несмотря ни на что, дружба Азизы с Али продолжалась, хотя официального предложения он ей не делал. Но любовные стихи читал ей *по-арабски*, зная многое наизусть из классики, давая ей понять, как дорога она ему, как «оживляет пламень его души»...

Однако со временем Азиза стала замечать, что характер его менялся, он казался нервным и чем-то встревоженным. Все чаще ему приходилось выступать на политических судебных процессах, защищая тех, кого обвиняли в «антифранцузской деятельности». Страна вступала в полосу тяжелого политического кризиса, в колониальном обществе нарастало движение протеста против французского колониализма, а вместе с этим росли настроения глубокой неприязни к тем, кто «*служил делу Запада*», став «последователями и проводниками его цивилизации», его культуры.

Окружение Али, его алжирских коллег и товарищей, как и его брата, не могло не «смущать», что Азиза живет «свободно», одна, самостоятельно обеспечивая себя, работая во французском агентстве печати. Да и сам Али не мог не видеть, что его выходы с ней в «общественные

места» – кафе, кино, рестораны – вызывали косые взгляды алжирских мужчин: **мусульманской женщине надлежало оставаться дома...** (с. 25). И самый близкий друг Али – Джерид, который уже был под надзором французской полиции, – не скрывал своего раздражения «западным стилем жизни» его невесты, рьяно защищая «экстремистские», с ее точки зрения, теории, решительно осуждая всё, что так или иначе было связано с «западной цивилизацией» (с. 28). Его позицию разделяли и другие товарищи Али, настаивая на том, чтобы и он «окончательно» сформулировал свое отношение к французам и свои адвокатские усилия облек в политическую борьбу... «Параллелизм» личного и общественного бытия был уже невозможен: слишком далеко отстояли они друг от друга, и чтобы не оказаться в бездне этого разрыва, и Али, и Азизе надо было делать **свой выбор**.

Встреча Азизы с подругами по годам учебы лишней раз подтвердила, что алжирки, даже образованные, жили в основном «согласно воле родителей», редко выходили из дома, не закрыв лица, соглашались на брак с тем, кого им **выбирал отец** (порой, как это было в случае с Миной, дочерью богатого коммерсанта, **не видя и не зная даже своего будущего мужа до самой свадьбы** (с. 37). Но об Али, который был теперь очень популярен, блистательно выступив в суде в защиту своего друга Джерида, *рьяного «традиционалиста»*, все подруги Азизы знали, что он – ее жених, и настойчиво расспрашивали о том, когда ее свадьба...

Знал об их отношениях и ее французский друг – известный журналист, помогавший в свое время устройству Азизы в престижное агентство печати. Как-то встретив ее в редакции, он грустно заметил, что она, «ставшая *совсем похожей на европейку*», теперь «отдалится

от них»: «Мы теряем свои ряды...» (с. 43). И хотя он был из тех французов, которые не считали Алжир «чужой» страной, свободно говорил и читал по-арабски, искренне желал алжирцам «социального и культурного прогресса», приобщая их к *своей* цивилизации (в конце концов колонизация имела и эту цель!). Французский друг столь же искренне сожалел, что алжирцы, *дорожа «только своими ценностями»* жизни, любой ценой хотят добиться только одного – независимости...

Азиза после разговора с ним подумала «об этой странной оппозиции» *двух* сообществ, существовавших уже так долго на *одной* земле. И что сама она стала и средоточием, и «живым воплощением, и отражением этих общественных противоречий»... (с. 46).

Но ветер весны гнал прочь печальные мысли, а запах цветущего жасмина, проникая во все щели дома, кружил голову. Она ждала Али из очередной его «командировки», в которые он все чаще уезжал, и, наконец, неожиданно он появился и сделал ей предложение, сказав, **что свадьбу они сыграют не здесь, в столице, а в их родном горном селении – дуаре**, как здесь говорили. Не придав этому обстоятельству особого значения, Азиза немедленно согласилась, подумав только о том, что «весна будет еще прекрасней»!

...Только старая кормилица почему-то без особой радости встретила это известие об их отъезде, заметив, что, «видно, речь идет о *традиционной церемонии...как это было у наших предков*» (с. 53).

Для Азизы это все было лишь «формальностью»: главное – Али любил ее. Но кормилица продолжала рассуждать вслух: «Так зачем тогда надо было уезжать, покидать наш дуар?» Азиза, не понимая озабоченности старой женщины, продолжала верить в свою «волшебную сказку», мечтая о предстоящем путешествии как о

чем-то «чудесном и самом прекрасном в ее жизни» (с. 53). Ради Али она готова была уехать сейчас «хоть на край света» (с. 54).

...Родной **Горный Край**, старый дуар был далеким и бедным. Солнце выжгло его и ветер измучил. Старики, женщины и дети выживали там лишь благодаря скудным денежным переводам, которые отправляли своим семьям молодые мужчины, уехавшие на заработки в города или эмигрировавшие. «Селение становилось почти безлюдным» (с. 55). Маршрут к нему был долгим, с остановкой в Сетифе – городе, где Азиза бывала в юности. Али *спешил в дуар*, поэтому особо нигде не задерживались. Наконец, их машина выехала на каменистые и пыльные проселки – вдали, на горном склоне, уже виднелся родной Бени-Ахмед – несколько домишек жались друг к другу... Пока добирались, стемнело; вокруг было пустынно. Потом, видно, люди заметили их, слышались крики детей, взрывы петард, голоса женщин. Деревня была предупреждена о «радостном событии»: женщины что-то запели, и Азизе на мгновение показалось, что она слышит «провансальские фарандолы», звуки которых ее очаровали когда-то в ее путешествии по Франции... Потом при свете факела в руках какого-то мальчонки Азиза увидела вышедшего навстречу им приветствовать жениха и невесту старейшину деревни – седобородого шейха Хассана, почитавшегося здесь местным святым, «марабутом». Он помнил их еще детьми, обнял Али, радушно обратился к Азизе и дал знак детворе: ребята бросились к «молодым» целоваться...

Азизу пригласили войти в дом, который показался ей здесь самым маленьким. Оказалось, что это – жилище Шейха, которое он предоставил госте, перебравшись в дом к родным жены – здесь почти все уже были родственники... В глубине комнаты стояли вдоль стен не-

сколько женщин — и молодые, и пожилые — «старухи», как подумала Азиза, «возраст которых трудно было определить». Лица всех женщин были украшены традиционной татуировкой — на лбу, подбородке, щеках, — оде-ты они были в яркие цветастые длинные платья, на их шеях висели тяжелые бусы из старинных монет вперемешку с кружочками драгоценного здесь непрозрачного янтаря (из пустыни, бывшей, видимо, когда-то дном моря) и душистыми плодами гвоздики. Женщины бесстрастно смотрели на входившую Азизу, и понять, рады они ей или нет, было нельзя. Скорее, взгляд их был исполнен недоверия...

Однако, как отметила Азиза, в комнате, слабо освещенной керосиновой лампой, был свежесмыслен известкой потолок, на полу лежали домотканые яркие коврики — значит, здесь готовились и ждали ее, а потому она смело шагнула навстречу женщинам, заговорив на их языке, который она не забыла и гордилась, что сохранила местный акцент. И те радостно приветствовали ее гортанными трелями, а потом стали наперебой задавать вопросы... Сели на пол вокруг маленького низенького столика и болтали, угощая гостью и друг друга домашними лепешками и мятным чаем. Ждали, когда принесут багаж Азизы. Вошел мальчик, поставил в комнате чемоданы. Хозяйка дома — жена Шейха — распорядилась, чтобы он их отнес в соседнюю комнату, отделенную от первой занавеской. И за весь вечер больше, кроме него, в доме не появился ни один мужчина.

Азиза напрасно ждала, что к ужину придет Али, но его тоже, сразу же по прибытии, увели в *мужское общество*...

Азизу разместили в «спальне», где стоял на ножках широкий матрас, застеленный красным женским покрывалом — хаиком — и длинным ярким шарфом, которые

деревенские женщины обычно закручивают на голове в виде тюрбана... Рядом с постелью были тазик и белый фаянсовый кувшин, в противоположной стене она заметила дверку, которая, видимо, вела во двор. В углу стоял арабский кованый сундук, куда и выложила содержимое своих чемоданов Азиза. Женщины, собравшись теперь здесь, с любопытством разглядывали ее гардероб, особенно радуясь просторным, в цветочек, платьям-сарафанам, которые предусмотрительно посоветовал ей приобрести Али, знавший, видимо, вкусы здешних модниц...

Наконец, достав со дна сундука какие-то старинные флаконы, хозяйка обрызгала из них гостью и всю комнату настоем из мускуса и лепестков роз. Азиза сполна погрузилась в эту необычную атмосферу, в которой, как она полагала, будет жить какое-то время. Попыталась спросить у женщин, почему так долго не идет к ней Али, но они быстро покинули ее, оставив на ночь, не сказав ни единого слова... Остались только две молодые женщины – *стеречь ее сон*. Для них были приготовлены на полу циновки. А на своем ложе Азиза обнаружила белые, из тонкого полотна простыни и мягкую подушку, поняв, что Али позаботился *заранее* обо всем этом, не забыв положить в ее багаж и электрический фонарик... Так, с думой о своем будущем муже, она встретила первую ночь своей новой жизни, поняв, что отныне ее существование не просто изменилось, но было **«потрясено до основания, перевернуто»** (с. 73) и что отныне она должна попытаться **стать** как все женщины здесь. Жить их жизнью, есть их пищу, носить такие же, как и они, платья, ходить по земле босой, брать воду из ручья, печь хлеб, покрывать голову ярким платком, спасаясь от палящего зноя или ветра, украшать себя тяжелыми бу-

сами и браслетами. **И быть во всем послушной воле мужчины...**

Нравилось ли ей все это? Пока она еще не знала, лишь только исполнилась предчувствием...

Проснувшись утром, она обнаружила, что вокруг никого нет; только откуда-то издалека доносился голос пастуха, созывающего стадо. Али не появлялся; бесшумно зашла только одна из женщин, которые спали в ее комнате, – принесла кофе и хлеб на завтрак. «Си¹¹ уехал в город, – сказала она. – С моими братьями. Они вернутся поздно вечером».

Азиза, вскочив с кровати, попробовала возмутиться: «Но я тоже хочу с ними в город!», – но встретила полный удивления и непонимания взгляд, окончательно поняв, что ее удел отныне – **только смиряться**(с. 76). Вновь стать ребенком, как эта женщина, с желанием которой не считаются, советов не спрашивают. И закричала, не сдержавшись: **«Я ненавижу ваши старые обы- чай!»**

Женщина молча налила ей в чашку кофе, положила кусочек сахара. Потом, посмотрев на Азизу, улыбнулась, сверкнув зубами, до блеска натертыми скорлупой грецкого ореха. Она была по-своему красива в свете утреннего солнца, если бы не синяя татуировка на лице. Азиза сказала ей об этом. Та спокойно ответила: **«Но и у тебя скоро тоже будут эти отметины!»** Азиза окаменела от ужаса, вспомнив, как в детстве она убежала к бабушке и скрывалась в ее доме от этой «экзекуции», и бабушка спасла ее... Теперь же, в приступе слепого гнева она опрокинула столик с чашкой и кофейником; чашка разбилась. Азиза стала трясти за плечи Бахийю – так звали пришедшую, восклицая: «Ты с ума сошла?!» Та в ужасе убежала, решив, что *«бесы овладели Азизой»*...

¹¹ Господин.

Остаться одной и успокоиться не удавалось: в комнате не было двери, а там, где она была, не было замка, поэтому к Азизе снова пришли. На этот раз – хозяйка дома, которая после долгих традиционных приветствий и пожеланий объявила, что сам Шейх хочет побеседовать с ней.

...Марабут сообщил, что свадьба их с Али назначена на завтра, что жители его дуара счастливы тем, что молодая пара почтила их своим прибытием, что женщины объяснят ей, как следует вести себя в день церемонии *согласно их традициям*. «Послушайся их. И да благословит тебя Аллах!» – сказал он на прощание. Уже уходя от него, Азиза услышала, что Бахийя, «ее сестра», прощает ей ее гнев. «Она любит тебя. *Доверяй своим*». (с. 78).

Во двореке, разделявшем два дома, женщины уже готовили кускус¹²; Азиза хотела было присоединиться к ним, но ей вежливо напомнили, что невесте не следует выходить из дому раньше, чем начнется приготовление ее к свадьбе. Она больше не возмущалась; даже одарила Бахийю отрезом на платье, попросив прощения. Та назвала ее в ответ «**своей звездой**».

...Снова приходили женщины, приводили детей, те просили Азизу натереть им ладошки и подошвы босых ножек хной – все готовились к празднику. И когда на небе взошла молодая луна, послышались звуки флейт и местных там-тамов – глиняных полых кувшинов с туго натянутой тонкой сухой, почти прозрачной кожей, – полились гортанные женские трели. Азиза поняла, что свадьба ее близка. Снова зажгли факелы, и наблюдая в оконце – простое отверстие в стене – за разворачивающимся спектаклем, Азиза вспоминала детство и свои ощущения праздничной суеты. Теперь она стала свиде-

¹² Местный плов, но не из риса, а из крупной манки (С. П.).

тельницей приготовлений собственного праздника, но чувства были иные: «Всё это сведет меня с ума. Но что делать?» Потом подсела к женщинам, собравшимся в «зале», и стала вместе с ними хлопать в ладоши, в такт доносившейся с улицы дробы древних там-тамов, постепенно сливаясь с этим ритмом тысячелетий и словно погружаясь в забвение всего окружающего... Но на исходе ночи, когда всеобщее возбуждение и эйфория от предвкушения завтрашней церемонии улеглись, она решила: **«Я здесь ни за что не останусь»** (с. 81).

Однако наутро начались «сборы» невесты. Ей принесли белое длинное платье-рубаху, подпоясали широким шелковым кушаком и сказали, что надо идти к *источнику*. Уже за завтраком Азиза увидела двух черных женщин, с юга страны, которые иногда приглашались в этот дуар для *особых ритуалов*.

Одна из них отметила, что не была здесь уже целый год, но видит, как засуха и печаль иссушали селение, давно уже не знавшее радости... И вот теперь настала пора Праздника.

Черным женщинам предстояло разжечь жаровни, приготовить невесту к *омовению*. Жаровни, кувшины, тазы, кофейники и чайники, запасы провизии были погружены на тощего мула; все остальные сопровождавшие Азизу женщины двинулись босыми пешком по каменистым тропам. На Азизу надели бабуши – кожаные тапки без задников. «Потом, – сказали ей, – и ты будешь бегать сюда босая»... (с. 83).

Она, поддавшись всеобщему веселью, заглушала печальные мысли, идя в этом женском караване, возглавляемом женой Шейха...

Сделали привал, подкрепились, потом двинулись снова. Полуденное солнце нещадно палило, но все упорно шли к цели. Это была **женская дорога**, и никто,

ни один мужчина не встретился им на их пути. Им предстояло важное дело: *приготовление тела невесты к свадебной церемонии*. И вот, наконец, источник, ручей, его холодная горная вода. Женщины побежали с кувшинами, наполняли их, переливали в таз, стоящий уже на жаровне, огонь в которой разжигали негрityнки... Пока согревалась эта вода, другие пили ледяную, прямо из кувшинов, радостно смеялись, шутили, но не забывали, кто был *«королевой дня»*. Она едва смочила губы, передав кувшин жене Шейха. Та оценила ее благовоспитанность. В нагревавшийся таз с водой бросали благовония. Запах ладана и мускуса кружил голову, приводил в возбуждение. Негрityнки приготовили белые простыни, ловко и быстро вымыли девушку, натерли ее кожу и волосы пахучими маслами, укутали и оставили слушать песнопения и рассказы женщин о чудесах, которые случаются в жизни...

Азизе пошли навстречу, когда она отказалась покрасить волосы хной, как это *обычно* здесь делают все женщины. Согласились с ней, что «натуральный цвет» – лучше, во всяком случае, не так уж и плох... Потом все пили чай с мятой, кофе, ели домашние лепешки. Азизу напоили еще каким-то настоем из трав: то ли «любовным напитком» (здесь называют его «фильтром», приворотным зельем), то ли просто местным «лекарством», придававшим силы и сохранявшим хорошее настроение...

И только один неприятный инцидент испортил его: Азиза, надевая на себя после всех омовений и умщений свою белую рубашу и повязывая вокруг головы длинный белый шарф, нечаянно задела стоявший глиняный кувшин с настоем из пахучих трав. Кувшин опрокинулся, но не разбился. Однако содержимое *разлилось*, хотя сразу же ушло в песок...

Черная женщина испустила крик ужаса; потом внимательно изучила очертания мокрого пятна на земле, словно читала какие-то таинственные письма и знаки... Потом с выражением сильного беспокойства на лице взяла руку Азизы и стала изучать, разглядывая линии на ее ладони. «Я вижу, – сказала она наконец, – что смех и песни продлятся недолго. *Праздник твоей жизни соседствует со смертью*. Но ты не умрешь, только обильные слезы потекут из твоих глаз... Их будет так много, что они смогли бы доверху наполнить этот кувшин. И будешь ты страдать за тех, кто сделает тебе зло; но и они не будут счастливы. А любовь твоя еще долго будет с тобой...» (с. 88).

Азиза с трудом удержалась на ногах: она верила в приметы. Женщины вокруг нее плакали, били себя по лицу и груди – так было принято выражать крайнюю степень отчаяния... Потом негритянка сказала им: «Послушайте! Давайте станем заклинять судьбу. Это возможно!» И они зажгли костер, бросили в него какую-то траву; снова начали готовить какие-то натирания, на этот раз из золы. Азизе намазали ноги и заставили семь раз прыгать через жаровню с углями; при этом негритянки читали молитвы и произносили свои заклинания; женщины хором подхватывали их. Через какое-то время было решено, что «злую судьбу отвели». Все вздохнули с облегчением, и вскоре инцидент был как бы забыт...

Подкрепились и снова затянули свадебные песни. Хотя было очевидно, что женщины дуара еще долго будут рассказывать об этом случае с новобрачной...

Когда все двинулись в обратный путь, утешением и успокоением был аромат чудесных пахучих трав, из которых был сделан настой, пропитавший тело и одежду невесты: благовоние, словно облачком, окружало ее и парило над женщинами, следовавшими за ней...

Когда уже к вечеру приблизились к дому, Азиза увидела всех приглашенных на свадьбу. Женщины были одеты в старинные кафтаны, шитые золотыми и серебряными нитями; тяжелые украшения были на их руках и ногах. Глаза были сильно подведены сурьмой... Перед домом поставили несколько палаток, где расположились гости. Там слышались смех и пение. На свадьбу пригласили и старую слепую музыкантшу, искусно игравшую на старинном барабане... Невесту нарядили в белое пышное платье, вышитое яркими цветами; ожерелье ей одолжила одна из «родственниц» – без него, этого традиционного для кабиллов убора невест из серебра и кораллов, свадебный наряд (его выбрала сама Азиза, думая, что он понравится Али) был бы незавершенным...

Но пока шли приготовления к свадьбе, она не переставала размышлять о том, зачем понадобилась эта вся *традиционная церемония*, позволявшая Али оставить ее *наедине с женицами*. Неужели только затем, чтобы снова *приучить ее к старинным обычаям*? Или же затем, чтобы *доставить удовольствие «своим»*? Ведь нельзя же было объяснить все происходящее его склонностью к экзотике? И почему он не предупредил ее, не посоветовался с ней? Но разве во имя своей любви к нему она не должна, уговаривала себя Азиза, *претерпеть* всё это?

Так, в ожидании его объяснений и прошел этот день, показавшийся ей похожим на приготовление к какому-то **«странному карнавалу»** (с. 91): бледное свое лицо, увиденное в зеркале, тоже напомнило ей какую-то маску...

По обычаю, женщины и мужчины, собравшиеся на свадьбу, находились в разных помещениях. *Жених был там, где были мужчины*. Ближе к полуночи, когда праздник был в разгаре, невесту привели в приготовленную новобрачным спальню. На пороге стоял Шейх и

позади него — Али, одетый в белую гандуру (длинное платье-рубашу) и красные бабуши. По выражению его лица Азиза поняла, что он и сам страдает не меньше ее... Шейх повернул их лицом друг к другу, сказал им свое благословение и произнес молитву — первую суру Корана. Обряд бракосочетания состоялся. Молодые поклонились марабуту, благодаря за скрепление и освящение их союза. Закрыв за собой дверь спальни, они слышали, что все «свидетели» удалились. Но гортанные трели женщин еще долго звенели. **Все ждали доказательств реального свершения брака, его «консумации» и, конечно, доказательства девственности невесты**¹³. Но выноса свадебной простыни или рубашки невесты не было: Али сам наотрез отказался (и Шейх пошел ему навстречу) выполнить это единственное, но почти **главное условие Традиции**, пощадив Азизу, для которой это стало бы окончательным свидетельством и «дикости» всего затеянного Али, и самоунижением...

Но отныне Али, тем не менее, становился единственным и «полноправным» ее ХОЗЯИНОМ.

Их первые дни и ночи после свадьбы проходили вполне счастливо для обоих, и молодой муж даже развлекал Азизу арабскими сказками и любовной поэзией, особо выбирая то, где воспевалась **«женская верность», преданность и покорность супруги...** Но ей

¹³ Установленная еще Ветхим Заветом связь мужчины с Богом через обрезание детородного органа, а женщины — через супружество — в Коране усилена еще и мотивом «чистоты» («невинности»), т.е. **девственности взятой в супруги как залога чести и самого мужчины**. Обычай, существующий в странах Магриба, особенно в *горной местности*, вынесения в первую брачную ночь простыни или рубашки невесты на всеобщее обозрение с доказательством ее девственности, но одновременно и потенции супруга заставляет собравшихся на свадьбу родственников переживать не только гордость, но и тревогу. Даже уверенные в «непорочности» невесты родители беспокоятся за реальную консумацию брака дочери; родители же жениха особенно тревожатся за «честность» всего свершившегося: если невеста окажется не «чиста», не девственна, как их уверяли, то она может быть с позором возвращена в родительский дом. Если же происходит все **«честь по чести»**, то всеобщему ликованию нет предела... (С. П.).

почему-то вспомнился тот день, когда **он** не явился на их свидание, прислав записку с извинениями... На мгновение вернувшись к **той реальности**, она остановила себя, не захотев омрачать воспоминаниями «медовый месяц». Хотя и задумывалась иногда о том, **как и куда** они вернутся в Алжир и будут жить дальше...

Так прошли три недели, которые для Азизы были особого рода *«каникулами»* – по-другому воспринимать окружавшую ее жизнь в дуаре Азиза и не хотела... Али был *«спокоен и доволен»*: жена научилась местной кухне, готовила ему сама его любимые блюда, пыталась даже печь хлеб, хотя он предусмотрительно запасся всем необходимым, привезя из города привычные продукты. Она, правда, как-то заметила ему, что здесь ей не хватает «современной посуды», кастрюль и прочей кухонной утвари; Али нахмурился, но Азиза бесечно утешила его: «В Алжире всё встанет на свои места!..» (с. 97). Он прервал ее, сказав, что завтра едет в Сетиф и привезет из города все то, что ей здесь необходимо: «Составь список». Ничего не подозревая, Азиза согласилась. Ей всё казалось, что они *«играют в какую-то особую игру»*...

На следующий день муж объявил, что к вечеру не вернется, возвратится из города, когда завершит какие-то «важные дела». Облачко пыли, словно длинный шарф, долго вилось за его машиной, постепенно исчезающей из виду...

В эту бессонную ночь Азиза думала, что ей, конечно, не нужна ни новая кухонная утварь, ни вся эта жизнь в окружении милых, заботливых, но *бесконечно далеких ей людей*. Она скучала по «своему миру», по «своим книгам», по «нормальной работе», по своим друзьям и знакомым, по столичной суете и оживлению большого города. Она уже знала, что хочет **любой ценой вер-**

нуться в свою прежнюю жизнь» (с. 100). И утром она была полна решимости сказать обо всем своим гостеприимным хозяевам. Правда, ограничилась только фразой со словами благодарности. Шейх не придавал этому особого значения, даже не предполагая их возможный отъезд, ответив: «Али и ты – мои дети»...

...Когда вернулся Али, Азиза отметила, что он в новом костюме, хорошо пострижен и чисто выбрит. Он привез полную машину и провизии, и кухонной утвари, и много других мелочей, удобных для быта. Отметив и какую-то особую озабоченность Али, Азиза не отважилась сказать и ему о принятом ею решении.

О чем-то долго проговорив с Шейхом, Али только вечером пришел домой и, одарив жену дорогим кольцом, сообщил, что он должен занять очень престижное место, которое только что освободилось в адвокатской конторе в Сетифе, а потому ей придется на несколько месяцев задержаться в деревне...

Азиза умоляла его взять ее с собой, уехать отсюда куда угодно, но муж был непреклонен. «Это невозможно», – больше ничего объяснять он не пожелал. Наутро уехал, оставив записку, что вернется не скоро. Азиза поняла, что это означает только одно: он требовал от нее *смирения*. Вернувшись через два дня, он объявил, что его работа требует от него длительного пребывания в городе, и просил Азизу «потерпеть»...

Начались бесконечные ожидания его приездов и отъездов, потекло *время тоски*. Азизу ничего не радовало вокруг, разговоры женщин не отвлекали, деревенские «развлечения» казались убогими, скучными и однообразными, звуки барабанов и бубнов, тягучие песнопения были не по душе... Ей хотелось в минуты грусти читать, *но Али упорно не привозил ей книг*; она мечтала в тоске о той своей жизни, которую так бездумно оставила, не

прислушавшись к словам старой кормилицы, предупреждавшей ее по-своему о том, что ее ждало **«в глуши»**...

В отсутствие мужа Азиза была под *постоянным надзором*; ей не советовали *«выходить из дома одной»*, *«принимать гостей»*. **«Ты – мусульманка»**, – напоминали ей. *«Не забывай о том, что ты должна подчиняться Закону нашего племени»*, – говорил ей теперь и Али (с 108). Он так и не привез ей книги, о которых она просила...

О переезде в Сетиф или Алжир она уже не могла вести и речи. «Ты должна жить в деревне, — настаивал Али. — Это мое желание. **Так надо**» (с. 106). Он вдруг предстал перед Азизой в совершенно новом облике: **рьяно держался за свои мужские привилегии, данные ему религией и обычаем, запрещая жене противоречить ему.**

Ни жаркие споры, ни ласки не помогали; Азизу обуревали теперь только горькие чувства, разочарование, страстное желание **бежать отсюда** куда глаза глядят. Удерживал ее только страх окончательно потерять Али. Здесь без него жизнь будет совсем невыносимой...

Пошатнулось здоровье, сдавали нервы, она почти ничего не ела; ее мучила **бесполезность** существования. Часами сидела, не двигаясь, у стены дома. Однажды не смогла встать с постели. Бредила.

Али приехал, пробыл с больной несколько дней. Когда ей стало лучше, уехал снова. Прошло еще три месяца...

К Азизе приехала – «навестить» – старая кормилица. Увидев, как слаба и несчастлива здесь ее «почти дочь», решила «забрать ее домой».

«Но Али не хочет, чтобы я уезжала отсюда». Шама – так звали кормилицу – сделала вид, что не слышит Азизу, и продолжала укладывать ее вещи... Али вернулся

снова, поселился в семье Шейха, оставив Азизу наедине с Шамой. Долго уверял жену, что «она ему дорога», но что если она все-таки хочет уехать в Алжир, он сможет их проводить «только до вокзала в Сетифе». Азиза, не вполне поняв причины такой «отговорки», сказала ему, что жизнь здесь больше *невозможна*. «Я не вернусь с тобой в Алжир... Смогу только изредка приезжать, по обстоятельствам... Но ты ни в чем не будешь нуждаться. Я буду о тебе заботиться, – заверил ее Али. – Мой новый служебный долг требует большой самоотдачи, и я не могу обещать, что посвящу свою жизнь только тебе. Влиятельные люди, принадлежащие к крупной политической группировке, просят меня быть их адвокатом», – объяснил он (с. 112). Азиза продолжала не понимать, при чем тут их личная жизнь. «Вся эта комедия казалась ей одиозной» (с. 113). Тогда Али сказал наконец правду: **«Ты должна знать, что моя карьера будет испорчена, если людям, доверяющим мне, станет известно о нашем браке. Ты слишком похожа на европейскую женщину, усвоив западный образ жизни. И это – главная причина, по которой я держу тебя здесь и хочу, чтобы ты оставалась в дуаре. Время постепенно сделает свое дело; и то, что не хотят принимать сегодня, примут через несколько лет... Тогда и мое положение в обществе изменится... А ты не хочешь стать моей верной подружкой»** (с. 104).

...Али вдруг показался Азизе совсем «незнакомым» – столь «низменны были его расчеты». Ни о каком «благородстве его души» она и не вспоминала больше, ей было ясно теперь, что она *«доверилась другому человеку, за внешним видом которого скрывалась чуждая ей сущность»* (с. 114). Али же продолжал уверять ее, не стесняясь, что он будет черпать свое вдохновение, ду-

мая о ней, только для «продолжения своей блестящей карьеры» (с. 114).

...Шейх молча выслушал весть о том, что Азиза покидает дуар и уезжает **одна**, без Али, в Алжир. Никто не стал удерживать Азизу. Они не одобряли ее, даже «враждебно», как ей казалось, настроились по отношению к ней. Но ей уже было все равно. Оставив почти все вещи в доме, она рано утром покинула дуар. Али повез ее и Шаму на вокзал в Сетиф.

Стояла ужасная жара. Было безлюдно и бесшумно. Никто не вышел проводить отъезжающих. В дороге тоже все молчали. Когда выехали наконец из долины, окружавшей холм, на котором ютилась деревня, Азиза облегченно вздохнула. Кормилица прошептала какую-то молитву.

На вокзале в Сетифе были развешаны предвыборные плакаты с портретами кандидатов в органы новой местной администрации: среди них были и известные алжирцы, в том числе и муж Азизы. Другие лица, вероятно, и были новые друзья и покровители Али. «Теперь ты можешь быть спокоен за свое будущее, – подумала Азиза. – **У тебя больше нет неподобающей защитнику национальных ценностей жизни жены**».

Чтобы не смущать Али, Азиза с кормилицей стояли в сторонке на платформе, пока он занимался багажом. Посадив их в вагон, он сказал на прощание Азизе: «Не суди меня строго. Подумай хорошенько обо всем. В Алжире мы еще поговорим». Она протянула ему руку. «Успеха вам всем. И удачи...» (с. 117).

...В Алжире ее уже никто не ждал. Место на работе было безнадежно утрачено. В других французских редакциях газет и журналов ее также приняли не особенно радушно: в столице слухи расплзлись быстро, и о ее браке с «алжирцем-националистом», ее пребывании в

дуаре Бени-Ахмед, *благословении марабута* – совершенном над ней мусульманском обряде бракосочетания— было давно известно. Все знали и о том, что ее муж не хочет «официальной регистрации» их брака. Алжирские же друзья упрекали Азизу в том, что она «сбежала от мужа», «не подчинилась традиции», вступила «в противоречие с мусульманской доктриной» (с. 123)¹⁴, «мы вас предупреждали, что вы делаете недуманный шаг», «ваше поведение извинить невозможно» (с. 134). Словом, осуждали за то, что она **«бросила вызов всем алжирцам»**. «Но почему, – возмущалась Азиза, слушая упреки подруг и знакомых, – почему вы все видите причину в моем французском образовании! Ведь вы все сами говорите по-французски, учите своих детей в *их школах*, гордитесь тем, что *ваши* сыновья и дочери могут у *них* учиться!.. Пусть я живу “на западный манер”, как говорите вы, но это не мешает мне помнить о моих истоках, о моих корнях!» (с. 123). Однако она слышала возражение: **«Ты не склонилась учтиво перед нашими обычаями**, не сумела жить, как все женщины-алжирки. И потому никто *из нас* не поверит в

¹⁴ В Коране, однако, не сказано, является ли «грехом» уход женщины из дома мужа; указано лишь на «негреховность» в этом мужчины: «А если они сами покинут [ваш дом], то нет греха на вас за то, что они предпримут согласно обычаю» (Сура 2; 240). Не указано также, по каким причинам женщина вправе оставить дом мужа. На этот счет есть лишь замечание в комментариях, что, если муж «не приближается к жене» в течение четырех месяцев, жена по истечению «срока ожидания» может выйти замуж за другого (см.: Коран. Пер. Н.О. Османова. М., 1995, с. 418, коммент. 171). В то же время в Коране есть предупреждение и мужчинам и женщинам: «Бойтесь же Аллаха, именем которого вы предъявляете друг к другу [свои права], и [бойтесь] разорвать родственные связи [между собой] (Сура 4; 1). Следовательно, сам по себе этот *разрыв* не угоден Аллаху, а потому может быть осужден с этой точки зрения людьми. Но в этой же Суре есть указание и на то, что *нельзя обижать жен*, если они не «прелюбодействуют», верны своим мужьям и *повинутся им* (Сура 4; 34).

О случаях возможного «развода», право на который предъявляется со *стороны женщины*, предусмотренных в различных толках мусульманского права (порой включающих *местные обычаи*), см. фрагменты перевода: Деро А. Различные воззрения на статус женщины в шариате. — в: Прожогина С. В. Женский портрет на фоне Востока и Запада. М.: Наука, 2006.

твою искренность... Ты – **не настоящая мусульманка**, если бросила мужа, вернувшись сюда жить по-европейски...» (с. 124) (везде выделено мной. – С. П.).

Когда Азиза спросила, отчего же тогда среди алжирцев-мужчин так «много тех, кто женится на француженках», ей ответили, что это – другое дело: «Эти европейки *сами приехали к нам*¹⁵, а ты перешла на другую сторону...».

Азиза была в смятении. «Я больше так не могу. Я чувствую себя обреченной, приговоренной, отброшенной сообществом, которое я все-таки считала своим, не смотря ни на что. Я стала той, которая разрушила все связи со своими... Мне хочется кричать и плакать» (с. 124).

Так оказался человек в бурной реке жизни, где, «отплыв» от одного берега на встречу с другим, он не пристал и к нему, почувствовав *удаленность и «своего», и «чужого»*... И тот берег, казавшийся когда-то почти достигаемым и даже «близким» девушке, сумевшей учиться в европейской школе (что не всякой алжирке в колониальное время было доступно и по силам, и по средствам), теперь тоже отдалялся от нее все больше, считаясь с «условностями» своего «сообщества», принимавшего в свои недра только тех, кто «до конца» разделял его цивилизационное превосходство, а значит, и формы своего «присутствия» на алжирской земле. Французские друзья недвусмысленно, без намеков, сказали ей, что Али, став практически их **политическим противником**, компрометирует и Азизу: сотрудничество с мусульманами, с алжирцами в целом становилось делом опасным в условиях, когда «националисты» все

¹⁵ На самом деле Коран разрешает мусульманам (но не женщинам!) осуществлять брак с представительницами других религий (монотеистических).

решительнее требовали предоставления стране Независимости...

И даже покровительствовавший когда-то Азизе «крупный журналист, так хорошо говоривший по-арабски», отделался только смутными обещаниями «помочь со временем с работой»...

Началась черная полоса в жизни Азизы. К тому же подруги сообщили новость об *официальной женитьбе* Али на дочери одного из видных мусульманских лидеров... И хотя Азиза уже считала себя «свободной» и ничем не связанной с человеком, которого она хотела «выбросить из своего сердца» (с. 125), новость потрясла ее. Теперь ее положение в обществе будет действительно странным и двусмысленным, и даже драматичным: ее могло ждать полное одиночество. Утешала только верная ей кормилица, надеявшаяся на «милость судьбы» и «волю Аллаха»... Открылось другое пространство Жизни.

...Не будем забывать, что роман написан женщиной и что повествование в нем идет от **первого** лица, а потому франкоязычный автор не только формально «слит» со своей героиней, разделяя ее сомнения, ее тревоги и обиды, но и будет бороться за ее судьбу, очевидно сочувствуя ей. И судьба окажется, как хотела того старая Шама-кормилица, милостивой к Азизе. И не только потому, что ее бывший избранник будет несчастен со своей новой женой и со временем станет просить Азизу «вернуться к нему», хотя она твердо решила, что **«в прошлое свое не вернется никогда»**: «Начать всё снова?! Нет! Вернуть ничего нельзя» (с. 179). Когда-то полученное Азизой именно «европейское образование» на сей раз помогло трезво проанализировать и ситуацию, и дать объективную оценку личности бывшего возлюбленного: «эгоист», «карьерист» (arriviste), «двуличный

лжец». Ведь скрывая ее в деревне, в горах, муж не просто «подстраивался» к рядам традиционалистов (для которых ее «побег» был почти что преступлением, **отказом от мусульманского Закона**), но и «таился» сам от французских властей, официально не регистрируя свой брак с Азизой: с ними и ему, и его коллегам по политической деятельности приходилось не только быть в «опозиции», но и сотрудничать. Речь ведь шла и для одних, и для других о *борьбе за Власть в стране*, и порой приходилось и «торговаться», и договариваться, прежде чем вспыхнет настоящая **народная война**...

Как и в реальности, так и в романе Дж. Дебеш именно *сам народ* разберется в истинных намерениях тех «лидеров», которые на словах рьяно отстаивали «национальные идеи», «национальное дело, национальные традиции»: на митинге, «разрешенном официально», т.е. французскими властями, тот самый «влиятельный мусульманский политический деятель», зятем которого стал Али, был освистан собравшимися на площади алжирцами, назван «предателем», «состоявшим в сговоре» с колониальными властями, «дирижировавшими» оппозицией, даже «подкармливавшими» ее... Молодежь, уже активно вступавшая в реальную борьбу за национальное освобождение, кричала выступавшему, читающему свою речь «по бумажке»: «Продажная шкура! Коллаборационист!» (с. 141–142).

...«Известный журналист», покровительствовавший Азизе в начале ее пути прислал письмо из Парижа, где пообещал устроить ее во Франции на работу, хотя бы «на какой-то срок»... Пусть и неопределенное, но это обещание приободрило Азизу. Однако она уже многое переоценила в своей жизни и не особенно уповала на то, что Запад распахнет ей свои объятия. И если у Али, с ее точки зрения, «не было никаких твердых идеалов», кро-

ме своих личных интересов, то ее собственные идеалы несколько померкли после всего того, что пришлось пережить...

Но, расставаясь с героиней именно в этот момент ее жизни, когда она решилась ответить своему другу, что **не поедет в Париж**, автор романа и не вполне «укореняет» ее в алжирской реальности Настоящего времени. Дебеш, скорее, проецирует судьбу Азизы в Будущее, связывая его с образом *маленькой девочки*, которая бежала по аллее сада, где теперь одиноко сидела Азиза, размышляя над своей судьбой. Какая-то женщина, *закутанная в белое покрывало*¹⁶, позвала девочку **к себе**, и ее имя звучало как и имя героини романа... И Азизе показалось, что это бежит навстречу и к ней, и ее матери **«сама радость Жизни»**. «Теперь и время, и будущее были с ней», и она надеялась, что тяжкие муки ее не повторятся больше никогда»... (с. 151).

Во всяком случае, опыт испытания встречей с *Традицией, удивившей в Прошлом*, научил Азизу стойкости. Искушение Западом как признаком «современности» научило переживать разочарования.

Главное, осталась *жажда Обновления жизни*. «Я хотела бы увидеть через годы, месяцы и дни, как расцветет эта встретившаяся мне новая Азиза» (с. 182). Она думала об увиденной ею маленькой девочке. А значит, о **расцвете** Будущего. Оно, несмотря ни на что, все-таки казалось прекрасным...

...Мне пришлось довольно долго знакомить читателей с практически первым, появившимся в уже с трудом, но *отделявшемся* от Франции Алжире¹⁷, с произведением, где интересующая нас проблема реально существ-

¹⁶ Это – хаик – национальная верхняя одежда алжирок.

¹⁷ Официальным статусом этой «де-факто» колонии было ее наименование суммой «заморских департаментов Франции», т. е. он как бы являлся административно **частью** Метрополии.

вующей Традиции поставлена как **основная**. Но чем полнее представлена картина жизни **традиционного мира**, воссозданного писательницей, и круг забот, волновавших алжирскую женщину (а значит, и любую магрибинку ее социального круга, т.е. женщину, знакомую уже и с условиями существования в другом, «не столь традиционном» по своей сущности, даже европеизированном, обществе), тем, на мой взгляд, понятнее будет и цель магрибинских классических писателей-бытописателей¹⁸, пытавшихся запечатлеть *самобытность*, а значит, и защитить свою *особость* от агрессии Чужого, обрекающего порой даже на саморазрушение. Написанный «изнутри» самого конфликта мира древних традиций и мира современности, отраженного во взгляде самого «субъекта», «главного действующего лица» этого столкновения, роман Дебеш отличался и достаточной объективностью, и спокойным тоном наррации, «классическим» стилем литературного письма и почти документальной реалистичностью.

Но не поэтому в годы начавшейся национально-освободительной борьбы современники встретили роман «Азиза» с некоторой настороженностью¹⁹. Художественные образы и историческая реальность были столь тесно переплетены в книге Дж. Дебеш, что франкоязычная писательница оказалась «не устраивавшей» ни «истинных патриотов», ни традиционалистов, ни защитников «французского Алжира», ибо «недостаточно четко» (для идеологов!) формулировала свою позицию по отношению ко всем им. Она как бы вскрывала «внутренние противоречия» в лагере защитников сохранения исламских норм жизни, но не избежала и имплицитных

¹⁸ Я имею в виду М. Ферауна, А. Мемми, М. Маммери, Д. Шрайби и мн. др. магрибинцев 50–60-х и др. гг. XX в.

¹⁹ Это особо отмечено в книге: *Mosteghanemi Ahlem. Algérie. Femmes et écritures*. Р., 2000.

обвинений в адрес тех, кто «по определению» своему (Франция – страна *республиканских прав и свобод!*) мало что сделал для социального прогресса страны, порой искусственно сохраняя и поддерживая «отсталость», «невежество», «средневековые нормы жизни» мусульманской семьи (особенно в «глубинке»), избавляя себя от «последствий просвещения»...

Надо сказать, что в этом плане писательница не была одинока: защитниц и защитников именно **социального прогресса** (еще не выдвигавших сугубо политических требований Независимости) было немало в среде автохтонной интеллигенции. Но именно на нее и оказывалось известное давление как со стороны «своих», так и французов (французы, как писал Франц Фанон, «всегда обвиняли своих выучеников – адвокатов, врачей, учителей и др. – в “дикости”, если видели, что их жены оставались, по мусульманской традиции, на положении полурабынь в доме»; алжирцы же своих интеллигентов обвиняли в том, что их жены слишком «европеизированы»²⁰). И именно к ней, этой новой части алжирцев, оказавшихся и на рубеже культур, и на рубеже эпох, относились с недоверием и те, и другие, и «свои» и французы. И в этом нередко была драма «порубежников».

Но если произвести некую «семантическую редукцию» всего текста и контекста романа Дебеш, то для поколения читателей, весьма уже удаленного во времени и пространстве от колониальной эпохи, произведение это, может показаться и не вполне еще художественно «созревшим», почти документальным, но в нем сполна запечатлен реальный опыт восприятия традиционного мира и типизирован портрет женщины, пытавшейся выйти на другую дорогу, отличную от той, по которой уже прошли миллионы ее соотечественниц за

²⁰ F. Fanon. Sociologie d'une révolution: l'an de la Révolution algérienne. P., 1959.

почти тринадцать столетий... Писательница со своей героиней сделала свой первый шаг, **уйдя от Прошлого** и ступив, пусть в еще неясную, туманную, но даль того Будущего, о котором позволила себе мечтать Азиза. И это важно и сегодня, и не только потому, что проблемы, связанные с положением женщины-мусульманки в «традиционном обществе», все еще остаются актуальными. Но именно ее голос, этой женщины, алжирки, был одним из первых голосов в Магрибе, который поведал о том, **как** вызревали ростки нового самосознания и как было необходимо это робкое «цветение» Времени Надежд во время разбушевавшейся Войны миров, где один мир, защищая свою самостоятельность, свою самобытность от колониального угнетения и попыток его полной культурной ассимиляции в другом, доказывая свою подлинность и полноценность, отстаивая **свои ценности**, отвоевывала свою Независимость, отстаивали таким образом именно свою **Свободу**. И малость топоса и даже локуса Горы, изображенного в романе Дж. Дебеш (крошечное горное селение), где свято охраняют и берегут **свои традиции** люди, только усиливает, сгущая (или концентрируя) заряд их Надежды на это свое *освобождение*. А это уже само по себе немало.

Возможно, вдумчивому Читателю покажется избыточным знакомство с сюжетным пересказом мной романа. Но и в дальнейшем я буду подробно *воссоздавать мир*, запечатленный в романистике магрибинок. На мой взгляд, — это необходимо литературоведу (не только абстрактно «теоретизирующему» или обобщающему) для ощущения «подлинной картины» и «образов мира», в Слове явленных. Искусствоведы в таких случаях прибегают к иллюстрациям. Мой «визуальный ряд» — сам Текст, — источник знакомства Читателя с абсолютно

другой реальностью, хотя и запечатленной авторами художественных произведений.

КАК УТОЛЯЛАСЬ «ЖАЖДА СВОБОДНОЙ ЖИЗНИ» В ТВОРЧЕСТВЕ МАГРИБИНОК

Доминанта Власти Традиции в жизни преимущественно мусульманских обществ в странах Магриба и в художественном творчестве естественно порождала и протест против «засилья догм», и естественное желание показать и образ новой эпохи, нового человека, неподвластного только религиозным основам миропорядка. И этот протест звучал уже с самого расцвета литературного франкоязычия. И начался именно с мотива Моря как символа пространства Свободы. Хронологически этот мотив впервые прозвучал самостоятельно, почти как основная тема (во всяком случае, вполне «контрапунктно», полифонично вливаясь в основу сюжетной ткани произведения) именно в романе молодой тогда, только начинающей писательницы, современницы Д. Дебеш, ставшей весьма знаменитой алжирки, Ассии Джебар «Жажда»¹, вышедшем в разгар Алжирской Войны за независимость (1954–1962 гг.).

Странно, но критика тех времен, сразу отметившая «сходство» алжирской книги с модной тогда во Франции «Здравствуй, грусть!» (*Bonjour, tristesse!*) Франсуа-зы Саган, достаточно зрелое психологическое мастерство двадцатилетнего автора, смелость оригинального «внедрения» алжирской писательницы в бушующий по-

¹ Djébar A. *La soif*. P., 1957. Далее цитаты даются по изд. на русск. яз. «Ассия Джебар. Избранное». М., 1990. Перевод романа «Жажда» выполнен мной. – С.П. Подробно о метаморфозах образа Моря в литературе магрибинцев см. нашу работу с таким же названием: М., 2010.

ток литературного экзистенциализма (с его упорным воспеванием абсурда окружающего бытия и абсолютным одиночеством случайно «заброшенного» в этот мир Человека), как-то оставила в стороне именно алжирскую специфику появления романа А. Джебара.

Не атрибуты собственно алжирской реальности, изображенной в произведении (они там, как раз, весьма «общие», «средиземноморские», да еще размещенные в контексте существовавшего в Алжире довольно «разношерстного» «колониального общества»), но именно **Время** появления романа алжирки и само романное Время, и место произведения в корпусе франкоязычной литературы алжирцев. А ведь там уже были такие крупные имена, как Мулуд Фераун, Катеб Ясин, Мулуд Маммери, Малек Хаддад, Мохаммед Диб, Анри Креа, Жан Сенак, Жан Амруш, Маргарита Таос, Каддур М'Хамсаджи и мн. др., успевшие познакомить читателей и с поэзией, и с драматургией, и прозой страны, бесстрашно восставшей против стотридцатилетнего французского колониального господства страны, подарившей миру особый тип «сражающегося» искусства, где этнография, история, мифология, фольклор, идеология эпохи, представшие в чудесном сплаве социального реализма и романтизма, были подчинены одной (политической!) задаче: **О с в о б о ж д е н и я**. Оно прежде всего понималось и как обретение Алжиром Независимости, **С а м о с т о я н и я** его в современной Истории, **самоосознания**, оценки своей значимости, своей роли в ней, отвоевания **для себя** самой возможности распоряжаться собственной жизнью и судьбой²...

И вдруг – в общем-то «камерное» произведение, изначально не претендующее ни на «военную», ни на «ис-

² Подробно о роли новой алжирской словесности в национальной истории см. в кн.: Демкина О.Н., Прожогина С.В. Литература Алжира. – В трехтомнике «История национальных литератур стран Магриба». М., 1993 и др.

торическую» эпопею, ни на «бытописание» даже (как особый «формант» национальной специфики литературы), ни на возвышенную патетику воспевания подвигов национальных героев, или показ драматической судьбы тех, кто ушел сражаться с огромной регулярной французской армией в горы, к повстанцам-партизанам. (В творчестве Ассии Джебар все эти темы появятся чуть позднее «Жажды» и сделают ее имя не менее значительным в Истории алжирской литературы, чем все имена, перечисленные выше и даже членом Французской Академии изящных искусств...) Но «**Жажда**» была именно «маленьким романом» в прямом смысле, и сюжет его, действительно, больше напоминал «томление» плоти и д^уха молодой (европейски образованной!) интеллигентки, «заскучавшей» в кругу надоевшей семьи и друзей, отягощенных *обыкновенной, будничной* «повседневностью», почти без проблеска каких-то «манящих вдаль» высоких Надежд и Целей...

Да и что, собственно, могло «вдохновлять» готовящуюся к защите диплома в университете Надийю (так звали героиню этого романа, ведущую свое повествование), оставленную уехавшим во Францию «по делам и подлечиться» отцом в семье старшей ее сестры (сводной), отдыхавшей на морском побережье? Шумные ее дети, хмурый, вечно чем-то озабоченный ее муж и «вечно беременная» сама Мирием? Благополучная алжирская семья, позволявшая себе отдых в модном среди европейских поселенцев Алжира местечке (Мадраг) жила *без особых забот* и как бы *вне времени*, которое, однако, уже было «накалено» в стране до предела... О нем — почти ни слова в романе А. Джебар, если не считать случайно брошенной фразы журналиста (Али), жившего в соседней вилле со своей женой Джеддой — бывшей школьной подругой Надийи, случайно встретившейся

ей здесь, на морском побережье, несколько лет спустя: Али задумал создать свою газету, чтобы **«разбудить спящих»**, чтобы освободить их от пассивного состояния **«колонизованности»**. от *«бесплодных разговоров о колониализме и колонизаторах»*... (с. 53).

Возможно, именно эта определенность цели жизни молодого человека, алжирца, который был к тому же «хорош собой», образован и «современен», и заставила саму Надийу выйти из обычной монотонности и привычной на побережье «лености» морского отдыха и обратить свое внимание на Али, даже позволить себе «чутьочку» влюбиться в мужа подруги, несмотря на свои принципы *«абсолютно свободной»* и не желающей зависеть от «воли» (или «гнета») мужчин женщины. (Сама она наполовину была «французенкой» – по рано умершей матери, а потому полагала себя *«ничейной»*, не ощущая ни глубоких алжирских, ни каких-то других «корней», удерживающих ее в лоне какой-либо однозначной Традиции Жизни.)

Сблизиться с домом бывшей подруги помог несчастный случай: Джедда пыталась покончить с собой; Али прибежал в смятении к соседям за помощью, и случилось так, что Надийа выхаживала Джедду, с которой поссорилась когда-то в школе, увидев, как та с негодованием (и даже *«ненавистью в глазах»*) наблюдала за целующейся со «своим первым мальчиком» Надийей...

...У Джедды жизнь, несмотря на удачное замужество, сложилась несчастливо: умер ее новорожденный ребенок, после чего она боялась снова рожать; а у Али где-то во Франции подрастал свой сын, рожденный от «какой-то актрисы» еще до брака с Джеддой... Оба переживали свою «вину», но молодая женщина особенно, – ей все казалось, что Али «недостаточно предан ей», и она искала случая либо *«уйти из жизни»*, либо «прове-

ритель» чувства мужа, испытать их союз на «прочность». Случай такой представился: видя равнодушие Надийи к Али (а для той это очередное увлечение ничего особо не значило, тем более, что она недавно отказала «выгодному жениху», да и была уже «на прицеле» у друга Али, адвоката Хуссейна, серьезного и основательного молодого человека, приезжавшего специально на море к друзьям, чтобы пообщаться с Надийей), Джедда буквально заставила подругу дать обещание, что та сумеет «в порыве чувств» объясниться с Али, как только тот вернется из Франции (где находился в эти дни по делам «своей газеты»). Тот «не выдержит», конечно, натиска ее молодости, силы, уверенности в себе и – особо- «невозможной красоты», которой так завидовала гордая, но неприметная Джедда...

Однако судьба распорядилась праздными обитателями морского побережья по-своему, превратив их солнечные каникулы в сумеречный «ад» жизни. Джедда неожиданно получила из Франции письмо от Али, в котором он сообщил ей о своем намерении привезти брошенного матерью своего добрачного сына в Алжир и поселить его в их семье. Но Джедда уже ждала своего ребенка (недавно узнала о своей «почти невозможной беременности»); всё это нарушало и ее планы на «новую жизнь», и в конец распалило в ней пожар ревности и к прошлому, и к настоящему ее мужа...

Надийа, еще не успев выполнить прежнюю «миссию» по «проверке чувств Али» и завоеванию его любви к себе, уже должна была – ее просила Джедда – помочь подруге на пути нового ее, еще более коварного и даже преступного замысла: избавить ее от долгожданного, но не ко времени «подросшего» ребенка...

Одна из сводных сестер Надийи – Лейла, жившая в столице, «всезнающая» и «всеведущая» опытная жен-

щина, дочь вольнолюбивой кабилки (ее мать сама ушла из дома и жила в своей горной деревне **одна**), «обязательно могла» найти в городе какую-нибудь «умелицу», которая взялась бы за «подпольную операцию», запрещенную в стране...

...Надийа сама отвезла Джедду в столицу, сама привезла страдающую подругу на море, где та, спустя несколько часов, и скончалась в муках...

Али вернулся уже на похороны. Потрясенная случившимся Надийа ничего ему не рассказала о планах покойной его жены. **Каникулы кончились**. Все вернулись в город. И всё встало на свои *прежние места*... Вскоре и молодая, взбалмошная, но внезапно «**пробудившаяся**» от своей «**вечной скуки**» девушка вышла замуж за спокойного и уверенного в себе адвоката Хуссейна, чтобы больше не испытывать этой *жажды* (порожденной соленым простором моря и вольным бегом его волн) и **Любви, и Свободы**, а точнее, трудностей *освобождения* своего от *тревоги и страха* обреченности на застой и медленное угасание в безразличии всего окружающего...

Но вкратце пересказанный мной сюжет в действительности уже не совпадал, по своей цели ни с официальной атмосферой, ни уже с пылавшей в Алжире реальной Войной за Будущее этого мира, ни с самой литературной «доминантой», отражавшей формирование национального самосознания алжирского народа. Хотя по-своему **пробуждение** сознания «отдельно взятого» героя (и неслучайно именно женщина выбрана Ассией Джебар, да еще «метиска» – продукт «*смешения*» *двух цивилизаций*, что для уже воюющего Алжира было особенно важно), вообще само изучение роли «**человека пробуждающегося**» (как одной из важных стадий *самой концепции личности*, формировавшейся в новой на-

циональной литературе³) как бы по-своему фиксировало процесс уже начавшегося **смятения души людей**, казалось бы особо непричастных к свершающейся Истории, но так или иначе оказавшихся в *«хаосе событий»*, которые тоже по-своему отразили и запечатлели само **«сдвинувшееся с места»** алжирское Общество.

И **Море**, где оказались герои Джебар, где-то на «краю» большой жизни, на **«побережье»**, живущие «вдали» от Войны и претерпевающие только жаркую «негу» солнечных дней, стало своеобразным **«катализатором»** событий, не только рождающим грезы Любви, но и отряхивающим ее «хмельной дурман», освобождающим от Забвения, душевной «дремоты», не только погружающим в пучину «безразличия», но и выталкивающим из нее, освежающим, отрезвляющим человека, уводящим его из «Сна Жизни», открывающим новые ее горизонты и возвращающим к реальности Настоящего. Именно это объемное звучание мотива «Моря» в романе А. Джебар, почти «контрапунктное» всем сюжетным линиям, органично вплетено в их ткань и из «пейзажного» контекста «несостоявшихся каникул» Море превращается в сам источник **«Жажды Жизни»**, ибо оставляло после себя всегда *«привкус соли»* (на губах, на теле, в мокрых волосах героини). Поэтому образ его неотделим от романских событий, и «вычлняя» его, можно говорить о нем лишь *в ряду других «узлов»* повествования Джебар. Но очевидно и другое: Море становилось в романе Джебар той стихией, которая порождала незнакомые, неведомые ранее человеку состояния его души: героиня «Жажды» переживает всякий раз (выходя ли из воды, погружаясь в нее, вспоминая ли о своем дальнем *«заплыве»* или встрече с высокой волной) новую гамму чувств и ощущений, которые, в конечном итоге, и стано-

³ О ней см. подр. в нашей работе «Рубеж эпох – рубеж культур». М., 1984.

вятся смыслом ее пребывания на морском побережье, «кромка» которого стала *особым пограничьем* между **исчезновением одного человека из Жизни и возрождением другого для Нее**.

И этот особый психологизм в постижении важной стадии человеческого самосознания был свойственен именно женщине-писателю, хотя и тогда начинающему, но решительно взявшемуся за перо. Попробуем показать, как это свойство женского таланта происходит в сцеплении событий в самой ткани текста, соблюдая «реальную» последовательность, но имея в виду нарастание в них и художественного, тропического, и общечеловеческого смысла, когда именно *мотив Моря* как Стихии абсолютно **свободного пространства**, породив цепочку новых ощущений и «**прозрений**» Человека, помог осознать ему и собственную сущность и собственное предназначение. Я специально подчеркну в избранных для этой цели цитатах из «Жажды» рожденные морем «ноты» этой новой гаммы чувств, разбудившей героиню и давшей ей некое прозрение, пусть горькую, но – полностью *самоосознания*, не стесненного ни оковами мусульманской традиции, ни «маргинальностью» своего существования на грани «двух миров» и их цивилизаций.

Вероятно, пристальное вчитывание в выдержки из текста может утомить знакомящегося с произведением А. Джебар впервые, однако оно необходимо для аргументного анализа именно психологического состояния героини романа, которое я определяю как особое «пробуждение» чувств, эмоций, определивших ее поведенческую модель, проецируемую мной на *характер общественного состояния*, сопровождавшегося **переходом** от бунта, восстания, войны с противостоящей системой к рождению Новой Жизни в условиях Независимости. Для меня важно именно текстовое крещендо нюансов

душевного роста героини – от *безразличия* до *страха* и *стыда*, до возникшей *ответственности*, самоосознания своей сущности, человеческой своей *предназначенности* и самоощущения как *пробуждения к Жизни*, где прежде всего должна торжествовать гармония человека и окружающего его мира. И в этом крещендо психологических нюансов существенную функцию выполняет аккомпанемент романного пейзажа, где именно Морю отведена существенная роль.

Остановимся подробнее на этих моментах человеческого роста, фиксируемых романом и подчеркнутых нами. Не только потому, что это действительно аргументы в пользу психологической остроты женского пера, его умения углубиться в суть женской души, ее смятения, ее, женщины, миропонимания, но и один из первых опытов на фоне в общем-то преимущественно только «мужского письма» о женщине в литературе магрибинцев.

...«Тем летом я была как-то **тускло безразлична** и к пылающему над М.⁴*солнцу*, и к галдежу многочисленных завсегдатаев побережья, сгрудившихся на пляже и подставлявших жарким лучам свои обнаженные тела... А я все лениво *дремала* – то утром на теплом песке, то в душный полдень на влажных простынях в кровати во время долгой сиесты... ...*Горький привкус июля*; вид пляжа, похожего на пышное тело цветущей женщины *угнетал* меня... «*Вялость* после веселья проведенной с друзьями ночи... «Что-то похожее на тошноту»⁵... (с. 17). «Мне вовсе не нравилось грустить. К тому же мне только что стукнуло двадцать» (с. 17). (Выделено мной. – С. П.).

⁴ Условное название курортного местечка под Алжиром (Мадраг).

⁵ Именно так, «Тошнота» (La nausée) назывался роман модного тогда философа Ж.-П. Сартра.

...«Отец, уезжая во Францию, ... оставлял меня с неохотой. Он принял одолевавшую меня скуку за отчаяние – ведь я двумя месяцами ранее отказала своему жениху без всяких на то видимых причин... Мне казалось, что и в этом большом доме я совершенно одна со своей усталостью и тоской... Мне нравился грустный хмель тихого вечера; я любила свое одиночество и с удовольствием погружалась в спокойное море в маленькой неприметной бухточке, берег которой с блестящей галькой казался особенно пустынным и диким на Закаате... «Вода была прозрачной и холодной. как моя юность»... (с. 18).

Экспозиция романного действия очевидно преисполнена непременными тогда в литературе Запада экзистенциальными мотивами «грусти» и «тошноты», «одиночества» и «холодного безразличия». Но нарочито подчеркнутые, активно «нагнетаемые» в романе А. Джебар, они исполнены не **безысходностью** (ибо экзистенциальный «тупик» – это абсурд, торжествующий в окружающем мире), но обязательной для героини алжирской писательницы возможностью обретения **умиротворения**: и именно мотив «моря» привносит это, отличное от экзистенциального, звучание текста: «С мокрыми волосами, с солоноватыми от моря губами я возвращалась домой. Это был единственный миг моего блаженства, миг умиротворенности – иначе и не назовешь эту *приятную тяжесть*, разливавшуюся в моем теле и одновременно приносившую *ясность мысли*... Скорее (если точно определить мое состояние), это была просто гармония медленно угасавшего в своей великолепии дня и томительной лени, которая обволокла тогда мою жизнь...» (с. 19).

А жизнь эта была, в общем-то, хоть и безмятежной, но, как утверждает сама героиня, «поверхностной и пус-

той». «Было отчего почувствовать себя разуверившейся и разочаровавшейся во всем» (с. 19). На этом модном побережье, в основном посещаемом семьями французских колонов и изредка государственных чиновников (во всяком случае *только европейцами*) члены семьи Надийи и ее подруги Джедды были единственными мусульманами. Хотя светлый цвет волос героини – и ее кожи, весь ее «эмансипированный» облик и поведение вводили «всех в заблуждение»; те же, кто ее знал, не забывали напомнить, что ее мать была француженкой, и хотя она умерла, отец сумел сам воспитать дочь на европейский лад, а потому ее считали «одной из них», европейцев, видя в этом ее *несомненное достоинство* (с. 21).

Вот почему умная и образованная Надийа скажет: «Я могла сколько угодно презирать их всех, но я, действительно, была *одной из них*... Муж моей сестры поэтому косо посматривал на мои брюки и всегда догадывался, что в доме его курю именно я, если видел в темноте на веранде огонек сигареты...» (с. 21). Ее «эмансипированность» в общем-то и воспринималась окружающими как само собой разумеющееся качество «почти европейки» (в Алжире это – смешанные браки – было не редкостью, но и не весьма распространенным явлением⁶), и о причинах своей «*тошноты*» и «*грусти*», своей какой-то «*отделенности*» и от собственного Дома, и от окружающего мира Надийа не задумывалась до тех пор, пока «диагноз» не был сформулирован ее другом – Хуссейном, неожиданно посетившим своих приятелей – Али и Джедду на побережье: «Продукт» совместного производства **должен был** ощущать свой «дискомфорт» – культурный, социальный и психологический. И *Море*

⁶ Европейцы женились на мусульманках или мужчины-мусульмане на европейках. Подробнее об этом см. в кн.: Крылова Н.П., Прожогина С.В. Смешанные браки. М., 2002.

словно *предупреждало* Надийу о грядущих переменах в ее судьбе: «То летнее утро было зябким. Нетерпеливые порывы ветра гнали по сине-зеленой воде мелкие ба-
рашки волн» (с. 22).

Но Надийа еще полна доверия к «своему» *Морю-«утешителю»*, а потому бросала свое гибкое тело навстречу искрящимся под ярким солнцем его волнам» (с. 23). Она привыкла к своей избалованности и отцом, и судьбой, к своим «удачам» в жизни, где пока еще всё складывалось именно так, «как она того желала». Вот почему она не удивилась в тот день, когда ей встретился Хуссейн и сказал: «Вы похорошели, а ваши светлые, мокрые волосы делают вас похожей на русалку» (с. 23). С ним можно было «говорить о *чем угодно*»... Ей нравилась его манера избегать «серьезного разговора»; его ирония прекрасно служила ему: «с ее помощью он ускользал от серьезных тем так же легко, как вода просачивалась сквозь пальцы»... (с. 24). Но сейчас Хуссейн был серьезен: «Я узнал, что вы разорвали помолвку»... «И **вы** были причиной этому!» – ответила Надийа. – «Семья жениха провела о том, что я с вами провела вечер после моего с отцом возвращения из Парижа с пасхальных каникул. ... Едкие насмешки моей будущей свекрови... Всё, как это водится в буржуазных семьях. ... Потом явился Саид [жених]. Попросил меня **никогда ни с кем больше никуда не выходить**, не развлекаться, даже с вами, хотя вы и друг семьи... Он говорил, что “понимает меня”, “**вовсе не ревнует**”, но надо же уметь “**идти на уступки тем, кто нас окружают, учитывать обычаи нашего общества**»... (с. 26).

Хуссейн ее по-своему утешил, поддерживая этот серьезный разговор в своей обычной, иронической манере: «Я мог бы вас так любить, так сильно любить..., как свою любовницу... Мы могли бы любить друг друга

два, три, четыре года, пока еще молоды... Но вас это тоже не прельщает...»

Надия никак не прореагировала на его слова из-за своей «обычной лени». «Так приятно было просто сидеть, вытянув ноги, подставив их лучам **солнца**... А Море спокойно и важно подкатывало к берегу. И так **было хорошо**» (с. 29–30). Но Хуссейн вдруг продолжил: «Несмотря на эту вашу эмансипированность и свободу, из-за чего вам завидуют все девушки, я думаю, что на самом-то деле все это далеко не так, и вы – несчастливы» (с. 30).

Он словно хотел помешать ее «блаженству» в лучах Солнца: «Признайте это! Вы – на рубеже между двух цивилизаций, и просто не знаете, что вам делать! Вы – несчастный продукт «совместного производства»! Всё толчетесь на одном месте и не можете набраться храбрости, чтобы найти хоть какой-то выход! Да вы и не знаете, куда вам идти! Какой выход для вас приемлем!..» (с. 30).

Внезапно его смех показался Надийе «диким». «Словно он выл и ухал, как сова», нарушая ее покой и блаженство...

«– Замолчите же! – тихо сказала она ему, но в голосе ее был призыв рыдания». И она убежала, вдруг «**став несчастной**». Надо было искупаться в **холодной воде**, чтобы «погасить свою **смятенность**» (с. 30). Хуссейн был ей безразличен, и его слова тоже. Но она «*не любила проблем*» (с. 31). И только Море, его спокойный простор, было ее *утешением*, её забвением. Лежа на спине, затылком чувствуя глубину, с распущенными по воде волосами, закрыв глаза, она отдавалась *свободному течению* его волн. Небо, раскрытое над ней, как «огромное ложе», слепило ее. Она подплыла к берегу только тогда, когда

он опустел, чтобы «окунуться в его сонную лень и пустынность»... (с. 32).

...Когда пришли «черные дни» (попытка самоубийства Джедды), Море уже не способно было заглушить голос горя: «огонь сжигал» ее сердце, она «хотела кричать, умолять, заклинать, ругаться», лишь бы прекратить «людские рыдания» и страдания. Сидя у изголовья едва не погибшей подруги (в тот раз попытавшейся покончить с собой), в бессилии помочь ей, – *«прекратить ее одиночество и несчастье»*, Надийа чувствовала, как «ненависть просочилась к ней в душу», «холодная», – «липкая ненависть». И ей вдруг «стало страшно» (с. 33).

Время застыло, словно «гладь мертвой воды». ...И когда каждый вечер она возвращалась к себе, в дом сестры, на соседнюю виллу, снова «соприкасаясь» там с другими, непохожими на нее, хотя и почти родными людьми, с их *бесцветной жизнью*, Надийа понимала, что они для нее *«ничего не значили»* (с. 37).

Ее существование переместилось как бы в другое пространство, где постепенно выздоравливала в общепоме то же ненужная ей Джедда. «Время от времени наш общий смех, казалось, еще лился из одного источника. Мы были молоды, и нам было пока легко вместе, и мне была приятна дружба со мной этих людей...» Но главное, что она поняла, что пора было снова **выбираться к Морю**, снова **окунуться в него, поплавать...** (с. 39). (Джедда не плавала, – она *только смотрела*, словно любуясь, плавающей парой.) А Надийа думала о том, какой рядом с ней плывет «пленительный мужчина», Али, недавно переживший горе, и что она уже «почти влюблена в него», во всяком случае «восхищается им и при этом не чувствует «никакой двусмысленности»... (с. 40). Джедда слушала музыку, смотрела на море, оживлялась, когда они выходили из воды, начинала да-

же о чем-то «болтать»... Как будто пыталась «обмануть нас. Скрыть от нас **свою обреченность на вечное одиночество**» (с. 40). Поэтому Надийа порой восхищалась и Джеддой: «она – из тех женщин, которые никогда не обманывают, которые никогда не будут обмануты. Она была гордой!» (с. 41). И эта «гордость» подруги была вовсе не сродни той, которую испытывала она сама, когда бежала по пляжу и чувствовала устремленные на себя мужские взгляды: ей просто «было хорошо» от сознания своей красоты, молодости, а еще она «так гордилась своим загаром»... (с. 42).

И снова Море стало «**прозрачным**» и снова она плавала без усталости, стараясь заплывать подальше, радуясь упругости своих мускулов, гибкости своего тела, легко скользившего по этой «**голубой бесконечной глади**». Она забыла обо всем, что произошло с ней, с подругой. Просто наслаждалась **покоем** и отдавалась **во власть воде**, которая несла ее, «ласково обтекая по бокам». Глаза ее «**тонули**» в глубине неба. «И она без усталости повторяла: “**Я люблю уплывать далеко, и одна люблю море**» (с. 43). Она действительно любила **свою Свободу**...

Этот рефрен, ставший для нее синонимом ощущения ее **сути**, состояния ее души, теперь сочетался с мотивом новой ее любви, даже слегка «отяжеляя» ее, заставляя «глубже дышать» и медленнее двигаться, продлевая груз наслаждения свободой и счастьем: «Мы с Али шли, оставляя за собой глубокие следы на песке, *утопленные Морем*»... (с. 43).

Иногда, правда, она вспоминала о том «*мгновенном страдании*», которое причинил ей как-то брошенный на нее завистливый и злой взгляд Джедды... И она определила, сама не зная почему, состояние своего *смятения* как *страдания*. Потом «посмеялась над собой, над этим

своим «преувеличением»... «Излишне всё драматизировать», – решила Надийа. И подумала еще, что это не столько из-за *сложности* своей «натуры», сколько из-за ее *легкомыслия*. Ведь она сама «ревновала *их*, страдала из-за Джедды, любила и Али, и ее одновременно и ненавидела ее»... (с. 44).

В такие «смутные» мгновения она оказывалась во власти воспоминаний о первых своих девических волнениях, о страстном желании дружить с горделивой Джеддой в лицее, переписываться с ней на каникулах, об испытанном тогда впервые **смятении своих чувств**. И тогда она вдруг ощутила себя *«старухой»*, и ей снова становилось *«ужасно грустно»* (с. 45–46).

Голос совести еще не мучил ее, хотя она не могла не замечать, как муж сестры с укоризной, а то и «презрительно смотрел в ее сторону...» (с. 47). Зато Хуссейн делал вид, что поддерживает ее: «Вы, как и я, – говорил он ей теперь. – Вас ничего не угнетает, у вас трезвый ум и холодное сердце» (с. 48). «Хуссейн меня любит, – подумала Надийа, – и не хочет признаться самому себе...» А меня о моих чувствах было расспрашивать бесполезно... Я давно привыкла владеть собой, управлять своей “чувствительностью”. Я не любила всех этих “трепетаний”, и мне было жаль смотреть на “*умиравших от любви*” девиц... на их экзальтацию в присутствии мужчин. Я чаще видела в мужчинах только наивное и тупое самомнение, которое и было их единственным *оружием*... (с. 49).

И еще резче, чтобы совсем заглушить нараставшую тревогу: «Мужчины постоянно жаждут наслаждений. Несчастные червяки, возмнившие себя в один прекрасный день богами! А я не люблю богов... Истинная радость и счастье – тихи и неприметны!... Если бы спросили меня, к какой же категории женщин я себя отношу,

то, посмотрев в зеркало, я бы, наверное, ответила: к холодным, бессердечным, с *неопределенными намерениями*... (с. 50–51).

А пока она любовалась Али, и ее восхищение «не знало границ» (с. 53). С Джеддой тоже что-то происходило, и всем было ясно, что в этом **«жарком летнем дурмане»** завязывалась какая-то *«неясная игра»*, которая опутает всех своими тонкими нитями, «оплетёт», а потому обе женщины как бы ненароком следили за их «рисунком, рождавшемся в спокойном и чистом морском воздухе... (с. 54).

Надийе даже показалось, что ей «нравится разыгрывать из себя интриганку» (с. 55). И однажды она позволила себе во всем признаться Али : они как-то остались **вдвоем**, уехав втроем – с Хуссейном – каждый по своим делам – в город, и теперь она и Али ожидали возвращения Хуссейна, чтобы всем вместе вернуться к вечеру на побережье, где их ждала Джедда, с легкостью отпустившая мужа с друзьями в столицу на машине, которую «так легко» вела Надийа... Хуссейн задерживался; с прибрежной дороги видно было, как **«затихает, засыпая, Море»** (с. 59), и девушка раскрыла свою душу ничего не подозревавшему Али, полному забот о создании своей **«необычной газеты»**, способной **«разбудить людей от колониальной «спячки»**...

Он слушал девушку, однако, с глубоким вниманием: «Временами мне становится тошно от всего, что я вижу, от этих людей, которые окружают меня, – исповедовалась ему Надийа. – Как будто внутри меня **пустота**. И я ощущаю такую горечь, словно прожила на свете много-много лет и давно состарилась. Но сожаления бесплодны. А где выход, не знаю...» Она долго говорила о «тщете» и «суете»... А еще о том, что «все-таки нельзя забывать, не чувствовать, как волнуется кровь, как тре-

петно бьется сердце», как «сладостна лихорадка человеческих страстей и наслаждений...» «Жаль, что это всё – недолговечно» (с. 60).

Али внимал ее завуалированному таким образом признанию в любви к нему, а у Надийи возникло ощущение, что она «заблудилась в огромной и холодной пещере, где о ней просто забыли»... (с. 61).

Вернувшись к ним, Хуссейн всё понял. Потом пытался вразумить Надийю: «Али Мулай женат. Он любит свою жену, а она – твоя подруга. И она – куда лучше, чем ты» (с. 61). «Ты просто **жаждешь власти** над мужчиной! Не все ли тебе равно, кто он! Я помешаю твоим пакостным помыслам!» (с. 62). Он был на этот раз смел и настойчив: «Поцелуй меня!» Надийа почувствовала, как к горлу подступает злость, как ярость душит ее, несмотря на спокойную синеву сумерек, слившихся с морем (с. 63). В светлой и лунной ночи и **правда показала ей мрачной**. Пройдет какое-то время, и она сама скажет Али: «Мне стыдно. Вы оба такие чистые! Мне стыдно за саму себя!» (с. 63).

А тогда Али тихо и ласково заговорил с ней о том, что ей надо быть сильной, что у нее – светлый ум, что он ее **уважает**, что она должна действовать, что-то делать, предпринять, что они с Джеддой ей обязательно «п о м о г у т ». Она «сгорала от стыда». Надолго осталось только ощущение какой-то *потерянности*... (с. 64).

Али ничего не рассказал своей жене, а Джедда демонстрировала «равнодушие», всё и так поняв. Но Надийа как-то увидела «ненависть» в сузившихся глазах подруги. «У *ненависти* был особенный – холодный, ледяной отблеск, сродни тому мрачному свету, который застывает в глазах тех, кто терпит поражение» (с. 65). Но если Надийа, хотя и чувствуя свою «потерянность»,

гордилась своим «безразличием» или наигранным «бессердечием» как своей силой, то Джедда к своему «бессилью» и к своим поражениям уже привыкла. Вот и на этот раз она чуть было уже не потеряла и мужа...

Али уехал в Париж «устраивать дела с газетой». Уехал и рассерженный на Надийю Хуссейн, даже не проводив друга в аэропорт. Решили, что Джедде лучше оставаться **на море** (после попытки самоубийства у нее со здоровьем было совсем неважно...) Али сказал Надийе, что «доверяет ей свою жену»... Теперь только море могло развязать этот странно завязавшийся «узел» Жизни. «Я ходила по утрам на пляж и долго плавала... Возвращалась с мокрыми, пахнущими морем волосами... Мы завтракали, смеялись, вели даже *доверительные беседы*... Шутили. В такие мгновения я принадлежала только Морю и Джедде, ее потеплевшему голосу, на встречу которому снова летела моя душа...» (с. 70).

Но Джедда уже готовила развязку событий. Получив письмо от Али с сообщением о том, что тот привезет в Алжир своего «добрачного» ребенка, усыновив его, Джедда подобно «газели, широко распахнув глаза в минуту опасности, спасалась **стремительным бегством в пустыню**» (с. 71). Поэтому она, слушая «искренние признания» Надийи, ее исповедальные раскаяния в том, что в минуту слабости и восхищения Али она «поцеловала его руку», думала о своем, сохраняя гробовое молчание. «Словно опустилась беспросветная ночи» (с. 72). «И я поняла, что даже ночь не простила бы мне то, в чем я призналась Джедде. И **страх** охватил меня. **Всё было потеряно**... Джедда вдруг вздрогнула, затем спокойно обратилась ко мне, но я уже чувствовала, как слегка дрожит от волнения ее голос: — «Я всегда знала, что между вами что-то произошло, я это знала. И с тех пор, как ты живешь здесь, я все искала подходящий повод,

чтобы сказать тебе об этом... Но сегодня я на это не рассчитывала. Так ты любишь Али? О, не волнуйся! В сё совсем не так, как тебе кажется... Я даю тебе полную возможность завоевать его. Делай с ним, что хочешь... Оставь все свои сомнения. Более того, я готова тебе помочь. Да-да! Я просто тебе его дарю! Пусть это будет нашим с тобой договором, сообщничеством» (с. 74–75). Она еще говорила о том, что понимает, что «постепенно любовь мужа к ней превратится в жалость. А она не хочет жалости! Вот почему необходимо избавить его от этого испытания. И просила: «Соблазни его! У тебя для этого всё есть» (с. 76).

«Это было чудовищно», и Надийа пыталась прервать ее робкими возражениями: может, Джедда еще сумеет родить, да и так все равно Али любит ее... Джедда настаивала: «Конечно, придется рисковать; но, рискуя, ты ничего не теряешь, или же выигрываешь Его... (с. 77). Надийа видела, **как** она страдала. Но Джедда продолжала: «У меня еще есть гордость! Вот поэтому я сама и предлагаю тебе Али... Ты или другая, какая разница?.. Мне так хочется увидеть, когда Али **рухнет, сломается или же сам разрушит всё, что у меня на душе...** Я так хочу увидеть, как он *отступает*, как *сдается*... Вот тогда я и одержу **свою победу**»... (с. 78–79). Надийа понимала, что **«с ней играют»**, что Джедда зачем-то хочет «просто ей *воспользоваться*». «А ведь я их любила, – подумала Надийа, – но **сдалась** Джедде с «*наигранной легкостью*»: она сама вся ушла в свои собственные переживания. А Джедда торжествующе улыбнулась» (с. 79).

...«Доро́ги всегда одни и те же. Это люди, идущие по ним, разные», думала про себя Надийа. Она тоже уже давно задумала добиться своего: чтобы Хуссейн стал

ревновать ее, был бы «повергнут в отчаяние», чтобы «помучился», узнав, как она сама, что *такое «тоска одиночества»* и перестал иронизировать над ней... Да и человек для этой цели был подходящий – сам Али, с его «красотой», с его «серьезностью», «мужественностью», чем Надийа искренне восхищалась, «а может быть, и любила его даже»... (с. 52). Вот так, в «состоянии брожения» и согласилась она на безумное и отчаянное предложение Джедды...

«Что-то невероятно мерзкое, чему я должна была способствовать, заваривалось вокруг меня...» (с. 79). И **Море** куда-то «удалось» тоже. «Весь интерес мой к пляжу остыл, пропал... Я стала замкнутой и неулыбчивой... Я стала **тонуть**... **Идти ко дну**... ..Не хотелось ни о чем думать, – только о ветре, который хлестал меня по щекам и стучал в виски, только об этой **вечной гонке моей жизни**... Джедда презирала меня, Хуссейн ненавидел. Али больше не было рядом, я забыла его. Все было **кончено** с этой моей **несчастной жаждой нежности**, с поисками тех, кто мог бы утолить ее...» (с. 82).

Надийа вдруг поняла, что «Жизнь – это нечто совсем другое, это **неистовство** людей, это их **оскорбления, это их насилие**. И надо стать **сильнее!** И сделать то, что люди ждут от меня» (с. 82). Решив так, она почувствовала себя *свободной*, а может быть просто «*окончательно потерянной*» (с. 82). И пришло *ожесточение*... А вместе с ним – и **прозрение**.

...Когда она узнала, что Джедда хочет избавиться от своей неожиданной беременности, сама отвезла ее в какую-то клинику, рекомендованную сестрой Лейлой. Решила, что больше незачем «играть во все эти игры», что всё устроится «само собой». Впервые написала даже письмо Хуссейну: «Я не хочу вас терять. Я люблю вас. Я тебя жду» (с. 95). «Ни Джедда, ни Али больше не ин-

тересовали ее. Она **была готова бежать подальше от Моря**, от этого **слишком уж жаркого Солнца**, от летнего зноя, от своих неудач»... (с. 96). Вспомнила, как ей все говорили, что она, в сущности, **человек без родины, без корней**. Однако сейчас почему-то ощущала себя «**такой же, как другие женщины этой страны, как наши матери, бабушки**»... «Мне, как и им, **ничего другого не надо, кроме семейного очага**, дома, где можно заботиться о близких, *слушаться своего мужа*, – ведь, собственно, только это и надо женщине... Мужчины могут иметь что-то и на стороне, но жену он всегда при этом будет уважать, не забывать о ней, а это вполне достаточно. **Женщины здесь знают**, что когда состарятся, то мужа их могут взять себе другую жену, молоденькую девушку, и они не будут его ревновать к ней. **Они спокойны и мудры, покорны и, наверное, именно они-то и правы**»... (с. 98–99).

Поняв «**терпкий вкус злости**», – от унижения и страха, испытанных от циничного предложения Джедды, Надийа вдруг **обрела себя**: такую, какой и была ее жизнь, загнанная жаждой «*движения без цели*», развлечений и соблазнов, жаждой наслаждений и «томной неги» (называемой ей «нежностью»), лени *бездействия*, вызывавшей лишь смутную тревогу от неуверенности в своей «езде в неизвестное», в своей какой-то «неприкаянности», «несвязанности» ни с грузом Прошлого, ни Настоящего, ни Будущего. Это было не «торжеством **безразличия**», как думала она, но обычным **страхом** гарантированного ей одиночества... «Не знаю точно, когда я начала испытывать этот **Страх**. Немой и холодный, как **могила**» (с. 101).

...Вот и теперь, везя уже умиравшую «после операции» Джедду обратно, к Морю, видя ее **лицо**, и **скаженье** гримасой боли, «отвернувшееся от нее», Надийа, поняв, что уже ничем не может помочь

человеку, *«что вообще всё кончено»*, еще раз сполна испытала то, что называла она сама **«страхом»** (с. 102).

...Но когда Джедда умерла, и вернулся Али, Надийю терзали уже муки отчаяния: *«Это я, я убила ее! Я разожгла в ней огонь ревности, возмутила ее душу! И всё только потому, чтобы чем-то заняться, позабавиться, не остаться одной, без внимания...»*

Даже Лейла осуждала ее, даже в ней Надийа не увидела никакого к себе сострадания, *«ни следа ее былой сестринской нежности»*... *«А как хотелось, чтобы она сейчас обняла меня, успокоила, утешила, погасила мое смятение... Но та молча и презрительно наблюдала за мной...»* (с. 104). ...Надийа подойдет к Али на похоронах, поняв, что люди могут *«сносить беды, только сочувствуя друг другу в горе»*, только *«сердечно откликаясь на боль другого»*. Али, как ей и хотелось, просто ждал человеческого общения. Он не устроил ей никакого допроса». И, слушая его рассказ о его сыне, Надийа впервые испытала настоящий стыд, *«тот самый, когда твоим глазам предстает чужое горе...»*. Вслушивалась в исповедь его несчастья. И даже обнаружила в его словах слабый проблеск надежды на свое *собственное спасение*... *«На сердце была пустота, к душе прикипели смута и стыд»* (с. 105–106).

...Пройдет время, она выйдет замуж за Хуссейна. Он будет целовать ее, а она, *«закрыв глаза, чувствовать, как поднимается внутри тяжелая горячая волна, словно растопилось, расплавилось само лето...»* (с. 107). И погрузится в новую Любовь, как прежде, в свое Море. *«Теперь я была настоящей женщиной»*... И мне хотелось рассказать мужу обо всем, что произошло со мной прошлым летом на берегу моря, как мной хотела воспользоваться чужая мне женщина, чтобы свести свои счета с жизнью, **найти свою смерть**... Рассказать о всей «этой

смуте, которая вползла в меня, покрыв душу плесенью... Я окрестила ее уж очень просто: “угрызения совести”. На самом-то деле, оказывается, все было и определеннее, и **ужаснее**... “Ничего, ответил ей Хуссейн, всё пройдет, все образуется”. “Ну конечно же, **ничего**, кроме всплывшего вдруг снова в памяти имени Джедды, похожего на само **бегство из жизни**» (с. 107–109).

«Что же заставляло меня мужу лгать, – жалость ли к Хуссейну, или любовь, а может быть **трусость**?, – размышляли Надийа. – Но главное, что странная моя **жажда**, **мучившая меня в то лето**, о которой напомнило мне мертвое лицо Джедды, **исчезла навсегда**, испарилась, как легкий туман, из моего неверного сердца. Мне только надо теперь быть осторожной и не смущать **покой людей, не тревожить их души**. И я почувствовала, как ко мне **в последний раз подкрадывается страх**... Муж понял, что мне нужна его теплота, чтобы не бояться холодной **тьмы ночи** и смело выйти **навстречу ЖИЗНИ**» (с. 110) (везде выделено мной. – С. П.).

Она пыталась **забыть о Море**. О его и утишавшем жар крови, и рождавшем, и будоражащем душу, и охлаждающем разум **омовении**. О Свободе, которое оно несло в своих водах. Но разве она выбралась на берег, чтобы **«утонуть»**, **«увязнуть»** (как говорила она раньше) в **«тине»** той самой *повседневности*, которой пыталась когда-то пренебречь, испытывая жажду вечного **«обновления»** своего бытия? Разве морской прибой, бурлящая и кипящая его пена и торжественная песнь не преподали ей **Знания Жизни**? Ее поколение было уже предназначено **«освобожденности»** – плоти, духа, стремлений, самих попыток своих как-то вторгнуться в **другое бытие** человека и **изменить** саму Жизнь... Это и было, на мой взгляд, попыткой женщины найти **выход** из «тупиков» обычного бытия. Пусть пока. Но в этой

наполненной тонкого психологизма книге Д. Джебар, всё происходит подобно тому, как бывает это после грозы: в наступившей вдруг тишине становится слышно пение одинокой птицы. И это уже немало для тех, кто *пережил Грозу*, кто остался жив и надеялся на то, что новый, «светлый» день **обязательно** настанет... Ведь Надийа была из поколения «н е т е р п е л и в ы х» (один из последующих романов А. Джебар так и назывался «Les impatients»). И это поколение еще успеет вступить в свою **Битву за новую Жизнь**...

Вышесказанное относится и к поколению тех маггрибинок, которые были словно вдохновлены «Жаждой» героини А. Джебар самостоятельности и возможности выбора путей своей жизни. В Марокко, к примеру, женщина, придя в литературу значительно позже, чем алжирки или туниски, создали своих героинь подобно тем, которые возникли и на страницах романов и Дж. Дебеш, и А. Джебар, и, конечно же, Хафсийи Джелилы. Если, к примеру, обратиться к художественному творчеству марокканки Сихам Беншекрун, то можно сказать, что ей, врачу по профессии, действительно удался своеобразный «женский бестселлер» (а именно так марокканская критика оценивала выход в свет ее первого литературного опыта) на фоне уже прочно сложившихся и фундамента, и фона таких крупных и знаменитых марокканцев как Дрис Шрайби, Тахар Бенджеллун, Абдельхак Серхан, «плотно» занимавшихся судьбами и уделами жизни своих соотечественниц-мусульманок, зависимых от «тисков» религиозной Традиции. Сихам Беншекрун в своем романе «Осмелиться жить»⁷, вышедшем полвека спустя после «Жажды» А. Джебар, тоже покажет «просыпающееся самосознание» своей героини, которая, испытав все превратности

⁷ Siham Benchekraun. Oser vivre. Casablanca, 2005.

необходимости «жить, как все», выданная замуж за не очень любимого человека в ранней юности, уже родившая ему двух детей, в какой-то момент обретает ясность понимания того, что день за днем, год за годом она жила только в «постоянном страхе самой жизни», «своего собственного тела», «своего стыда» просто любить, быть свободной в своих желаниях и возможностях общения к другой жизни, которая – «вне стен дома», где она была «словно в крепостном заключении». «Надо было как-то расти вместе с жизнью и искать свою собственную правду», – сознается она матери, уже уйдя от тяготившего его мужа, из опостылевшего «чужого дома» в родительский. (Вслед за ней такая же участь будет и у героини повести марокканки Ясины Шама – тоже не профессионального литератора, – архитектора, фрагменты которой мы опубликуем в «Приложении».) Мать поддержала дочь в ее намерении «осмелиться жить» как-то по-другому, не только в привычной традиционной атмосфере семьи мужа, где существует и диктат не только его, «мужской власти», но и *его* матери, и его родной семьи – таковы традиции... «Надо было как-то выбираться из тисков жизни, из разницы мироощущения и понимания цели моего существования...» Возможно, осознавала героиня, что цена за обретаемую таким путем *Свободу* (она сама потребовала от мужа развода, – тоже вопреки Традиции, и он ей отказал, угрожая и тем, что не отдаст ей на воспитание их детей) окажется слишком высокой, даже не по силам. И она уже порой сомневалась, сумеет ли выжить, не сыграла ли сама жизнь с ней «злую шутку», то от плана своего – *осмелиться жить заново* – не отказалась. Но эмансипация, видимо, не принесёт героине искомой свободы действий...

И уже после этого «чисто женского», женщиной написанного, от лица самой героини романа, Сихам Баншекрун создаст еще одно произведение – «Шама» («Chama», 2008), где, наоборот, герой-мужчина, современный, образованный, придерживающийся позиций «женской эмансипации», будет писать письма своей кузине, упрекая ее за то, что она изменила принципам «современной жизни», постепенно превратилась из «заметной всем» своей красотой и своим *нормальным поведением* современной, «модернизированной» марокканки, под влиянием родительских советов в «послушную рабу Традиции», согласившись на необходимость замужества, брака с человеком, хотя мало знакомым, «не из ее среды», но обеспеченным, а потому «надежным супругом» и «хозяином» будущего своего семейного дома, и даже надела мусульманский платок, длинное темное платье, «закрывшие и ее красоту», и «отгородившие» ее, как «плотной завесой» будущего «мрака» от кипевшей вокруг Жизни... Кузен сожалеет в своем прощальном письме о том, что «недостаточно любил» Шаму и признается, что ее жертва, принесенная настояниям Традиции, – как «отравленный подарок» всеми желанной Свободе...

Но не убоившись выступить от лица именно мужчины, признавшего, что и такие, как он, «свободомыслящие», осуждающие «оковы и власть» извечной мусульманской традиции жизни, не могут ни одолеть эту власть, ни приблизить искомую Свободу... И как бы показала ненароком и дальнейшую судьбу героини «Жажды» А. Джебар, которая, если вспомнит Читатель, все-таки предпочла в конечном счете выйти замуж и «стать, как все»...

Но Ассия Джебар, показав в своем первом романе только порыв алжирок к освобождению, создала далее и

образы, уже прорывающиеся к завоеванию Свободы **для всех** во имя всеобщего освобождения...

В последовавших за «Жаждой» произведениях А. Джебар, посвященных уже этой эпохе – Войне алжирцев за независимость («Нетерпеливые» (Les impatients). P., 1958; «Дети нового мира» (Les enfants du Nouveau Monde), 1962; «Наивные жаворонки» (Les alouettes naïves. P., 1967) и многочисленных стихах этих лет и даже в более поздних творениях, к примеру «Любовь и фантазия» (L'amour, la fantasia. P., 1985), именно женщины станут не только верными подругами ушедших сражаться в горы, ставших партизанами мужчин, но и проводниками по опасной во время Войны «линии», разделившей Восток и Запад *навсегда*, обрывавшей, уничтожавшей заодно с требованиями алжирцами Свободы и всё наследие той цивилизации, которое уже отметило эту североафриканскую землю. Хотя она сама использует именно французский язык, несмотря на прекрасное владение родным арабским, и даже «амплифицирует» в своем творчестве само происхождение некоторых своих героинь, делая их некими «метисками», как это случилось с образом Надийи из романа «Жажда»...

О том, что довелось испытать воюющим алжиркам, напишут многие. Наджийу – героиню романа А. Джебар «Наивные жаворонки» (Les alouettes naïves. P., 1967) – пытали, бросив в военную тюрьму, где солдаты вдоволь поиздевались над девушкой со сломанной ногой, как и над невестой патриота Тахара из романа ее соотечественницы А. Лемсин «Порфинового цвета небо» (Lemcine F. Ciel de porphyre. P., 1978): ее жгли сигаретами и избивали до тех пор, пока она не теряла сознание... Такой крупный художник, как Мулуд Маммери не менее убедительно показал страдания и мучения своих соотечественниц, хотя сам, к счастью, и не испытал того,

что пришлось вынести участникам событий, развернувшихся в его родной Кабилии... Но очевидцы рассказывали ему об отважных женщинах его края, и писатель в своем знаменитом романе «Опиум и дубинка»⁸ поведал ужасную историю о Фарудже, связанной партизан, которую французы поймали и пытали в тюрьме, чтобы она рассказала о явках и выдала своего брата. Пять дней длился допрос, и когда женщину отпустили, ничего не добившись, она узнала, что ее грудной ребенок умер от голода... После того, как с непокорной горной деревней расправились солдаты, разбомбив ее дотла, многие женщины сошли с ума от горя и долго еще не отпускали, прижимая к себе своих погибших от бомб детей...

Нельзя не сказать и о том, что тема **«женщина и война»** у некоторых франкоязычных писателей сопряжена и с образами «негативных» участниц событий, не разделивших судьбу своего народа и понимавших, и утешавших свою Свободу по-своему. Это, к примеру, – Тума из романа Джебар «Дети нового мира», Далила из романа Лемсин «Порфирного цвета небо» и Урида из «Набережной цветов» М. Хаддада.

Между этими образами существуют некоторые точки соприкосновения. Они все живут «на западный манер», говорят по-французски и двое из них – Тума и Далила – prostituteируют с «образованными» французами, хотя и боясь своих соотечественников, но презирая алжирских мужчин, «не умеющих даже ухаживать за женщинами». Героиня М. Хаддада – Урида уходит из дома, бросает мужа, тоже полюбив французского офицера. Но у отрицательных героинь А. Джебар и А. Лемсин есть и особые «поведенческие мотивы»: так, Далила, виновная в гибели многих жителей своего квартала, выдавшая их полиции, призналась как-то: «Мой

⁸ На русск. яз. роман переведен Н. А. Световидовой в 1967 г.

отец бил меня, братья били тоже, и мои дядья, и моя мать... Били меня и другие. Вот я и сама бью теперь людей, когда представляется случай... На их собственном поле – “поле чести”, столь дорогой душе араба! Пусть они, эти арабские мужчины, теперь дрожат от страха при моем имени! А я уже ничего не боюсь!» (с. 60).

Тумá из романа Асси Джебар тоже по-своему была жертвой обстоятельств: она могла бы продолжать учиться во французской школе, если бы ни смерть отца. Ей пришлось работать секретаршей, а ее двенадцатилетний брат не выносил, что она «крутится» с французами... Приехавшие в дом братья матери заперли Туму, а два месяца спустя она сбежала... Эти две женщины – Тумá и Далила, познав «запретный плод» – «свободный» образ жизни, уже не могут выносить свой родной «курятник», как они говорят, и в общем-то рискуют жизнью, вызывая гнев соотечественников, продавая свое тело, единственное свое достояние...

Но если в реальности такой тип алжирских женщин – увы, не редкость и сегодня, несмотря на негодование хранителей «традиционных устоев», считающих, что «во всем повинен колониализм»⁹, то в литературе эти женщины, скорее, исключение. Хотя их роднит со многими другими определенное **презрение к мужчине-мусульманину**. Он для них – источник их неприязни, у многих продолжающейся и сегодня (см., напр., опубликованную в 2005 г. книгу Лейлы Маруан «La jeune fille et la mère»). Тума А. Джебар негодует, когда при ее появлении «арабы» отворачивают свое лицо. «Меня просто трясет», – так она реагирует на ханжество тех, кто в глубине души хотел бы «точно так же овладеть ею, как это делают французы...» (с. 47). Что же касается Далилы

⁹ См., в частности, книгу: Saadia et Lahdar. L'aliée nation colonialiste et la résistance de la famille algérienne. Lausanne, 1961.

А. Лемсин, то она предпочитает «терроризировать» арабов, которые так гордятся своей «вирильностью» и своей «отвагой», – она будет во время войны «выдавать» их французам, и они «будут *умирать от страха*»... (с. 60).

Этих обеих женщин постигнет трагическая участь. Тума умрет, зарезанная своим братом, и ее матери не удастся найти ни одной «плакальщицы», которая согласилась бы достойно похоронить ее дочь, как требовала того Традиция... Она, найдя несколько золотых монет в так и не пригодившемся приданом ее дочери, пообещает покойнице подкупить кого-нибудь, чтобы оплакать и проводить в последний путь Туму... И Далилу тоже зарежут, но патриоты из тайной «Организации». У нее хватило еще сил перед смертью крикнуть им в лицо: «Мерзавцы! Я буду отомщена! А вы все подохните! Вам не удастся выиграть вашу войну, банда разбойников! Французы – сильнее вас!» (с. 71).

Одна Урида из романа М. Хаддада погибает от пули: ее поджидала засада, когда она была со своим любовником, французским десантником. Ее случай – не вполне объяснен самим писателем. Только ли любовь владела ее помыслами, когда она бросала свою вполне благополучную семью, где она была и примерной супругой, и идеальной матерью?.. Ее «предательство» не может быть оправдано ни семейным гнетом, ни чем другим. Скорее, это от *избытка свободы* (с. 144), – ведь она давно жила одна: муж-писатель находился в своем «изгнании» во Франции...

Таким образом, поводы для участия или, наоборот, неучастия алжирок в освободительной войне были, как показывают писатели, самыми различными, но тем не менее, все они послужили появлению в литературе абсолютно **нового типа героини**.

Литература свидетельств о войне за Независимость, составляющая значительную часть произведений в целом писателей-алжирцев, не столько заботящаяся об эстетическом плане, сколько о *сообщении правды*, отводит большое место именно героизму женщин и особой их роли в войне, даже если эта роль ограничивалась только приготовлением пищи для партизан и уходом за ранеными. Статистика говорит о том, что только за период 1962–1972 гг. появились сотни рассказов, десятки пьес и десятки романов о войне¹⁰, где образ женщины-участницы военных событий в основном «сублимирован», несколько абстрактен и даже схематичен, подчеркнуто пафосный: Мать, к примеру, во многих произведениях *не плачет*, узнавая, что сын уходит в горы, или его там убили, и даже над трупом мужа-партизана или сына, но прибегает к традиционной гортанной «тре-ли» (ю-ю-ю!), более подходящей для торжественных церемоний... Однако это – выражение ее преданности Родине, которой отдали свой «долг» ее близкие (см., напр., Salah Fellah. *Les barbelés de l'existence*. Alger, 1961; Kaddour M'Hamsadji. *Le silence des cendres*. P. 1962)¹¹.

Такие женщины, как правило, не испытывают страха, ни даже тревоги, и если полиция приходит к ним в дом с обыском, то они отвечают: «Мне наплевать на ваши угрозы. У меня нет никакого уважения к вашему начальнику, который прислал вас ко мне. Я – у себя дома, а вы – бандиты. Чего вы привязались к старухе! Попробуйте-ка встретиться с моими сыновьями!» (Хосин Бузахэр. «Пятипалое солнце рассвета». *Les cinq doigts du jour*. P., 1967, с. 161). (В этом произведении Мать, на

¹⁰ См. *Les tendances depuis 1962 dans la littérature maghrébine de langue française*. Centre culturel français. Alger, 1973.

¹¹ См. перевод на русск. яз. этого романа: «Молчание пепла» в книге: «Обладатель кубка». М.: Прогресс, 1988.

похоронах сына, не плачет, но, обращаясь к его товарищам, произносит пламенную речь о *долге перед Отечеством* – с. 155).

Полагаю, что писатель ничего не приукрашивал: война за независимость породила не только в литературе абсолютно новый тип женщины – участвующей в борьбе, он **существовал уже в реальной действительности**.

В театральной пьесе Джамалия Амрани «Это не случайно» Лейла рассматривает свою миссию (участие в революции) как свое *новое рождение*, похожее на «глоток свежего воздуха» в раскаленный зной (Dj. Amrani. *Il n'y a pas de hasard*. Alger, 1973, с. 46). На самом деле, не случайно, что алжирские девушки, которые сознательно шли «в революцию», участвовали в боевых действиях, как правило, были те, кто учился в школах и лицеях, во французских учебных заведениях. Ежедневный контакт с языком и культурой *другого* мира, способствовал не только их образованию, *но и пробуждению* в них, как это ни парадоксально, их *политического сознания*, которое, в свою очередь, учило их видеть дискриминацию своего народа и безразличие колониальных властей к его судьбе...

Надия Гендуз, вспоминая об этой эпохе, писала в своих стихах о том, что еще ребенком поняла, что в школе все собирались утром не у *ее знамени*, и она опускала глаза и тихо напевала «*совсем другую песню*» (in: Nadia Ghendouz. *Amal*. Alger, 1960, с. 26). В «Ученике и уроке» Хаддада (L'élève et la leçon. P., 1960) Фадилла, разглядывая французский календарь, думала о том, что в нем месяцы и числа «*показывают западную эру*». А это – «совсем другое, чем та, в которую жили алжирцы!» Для них – месяц май – это же светлый месяц весны и расцвета, но и *черный месяц войны и массовых рас-*

стрелов алжирцев французами, испугавшимися восстания колонизованных, 8 мая 1945 г., как и июль – не месяц созревания хлебов и любви, но горький месяц пленения Алжира французами в 1830, когда и началась эра колонизации... Да и ноябрь больше не ассоциировался с залитым теплым светом побережья прекрасной Типазы (воспетой А. Камю), но с залитыми кровью улицами алжирской столицы, где первого числа этого месяца в 1954 г. рвались бомбы, возвестившие о начале войны за Независимость... Просыпалось национальное самосознание.

Так, в романе А. Джебар «Дети нового мира» Лейла очень рано поняла, что несмотря на свои зеленые глаза, она *не похожа на француженку* по матери и навсегда останется той, кого *они*, французы, здесь презрительно называют одним, общим для всех алжирок именем: «Фатьмой»... И на уроках истории Франции предпочитает потихоньку болтать с соседкой по парте или писать письмо своему отцу – «этническому» алжирцу...

Другая героиня этого же романа – Салима – с гордостью проходила мимо плававших завистью к ее длинным косам девчонок-француженок, которые не могли ее не «уколоть», намекая ей на то, что, видимо, «в ее жилах течет и негритянская кровь...» Позднее Салима им ответит по-своему, уйдя сражаться в горы...

Но если большинство алжирок, получивших образование во французских школах, и уходило в *революцию* (для знавших о Великой Французской, на уроках в тех школах, которые были организованы самими же колонизаторами, навсегда врезался в сознание именно ее лозунг: «Свобода, Равенство и Братство!»), то в не меньшей степени и оттого, что их соотечественницы и соотечественники, не учившиеся во французских заведениях, косо поглядывали на них, и особенно девушек,

считая их в известной мере «предательницами»¹². И этот латентный, *внутренний конфликт* также повлиял на дальнейший выбор своей судьбы девушками, ходившими в школу с *открытыми* лицами, *без сопровождения братьев*, не боявшихся постоянного контакта своего с «чужим миром»... (Они уже по-своему испили *свой глоток свободы*, хотя и горький, но знали, что свобода должна быть завоевана для всех.) Можно сказать, что алжирская женщина, получившая образование, находилась тогда перед двойным выбором – или быть на стороне оккупанта, «открыв лицо», или «закрыть его чадрой», став, **как все**, но потерять свой шанс эмансипации. Выбрав же образование, женщины обретали *чувство вины* перед соотечественницами, и это убедительно показано в романе А. Джебар, чья героиня-интеллектуалка находит подлинную «алжирскость» только в тех женщинах, чьи *лица остаются закрытыми*: «Когда Нефиссе приходилось быть в толпе этих женщин с корзинкой в руках, она им улыбалась, зная, что в глубине души они добры, и ей часто хотелось сказать им: знайте, я тоже из ваших, я – ваша сестра» (А. Джебар. Наивные жаворонки, *Les alouettes naïves*. Р., 1967, с. 64).

И когда такие, как Нефисса, вступали в политическую борьбу, то находили в ней достойный и адекватный ответ на свою *двойную маргинализацию* в обществе, становясь «*звеном в разорванной цепи*», как говорит другая героиня А. Джебар, – Салима из романа «Дети нового мира».

Этот роман, увидевший свет в год получения Независимости, в 1962 г., А. Джебар уже целиком посвятила

¹² Известно, что именно в 50-е гг. особенно в арабоязычной прессе алжирских «националистов» велась активная и агрессивная кампания против таких «ученых» девушек: их обвиняли в «падении нравов», **несоответствии нормам религии** и «образу истинной алжирки».

политическому пробуждению алжирской женщины в среде именно образованной, воспитанной во французских школах. Они имеют разное социальное происхождение. Так, Салима — из бедных слоев, осознающая свою бедность и свою ответственность за судьбу младших братьев. Она с 15 лет помогает своей семье, и даже в 30, так и не выйдя замуж, пожертвовав личной жизнью, она все еще должна заботиться и о матери, и о брате, который в тюрьме, куда попадает и сама за свои политические убеждения и свою борьбу. Там она знакомится с Лейлой, которая стыдится своего буржуазного происхождения, своего «буржуазного эгоизма», не позволившего ей понять, почему ее «бросил муж», уйдя в партизаны. Она попала в тюрьму случайно, но уже прозрев, поняв, что отделенная *социальной границей* от своих остальных «голодных» соотечественников, она должна быть в **их борьбе вместе с ними...**

Как и героини произведений многих соотечественников Джебар, создавших портрет женщины, в массе своей живущих в страданиях, но с *жаждой Свободы*. Потому многие из них уйдут в «лагерь» борцов за нее, часто противясь воле своего Отца или Матери...

Немногие писатели исследовали причину «взрыва» политического сознания у своих героинь, ограничиваясь показом их участия в борьбе. Но Ассия Джебар, практически, одна из немногих, проследила за эволюцией и метаморфозой самого сознания алжирской женщины в эпоху борьбы за Независимость, начав писать в разгар войны («Жажда») о возможности *другой* жизни, о «пробуждении чувств» молодой свой современницы как пробуждении и политического самосознания еще молодой, созревающей для понимания возможностей Свободы как таковой самой Нации. Айша Лемсин, ее соотечественница, наоборот, в своем романе «Порфириног

та небо»¹³ почти всех своих героинь сразу «бросает» в политическую борьбу по причинам чисто «личным»: Амалия, рожденная в смешанном браке, испытывая «идентификационный дискомфорт», пытается найти от него избавление, участвуя в партизанской войне; Мери-ем, разочаровавшись в своем кузене Али, отказавшемся жениться на ней по причине своего «ухода в горы», к борцам за свободу Алжира, совершает тот же поступок, предпочитая воевать, а не ждать...

Таким образом, поводы для участия или, наоборот, неучастия алжирок в освободительной войне были, как показывают магрибинки, самыми различными, но тем не менее, все они послужили, как я отметила, появлению в литературе абсолютно **нового типа героини**. И именно женщины-магрибинки (начиная с Д. Дебеш, А. Джебар) стали его создателями. Им последуют и М. Диб, и М. Хаддад, и Х. Бухазер, и К. М'Хамсаджи, и С. Феллак и мн. др. Но воздав «особые почести» именно писателям-женщинам, я просто хочу отметить их необыкновенное свойство психологической глубины воссоздания образа своих современниц...

Мельком упомянутые некоторые персонажи книг других магрибинок и магрибинцев (а их – множество!) – только поводы для некоторых сравнений или сопоставлений с теми, которые созданы пером Ассии Джебар, с определенного времени ставшей активной участницей современной истории Алжира. А она навсегда отмечена Войной за Независимость. Пусть даже и ее плачевным результатом той Свободы, обещанной повстанцами 1954., *символом забвения* которой стала знаменитая Ар-фийя, бывшая партизанка из романа классика алжирской литературы м. Диба «Пляска смерти» (1968)¹⁴. Ас-

¹³ А. Lemcine. Ciel de porhyre. P., 1978.

¹⁴ Об этом подробно в нашей работе «Обречение Авеля». М., 2020.

сия Джебар не сможет не обратиться к этой особой «метке» всей новой Истории своей страны и в особенности, переломные, уже на подступах к войне гражданской в 80-е гг., создав свой знаменитый роман «Любовь и фантазия» (*L'amour, la fantasia...* Р., 1985)¹⁵. Если в «Жажде» А. Джебар отдала предпочтение разработке человеческого характера своей героини, а не событий, назревавших в реальности, а позднее – способов участия женщин в этих событиях, их готовность сражаться за Свободу или их сомнения (и даже нерешительность) или определенных поступков в определенных ситуациях («Наивные жаворонки»), то в романе «Любовь и фантазия» писательница выводит на первый план женскую личность, воспринимающую Войну, переживающую Историю своей страны неотрывно от собственной судьбы. Эпическая ткань романа значительно уплотнена художественным показом и даже анализом самих исторических событий. Но расширение этого эпического фона, воссоздание как чудовищного кошмара всех долгих лет («кровавых»), начиная с Алжирской экспедиции Франции в 1830 г., продвинувшейся вглубь страны с побережья армии колонизаторов и последовавшего сто лет спустя процесса отвоевания алжирским народом своей земли, сопровождается в книге и анализом примеров процессов и взаимоотношений «разных миров», их и взаимопониманий, и взаимоотталкиваний, и взаимодействий и взаимопроникновений. История показана А. Джебар как особая драма ее земли и ее, и французского народов, весьма долго сосуществующих рядом в условиях угнетения одного другим. Поэтому проникновение «вглубь Истории» участников этой «драмы» стало для писательницы еще одной демонстрацией ее психо-

¹⁵ Слово «фантазия» дается писательницей не в обычной транскрипции *fantasi e*, а в той, которой принято обозначать особое древнеберберское празднество – скачки на неоседланных лошадях и стрельбу из кремневых ружей. – С. П.

логического мастерства (уже начавшегося в «Жажде»), ибо воссоздание многозвучной гаммы сложностей взаимоотношений представителей двух разных миров и цивилизаций – особая смелость художника, жившего уже на пороге «искоренения» шедшими к власти исламскими радикалами в Алжире «*всего западного*»...

Но «историческая хроника» и биография самой героини романа словно неотделимы друг от друга. И разворачиваясь в параллельных текстах, в разных, не прирывающих друг к другу главах, оба, как сегодня принято говорить, «нарратива», посвящены общей теме – пробуждения и возмужания человека и народа нации, страны, духовного их **прорыва** из плена НЕСВОБОДЫ (и даже рабства) к прозрению, обретению собственного «я», собственного голоса, права на самостоятельность, на собственную жизнь, преодоление мрака *незнания*, ложных табу, ханжеской морали, устоявшихся догм (и колониалистских, и собственных – религиозных и социальных), и преодоления – что весьма значимо – комплекса «неполноценности», «колонизуемости», необходимости полной «ассимиляции» в культуре только Запада. Все это представлено в романе «Любовь и фантазия»¹⁶. Как постепенный расцвет души героини, как ее порыв к **миру знания** и прорыв в мир, где именно гармоничное *соединение* всего лучшего в разных людях, их культур, представлялось юной женщине как *неизбежность*, как «наступление утра» после долгой Ночи... И слагаемые личной биографии героини, и слагаемые истории ее страны уравнивает А. Джебар в таких категориях как «Прошлое», «Осада» («задушенная» свобода) «Обнажение» (как беззащитность), «Любовь», освобождение», – и им придается особый смысл, одновременно и «очеловечивающий» Ис-

¹⁶ См. русск. перевод Н.А. Световидовой «Ассия Джебар. Избранное». М., 1990.

торию, и превращающий личную жизнь женщины-героини в некий символ Истории своей страны...

Заплатив когда-то «чудовищную цену» за свое поражение и колонизацию (Алжир долго не смирялся – некоторые племена уходили в горы, сжигали себя, но не сдавались) в процессе которой была и массовая гибель людей, и отнятие их земли, Алжир все-таки (и это записано и в хрониках и свидетельствах самих воевавших французов, дневники которых были знакомы писательнице) не смирялся окончательно. Сейчас уже кажется не важно, какой ценой он добился своей Свободы. Но писательница создала в своем романе эту тоже *неистовую его жажду своего освобождения* как особые муки рождения Нового мира, которое с необходимостью и неизбежностью должно было свершиться на этой древней земле. Недаром в использованной в названии романа транскрипции слова «фантазия» – ее неистовость берберского народного праздника, бушующего раздолья его неукротимого бега на необузданных и неоседланных лошадях несущегося в облаках пыли под победный грохот старинных кремневых ружей к неведомой цели... Лишь бы – победить! (Кто видел, тот поймет меня, почему я остановилась на этих подробностях...) Как поняла это и многое другое, познав из рассказов, легенд и преданий своих соотечественниц и сама писательница, не убоившаяся цензуры в описаниях «отваги предков», жертвовавших и жизнью, и честью (вставная новелла об обнажившей себя невесте, снявшей с себя и богатые одежды, и украшения, доставшиеся по наследству от прабабушек, и заплатившая ценой публичного своего унижения за выкуп из рабства своих соплеменниц... Или вставной рассказ о матери, убившей своего грудного ребенка, чтобы он не достался врагу, взявшему в плен ее племя...) **во имя Свободы...**

А. Джебар по-своему влила свой яркий голос в полифонию за сражение с колониализмом как одной из форм угнетения одного народа другим. Это несомненно. И добавила его к хору тех писателей мужчин-алжирцев, которые создали свои эпосы и свои романы, свои драматургические произведения об Алжирском Сопротивлении (К. Ясин, М. Диб, М. Маммери, К. М'Хамсаджи, М. Бурбун, А. Креа и мн. др.). Создали во имя поисков далеких, даже туманных горизонтов Счастья в будущей жизни, которое обязательно **должно быть избавлено** от того, что сформулирует впоследствии Р. Мимуни, назвав Историю Алжира **ИЗВЕЧНЫМ ПРОКЛЯТИЕМ** обреченности на войну, отягощающим эту прекрасную землю...

Конечно, образованную и многое знающую героиню романа Ассии Джебар будут терзать сомнения и даже страхи «разрыва» того «соединения» разных цивилизаций, которое надолго отметило эту землю, где было множество нашествий и финикийцев, и римлян, и арабов, и турок и др. народов. И будет волновать то, что невозможно «выкинуть», «выбросить», «зачеркнуть», «стереть» и с лица этой земли, и из души самой героини, любившей не только «свой народ» и имевшую и как бы «двойное» происхождение – она была (как и героиня «Жажды») дитя «смешанного брака» от француза и алжирки. Но соединение «своего» и «чужого» – это и умение насладиться особой гармонией сочетания. Именно Гармонией как залога Будущего мира.

Но останется ждать этого свершения надежд придется недолго. И уже в 1989 г. А. Джебар напишет скорее об их крахе в своей довольно печальной книге новелл «Оран, мертвый язык»¹⁷, где запечатлеет воцарение не Радости обретения Свободы, но торжество Смерти в бра-

¹⁷ А. Djebbar. Oran, langue morte. P., 1989. Подр. об этой книге см. дальше.

тоубийственной войне, уже бушевавшей в Алжире с конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. Прошло после отвоевания Независимости всего каких-то 20 с небольшим лет, но Алжир снова погрузился в мрачную бездну Войны – на этот раз – гражданской. Печальный итог ее, хотя А. Джебар и разместила его в начале повествования, как в «увертюре», где «проигрываются» основные мотивы дальнейшего действия: «...глухая пульсация прошлого толкает людей навстречу друг с другом, несмотря на то, что декорации в мире уже переменились. И несчастные, они не ведают о том, что и само прошлое-то уже вывернуто *наизнанку и стало давно двуличным и двусмысленным...* Но несчастные воображают, что они своей любовью *продолжат Историю, протянут ее в Настоящее...* И в конечном счете сталкиваются с ее темным и мрачным наследием, с ее миазмами, которых становится все больше и больше. Можно подумать, что действуют какое-то колдовство или яд, пробуждающие *желание смерти, людоедства даже!*» (с. 221).

Диалог с Настоящим на «языке Жизни» (будь то злободневная статья журналиста, впоследствии убитого исламистами, или старинная сказка из «1001 ночи», за пересказ которой на французском языке учительницу обезглавили на глазах учеников террористы)), как показала в книге «Оран, мертвый язык» А. Джебар, – не получался; в стране воцарялся язык Смерти, на котором и шел разговор с Прошлым, и множилась цепь человеческих жертв, шла переключка **войн**, и повседневность превращалась в ожидание не *будущего*, но *прошлого*. Но оно в книге Джебар – **не остановленное время** (как в романе «Земля и кровь» М. Ферауна, другого классика алжирской литературы), **сохраняющее, охраняющее законы** Жизни, традиций, защищающих «честь рода», позволяющих акт мести только в отношении *виновного*,

совершившего преступление, т.е. *преступившего закон традиционного Мировпорядка*. В «Оране, мертвом языке» воцаряется особый «*беспорядок вещей*», он возникает не по **вине** убитых, но именно **недовольных** тем, что кто-то позволил себе **идти вперед, не останавливаясь во времени, не задерживаясь, не увязая, в Истории, но преодолевая инерцию** Традиции, удерживающей *только Прошлого*. И неслучайно, что и в романе Джамили Дебеш «Азиза», и в новелле Асси Джебар «Анни и Фатима» местом *удержания* Прошлого становится *глухой горный край*, словно отделенный от другого мира не избывающей в его *неприступности* властью «охранения чести женщины» как только атрибута сохранения статуса мужчины-мусульманина. Но разве не ему, этому «топосу», во всяком случае в Алжире, выпала и историческая миссия **Восстания**, когда в стране в 1954 г. разразилась национально-освободительная война, и он взял в руки факел, осветивший Дорогу Свободы, и когда партизаны ушли сражаться именно в Горы? Они открывали и путь к новым горизонтам, потому что мусульманки помогали партизанам...¹⁸

Но помимо мрачных зарисовок разгула исламских террористов, внимательный читатель заметит, что герои новелл (как и некоторых романов) А. Джебар – не только этнические алжирцы (берберы или арабы), – среди них есть и те, кто представляет другие народы, издавна на этой земле жившие, из французов-колонистов, к примеру. Но все они, даже переживая жестокие моменты истории страны, от земли своей «отрываются» с трудом, уехав или на учебу, или под угрозой смерти, или не согласные с новым миропорядком, за который боролись радикальные исламисты.

¹⁸ О них см. подр.: Прожогина С. Во имя собственное. – в кн. Крылова Н. Л. и Прожогина С. В. Путь к себе. М., 2013.

Интересно то, что в повествованиях А. Джебар все они продолжают считать себя «алжирцами», часто возвращаются обратно, так или иначе с этой Землей связанные, не думая об опасности.

Уже в I части книги А. Джебар «Оран, мертвый язык» есть и особый мотив «связанности» этой алжирской Земли с Францией, мотив бесконечно длящегося и «приближения», и «разъединения» их: наследство Истории не может бесследно исчезнуть из жизни, культуры, «тяготении» современной цивилизации... Остался какой-то постоянно действующий «механизм» притяжения и отталкивания, который несмотря на все перипетии истории образовал странные узы «любви-ненависти», которые и до сих пор связывают эти страны... Не в последнюю очередь сказывается, конечно, общее «средиземноморство», «европейская история» арабов VIII–XV вв., но в первую, несомненно, – колониальная зависимость Алжира и вековое «присутствие» Франции на его земле. Даже антиколониальная война обнаружила эти узы, – французы, европейские поселенцы в целом, уходили из Алжира с болью, – исход был не просто политически ожесточенным, но и психологически трудным, – ведь для многих, покидавших Алжир, Франция была совсем не Родиной... И мечта о «возвращении» в среде «пье-нуар» («черноногих», «африканских» французов) жила долго, да и до сих пор искры ее не угасают... И тем более понятно и ожесточение, и драматизм расставания с родной землей тех, «исконных» алжирцев, кто и уезжал в вынужденную эмиграцию (и «политическую» и «трудовую») в годы антиколониальной войны, и вынужденно отправлялся в изгнание, и скрывался во Франции уже в годы независимости, будучи несогласными с новой Властью. Но и жертвы сегодняшних «будней», «повседневности», похожей снова

на противостояние миров, снова оказываются так или иначе во Франции, и эта страна становится «убежищем», притягивая к себе, несмотря на кровавый конфликт в прошлом, которое и разъединило, и связало две страны. И таким образом, и сегодня, в минуты опасности, разделяющие семьи, «разводящие мосты» между жизнью, которую мечтали построить и которая не свершилась, между идеалами Независимости и невозможностью их воплотить, «замкнувшись», оперевшись только на свои силы, время Смерти и время Жизни как бы смыкаются в сочетании когда-то, казалось, невозможном – «родной земли» и «чужбины», становящимися двумя составными половинками одного пространства, равно необходимыми человеку...

Часть своей книги Ассия Джебар так и назвала: «Между Францией и Алжиром», – подчеркнув не столько постоянство движения ее героев «туда-обратно», сколько их внутреннюю «раздвоенность», то есть состояние тяготения то к одной, то к другой стороне, либо состояние «неделимости», *естественной соединенности в себе* «частиц» и того, и другого мира, но вновь ставшей мишенью для тех, кто хочет их разделенности и нового противостояния.

«Я слышу шум дождя, даже если это не дождь. Но ночь»¹⁹, – в этих словах Р. Шара, взятых эпиграфом ко II части книги, А. Джебар символически объединила три атрибута современной алжирской жизни: дождь (как необходимость ее *очищения*), мрак и жажду человека, мечтающего об *исходе этого мрака* (как зла), опустившегося над родной землей, мешающего рассвету, «обновлению» земли. И этот Дождь, и эта Ночь становятся своеобразными нотами мелодии этой части, где всего

¹⁹ «J' entends la pluie même quand ce n'est pas la pluie. Mais la nuit» (R. Char. Chants de la Balandrane).

два рассказа, но в каждом из них — словно квинтэссенция темы **р а з р ы в а и с о е д и н е н и я** в человеке Алжира и Франции.

Первый — печальная и «банальная» история «смешанной пары»: она — француженка, из провинции, он — алжирец, эмигрант, они случайно знакомятся в Париже, женятся, живут какое-то время вместе, расходятся; но родившийся ребенок их связывает, хотя жена увозит его к своим родителям, где девочка подрастала, изредка встречаясь с приезжавшим навестить ее отцом, не имевшим ни постоянной работы, ни своего жилья. Но однажды после прогулки с ним она больше не вернулась...

Полиция была предупреждена, видимо, слишком поздно, потому что отцу уже удалось пересечь границу, сесть на самолет и **улететь с девочкой «к себе»**, реализовать свой статус мусульманского мужчины, осуществив свое **«главное право»**, царившее в *его стране* — **право только отца на своего ребенка...**

Живя во Франции одна, мать время от времени тоже «имела право» — на получение фотографий дочери; но прежде чем она, их получал ее *отец*, тоже по *праву мужчины*, хотя бывший зять и знал, что особенного одобрения брак дочери с алжирцем у того никогда не вызывал... Но фотографии, так или иначе, оказывались и у матери, и она видела, что ее малышка выросла и постепенно «окружалась» стайкой других ребятшек, — видимо, новых детей бывшего мужа, — своих братишек и сестреноч...

И вот мать, не выдержав разлуки, начала ходить на курсы берберского языка, где и приобрела подругу, у которой теперь останавливалась, когда приезжала в Алжир, чтобы добраться **до горного селения, где могла**

бы повидаться с дочерью... (Рассказ ее о своей жизни этой подруге и лег в основу новеллы «Анни и Фатима»).

Дочь уже носила «чадор» – темное мусульманское покрывало на голове, как взрослая, говорила по-арабски и по-берберски, могла, если хотела, немножко поддерживать разговор с матерью и по-французски, но спрашивала ее, в основном, о том, соблюдает ли та **мусульманский пост, и осуждала мать за то, что та «не следует законам Аллаха»**... «Я пыталась ей объяснить, что есть разные религии и даже есть люди, которые не исповедуют *никакой*... Но дочь глядела на меня холодно и отчужденно» (с. 233).

Тем не менее, каждое лето теперь несчастная мать добирается с немалыми трудностями до горной деревушки, чтобы повидаться с той, которую продолжала любить и которую, как поняла здесь, в Алжире, она **никогда не вернет себе**... Бывший муж не встречался с ней во время ее «визитов» к дочери, и Анни (так звали француженку) боялась, что отец «перехватывает» ее письма к Фатиме – **ее «девочке»**, которой старательно *писала мать по-берберски*, рассказывая о своей жизни... А жизнь не «складывалась»: замуж Анни больше не вышла, о другом ребенке и не мечтала, и так и жила «по разные стороны моря», изредка видя ставшую почти **чужой** дочь и снова мечтая о встрече с ней...

Обычно Ассия Джебар включала в свои почти документальные short-stories рассуждения своих героев и героинь о «времени и о себе»: не будем забывать, что и женщина-писательница в Магрибе (в целом) была всегда связана с традицией «просветительства», не отказывая себе в комментариях событий. Так и здесь, поведав об устойчивых обычаях своей страны, но спроецировав их на экран событий гражданской войны, автор подвела

печальный итог, что новая война только способствует **разъединению** людей. Хотя, как это происходит в новелле «Фелиция» о французской матери своих детей от брака с алжирцем, насильно оказывавшаяся по настоянию близких на лечении во Франции, француженка была захоронена все-таки в Алжире, который бесконечно любила. И оплакивать ее придут именно алжирские женщины, воздавая ей заслуженные почести как и своим «однопленницам», в трудные минуты всеобщего смятения оказывавшихся всегда на переднем краю, не боясь «упасть в бездну» отмищений за свои благодеяния простым и нуждавшимся в помощи людям... Эти последние почести «честной француженки» даже схожи с теми, которые будут осуществлены после опознания места гибели отважной алжирской партизанки из романа А. Джебар «Умершая без погребения» (*Morte sans sépulture*. Р., 2005). Ее растерзанное карателями повстанцев тело было сброшено в самолета «где-то в лесу», в горах, где она мужественно сражалась вместе с теми, кто ушел «добиваться» ценой неравной борьбы с армией колонизаторов Независимости и Свободы... И когда, в уже освобожденной стране, нашли предполагаемое место гибели партизанки, ее оплакивал «весь народ», «воздвигнув» своим «величественным хором» памятник бессмертия мужеству отважной алжирки...

Но этот роман вышел в свет уже много лет спустя после многочисленных книг – и художественных, и публицистических, и документальных [особо отмечу «Белый саван Алжира» (*Le Blanc de l'Algérie*) – в начале 2000-х это был свод имен, страшный мортиролог о всех жертвах гражданской Войны 90-х гг. XX в., где погибли известные всей стране и писатели, и поэты, и общественные деятели, убитые исламистами. Это был ее, Ассии Джебар, собственный плач по яркому цвету алжир-

ской интеллигенции как особой «дочери» двух цивилизаций...].

...А сама Ассия Джебар была коренной алжиркой, не метиской, как можно было подумать, исходя из «происхождения» некоторых ее героинь. Хотя и впитавшей в себя соки разных культур. Она – дочь правнучки одного из известных вождей берберского племени, восставшего когда-то против французской колонизации и сражавшегося на стороне Абдель Кадера, и арабского учителя родом с юга страны, преподававшего в общеобразовательной школе в глубинке Алжира. И ее «природное имя» – Фатьма-Захра Ималаен. Ассия Джебар – литературный псевдоним. Но взяла его она рано. Ей не было и двадцати лет (род. в 1936), когда она, уже окончив алжирскую среднюю школу и Высшее учебное заведение – одно из самых престижных во Франции – Ecole Normale, – выпустила в свет свой первый роман «Жажда», написанный ею еще до 1954 г. И всю свою жизнь посвятила своей стране. И преподавала, и участвовала в профсоюзном движении за права мусульманок (она училась в детстве и в частной коранической школе, и знала, что такое Священное писание мусульман и законы шариата...). Ее приглашали преподавать и в Марокко, и в Тунисе, где ее лекции в лицеях пользовались большой известностью. Вышла замуж за алжирца и не покидала своей страны до 1982 г., когда пришлось лечить во Франции приемного ребенка. Но и там она читала лекции и в Сорбонне, и в Университете Монпелье по истории алжирской культуры и словесности... А встретила я ее в Париже в 1992 г. в Алжирском Культурном Центре, где выступал французский поэт родом из Алжира, читая свои ностальгические стихи о далекой и прекрасной земле. Она, как и все, участвовала во вспыхнувшей дискуссии, задавала вопросы, затмевая всех и вся своей

красотой, статью, какой-то особой горделивостью... Я спросила у соседа в зале «кто эта женщина», и мне ответили, что это – Ассия Джебар.

...Не зная, не ведая ничего о ее судьбе, я уже давно занималась ее творчеством по имевшимся в моем распоряжении ее многочисленным книгам, а ко времени знакомства с ней уже успела выпустить на русском языке том «Избранного» из ее произведений со своим предисловием. Книгу эту, конечно, привезла с собой, в командировку, с целью оставить книгу в Алжирском культурном центре... Я осмелилась подойти к Ассии Джебар, коротко представившись, в ответ она улыбнулась, узнав, что я «только что из Москвы», и на следующий день мы уже завтракали с ней в кафе на площади Бастилии, где я пыталась как-то суммарно, «в общем и целом» изложить свое видение ее творчества... Она просила, чтобы я дословно пересказала ей и свое предисловие к книге «Избранного». Слышала от своего Издателя, что в России уже давно выходят ее книги (еще с 60-х гг.!), получала даже какие-то гонорары, и была довольна тем, что именно сейчас, когда ее выбирают в члены Бельгийской Королевской Академии языка и литературы, ее книги изданы и на русском... А предстояла еще и мировая известность: она была приглашена с лекциями и в Канаду, и в США, а потом номинирована даже и на Нобелевскую премию (которую обычно не давали тем алжирцам, которые сохраняли свое алжирское гражданство. Среди таких номинантов был и М. Диб...), а потом, в 2005 г. уже стала и действительным членом Французской Академии изящных искусств – первая алжирка-женщина... Она скончалась в самом расцвете своего таланта и признания, в 2015 г. От неожиданно нагрянувшей, как и все удары ее личной судьбы, болезни. Созданное Ассией Джебар – все ее книги, стихи, ки-

носценарии – картина жизни любимого Алжира, гражданкой которого она была всегда. О ней можно писать еще много. Но главное – ее первая книга – «Жажда», созданная вслед за «Азизой» Дж. Дебеш, стала неиссякаемым источником для всех попыток утоления *необходимости Свободы* и в судьбах магрибинок, запечатленной в творчестве их соотечественниц.

ЗАРИСОВКИ ДЕСПОТИЗМА И ГНЕТА ОКОВ НОВОЙ НЕСВОБОДЫ (эпоха усиления исламизма)

...Полвека спустя после выхода в свет произведения Д. Дебеш появилась нами уже отмеченная выше книга новелл Ассии Джебар «Оран, мертвый язык», где снова возник «локус Горы», охранявший Традиции. Но эта книга поведала миру совсем о другом времени, показав, во что превратился сам концепт **«охранительности» Традиции**. Когда шла в Алжире уже война гражданская, братоубийственная. Лейтмотив новеллы, давшей название всей книге, звучит и в других «коротких историях», где, как в калейдоскопе, фрагменты чужих жизней, *чужих смертей* складываются, совмещаются в причудливые узоры холодных осколков стекла, бесконечно множачих одну и ту же печальную мелодию, которая не может не тронуть сердце читателя, к которому обращена книга, — мелодию ***исчезновения жизни, медленного умирания страны, когда-то отчаянно и смело заговорившей с миром о возможности своего самостоятельности существования*** и добившегося его ценой тогда огромной для своего народа, потеряв в борьбе за Независимость миллион алжирцев... Но неожиданно резко перейдя на «язык смерти», обращаясь на нем к **«самой себе»**, вновь обескровливая свои силы на сей раз в **гражданской войне**, не совершала ли страна ошибку, которую не «поправят» уже никакие памятники «мученикам», жертвам антиколониальной Войны (гордо вознесенные сегодня к небу Алжира как напоминание о прошлом)? «Мертвый язык» Орана в книге Джебар посте-

пенно становится синонимом и бессмысленной «немоты» окружающего мира, и безнадежного плача повергнутых в отчаяние, и молчаливого ужаса тех, кто был запуган смертью, загнан страхом, обречен на смирение в творящемся кровавом кошмаре¹.

Но ведь не странным же и болезненным «притяжением» к этому «молчанию бездны», где царила Смерть, охвачены те, кто так или иначе **возвращались** в свою страну, на свою родину, в отчий дом, либо «просто» даже под прицелом, угрозой своего уничтожения, не оставляют **эту землю**, попавшую во власть **Зла**?

Или упорно продолжали свое дело, свою работу, упорно надеясь, веруя в то, что не погибнут, не исчезнут и в этом водовороте Истории, и вели **свой** разговор с Жизнью, защищая ее до конца. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», – видимо, в этих пушкинских словах таится правда *особой возможности человеческого существования*, которая удерживает его на Земле даже в минуты крайней опасности². Во всяком случае, герои А. Джебар, даже осознавая свою обреченность, даже точно зная, **когда** погибнут, даже видя, что именно «**Город**, его улицы, его дома, их стены, мечети и люди в них **выталкивают** их из Жизни, особенно когда заходит солнце, когда вместе с опускающейся ночью угасает и последняя надежда увидеть завтрашний день» (с. 50), – возвращаются в этот Город, как рассказчица «короткой истории», названной «Билет туда и обратно?», несмотря на неумолимо сужающийся здесь круг Жизни... Но смерть не обязательно была связана здесь с деянием «врага», «из-за угла» убивающего свою жертву.

¹ Только 28 сентября 2003 г. СМИ сообщили, что в Алжире началась «масштабная акция» государства и Армии против движения исламистов и террора, развязанного в стране в 1989 г., в результате которого погибли десятки тысяч алжирцев...

² Как близко теперь – в 2020 г. – каждому из нас это ощущение. Сегодня, когда я пишу эти строки, 28 марта 2020 г. и наш мир на карантине...

Люди становились «чужими» друг другу, боровшись раньше *совместно* за одни идеалы, защищая *одну Свободу*, но постепенно, осознав, увидев, не приняв «обратной» стороны медали обретенной Независимости. Вот и бывший солдат алжирской Революции, позволивший своей дочери *учиться*, но не согласный с тем, что *она может сидеть в кафе за столиком с мужчиной*, запирает ее в доме, а мать, боясь и угроз мужа, и страданий дочери, сама подталкивает ту к краю обветшалого балкона дома, *ускоряя* ее *самоубийство*. Дочь и сама уже была готова к этому последнему своему шагу навстречу смерти, которая избавляет *от жизни в тюрьме усилившихся мусульманских запретов*... А именно эти, страшно ужесточившиеся запреты, с яростью вспомненные защитникам шариата, стали вдруг царить в стране, как бы перебросив в иное, более жесткое русло смысл традиции *охранения чести женщины*...

И посчитав дочь нарушившей религиозный обычай, а себя «обесчещенным» ею, гибель ее отец воспринял как *«восстановление чести семьи»* (с. 68)...

«Город убийц», – откомментировала событие рассказчица (образ судьбы самой писательницы), возвращавшаяся время от времени в родные края, чтобы «не откореняться», не чувствовать себя на чужбине, где она живет *«апельсиновой кожурой»*, *«отбросом» под ногами прохожих*... Теперь она сомневается, брать ли ей билет, как всегда это делала, улетаая «обратно», с «возвращением» назад, в родной город. Но фраза, завершающая рассказ и стоящая в его названии – «Retour non retour» («Возвращение» – «Не возвращение») – как *несуществующая форма билета* (обычно называемая «Aller – Retour», то есть «Туда и обратно»), – превращается, скорее, в *формулу сомнения*, в печальное раздумье в

финале, становящееся неким внутренним «уравнением», где приравняются друг к другу две эмоциональные величины: и *необходимость возврата рассказчицы на родину*, и **невозможность**, невыносимость **встречи с ней**, несовместимость желания обрести, почувствовать «корни» в родной земле с тем, что происходило здесь, где воцарился «мертвый язык», **«Воля Дьявола»**, как скажет мудрый М. Диб в своем романе «*Si Diable veut*» (1998)³, перефразируя мусульманское «*Si veut Allah...*».

Но само по себе «возвращение» в реальность свершившегося становится неизбежным, – так, во всяком случае, поступают герои и героини книги Джебар, не смотря на то, что происходило в стране. Известия о ней настигали повсюду: в сообщениях радио, телевидения, по телефонным звонкам, в газетных статьях, в письмах друзей... Известия о гибели знакомых, писателей, журналистов, ученых, педагогов, студентов, общественных деятелей⁴ или просто целого горного поселка, жители которого стали жертвами ночного «налета бандитов»... Среди погибших – и бывшие бойцы Сопротивления колонизаторам, и представители нынешней власти, и военные, и, казалось бы, **ни к чему не причастные** гражданские лица... Подозревать в преступлениях можно было **кого угодно**, не только «исламских фанатиков», но так или иначе кольцо смерти все туже затягивалось, ее дыхание – было все ближе, а это заставляло многих снова браться за «старые ружья», а тех, чье оружие – перо, – писать, чтобы освободить людей от отчаяния, вселить в них желание «выжить», «пережить, преодолеть страх, отвращение к творящему вокруг» (с. 71). Получив «уг-

³ См. нашу работу «Обречение Авеля». М., 2020.

⁴ Документальные факты об этом Ассия Джебар собрала в своей уникальной книге «Белый траур Алжира» или попросту «Саван Алжира» (*Le blanc del'Algérie*. Р., 1995). Именно белый цвет — традиционен в такие моменты женской жизни в ее стране, но в книге А. Джебар это практически «свод» имен всех дорогих и ей, и когда-то ее **стране** имен — и мужчин, и женщин. (С. П.)

розу» или заподозрив «слежку», они скрывались, уходили в «подполье». Но те, кто не успевал это сделать, были обречены. *Особенно женщины*, как это показала А. Джебар.

Им исламисты снова, как и полвека назад, *националисты* не прощали ничего: ни обретенную (особенно после провозглашения в стране Независимости) возможность ходить с **открытыми лицами**, ни европейскую одежду, ни право на **самостоятельность**, на **работу**, ни знание *другого* языка, ни *свободный выбор* в любви. В одной из новелл книги «Оран, мертвый язык» – «Покушение» – герой-журналист Мурад – решил «выйти» из «подполья», нарушить «молчание» и, разбудив ночью жену, прочитал ей свою новую статью, которую хотел опубликовать **под своим собственным именем**, а не под псевдонимом, как это делал уже долгое время... Статья была острая и решительная, направленная против *бездействия власти*, против всеобщего «иммобилизма», «оцепенения», угнетенности народа террором, разгулявшимся в стране...

С потоком угроз в свой адрес он уже свыкся, но сейчас, словно забыв о возможных последствиях, решился открыто выступить, пренебрегая советами «доброжелателей» держаться «от всего подальше». Жена тоже давно предлагала ему уехать куда-нибудь всей семьей подальше, где-нибудь «отсидеться», переждать смутное время, пожалеть больного сына... Но слышала в ответ обычные для мужа возражения: «Оставь! Разве ты еще не поняла, что я буду жить **здесь, здесь**, и умру **здесь**, в этой стране! (с. 143)...

За прошедшие годы почти все друзья, товарищи по борьбе с исламистами погибли – кого убили в упор, кого – из-за угла, кого-то зарезали в темноте. И вот теперь он сам, как опасалась жена, «подписывает свой смерт-

ный приговор»... (с. 145). «Но кто-то же *должен* сказать обо всем творящемся **вслух, ясно, громко?!** Не сердись, Наима! – говорил он, надеясь, жене. – **Я** только начну, а за мной пойдут и другие...» (с. 146). Он был уверен, что выиграет свой бой...

...Через десять минут после того, как они, выйдя из дому в то утро, когда Наиме было пора отправляться в школу, где она преподавала арабскую литературу, а Мураду надо было купить в соседнем киоске газету со своей статьей, она услышала выстрел. Ему выстрелили, подойдя вплотную, в висок. Он упал на тротуар; выскользнув из его руки, газета прикрыла ему голову. Подбежавшая жена увидела только, как черное пятно расплывается на бумаге... И как воцаряется вокруг «невозможная тишина»...⁵

Сорок дней ее «поддерживали», как могли, соседи, коллеги, ученики, родственники, друзья. Но потом, столкнувшись в школе с *недоверием* какого-то «правоверного» старшеклассника, «прицепившегося» к ней за ее **оговорку** (она на *французском языке* произнесла представленную ему за сочинение отметку) и с сарказмом усомнившегося вслух в том, «*уже не попал ли он на урок французского вместо арабского?*» – Наима решила уехать из страны. «Разве Мурад не боролся за **современную школу?** Так где же она?!» (с. 156). И разве французский язык, как и говорящие на нем алжирцы, здесь «**чужие**»? В этой *огромной стране*, где все еще было так много тех, для кого этот язык давно стал своим?⁶ Наиме невыносимо было само молчание класса, где *ее* ученики могли не доверять ей...

Но это означало для нее «покинуть эту страну». «Пересечь бездну, пустоту, оставшуюся после убитого

⁵ Именно так был убит и замечательный алжирский писатель Тахар Джаут.

⁶ Пишу «было», ибо в последнее время «официальный» Алжир все чаще обращается к английскому...

Мурада» (с. 161). Она, эта бездна, увы, все расширялась, и в ней могла оказаться и она сама, и ее сын, и ее родня. Может быть, отъезд *куда-то* «на год или два» и будет ее спасением?

Ведь другой ее коллеге, тоже учительнице литературы, так и не удалось удержаться на краю этой «бездны», – ей просто *перерезали горло* ворвавшиеся прямо на ее урок «фанатики», на глазах ее учеников. Только за то, что она в течение пяти дней комментировала с ними одну и сказок «Тысячи и одной ночи» (*о женщине, которую убил, расчленил, ревнивец-муж, несправедливо обвинив ее в «измене»*). Эту сказку убийцы учительницы посчитали «**бесстыдной**», полной подробностей, не совместимых с «**нормами их морали**»... Но главное, конечно, было в том, что кто-то на одном из уроков пытался сравнить **время султана Гаруна ар-Рашида** с *нынешними временами*, а виселицу, приготовленную им для «настоящего преступника», раба, которого искали, но которого скрывал его собственный хозяин, с «*неправедным судом*», который вершился по всей стране каждый день...

Обычные в «нормальной школе» европейского образца комментарии, которые призваны развивать логическое мышление учеников (традиция, оставшаяся в Алжире от французов), превратились, по чьему-то доносу, в «предательство», в насаждение «чуждой морали в «политически опасное» дело, а сказка о «Женщине, чье тело, разрубленное на куски и спрятанное в сундук»⁷ и утопленное на дне реки, обернулась былью для молодой учительницы, чью отрезанную голову, подняв и показав ученикам, убийцы положили на письменный стол... Ка-

⁷ В русском переводе Салье название сказки из «1001 ночи»: «Женщина с отрезанными руками».

залось, что голос учительницы еще продолжал раздаваться в онемевшем от ужаса классе...

...«Силы порядка», – так называли они себя, – ворвавшись на ее урок, почему-то успели крикнуть *по-французски*: «Контроль!».. Возможно, зная, что урок героини этой новеллы (названной как и арабская сказка) шел по-французски... Атика, – так звали учительницу, выросшая в годы после Независимости, когда уже повсюду говорить было принято только на арабском[в стране постепенно воцарялась «политика арабизации» всего населения (в котором немалый процент составляют берберы...)], любила французский с детства: часто слышала его в доме, когда ее арабские родители не хотели быть понятыми детьми и, прекращая говорить на родном, переходили на французский, выученный когда-то в школе... И когда выросла сама, сказала, что будет преподавательницей именно французского: «Вот увидите, мои ученики будут по-настоящему двуязычными, и этот язык поможет им лучше знать и другие языки, и другие предметы!» (с. 168). И она так и прожила в этой убежденности своей всю свою короткую жизнь, пока и ее не «приговорили к смерти»... Зачем стране надо пересказывать какие-то подозрительные сказки, да еще на «чужом» языке? Да еще *осуждая мужа, «несправедливо» убившего свою жену*, да еще и султана, *«неправедно» творившего свой суд*... ..Страшная сказка будто так и не кончалась, вопреки канону «1001 ночи»... Как и сама Ночь, которую обязательно должен был сменить День. И один из учеников будто даже «услышал» голос уже убитой Атики, которая сказала: **«Ночь – это теперь наш каждый день, прожитый здесь нами...»**(с. 213)... «Конца» ее речи он, правда, не услышал. В класс вошли санитары и завернули молодую женщину в *белый саван*... Как *ту*, расчлененную, в сказке...

С тех пор Омар, – так звали этого внимательного ученика, не выносит **белый цвет**. Ни молока, ни свежей известки, которой красят старые стены домов в арабской части города...

...Ассия Джебар почти дословно пересказала услышанную в Ороне (а этот город – как метонимия соседнего горного края – Ореса) «короткую историю», еще раз подтвердив свою мысль, что страна начала и продолжает говорить на «мертвом языке». И завершила этой «старинной сказкой», ставшей повседневной реальностью страны, первую часть книги, названную *«Алжир между желанием и смертью»...*

Почти как у Л. Арагона – *«Между шпагою жизни и шпагою смерти»...* Но А. Джебар было важно не только воссоздать все торжествующую на исходе XX в. поступь Смерти на ее земле, но и бездну контрастов между желанием алжирцев **жить** в своей стране и вынужденностью **умереть** на ее земле...

В условиях деспотизма всё нараставших тенденций исламизма как особой, фундаменталистской формы политизированной мусульманской конфессии, это противоречие, в целом уже характерное для Северной Африки, всё острее в творчестве и других магрибинок.

Завершив книгу «Марокканский ноктюрн»⁸, а перед ним написав «Алжирскую сюиту»⁹ и еще много чего другого до этого, я ощутила непрерывность одной мелодии: постоянство одного литературного мотива, который вот уже несколько десятилетий звучит, не уменьшая диапазона во всех произведениях магрибинцев, использующих французский язык для более широкого круга читателей, желающих ознакомиться с картиной жизни, с «образами мира» магрибинских стран – Алжи-

⁸ С. В. Прожогина. Марокканский ноктюрн. М., 2015.

⁹ С. В. Прожогина. Алжирская сюита. М., 2014.

ра, Марокко и Туниса. И не случайно я выбрала и название своей другой работы – «Тунисская элегия», ибо давно знакомая мелодия не избывает и у писателей Туниса¹⁰. И если суммировать «ноты», то этот мотив, порой разрастаясь до основной темы произведений, может быть сформулирован как *«несчастный удел мусульманки»*, усиленный в последние годы болью «стрел исламизма» на фоне политического террора, гражданских конфликтов и все разрастающейся бездной социальных противоречий... (И я не стала бы разъединять соединительным союзом «и» такие концепты как «террор» и «насилие» именно в гендерном измерении, поскольку устрашение и произвол, жестокость и несправедливость, страх и ненависть к тем, кто отнимает свободу, женскую честь, человеческое достоинство, кто разрушает не только плоть, но и дух, кто воспроизводит условия средневекового мрака бытия, якобы опираясь на религиозные догмы, – это, по-моему, одно и то же.) ...Под пером писателей, как и под кистью художника, мир воспринимается и создается как под лупой ученого: он одновременно и «увеличен», гиперболизирован порой, метафорически обобщен и типизирован, но и в то же время, заострен, что позволяет различить то, что в жизни закрыто плотной завесой запретов, религиозных и этнических табу, предрассудков, суеверий – особенно на Востоке. Но современные, как и давние писатели (как и художники-живописцы) еще до изобретения кинематографа в языке искусства используют «крупный план», показывая главное, обнажая суть изображаемого, помогая увидеть цель избираемого объекта повествования, а значит, – вовлекают читателя в Историю, сегодняшнюю жизнь и судьбу их народа и земли...

¹⁰ С. В. Прожогина. Тунисская элегия. М., 2016..

...Магриб пережил немало. В его прошлом – захваты и набеги чужеземцев, войны и победа над южной Европой, долгое господство в ней, потом – поражение и возвращение в Северную Африку, борьба племен и династий, власть Османской империи (только Марокко устояло от завоевания), а позднее – начало колониального господства Франции, которое в одном только Алжире длилось 130 с лишним лет... Но и полувековое угнетение Марокко и Туниса не могло не сказаться на формировании в недрах магрибинской цивилизации ответного протеста и долго вызревавшего гнева, вылившегося в национально-освободительные движения, а в Алжире – в долгую кровопролитную войну за отвоение Независимости (1954–1962 гг.).

Но в парадигме «колонизаторы ↔ колонизованные» не только противостояние (или даже, как писал тунисский философ, прозаик и публицист А. Мемми, «парадоксальная взаимозависимость»¹¹), но и особая форма *самосохранения*, когда колонизаторы при всех их нововведениях в экономической и политической сферах, при всех попытках трансформировать образование и осуществить просветительскую деятельность в колониях и протекторатах, просто вынуждены были консервировать невежество и отсталость, «дремучие традиции» и древние ритуалы народной жизни, поскольку особо просвещенные автохтоны, европеизированные «аборигены» представляли не меньшую опасность для безграничного господства, чем воинствующие горные племена берберов, отстаивавших свою свободу в частых восстаниях... Но сохранение «самобытности», а значит и догм религии, обрядов, ритуалов, особых норм своей жизни, выработанных веками и порой освященных исламом или местными «святыми» – марабутами, в целом помогало

¹¹ См.: A.Memmi. Portrait du colonisateur précédé du portrait du colonisé. P., 1960.

магрибинцам не растратить свою идентичность, не ассимилироваться, но *претерпевать* колониализм как **зло**, которое рано или поздно **покинет** их землю...

Так или иначе, «ночь» колонизации, опустив свой занавес на магрибинские народы и страны, надолго сохранила и законсервировала то, что в европейском сознании фиксировалось как **отсталость, невежество, мрак предрассудков и суеверий**. В книгах колониальных писателей-европейцев это, скорее, запечатлено и исполнено в манере экзотической, дабы поразить воображение соскучившегося по романтическому «флёру» читателя¹². Но для созревшего уже в 40–50-х гг. XX столетия национального самосознания писателей-магрибинцев особые реалии жизни своих стран, вышедших на дорогу Свободы, отвоевавших свою Независимость (Марокко и Тунис в 1956 г., Алжир – в 1962 г.), – «темнота» и «невежество» народа, замкнутость мусульманки в «стенах тюрьмы» своего дома, невозможность личного выбора своего супруга, власть родителей, старших братьев над судьбой девушки, ее жизнью, запрет на образование (а если оно, с трудом полученное, обрывалось на уровне средней школы, то служило только источником еще более горького разочарования в своей жизни, где «удел мусульманки» – семья и дом), – не просто волновали выучившихся не только в своих, колониальных школах, но и во французских лицеях и университетах магрибинцев, но и противоречило тем идеалам Свободы и Справедливости, которые были для них маяками Гуманизма и Просвещения, которыми гордилась цивилизация колонизаторов.

Естественно, что образование было доступно в основном мужскому населению колоний и протекторатов,

¹² См.: R. Lebel. Histoire de la littérature coloniale. P., 1931 (написана к 100-летию захвата Алжира Францией). Подр. о колониальных писателях Магриба см. в нашей трехтомной «Истории национальных литератур стран Магриба». М., 1993.

и среди первых писателей Магриба практически все были мужчины, которые и отразили на страницах своих произведений несчастные судьбы мусульманок. Но даже немногие женщины, которые стали известными романистками уже в 40–50-е гг. XX в. (Дж. Дебеш, М. Таос-Амруш, А. Джебар) подняли свой голос прежде всего за освобождение своих соотечественниц от пут старых традиций, от сковывавших их личностную свободу предрассудков и поверий...

Насильственное «умыкание» девушки-горожанки в горы, где ее выдавали замуж со всеми сохранившимися от прошлого обычаями и унижительными ритуалами, связанными с необходимостью «обнародования» родне жениха ее «невинности» (вынос на всеобщее обозрение окровавленной простыни после брачной ночи как доказательство «непорочности» невесты); дальнейшее насильственное удержание молодой и образованной женщины в глухой деревне, куда редко заезжал супруг, уже имевший другую жену в другом городе, нелепые колдовские обряды и заклинания старых женщин, не выпускавших обманутую женщину на свободу, – всё это с реалистической точностью и психологическим мастерством запечатлела, как мы видели, в своем произведении Джамиля Дебеш, написав его в самый разгар Алжирской войны за Независимость.

Но и выступивший почти одновременно марокканец, ставший классиком литературы Марокко, Дрис Шрайби в своем первом романе «Простое прошедшее»¹³ с огромной силой художественного таланта и сыновней болью за участь матери, для которой «что мужний дом, что город за его дверью – «одна тюрьма». «Большая» или «малая» – какая разница? Ведь и там, и там люди страдают от унижений и побоев, от ханжества и лице-

¹³ D. Chraïbi. *Le passé simple*. P., 1953.

мерия защитников «чистоты религии», не брезгующих деньгами своих хозяев-колонизаторов и спокойно терпящих невыносимую разность бытия «богатых» и «бедных» рабов – своих соотечественников. Мать в этом романе Шрайби – существо бесправное и безвольное, может выразить свой протест против беспредельного насилия в семье, учиняемого ее мужем – Господином, Сеньором, как называли его сыновья, доведившим своих детей во время мусульманского поста до голодных обмороков, а младшего сына забившего до смерти, – только бессмысленным поддержанием «белизны» фасада ее богатого, но полного несчастья дома, куда ее практически продали в домашнее рабство в возрасте 15 лет... Окрашивая дом известкой, она как бы замазывает на нем «пятна крови», но эта привычка не спасет ее от отчаяния. И другой роман Д. Шрайби – «Завещание»¹⁴ расскажет о печальном конце затворницы (которой муж даже не разрешал выходить из дома за покупками, – такая «строгость» была ему приятна, и он занимался хозяйством сам): она выбросилась из окна своего большого дома, покончив с прошлым, бросив вызов Сеньору, как и один из ее сыновей, оставивший дом и уехавший учиться «на Запад»...

Во след за Д. Шрайби, в конце 60-х – начале 70-х гг. появится новое поколение марокканских прозаиков и поэтов (Т. Бенджеллун, А. Катиби, М. Хайреддин, А. Лааби и др.¹⁵), которые также смело, беспощадно откровенно повествуют о «безгласности», «безмолвии», бесправии марокканок, вложат в их образы черты своих матерей, сестер, родственников, чьи жизни прошли перед их глазами детей, юношей, ставших взрослыми мужчинами, и запечатлев на страницах своих книг эти образы, порой

¹⁴ D. Chraïbi. La succession ouverte. P., 1960.

¹⁵ Подр. о них см.: С.В. Прожогина. Магриб: франкоязычные писатели стран Магриба 60–70 гг. М., 1982.

наделенные мифическими чертами (как, например, женщина-птица Харруда из одноименного романа Т. Бенджеллуна¹⁶), создадут портрет марокканки, постепенно разрывающей цепи своего бесправия и своей униженности, «взявшей голос» в защиту своих соплеменниц. Харруду в романе Т. Бенджеллуна забрасывают камнями, сбрасывают в бурлящий поток реки, рубят на куски, но она, как птица Феникс, возрождается всякий раз и снова начинает свой рассказ о рабской жизни марокканки...

В 80-е гг. к отряду этих писателей примкнет получивший в начале 90-х гг. Премию арабского мира Абдельхак Серхан, и в своих романах «Траур собак» и «Сияние мрака»¹⁷ дополнит галерею образов, созданных предшественниками: «Траур по жизни» не иссякал в среде его соотечественниц, а «мрак» только сгущался. История трех дочерей, изгнанных из дома отцом, обреченных на скитания, нищету, проституцию, тюрьму и прочие несчастья и беды, прозвучит у постели умирающего уже старика, так и не смирившегося с рождением у него дочерей, а не сыновей, как обвинительная речь тех, кто с рождения оказывался «неполноценным» существом в мусульманском сообществе и даже не имел права пойти за гробом отца и проводить его в последний путь. Женщине преграждена дорога повсюду, даже на кладбище. (Этот обычай запечатлен и в романе алжирца Р. Буджедры «Похороны»¹⁸.) Ей остается, как героине другого романа Серхана, просто жить, а точнее умирать среди тех, кто совершает над ней ежедневное насилие: испуганную началом месячных (как некоей болезни) девушку насильно выдают замуж, молодого мужа отправляют на работу в город, а ее телом, дабы избавить

¹⁶ Tahar Benjelloun. Harrouda. P., 1973.

¹⁷ A. Serhan. Le deuil des chiens. P., 1998; Le soleil des obscurs. P., 1992.

¹⁸ R. Boudjedra. Les funérailles. P., 2003.

ее от «ежемесячной болезни», торгуют для утех заезжих туристов... Она постоянно беременеет, рождает; мужу, изредка приезжающему «погостить» домой, говорят, что это – его дети, хотя он и «удивляется их числу... Когда же наступает прозрение, и он, и она поймут весь ужас произошедшего (к тому же ему случайно удалось узнать, что сам он детей никогда иметь не сможет), его жена была уже не в силах что-то изменить, а ее несчастный супруг сходит с ума. Но «трагедия жизни» торжествует: ему пытаются внушить, что это – *«подолгу спавшие»* в ее чреве его дети, а «заснувший ребенок», по народным преданиям, может родиться когда угодно... Так родители и родственники спасали «честь семьи», разрушив сразу две жизни...

...Легенда и о том, что когда-то арабы, жившие в пустыне, закапывали в песок родившихся девочек, дабы спасти честь мужчины, не сумевшего зачать сына, наследника, воина, легла в основу и двух книг Лауреата Гонкуровской премии Тахара Бенджеллуна: «Песчаное дитя» и «Священная ночь»¹⁹, где несчастный от рождения у него еще одной дочери отец решился воспитать ее «как сына», назвав Ахмедом, и повелев молчать о своем «несчастье» жене и присутствующей при родах кормилице... Так и росла девочка как мальчик, ее учили воинским искусствам, скакать на лошади, говорить грубым голосом, командовать сестрами, отдавать приказы матери и слугам... Но когда девочка созрела, «Ахмед» понял, что его естество – чужое ему; а когда стали перевязывать «ему» набухавшие уже груди, то наступит трагическая развязка... «Песчаное дитя» рассыпается, уйдет в никуда, и никто не поверит в случившееся... Символическое сказание о практически убитой, загнанной в

¹⁹ Т. Benjelloun. L'enfant de sable. P., 1985; La nuit sacrée. P., 1987 [переведен на русск. яз. в 1989 (Изд. «Наука», Гл. ред. восточной литературы)].

оковы маскулинности (у этого существа появлялись уже и мужские признаки, росли усы и борода...) женской сути ради тщеславия отца, превратилось в жуткий кошмар дальнейшего повествования о человеке с женским телом и мужским лицом, посаженном в клетку («Ахмед» бежал из дома и долго скитался, пока не попал в бродячий цирк), на которого собирался посмотреть народ и поохотатся над несчастным уродцем...

В конце долгого своего пути, выбравшись из клетки, обретая постепенно свое «я», Зохра, так называли люди теперь «Ахмеда», пройдет еще одно испытание: «Мусульманские сестры» из какой-то религиозной секты (сродни «братьям-мусульманам»), увидев ее стремление к Свету, к Правде, к Истине, снова извратит ее существо, на сей раз насильно лишив всего того, что составляло ее женское естество... Но она продолжит, пережив все мучения, свою битву за Жизнь, пытаясь искоренить зло и сеять на своей земле добро...

Но в марокканской литературе судьба мусульманки нечасто бывает освещена Светом Надежды. И в 90-е годы, и в начале 2000-х в книгах именно женщин-писательниц, знающих о жизни женщины, естественно, намного глубже, чем их коллеги-мужчины, продолжает звучать **та же** печальная мелодия *несвершившегося счастья, незавершенных надежд, прерванности полета мечты* о Любви и Свободе. Вспомним, что в повести Суад Бахешар «Ни цветов, ни погребальных венков»²⁰ рассказана история бедной девушки, сироты, росшей в хлеву вместе с животными, позволившей себе роскошь свиданий с юношей, влюбленным в нее, где-то на лоне природы, вдали от завистливых глаз злобных родственников. Но ей, жившей в глухой провинции, пришлось вытерпеть страшное, чудовищное наказание за «преда-

²⁰ S. Bahéchar. Ni fleurs, ni couronnes. Casablanca, 2000.

тельство чистоты нравов», достойных юной девушки: люди, сумев подстеречь ее на тайном свидании, расправились с ней, поставив раскаленным железом клеймо на ее лоне, лишив ее раз и навсегда возможности продолжить свой род, стать когда-нибудь матерью...

...Можно множить примеры фиксации в современной художественной литературе насилия против личной свободы мусульманки (хотя Коран не имеет в своем каноническом тексте прямых указаний на такого рода ограничения и расправы), главное – не в этом, а в **протесте** художественного – как части общественного сознания – пусть небольшой, но страдающей, протестующей против творящегося в современном обществе зла.

Достаточно сказать о творчестве алжирца Рашида Буджедры, который уже в первых своих романах – «Отвержение» и «Солнечный удар»²¹ – восстал за честь женщины, матери в мусульманской семье, постоянно подвергающейся страху быть «отвергнутой» мужем, которому дозволено религией иметь несколько жен. Страдания, унижения и часто изгойство таких «отвергнутых» (мусульманский «развод» очень прост – достаточно произнести мужу и мулле несколько ритуальных фраз, и жена становится вторым или третьим субъектом после нового брака во все растущей семье мужа), дети которых глубоко переживают участь матери, понимают степень ее одиночества и часто мстят отцу за ее унижение...

Но особенно остро вопрос о свободе выбора женщины встал в Алжире в эпоху борьбы с **исламским радикализмом** (в его экстремистской, террористической форме) в 90-е – начале 2000-х гг. Р. Буджедра в своем

²¹ О них подр. в «Алжирской сюите».

романе «Беспорядок вещей»²² только воссоздал начало безумного конфликта в стране, добившейся в длительной антиколониальной войне свободы и независимости, пытавшейся организовать общество на началах демократических и даже – первое время – социалистических. Исламисты не простили власти попытку и внедрения светского образования, и эмансипацию женщин, и расцвет многих форм культуры, так или иначе переключаящихся не только с «исконно-алжирскими» формами, но и с западными (музыка, живопись, кино, театр, пресса и пр.). Месть радикального ислама – это не просто террор, устрашение, «предупредительные взрывы» бомб и гранат в общественных местах, где будут «наглядные уроки» в виде многочисленных жертв (в романе нарисован жуткий образ искалеченного террористами человека, выползающего, почти раздавленным, из-под горы *трупов...*). Но это и по ночам сжигаемые целые селения в горах, где мирно спящие люди сопротивляться не могут; это и неожиданные ночные налеты на дома и квартиры тех, кто неугоден, не сотрудничает, не помогает восставшим «праведникам» и «воинам Аллаха». И если классик алжирской литературы Мохаммед Диб, незадолго до своей кончины, успел в метафорической фреске запечатлеть этот процесс социально-политических и конфессиональных «трансформаций» в стране как «разгул диких собак», с которыми рано или поздно расправятся те, кто «хранит еще старые ружья» (роман «Если захочет Дьявол...»²³), то врач по профессии Латифа бен Мансур напишет документальную книгу «Год заката Солнца», в которой воссоздаст ей самой пережитое: ее новорожденного ребенка били головой об стену, превратив в кровавое месиво, на глазах у матери... И таких

²² R. Boudjedra. Le desordre des choses. P., 1990.

²³ M. Dib. Si diable veut... P., 1998.

«расправ» с инакомыслящими в стране было немало, пока алжирская армия как-то не укротила на какое-то время только в начале уже 2000-х это течение «кровавой реальности» гражданской войны. Но об этой книге – надо чуть подробнее...

...Я долго не решалась написать о «Году затмения Солнца»²⁴. Казалось, что всё, что я могла представить «нашему» читателю о свидетельствах алжирских писателей о новой войне в стране (на сей раз не за Независимость, а просто за Жизнь), где мне довелось жить и работать сразу же после обретения Алжиром Независимости, я уже собрала в моих книгах «Между мистралем и сирокко» (1998), «От Сахары до Сены» (2001), «Любовь земная» (2004) и др. Казалось, что и Рашид Мимуни в своем романе «Проклятие»²⁵, и Рашид Буджедра в своем повествовании, похожем на бред выползшего из-под груды трупов раздавленных войной людей, – «Беспорядок вещей», и Ассия Джебар в сборнике ее новелл «Оран, мертвый язык», и Мохаммед Диб в своей сумрачной эпопее «Если захочет Дьявол» не только «развернули» причины нашествия исламского интегризма (от «истоков» – неудач строительства новой жизни в постколониальное время до развязанного в стране в конце 80 – начале 90-х гг. XX в. террора), но и запечатлели (ярко и смело, как это могут большие художники) весь кошмар случившегося, воссоздали поистине Антологию Страданий (людей их земли), где воссоздан процесс незавершенности рубцевания ран одной – антиколониальной – войны и трагедия погружения в другую, – не менее ужасную, – гражданскую. Их что-то стало много на Востоке, этих войн, слишком много и слишком часто вспыхивающих и подолгу пылающих, хотя «привык-

²⁴ Latifa Ben Mansour. L'année de l'éclipse. P., 2001 («Год затмения»).

²⁵ R. Mimouni. La malédiction. P., 1998/

нуть» к их дурной бесконечности почти невозможно, — конфликты становятся все изощреннее, все страшнее, все отвратительнее, — иначе не скажешь, будто и в самом деле, как полагают давно уже некоторые политологи, гуляет себе по миру, «без объявления» своего — *третья мировая*, — уж больно велика стала эта «сумма локальных конфликтов»... Но если бы 20 августа 2008 г., когда я решила прочесть произведение Л. Бен Мансур, я вновь не услышала по радио и не увидела по телевидению о «новых терактах» и «вылазках исламистских боевиков» в Алжире, уничтоживших еще «полсотни мирных жителей», то, наверное, книга Латифы Бен Мансур так и осталась бы лежать на моем письменном столе, *только напоминая мне*, что сделали они с одной из самых прекрасных стран, с ее народом, с ее поразительно **современной** интеллигенцией, реально воплотившей в себе тот самый «синтез» культур Востока и Запада, ту самую «встречу» *двух цивилизаций*, без которой уже невозможно ни Настоящее, ни Будущее... Но именно потому, что кто-то хочет «зарезать» еще и сегодня Свет Наступающего Дня (воспользуюсь образом Поля Элюара) именно там, на Востоке (если соотнести арабский мир или мусульманский в целом с этим не *столько* географическим, сколько цивилизационным понятием), надо, видимо, свидетельствовать неустанно, напоминая, что **человек не должен забыть Вкус Солнца**, не может знать только Мрак Ночи и думать, что свершающаяся на его глазах или сохранившаяся в памяти История — это бесконечная цепь извечных «проклятий» и торжествующая «воля Дьявола». Человек создан для Жизни. И она не должна быть только страданием... Как сегодня, к примеру, в Сирии...

Книга Латифы Бен Мансур даже названием своим настраивает читателя на трагический лад, напоминая,

что ее страна – это не просто часть Магриба, т. е. *западной* земли арабского мира, той, где *Заходит Солнце*, мирно «садится», *закатывается*. Нет, солнце это здесь *затмевается*, и этот его «*éclipse*»²⁶ (как не просто даже «*Затмение*», но именно «*Закат*»), становился черным атрибутом истории Алжира XX–XXI вв., где сама Жизнь Человеческая была как бы накрыта Тенью Смерти.

Неслучайно выбран и эпиграф к книге Л. Бен Мансур: «Даже во сне жить стало страшно» («*C'était le fait d'être vivant, meme en rêve, qui était angoissant*». – J. Semprun). Но именно таковым стало ощущение своего существования на родной земле героиней этой книги алжирской писательницы, уже известной как автора двух повестей: одной – лирической – «Песни лилии и базилика» (1990), другой – драматической – «Молитвы страха» (1997), вобравших весь «диапазон» жизни алжирки от Любви до Войны. Но «Год Затмения» жанрово не обозначен писательницей, и тоже неслучайно. Книга исполнена **трагизма документального свидетельства**, почти лишена художественного вымысла и однозначно посвящена **«Всем праведникам, имена которых нельзя назвать, но они вот уже более двенадцати лет сражаются в Алжире с отвратительным чудовищем... И всем тем безымянным женщинам, с которым мне пришлось встретиться взглядом, и в чьих глазах я увидела гнев поправленной справедливости, муку насилия и бесчестия. Всем алжиркам, оставшимся без помощи, без сочувствия. Вам, сестры мои, – которым я поклялась не забыть о ваших страданиях... В память о тех, кто представлял честь и достоинство Алжира»** (с. 273).

²⁶ Об «эклиптике» как особом «круге» солярных мотивов в литературе магрибинцев мне довелось писать более десяти лет назад, но именно **этот** мотив тогда еще «прозвучать» не мог...

В Посвящении, а точнее в «Благодарности»²⁷ автора – не только «безымянные герои», в память о которых написана книга «Год затмения», но и реальные имена людей, с которыми судьба свела писательницу, которые помогли ей выжить, пережить жуткие годы, выбраться из своей страны, потом снова вернуться в нее и написать эту книгу. Среди них – и алжирцы, и французы. И это тоже неслучайно. Судьбы каждого современного представителя двух стран, сосуществовавших сто тридцать лет на одной земле, так или иначе отмечены и общей Историей, и общей современностью.

И поскольку «документальная» основа подчеркнута самим автором книги, воссоздавать ее художественное пространство (композицию, систему образов и образных средств, особенности языка и т. п.) путем тщательной реконструкции текста (в аспекте именно его художественного замысла), я не буду. Хотя порой литературоведческий «пересказ» просто необходим при абсолютном отсутствии литературных источников на языке русском. Ограничусь неким сводом содержания большой книги, отраженного в общих чертах в представлении ее издателя франкоязычным читателям, слегка уточнив детали: «Хайба – молодая алжирка (*врач, ей 33 года*), переебравшаяся (*после гибели мужа и дочери*) в Париж. Она – на грани физического и душевного истощения (*пережив расправу с ее семьей и надругательство над ней самой террористами*). В отчаянии, не зная, на что существовать дальше, она за бесценок продает свои уцелевшие украшения (*подаренные на свадьбу свекровью*). Пытается выжить. Борется за жизнь своего будущего ребенка (*появления на свет которого они долго ждали с мужем после рождения их дочери*). И вспоминает. Вспоминает о своей лучезарной родине, попавшей

²⁷ Именно так названа заключительная часть книги Латифы Бен Мансур.

в плен интегрлистского безумия, находящейся теперь во власти «нечистых сил» и коррупции. Вспоминает о муже (*с которым вместе училась*), с которым мечтала построить новый мир, где царило бы подлинное братство. Вспоминает о маленькой дочери, которую они вдвоем окружали лаской и нежностью. Но пылающая память ее помнит и о ненависти, которая обрушилась на них (*после того, как они добровольно перебрались на работу в глухую провинцию лечить людей в новой больнице, где не хватало врачей*), на их надежды и их самоотверженный, нелегкий труд (*по спасению жизни людей*). Помнит о жестокой каре, которой были подвергнуты (*муж был обезглавлен, а дочку растерзали на глазах у матери*), когда они отказались участвовать в подлой игре (*предложенной «новыми хозяевами» Алжира*). Отчаяние, холод чужбины только продолжили ее мучения. И она уже была близка к тому, чтобы свести счеты с жизнью. Но ей протянут дружескую руку, спасут, вселят в нее новую веру в жизнь, и это позволит ей держаться и еще раз стать матерью...

На фоне Алжира, предавшегося в руки «новых варваров», где воцарился цинизм власть предержащих, где молодое поколение повержено в смятение, где люди живут в оцепенении и страхе, в книге Латифы Бен Мансур воссоздана судьба женщины, на долю которой выпали необычайные страдания. Но так рассказать мог только человек, которому самому близко всё пережитое героиней его повествования...

Схематизм содержания рецензии «уплотним» канвой цитат из книги Бен Мансур в той последовательности, которую сохранила память ее героини.

Из части I – «Иллюзии»

«После темноты коридоров метро, после всех контрольных барьеров, которые миновала она почти автоматически, словно в беспамятстве, как сомнамбула, перейдя под землей почти незаметно границу царства живых и царства мертвых, после грохота механических дверей вагонов, поглощающих людскую толпу, и скрипа тормозов колес, Хайба словно очнулась на своем сиденье после непрекращавшегося кошмара ее жизни. Она подчеркнула ногтем слова в книге Джалал аль-Дина Руми²⁸, которую читала: «Но любовь к эфемерному, невидимому, неосязаемому, бесплотному – не есть любовь». О какой любви говорил он? Она любила своего мужа, но совсем не так, как Аллаха. Детей мусульман учат Аллаха бояться, молить, но никто не говорит им, что Его нужно *любить*. К тому же, разве женщине не внушают, что любить супруга своего это значит любить Аллаха в его творении? Но отныне все было пустотой. Бесполезно повторять Его имя. Она окончательно утратила веру в Него...» (с. 9–10).

...«Еще четыре месяца, и ребенок, столь желанный до случившегося кошмара, явится на свет. И она будет одна радоваться его рождению. Интегристы выпустили кровь из ее мужа. Надругались над ней, полагая, что запятнают ее на всю оставшуюся ей жизнь. Но не сумели умертвить в ней ее ребенка. Она не сделает им такого подарка. Неужели люди верят им только потому, что они носят бороду и традиционную одежду! Большинство из них столь же ловко владеют религиозной риторикой, сколь и современной техникой. Теперь и компьютер, и нож – их орудия. Они оккупировали все стратегические места в государстве и даже в международных организациях. И это не мешает им сеять смерть, идти

²⁸ Персоязычный поэт-мистик (1207–1273). – С. П.

вперед воплощением самой смерти. «Ты будешь жить, – угрожали они ей, измываясь над ней. Но ты будешь запятнана навсегда. И мать твоя, и отец твой, и все твои родственники...» Но Хайба значит «чистая» по-арабски. И сейчас она слышит в себе биение новой жизни... Чудом ребенок пережил кошмар, случившийся с ней. Плод бесконечной любви оказался сильнее смерти» (с. 11–12).

...«Друзья уговорили, умолили ее покинуть Алжир. Самой же ей хотелось уйти в партизаны и убивать одного за другим своих палачей... Но это означало и рисковать и своей, и жизнью ребенка. И если бы она пошла по пути мести, то выбрала бы тот же путь, по которому шли ее мучители... И она выбрала дорогу изгнания. Франция стала ей приютом. Ведь те, кто мучили ее дочку, тешились над ней самой, орали, что она – «продажная тварь», что «прислуживает французам», – так разве не сюда ей была прямая дорога? Она выстрадала свое право жить теперь на этой земле... (с. 12–13).

...«Ты заново начнешь свою жизнь. У тебя там есть друзья, близкие тебе люди. Ты там училась. О тебе позаботятся. С твоими-то знаниями и дипломами, ты там легко устроишься на работу, – увещевали ее другие...» (с. 13).

...«Самое трудное – это было привыкнуть к тому, что просыпалась в пустой постели, что некому было сказать: «Здравствуй, это я!», – когда открывала дверь, возвращаясь в дом, опустошенный смертью. Притрагиваться к вещам мужа и дочери... Как забыть детскую, залитую кровью ее ребенка, растерзанные ими игрушки, разорванные книжки, кровать, где девочку пытали и насиловали у нее на глазах?! Сострадание и жалость в глазах других ей тоже были невыносимы. Точно так же, как идти в морг для опознания обезглавленного тела своего мужа... Как невыносимо было спрашивать саму

себя, видя *живыми* своих друзей: за что? Почему убили именно ее дочь и ее мужа?...» (с. 13–14).

...«Почему-то вспомнились слова Шехеразады, которыми начинала она свои повествования: **«Это история столь необычна, столь глубоко засела в моей голове, что могла бы послужить уроком тому, кто жаждет знания...»** (с. 15).

...«Драма случившегося жила в ней. Как жил ребенок, в ожидании своего рождения. Отвратительное и невинное, грязное и чистое, – всё это вместе теперь уживалось в ее теле, питалось ее жизнью...» (с. 17).

«Ну и пусть теперь я сама умру с голоду! – думала Хайба, закрывая дверь ломбарда. – Пусть останусь без копейки!.. Скорей бы уснуть, забыть... Не слышать, как бьется в ней жизнь того, кому предстоит родиться без отца...

...«Иногда звонил телефон... Но зачем с кем-то говорить, рассказывать о себе, повторять всё снова и снова. Лгать. Всегда. Ведь все приветствия друзей и друзьям начинаются со слов: «Слава Аллаху!..» «Да, да, слава Аллаху, я еще жива. Да, да, слава Аллаху, беременность протекает нормально... Нет, нет, мне ничего не нужно». Зачем беспокоить друзей и близких? Теперь они уже ничего не могут сделать для нее. Они были рядом с ней после резни. Спасибо и за это. Но не следует теперь цепляться за них, портить им репутацию. Ведь все равно, в их глазах, даже если это скрывают, она стала *опоганенной*, словно *чумной*: фанатики-мерзавцы не только сеют смерть, они сеют и сомнение в душах людей. Превращают жертв своих в виновных, а порой и в палачей...» (с. 17–18).

...«Вспомнила о своей первой встрече с Абд эль-Вахабом, когда они учились в столице, в Алжирском Университете, как многие молодые люди ее поколе-

ния... Он тогда уже был на последнем курсе медицинского факультета, а она – на первом. Оба они были из хороших семей, и когда решили объявить о своей помолвке, родственники приветствовали их будущий брак и были очень щедры во время свадьбы... Жизнь осложнилась, когда молодые перебрались в Оран... Теща и свекровь почти не покидали их дом, бесконечно что-то советовали, надоедали своими распоряжениями, вмешивались во всё...

Рядом с этими матронами Хайба чувствовала себя маленькой девочкой. Все, что она делала, подвергалось суровой критике прежде всего ее матерью, которая не прощала ей малейшей оплошности. Хайба думала даже порой, что мать просто завидует ее счастью. Ну, а свекровь, видимо, никогда не простит ей, что она «похитила» ее сына. Когда обе матери приходили к ним «на чай», слышались одни и те же упреки: «Ваши друзья и наставники, когда едут за границу, то привозят всякие ценности, украшения, домашнюю технику. А вы, – только бумагу для пишущих машинок, да книги. Вот и всё ваше богатство! Ваши сундуки уже полны книг!» ... Теперь, вспоминая о ссорах со свекровью и о подаренных ей к свадьбе «драгоценностях», Хайба не могла удержаться от крика: «О Господи! Ведь мы уехали в Оран на работу, чтобы остаться там наедине! Сбежали от родных! Не закрывать же дверь перед их носом! Проклятый город! Мы думали, что теперь между нами и ними – пустыня! Но и здесь нашу жизнь пытались испортить!.. А уж эти «драгоценности», о которых мне неустанно напоминали, говорили, что «они стоят миллионы», что на них можно замок построить!» Ломаного гроша не стоят они! Да и то в самом дешевом ломбарде для бедных...» (с. 19–23).

«...Иногда им удавалось остаться одним в своем гнездышке... Старухам ничего не оставалось, как изливать свои жалобы друг другу во внутреннем дворе их дома... Муж как-то тоже дал выход своему гневу: «Больше не могу слышать ничьих проповедей! Неужели не видно, во что превратилась вся страна?! Можно подумать, что все превратились в безграмотных нуворишей! Повсюду – искусственные цветы и растения, вместо природных жасмина, сирени и мимозы! Повсюду эти механические игрушки, купленные в дешевых кварталах Парижа! Всё заменили и подменили, как будто нет у нас ничего своего, драгоценного! Всё, что – алжирское, теперь в помойку? Они же разрушают страну! И она когда-нибудь взорвется, уверяю тебя...» Это было время, когда он еще посмеивался над «тиранией» их матерей и легко критиковал новый образ жизни в стране, который они так и не усвоили, а матери и порицали их за это... За то, что нет у них счета в заграничном банке, роскошной мебели, многоэтажного дома, шикарной немецкой машины... Он говорил:

«Но ведь и в паломничество к святым местам, в Мекку, многие алжирцы направляются сегодня зачастую затем, чтобы получить там деньги и продаться афганским боевикам! А остальные набрасываются, как голодные из пустыни, на саудитские магазины, принадлежащие американским или японским торговцам. Я своими глазами видел все это, когда был там в командировке в Саудовской Аравии. Куда бы ни ехали алжирцы, везде они только и думают о тряпках и железе! Вещизм!!» Хайба, слушая его, бормотала слова старинной арабской мудрости: «На деньги покупают и зерна несчастья и горя...» И тогда еще оба они припомнили рассказ старого учителя, одного из первых «франкомусульман», – араба, получившего французский диплом

о высшем образовании еще при французах... Когда он вернулся в родную деревню с этим дипломом, праздник длился семь дней и ночей... Земляки называли его «Господин Учитель!»... А вот недавно, когда тот снова, на старости лет, захотел посетить родную деревню и шел по улицам своего детства, услышал вдруг, как одна женщина грозила своему сыну: «Если ты ничего не будешь делать, то и станешь никем, каким-нибудь жалким учителем, так и останешься бедняком, без денег!»...

«Вот так и мы, – сказал ей муж. – Со временем нас будут порицать не только наши матери, что мы не умеем жить...» Но тогда он торопился на какой-то конгресс. И она утешила его: «Главное сейчас думать о том, что у нас есть, о нашей будущей дочке, она ведь уже подает признаки жизни. Вот, послушай, дай руку!...» Но муж все-таки сказал на прощанье: «Я теперь сожалею, что отказался по твоему совету уехать на работу в Штаты. А ведь мне предлагали хороший пост...» «Но ты ведь и сам знаешь, – ответила она, – что не сможешь и дня прожить без своей страны!.. Даже когда мы жили и учились два года во Франции, разве ты не слышал постоянный зов родной земли? Разве не он заставил нас вернуться?..» Она подумала тогда после его отъезда: «Наша будущая дочь увидит жестокий мир... Сама Душа Алжира в опасности. И если ничего не изменится, настанут годы с запахом свинца и крови» (с. 24–28).

«Свекровь все спрашивала, на сколько дней ее сын останется во Франции. «Я тебе уже пятьдесят раз ответил: «Я уезжаю в командировку. На 10 дней». Тогда его мать воскликнула: «Там, говорят, делают прекрасное приданое для новорожденных. Ты должен купить все для своего ребенка! Ну, и конечно, норковую шубку для своей женушки или какое-нибудь украшение от Картье...» Хайба, еле удерживаясь, объясняла: «Ваш сын

едет за границу по работе. Мы – служащие, а не контрабандисты или дети генералов, превратившихся в бизнесменов...» «Да, конечно, – ответствовала ее мать. – Он – хирург, ты – гинеколог, мне это известно. Нам вас никогда не понять. Можно подумать, что не я тебя родила». И Хайба не сдержалась, думая о том, что мать родила ее на свет не для того, чтобы радоваться жизни и свободно дышать: «Лучше бы я осталась в тебе, лучше бы ты задушила меня своим телом, как это делают здесь многочисленные матери, когда у них рождаются дочери!»...

...«Теперь не десять дней, необходимых ему для работы, но всю жизнь придется жить без Абд эль-Вахаба... О Господи! Если Ты существуешь, помоги мне и покажи мне лик свой, настоящий, полный любви и сострадания! Если существуешь Ты, то зачем позволяешь именем Твоим заставлять женщин носить черное покрывало?.. Не разрешать мужчине и женщине идти рядом по улице, а женщинам – работать? С каких это пор во имя Твое Ты разрешил приказывать выбирать среди сыновей своих того, кто первым должен умереть? Как случилось, что позволил Ты во имя Свое разрубать пополам новорожденных и бросать одну половину – отцу, другую – матери? Насиловать матерей на глазах у маленьких дочерей? А потом заставлять матерей смотреть, как бьют ребенка, схватив его за ноги, об стену головой, пока не размозжат ее и не зальют всё кровью? О Господи, Всемогущий и Всемиловитейший, значит ли то, что верить в Тебя – это и принимать как должное ужас свершающегося и смиряться?..» (с. 32–33).

«...Несмотря на строгость полученного традиционного воспитания, она хотела быть женщиной *своего* времени, а не мечущейся между пятнадцативековым исламом и XX в. сегодняшней истории... Она сама «прыг-

нула» в XX век, ну, вот и заплатила за все сполна...» (с. 43).

«Нет, нет, это не ты, – говорила она, глядя теперь на себя в зеркало, изможденную страданиями. – Это не ты опоганена ими, это они сами запятнали себя, свора негодяев... И за свои преступления им придется рано или поздно заплатить!» (с. 51).

«...Как-то в машине она подслушала разговор своего мужа с его братом, – оба они были травмированы тем, что происходило в стране. Ненависть кипела в их сердцах. Они возмущались бездействием властей, буквально делавших вид, что не замечают ничего особенного... Но она сама, своими глазами видит же во время ночных дежурств в больнице всех этих изуродованных, обвиненных в «бесчестье» женщин, которые приходили потихоньку залечивать свои ужасные раны от побоев своих мужей и братьев, свои обожженные выплеснутой на них серной кислотой лица; видела забитых до смерти «непослушных» малышей; видела едва уцелевших от зверств свекрови новобрачных, которые оказались «недевственными» и тем самым «запятнали» честь семьи мужа. Как уберечь и спасти всех этих несчастных? Но разве она не давала свою врачебную клятву помогать людям, спасая их жизни?..» (с. 54–55).

«...Радио, которое она не смогла запретить себе слушать и здесь, в Париже, только подтвердило то, о чем говорили в автобусе: «В Алжире продолжается резня, – сообщало «Франсинфо». – Двенадцать человек, среди которых две женщины, два ребенка и один новорожденный, были зверски убиты в местечке Аин Дефла. Многих женщин бандиты увели с собой. В Релизане триста человек было уничтожено: им отрубили или отпилили головы. Жители этого городка пытаются собрать разрозненные и подожженные останки тел. Там тоже были

похищены шесть женщин. Завтра на площади Трокаде-ро состоится демонстрация протеста, в которой примут участие многочисленные организации «Защиты прав и свобод человека...». Ей, впервые со времени пережитого кошмара захотелось плакать... Плакать! Она уже не могла сдерживать рыдания, которые переполняли ее с того рокового дня... Она разыскала альбом со старыми фотографиями, которые уберегла, и теперь долго рассматривала образы счастья, когда они еще были все вместе... От сокровищ бывшего тоже больше ничего не осталось» (с. 61–62).

«...Вспомнилось, как женщины старались на кухне, готовили *«настоящий обед»* – кускус, сделанный руками матери и свекрови, с овощами, аккуратно почищенными всеми сестрами, золовками и свояченицами... Но главное, – это были *специи*, которые привез Абд эль-Вахаб из своей командировки в Париж, – шафран и корицу... Алжир подлинный, ставший Алжиром «демократическим», Алжиром «народным», «социалистическим» и суровым, давно утратил вкус к ароматам Жизни... Осталось только потерять голову» (с. 67).

«Вспомнила праздник в доме по случаю дня рождения их дочери... Она еще была слаба, лежала в своей спальне, но слышала звуки флейт и звон бубнов... Пеленала и баюкала своего ребенка под старинные алжирские и оранские песни... Хор женщин затянул и ту, что пели и не так давно их соотечественницы, когда мужья уходили к партизанам, сражаться в горы:

*«О ты, взявший в руки знамя борьбы!
Знай, как тоскую я без тебя!
О ты, взявший в руки знамя борьбы!
Излечи тревогу мою! Пусть Господь ох-
ранит меня!...»* (с. 77)

«Когда оживают воспоминания, то жизнь становится похожей на вечный сон. Как было бы хорошо, если не просыпаться!..» (с. 85).

«...В доме друзей глубоко вздыхали. Жалели и ее, и себя. «Ну, разве это не ужас! Что же происходит со всеми нами? Ведь мы были достойными гражданами, пламенными патриотами, трудились на благо страны как рабы, без отдыха. И вот вам: несчастные изгнанники, зависящие от милостыни и подачки...» Она удерживала друзей от брани в адрес Аллаха. «Религия не имеет никакого отношения к террористам, ни к свалившимся на нас здесь неприятностям... Просто Алжиру в свою очередь довелось испытать варварство. Вспомните, как бежала из нацистской Германии интеллигенция, вспомните о чилийских врачах, которым мы помогали скрываться у нас... Теперь настал час и для алжирцев. Исламисты – это клинок кинжала, занесенного над Исламом. Удар изнутри. Неужели вы считаете, что убийцы, пытавшие мою дочку, растерзавшие ее тело, отрезавшие голову моему мужу, – мусульмане?...» (с. 89).

«...Ее друзья, – Бадра, работавшая в Алжире врачом, как и Хайба, и ее муж – Аль-Хуари, профессор, преподававший в университете политологию, во Франции, по приезду они разместили в газетах и где только смогли объявления, предлагая свои услуги. Но никто им не ответил... Теперь он работал ночным сторожем в какой-то гостинице, а Бадра – санитаркой в больнице. В Ороне у них остался прекрасный дом в мавританском стиле, который Аль-Хуари унаследовал от своего отца, а тот от своего, построившего этот дом своими руками... Но однажды и им в почтовый ящик опустили письмо с угрозой. На конверте, как обычно, был нарисован гроб... Потом им подбросили два савана и два куска мыла (предназначенные для омовения покойников. – С. П.) В сопро-

вождавшем эти «дары» письме их называли «гнусными прислужниками Франции». Карой за это полагалась только смерть... Если поначалу они, как и многие, думали, что кто-то пытается их разыграть, то однажды поняли, что это всерьез... На глазах у Бадры молодые люди убили ее брата, вонзив в него поочередно нож... После случившегося, еще не оправившись от горя, они с мужем решились уехать, опасаясь за жизнь своих детей... «Одержимые», или как их здесь называли «Безумцы Господни» уже свирепствовали повсюду, истязая детей на глазах у родителей или в присутствии детей обезглавливая их отца и мать. В Париж взяли с собой несколько чемоданов, дипломы и немного денег... Надо было быстро искать жилье и работу, устроив детей в школу... Хайба и Абд эль-Вахаб с их маленькой дочкой еще оставались в то время в Алжире...» (с. 92–93).

Полагаю, что объема выше переведенного мной на русский язык почти документального текста Латифы бен Мансур предостаточно, чтобы дальше не анализировать ситуацию. И станет понятнее и протест других магрибинок против «деспотизма» новоисламской традиции жизни, усугубленной в концепции радикалистов необходимостью террора...

Как можно было отметить, писатели-магрибинцы и в конце XX в., и в начале XXI в. все чаще наполняют свое творчество темой «деспотизма», связанного не всегда точно²⁹ в политическом исламизме с «реальными» догматами Религии. Словно звучит в их произведениях давнее эхо знаменитого романа Дриса Шрайби «Le Passé simple» (1954). Это – «Простое прошедшее» – как метафора **должного завершиться Прошлого**, воспринималось тогда как набат **по колониальной и фео-**

²⁹ Ибо зачастую искаженными в целях исламских «интегристов», как это мы увидим далее.

дальней Истории стран, выходивших на дорогу Независимости. Полный тогда гнева и надежд молодой писатель заклинал свой народ от повторения «ошибок», обрекавших на бесправие, нищету, невежество, плен предрассудков, гнет средневековых норм морали и социальных устоев, духовный застой, извечное разделение общества на Власть имущих (и их прислужников) и рабов, на неизбежность противостояния «своего» и «чужого», даже если этот «чужой» – свой, но пытающийся идти «по дороге прогресса»... Решительно прощаясь с «Прошлым» – таким «простым», т. е. **однозначно должным кануть в Лету и не тянуть свои «путы» в Настоящее**, юный герой романа, бунтарь, «повстанец» против «поколения отцов», позволивших «двойной гнет» в стране (Чужеземцев и оков «давно окаменевших» Традиций жизни, бесконечно порождавших «внутреннее» сопротивление человеческой личности), уже слышал «бой часов», отсчитывавших последние мгновения этого **Уходящего Времени**... Конечно, его надежды не сбудутся, и писатель неоднократно вернет своего героя на дорогу размышлений о причинах несвершившихся идеалов и поисков их в других мирах Востока и Запада... Он будет долго «искать правду», жестоко страдать и горько смеяться от невозможности свершения на Земле людей ни подлинного Братства, ни истинного Равенства, и устремится мыслью в глубины Истории своего народа, где и обнаружит концепт Свободы как аналога Счастья живущих на **одной** Земле **разных** народов, в **Гармонии** разных религий, объединенных **общей** целью **Созидания**...³⁰

В Алжире (в отличие от монархического Марокко), казалось бы, после установления Независимости в ре-

³⁰ О творчестве писателя см. подробно на русск. яз. наши работы «Дрис Шрайби или Новое время в литературе Марокко». М., 1986; «Магрибинский роман». М., 2007 и др.

зультате долгой и трудной борьбы с колонизаторами, распрощаться с «наследием Прошлого» обещано было всерьез. И всерьез совершались даже попытки строительства хотя и особой («исламской»), но все-таки некоей формы «социалистического» устройства, гарантировавшего различные права граждан Народной и Демократической Республики, в том числе и права женщин, получивших доступ и к образованию, и работе, а значит, и большей свободе распоряжаться собственной жизнью, служить не только семье, но и обществу, приносить ему «пользу», иметь возможность выбора профессии, и даже своего местожительства *за пределами* родного селения, города, страны... Собственно, об этих, открывавшихся перед алжирцами и алжирками горизонтах Жизни и была написана молодым врачом по профессии, художником слова по призванию – Маликой Мокеддем ее первая книга «Люди, идущие вперед» (1990 г.)³¹. О том, как извечно шли караваны кочевников, *преодолевая Пустыню* в поисках воды, пищи, новых стоянок, любила рассказывать героине повествования ее бабушка, напоминая внучке, выросшей в глинобитной хижине где-то на краю песчаной дюны, с одной стороны которой начиналась Сахара, а с другой – открывалась «дорога к Морю», что главное в жизни – это *продвижение*, «*марш вперед*», иначе – застой и смерть...

Внучка выполнит «завет предков», уедет учиться, станет врачом, *одолеет свою Пустыню*, но и поймет разность между «небесным полетом» надежд и земной возможностью их свершения, узнает и горький привкус Свободы и обратную сторону Независимости, означавшей не только политическую самостоятельность страны, но и ее особую отделенность от «западной цивилизации»: «восточный социум» и в новых обстоятельствах

³¹ М. Mokeddem. Les hommes qui marchent. P., 1990.

не позволял **полноправия** женщин с мужчинами, традиционно и согласно религии сохранявшими свою власть над ними...

Во многом вобравшая в себя биографические черты писательницы, героиня первой книги М. Мокеддем уедет на Запад и попробует там осуществить свои представления о Свободе, навсегда усвоив, однако, урок своей Пустыни.

Это пространство «открытых горизонтов», рождающих Мечту и необходимость Движения, еще долго будет тревожить воображение писательницы и станет неотъемлемым атрибутом повествования практически всех ее последующих произведений, органической частью их поэтики [«Век саранчи» (1992); «Запретная» (1993); «Мечты и убийцы» (1995); «Ночь ящерицы» (1998); «Я продолжаю» (2001) и др.³²].

Но образ Пустыни в книгах М. Мокеддем наделен не только метафорой Пути (как предназначенности Человека идти вперед), или отмечен признаками совмещения разных начал в самом топосе (палящего зноя днем и знобящего холода ночью), что повлияло на память о «родном истоке»: героиня помнит его не только как согретую любовью колыбель свою, но и как объятую людской ненавистью место своего изгойства, отчуждения, вынужденностью расставания с любимым с детства пейзажем, открывавшем простор для полета ее души... Пустыня может обретать (феномен «миражности», рожденный этим пространством, позволяет многое) и реальные очертания «пустоты» как *отсутствия Жизни*, или «края света» как тупика ее, застоя, стагнации, обреченности, исполненной дыханья Смерти. И тогда в образе Пустыни значимы не *манящий вперед* из зноя и жа-

³² Mokeddem M. Le siècle des sauterelles; L'interdite : Des rêves et des assassins ; La nuit de la lézarde ; N'Zid.

ра песков открытый горизонт, позволяющий услышать Зов Моря, но *неодолимая граница* между Прошлым и Будущим, безысходность блужданий человеческих в «глуши», в лабиринте страданий, сотканных из мрака невежества, предрассудков окостеневших традиций, «запретов», ощущения «заброшенности», «забытости», «покинутости» цивилизацией, прогрессом.

Именно таким и оказалось восприятие своей новой встречи с «родной Пустыней» героини книги М. Мокеддем «Запретная». Возвращение на родину, на землю, оставленную полтора десятилетия назад, не принесло ни радости узнавания *неизменности пространства песков*, ни радости увиденных и здесь перемен (пространство «глуши» и «окраинности» жизни в глинобитных хижинах слегка только расширилось за счет «современной» монотонности панельных домов и бараков), но горечь обнаружения все той же Традиции Жизни, тисками зажавшей людей в неподвижности, их повседневности, отбрасывающей их и ее настоящее время в Прошлое, бередящей рану *Незавершенного Прошедшего*. (Еще раз заметим, что книги этой писательницы созданы уже в эпоху гражданской войны в Алжире.)

...Быть «Запретной» – «Interdite»³³, означало для девочки, а потом и девушки многие мучительно тянувшиеся годы под ненавистным взором односельчан, не прощавших ей «историю позора», покрывшего навсегда ее мать. Ту заподозрил муж (наслушавшись сплетен соседок) в измене и однажды придравшись к тому, что жена пришла домой слегка запоздав, набросился на нее и забил до смерти на глазах у пятилетней дочери...

Дочь всю жизнь будет помнить эту чудовищную расправу, отчаянный голос матери, кричавшей, что «кто-то

³³ В повести М. Мокаддем эта номинация означает не только то, что «нарушила запрет», но и ту, чье происхождение или поведение «запрещено» для других, т. е. ту, которая попала под «запрет общения с ней».

пытается отравить их жизнь», резкие возгласы обезумевшего от подозрений отца: «Где ты была?! Где ты была?!»... Помнить, как бросилась к лежавшему на полу бездыханному, залитому кровью телу матери с рыданиями: «Умми! Умми!»³⁴. Помнить глаза отца, в которых словно застыло удивление: «Я не хотел этого! Не хотел»... (с. 152). Его потом уведут – навсегда, и дочь его больше никогда не увидит. А трехлетнюю больную сестренку брат отца и соседи похоронят через два дня после похорон матери... Так внезапно оборвалось беззаботное детство и настала пора испытаний: «В деревне ползли слухи, что наша семья проклята. Я так и считала еще долгие годы... Когда я шла по улицам, дети разбегались при моем появлении. Отпрыгивали в сторону, как лягушки... Чтобы не видеть этого, я привязала какие-то жестянки на веревочку, и они позвякивали, когда я тащила ее за собой, предупреждая и отпугивая таким образом ребятишек... От меня словно отделилась какая-то часть, когда умерли мать и сестренка... Может быть, это та часть, которая не захотела остаться со мной... Постепенно меня все оставили. Я росла почти одна, голодная, тщедушная, с измученной душой... Не знаю, как я выжила, как продолжала дышать, спать, ходить, окруженная одиночеством и людской ненавистью» (с. 153–154).

Об этом вспоминала Султана (так зовут героиню повествования) уже почти тридцатилетней, освобождая душу свою от тяжелого груза памяти о детстве, вернувшись на этот «край земли» и встретив здесь того, кто ничего не знал о ее прошлом. Но другие, оставшиеся здесь жить люди, сразу узнали ее по приезду, напомнив, что лучше бы сюда ей не возвращаться: здесь не забыли о том, что она из той, «проклятой» семьи, дочь «запрет-

³⁴ Мамочка (алжирский диалект арабского).

ной» женщины («не знавшей стыда», покрытой «позором бесчестья»), но и сама ставшая таковой: ведь вырастил ее «руми», французский врач, взяв ее из приюта, потом помог выучиться, а потом она и сама уехала «к ним», к «руми», из родной страны, – а значит, она – «предательница», «нечистая», «продажная», «содержанка руми», – врагов, пусть даже и лечивших их здесь, в этом глухом, забытом богом краю... (с. 155). Память о Войне с французами тогда еще была свежа, и люди продолжали смотреть даже на тех европейцев, кто остался в стране и искренне помогал ей подняться из руин и разрухи, подозрительно. «Проклятое» прошлое страны словно накладывалось на историю «проклятой» семьи, где жена позволила себе (хотя это было всего лишь *подозрением*) изменить мужу. Вот и обвиняли девочку в том, что она «ест с французами свинину и пьет вино», а значит, – и она, как и мать, «беспутная», «развратная», все исламские запреты³⁵ нарушившая... И хотя она выросла в семье француза «честной» и «целомудренной», и ее жизнь, и жизнь этой семьи была омрачена тяготевшей над Султаной людской неприязнью. Французов «выдают» из деревни (как и по всей стране), но девушка, которую они успели определить на учебу в город, помогли устроиться в интернат, уже твердо знала, что никогда «не уступит» тем, кто, согласно «правилам», охраняя женщину от «измены» любви к *другому*, от «бесчестья», порицая ее за «надругательство» над «честью семьи», на самом деле совершал надругательство над ней самой, над ее свободой и в своем извечном к ней недоверии посягал на ее человеческое достоинство и на ее жизнь. «Я стискивала зубы, – вспоминала

³⁵ Действительно имеющееся в Коране прямое осуждение «прелюбодеяния» (см., напр., суру IV, аяты 14, 34 и др.), не содержит, однако, указания на необходимость жестокой расправы с женщиной, нарушившей верность мужу, тем более рекомендации ее убийства.

Султана, – и говорила себе: «Нет, они не завладеют мной, не убьют меня, как мать. Им не достанется моя шкура...» (с. 155).

Девушка словно оправдала данное ей при рождении «царское» имя: завидная воля, твердость характера, почти мужская выдержка, несогбенность духа и неутомимой желание добиться поставленной цели – стать врачом, как и ее французский спаситель и его жена, – помогли ей преодолеть многие жизненные препятствия и многочисленные преграды, которые были на ее пути. А их, действительно, было немало, – в Алжире, несмотря на все провозглашенные «великие цели» строительства и народной, и демократической, и даже социалистической республики, с правами женщин все было не просто, и «исламские запреты», охранявшие женскую «благочестивость» и «целомудрие», продолжали «работать», и за женщиной все так же продолжала следить ее семья – отец, братья, потом – семья мужа, общество в целом, без особого энтузиазма воспринимавшее обретение ими профессий, полученной работы, возможность самостоятельно жить и зарабатывать деньги. Скорее, **женщины бросали свой вызов этому обществу**, но изменить радикально они не смогли его и до сих пор, хотя постколониальная «эмансипация», – пусть и частичная, была уже налицо. Антиколониальная Война в 50–60-е гг. ускорила процесс ее созревания. Но нагнавшая уже в 90-е гг. гражданская пыталась искоренить все достижения Революции... «Если бы Алжир был поистине верен идее прогресса, если бы власти способствовали эволюции ментальности народа, я бы чувствовала себя значительно легче», – размышляла Султана, уже после своего возвращения в страну из Франции, откуда позвало ее на родину письмо друга, с которым она когда-то вместе училась на медицинском факультете

Оранского университета. Тот, получив диплом, уехал на юг страны, долго работал в той «глуши», из которой была родом Султана. Теперь он звал ее вернуться, — здесь были нужны врачи, остро не хватало реальной помощи людям, которым мешали лечиться не только нужда, нехватка средств, но и *извечные предрассудки, запреты, условности, обычаи, заставлявшие людей обращаться к колдунам и знахарям*. Ясин, — это было имя друга Султаны, — позвал ее, знавшую хорошо, что такое «глухой уголок» страны, и как необходимо этому краю «**исцеление**». Разве не дочь Своей Земли должна помочь Ей освободиться от немощи и пут прошлого?.. Видимо, сам он, позвавший ее в дальний путь, уже почувствовал и свою беду. Так и случилось: едва она решилась бросить всё и лететь в Алжир, позвонив в больницу, где работал Ясин, чтобы предупредить его о своем скором приезде, услышала весть о том, что «врач внезапно скончался накануне. Умер в своей постели. Абсолютно здоровый». Его удрученный помощник уговаривал Султану не медлить и ехать, — помощь ее будет бесценна, — Ясин рассказывал всем, какой она «замечательный врач»... Казалось, ее действительно там ждали. Прошлое свое как бы уже с годами «стиралось», бледнело, гасло, оседая где-то в глубинах памяти, вытесненное новыми впечатлениями, заботами, проблемами. Поэтому оно, это ее прошлое, где было *отвержение и изгойство*, не пугало ее сейчас, да и приходилось спешить на похороны Ясина, с которым развела ее судьба, хотя они и любили когда-то друг друга, и которого не видела она так много лет... Мусульмане хоронят своих быстро, ее никто не станет ждать, вот и вылетела она почти немедленно, как только узнала скорбную весть...

...На похороны ее, женщину, конечно, не допустили. Обычай не позволял. Вскрытия не производили, да и

никого из близких (а их почти и не было, – врач жил одиноко) это не волновало. А потому причина смерти врача установлена не была. Но Султане дали понять, сразу же по приезде, что «врач был на подозрении у «братьев» (т. е. мусульман-«интегристов»), – они уже всю хозяйничали в стране, требуя «именем Аллаха» восстановления *истинного порядка вещей*, завещанного Пророком, и возвращения мусульман к *изначальной* вере своей, «не замутненной нечистыми помыслами властей и грязными замыслами Запада»... У них была своя «истина», свое оружие и свои цели. И действовали они решительно и беспощадно. Их боялись повсюду, но здесь, в глуши, особенно. Людей было мало, все знали друг друга и почти все были так или иначе друг у друга «на подозрении».

Таксист, везший Султану из местного аэропорта близлежащего городка к дому сельского врача, несмотря на очевидную свою трахому (Султана не удивилась ее признакам, увидев его глаза, – этой болезнью здесь болели почти всегда, из поколения в поколение, уже почти смирившись, объясняя ее «вездесущей пылью» – ведь пустыня была рядом...) узнал ее. Хотя прошло немало лет. Открытая (а не спрятанная под хиджабом) красота ее сияла по-прежнему, вызывая, как и прежде, и восхищение, и зависть, и ненависть. Но скорее всего, он понял, **кто** приехал; она, расспрашивая его, все пыталась разглядеть на дороге те места, где родилась и выросла, найти «тот самый» родной глинобитный дом там, где повсюду теснились какие-то новостройки... Оглянувшись назад, почти со злостью сказал, что она приехала сюда *напрасно*... Словно предупреждая.

Так оно и случилось. Из поколения в поколение передавались здесь не только многочисленные болезни, традиции быта и жизни, ее обычаи и ее истории, ее ле-

генды и устойчивые (особенно здесь, в почти замкнутом пространстве глухой провинции) представления людей о том, что *дозволено*, а что *запрещено*. Люди не только помнили о «проклятой семье», о нарушивших «запреты» матери и дочери (о кровавой «мести» умершего в тюрьме отца говорили меньше), но и знали, что к «женщине-врачу» если и обратятся за помощью, то немногие. И в основном женщины, страдающие не столько от своих многочисленных болезней, сколько от расстройства души, психики, сломанной властью мужей, отцов, братьев... Мужчины не пойдут на прием к Султане, чуть ли не на следующий день после похорон Ясина надевшей его врачебный халат и открывшей его кабинет для посетителей... Достоинство и Честь мужчин не позволяли рассказывать женщине о своих немоощах. А если и шли за лекарствами, объясняли туманно, намеками, что их беспокоит, но и получив рецепт или таблетки, с осторожностью, а скорее, с недоверием относились к полученному предписанию (употребляли медицинские свечи с чаем, например, полагая, что иное их употребление «недостойно» мужчины...), а еще чаще просто выбрасывали лекарство. Визит к врачу был, скорее, вынужденным, если настаивала семья, или для удовлетворения любопытства, что это такое «женщина-лекарь»... Беспокоили чаще фельдшера-мужчину, который был здесь и за дантиста, и за ветеринара... «Нет, забвения прошлого не пришло ко мне, – скажет Султана. – Оно воскресло в живой современности, окружившей меня, в участии женщин, которых я здесь повстречала. Все увиденное и услышанное снова погрузило меня в мою прошлую драму жизни, цепью приковало к тем, кто и по сей день терпит тиранию традиций, унижения, преследования, подозрения... Все это только вновь открывает уже затянувшиеся было мои раны... Ничего не забыто.

Отдаление мое не смягчило память о прошлом. Боль настоящего связывает меня с ним прочными узами. Как и с людьми, которые еще продолжают страдать...» (с. 155, 156). Боль эта – и от прозрения насильственной гибели Ясина, так и не устроившего здесь жизнь свою по образу и подобию окружающего; он остался и в душе своей и на живописных полотнах, чудом сохраненных в его комнате, художником, романтиком, рисовавшим *красоту Пустыни*... И от встречи с маленькой Джамилей (так похожей на *прежнюю* Султану, учившую когда-то прилежно французский и мечтавшую о школе и учебе в большом городе...), которую ненавидят отец и братья за то, что она умеет читать «чужие» книжки и переписывается со старшей сестрой, уехавшей за море, по-французски...

И от вспыхнувшей и безнадежной любви к Винсену, – *странному* здесь человеку, приехавшему на эту землю французу, который посчитал себя *«алжирцем»* – ведь донор, отдавший ему свою почку, был родом из этих мест. Ощущение своей «метисности» и притягивает Винсена к Султане, ибо и она, по-своему, давно уже носит в себе **два начала**: и своей, и его родины, Франции, заменившей ей и мать, и сестру (когда те покинули этот мир, словно отделившись от нее), заполнившей *пустоту* ее души и тела...

Последнее «обстоятельство» жизни молодой женщины, без всякого сокрытия своего отношения к французу навещавшей его в маленьком и единственном здесь отельчике городка, расположенного неподалеку от ее родного селения, окончательно повлияло на саму возможность пребывания ее здесь, исключило продолжение ее работы: традиционная мораль просто не вынесла всей этой «непристойности», – ей хватало и «проклято-

го прошлого» Султаны. И люди снова «запретили» ее, нарушавшую все их «запреты»...

Первым осмелился сказать ей об этом Салах – тот самый, который известил ее и о смерти Ясина. «Надо, чтобы ты уехала отсюда. Вчера вечером уже какие-то сильно возбужденные люди побили стекла в кухне больницы... Тебе не следует больше оставаться здесь. Ты не дождешься милости от этих людей. Давай, уедем вместе в Алжир или в Оран. Куда захочешь...» (с. 156).

Она, конечно, уедет во Францию, в Монпелье, где работала прежде. Несколько месяцев, проведенных на родине, ничего не прибавили к ее настоящему, только окунули в прошлое, «в тоску безвыходных блужданий души» (с. 156).

Она вновь встретила «с деспотизмом земли, которая только отнимала у вас любовь, привязанности, обрекала на страх и угрызения совести, всегда предавала надежды, усиливала чувство одиночества, превращала радость в отчаяние...» (с. 157).

Единственное, что могло удержать ее, так это ее неутоленное желание еще раз увидеть Пустыню, и даже совершить «переход» через нее. Дойти до моря. Как мечтала в детстве. Но это она оставила «на потом». Когда-нибудь она совершит этот свой «переход», пройдясь по горячим днем и холодным ночью пескам, оставив позади поглощенные ими Прошлое... Ей даже обещали помочь совершить это ее путешествие. Когда-нибудь.

А пока она улетала за море. С болью в душе и сердце. Оно болело особенно. Исполненное состраданием к судьбе тех женщин, к которыми повстречалась здесь. «Скажите им, что даже вдалеке от них, я буду с ними» (с. 181). Помочь им не довелось, разве что иногда утешить их физические страдания. **Но как вылечить**

Жизнь от разъедающей ее проказы заточения людей в несвободе?..

...Но «табиб» – алжирский врач, вызвавший Султану на родину, надеялся на возможность этого излечения до последнего вздоха своей жизни, отданной служению «культуре и демократии». В деревне, конечно, знали, что он – член именно так называвшей себя организации³⁶. Видимо, потому и избавили его от его попыток улучшить и обновить мир. Или хотя бы помочь ему не идти **вспять**. Но Традиция Жизни – великая инерция именно **такого** Движения. И хотя она оживает всякий раз, когда жизнь становится невыносимой, остановить это Движение – особенно трудно. Поэтому так часто *запрещают жить* на этой земле тем, кто восстает против инерции «привычного русла», грозящей «возвратом к истокам», а значит – застоєм, «безысходностью» Пустыни. Ее «неотвратимостью», как сказал бы М. Диб, классик алжирской литературы.

«Инвенции» его, этого пустынного пространства Жизни, были уже описаны Тахаром Джаутом³⁷, замечательным алжирским прозаиком, драматургом и журналистом, памяти которого посвящена книга Малики Мокеддем: «Тому, жизнь которого **запретили**, по причине того, о чем он писал». Его убили в начале 90-х, на глазах у дочери, за которой он пришел в школу. Выстрелом в голову. Надежно. Чтобы не волновал воображение людей самой *возможностью* **Перехода через Пустыню**³⁸.

Но Малика Мокеддем и героини ее книг будут помнить о постоянных попытках людей преодоления этого

³⁶ RCD – Ressemblance pour la culture et la démocratie (политическая партия, активно действовавшая в Алжире в оппозиции F.I.S. (Фронту Исламского Спасения).

³⁷ См. Djaout T. L'invention du Désert. P., 1987.

³⁸ О его книге см. подробно в нашем анализе «Пустыня как литературное пространство» – в: С. Прожогина. Между мистралем и сирокко. М., 1998.

Пространства. И надеяться на завершение Прошлого. Иначе писательница не сделала бы второго своего посвящения к своей книге: **«Моим алжирским подругам, которые не признают запретов на жизнь»**.

С известной долей трансформации и более глубоким обобщением история *«запрещенных для Жизни»* матери и дочери из одного повествования М. Мокеддем переносится в другое, в книгу *«Мечты и убийцы»*³⁹ (1995), где превращается в историю жестокой встречи героини со своим Прошлым уже не в глуши, в забытом богом *пустынном* краю, но на побережье Франции, и отделявшем ее от родного Алжира *морем*, и соединявшим с ним не только географической, но и *исторической* близостью. И чем контрастнее были разные берега человеческой Жизни, тем ярче виделись ее изъяны, ее раны, повсюду обнажавшиеся при столкновении Мечты и Реальности...

По этой истории, Мать героини не была убита отцом, но **изгнана** им из дома за любовь к другому: в мусульманских семьях не редкость, когда жена, даже мать многочисленного семейства замуж была выдана по воле родителей, а не по *собственному* выбору, — а он, этот фатальный выбор, и свершается иногда в жизни женщины... Беременная, она должна была от позора скрыться, «исчезнуть», избежать мести и презрения окружающих, а потому уехала к родственникам, давно уже жившим в эмиграции (что для алжирцев — дело тоже издавна, еще с начала XX в., обычное) на другом берегу моря... Собственно, на поиски следов своей «исчезнувшей из жизни» матери и отправляется ее уже взрослая дочь, которой придется и узнать горькую правду об «изгнаннице», об окружавшем ее одиночестве, о нищете, о ее трагическом финале — ужасной смерти от родов и гибели ново-

³⁹ Mokeddem M. Les rêves et les assassins. P., 1995.

рожденного... И для родственников, и для соотечественников – и здесь, на «чужом» берегу пытавшихся сохранить «свои» обычаи и традиции, судьба *изгнанной мужем жены* не вызывала особого сострадания, что не придавало женщине ни сил, ни надежд на дальнейшее свое существование на чужбине. Но не найдя здесь для себя забвения своего Прошлого, она надолго осталась в памяти других как **жертва** того мира, который давно оставили люди, выбравшие «другой» берег Жизни, хотя и сами отмеченные «стигматами» *своего*. И хотя оставшиеся в живых свидетели этой печальной истории рассказывали дочери с сожалением о мытарствах и смерти ее матери в краю изгнания, осторожно советовали ей «не ворошить» Прошлое и не судить жестоко людей, не спасших здесь женщину от позора «свободной любви»... Люди поменяли только условия своей жизни, и многочисленные, давно осевшие на южном побережье Франции магрибинцы и другие африканские иммигранты, с которыми довелось встретиться героине повествования, и не думали возвращаться на родную землю, «в былое», но нравы их и обычаи, этнические и религиозные традиции жили, даже способ повседневной жизни хранил не только следы «былого», но и особо культивировал их даже здесь, на чужбине... Люди продолжали и продолжают по сей день молиться **своему** богу, есть **свою** пищу, одеваться в **свои** ткани (с любимыми **там**, на далекой земле предков, расцветками), селиться в **своих** кварталах и собираться в **своих** кафе, ходить в **свои** кинотеатры (на **свои** фильмы, сделанные иммигрантами или о них), **по-своему** жить и смотреть на окружающую жизнь **своими глазами**...⁴⁰

⁴⁰ К примеру, литература так наз. «бёров», активно развивавшаяся в поле французской культуры в 80–90-х гг. XX в., имела ярко выраженную «магрибинскость»... (С. П.).

Социологи называют этот феномен «*воспроизводством различий*»⁴¹, усматривая в этом весьма опасный для реального, уже свершившегося и в Европе полиэтнизма симптом, ведущий (и уже приводящий) к расколу европейских обществ на различные социальные и культурные «анклавы», «общины», этнические меньшинства и прочие человеческие объединения, не способствующие, в частности, во Франции, республиканским воззрениям на Равенство и Братство. Однако, именно там, в недрах этих своих «communautés», люди упорно хранят память о *своих корнях*, и чем дольше живут они на чужой земле, тем острее порой оживает эта память, хотя редко кто из осевших на чужбине, даже ощущающих свою «второсортность» или даже маргинальность, задумывает свой «побег» в Прошлое, как бы ни велики были приступы фантомных болей давно отрезанных корней... Дело, видимо, не в них, заставляющих помнить о своем *прошлом*, хранить даже какие-то внешние его атрибуты на Чужбине для *самосохранения* – своей этнической, национальной идентичности, личностной целостности. Как таковое Прошлое имеет свою ценность для тех, кто помнит свои истоки, но они всегда как бы проецируются на Настоящее, на ту *живую* Реальность, которая окружает людей. А оно, это Настоящее, вершащееся и там, где остались эти истоки, и здесь, где теперь живут люди, и **не дает приюта** тем, кто пытается преодолеть условия Жизни, не обеспечивающей человеку его Свободу. Для них она, видимо, не просто манящий к себе свет далекой и загадочной звезды, но абсолютно необходимая человеку возможность *жить лучше*. Компромиссы не в счет, и порой эти люди, не обретающие эту возможность ни у себя, на Востоке, ни на Западе, и не за-

⁴¹ См. коллект. труд Национального Центра социологических исследований (Франция) под отв. ред. М. Вьеворки «Les différences». Р., 1996.

думываются даже, почему так жестоко мстят обществу, обещавшему им «принют» («принимающее» иммигрантов общество так и называется – «société d'accueil»), настраивая окружающих европейцев на враждебный к ним лад... Так и живут иммигранты часто **«между двух берегов»** – без возврата на **свой** и без любви к **чужому**, хотя и пустив давно уже здесь свои *новые корни*... (Возможно, после всего случившегося с пандемией, отношение к иммигрантам и пр. будет несколько пересмотрено в странах «Евросоюза»...)

Так или иначе, героиня повести «Мечты и убийцы» поймет это в результате встреч своих и с эмигрантами, и с иммигрантами-соотечественниками, и с французами, и с новой порослью «выходцев» из иммигрантской среды («бёрами»), абсолютно уверенных в своей «законной» принадлежности – по праву рождения – к Франции, что у них с этой страной свои счета. Они мечтают жить здесь «не хуже», чем французы, и делают всё, чтобы отвоевать себе «достойные» позиции, отомстив таким образом за матерей и отцов, претерпевших нищету и унижения и на этой земле и в колониальную, и в постколониальную эпохи... Они, дети иммигрантских предместий, уже не позволяют себе «просто мечтать», – они пытаются идти «на прорыв», отвоевывая себе пространство Жизни, где ценой долгих трудных утрат *многих иллюзий* и многих ошибок люди, в конечном счете, несмотря на объединяющие и разъединяющие их барьеры, связаны общей целью: строительства Будущего для всех как мира *лучшего*...

Это и важно для героини Малеки Мокеддем: она ищет следы своего Прошлого не для того, чтобы, пережив его, удержать в своей памяти, но, вернувшись назад – а она хочет вернуться в свою страну, – не дать ему

больше вершиться в Настоящем, замедляя – или даже заглушая – его поступь вперед...

...Траектория сюжетной линии повествования в «Мечтах и убийцах» вывела героиню на встречу с несчастной судьбой матери, о которой в доме отца, где выросла ее дочь, заставляли забыть. Но именно в сердце девочки, а потом и взрослой женщины созрело желание во что бы то ни стало встретиться «с прошлым», узнать **правду**. И не только по причине естественного импульса: история матери волновала и сама по себе, и как подтверждение некоего *континуума* самой женской судьбы там, где **царит запрет** на «естество» женского поведения, женских желаний, волеизъявлений, где сама «женская природа» всегда будет «по достоинству ниже» мужской. (Коран это утверждает⁴².) Несмотря на все обещания всех «революций». Поэтому «погружение в прошлое» матери – не единственная самоцель, но некая (особая) параллель с настоящим, где героиня постоянно обнаруживает черты связи, сходства, неизбежного присутствия того, что превращает «мечты» в иллюзии, жизнь – в смерть.

Вот что рассказывает она о себе, идя «по следу» своей матери: «Большинство девочек, рожденных, как и я, сразу после завоевания страной Независимости, были названы “Хурийя” (“Свобода”), “Насира” (“Победа”), “Джамиля” (“Прекрасная”) в честь героини войны за Независимость... А меня назвали “Кенза” (“Сокровище”). Ну, что за ирония! Никакими “сокровищами” жизни я так и не овладела. Ничего никогда у меня не было. Даже “прекрасных воспоминаний” о детстве. И это имя мне подходит ровно так же, как и “Свобода” тем, у кого ее не было никогда, или “Победа”, идеалы которой предали и растоптали те, кто приспособил ее

⁴² См. Сура 2, ст. 228.

для себя, так же как и память о героях войны за Независимость. Я очень рано осознала этот парадокс торжественных имен женщины там, где она порабощена. И еще я очень рано поняла, что все эти номинации не были ни особого рода садизмом, ни цинизмом. Просто торжеством людского невежества и извращения правды. Лучше бы уж назвали нас всех так, как и было все на самом деле: “Презренная”, “Нежеланная”, “Нелюбимая”. А вместо “Сокровища” – “Руиной”... Осталась, разве что, память о школе. Там я изучала другой язык, делала первые шаги по жизни, навсегда отмеченной моей особостью. Шла на встречу с одиночеством. А оно становилось все глубже. Каждый раз, в начале нового учебного года обнаруживалось, что отцы забирали своих дочерей из школы, – всех этих “Свобод”, “Побед”, “Прекрасных”... Чтобы замуж выдать поскорее, принудив, конечно. Поначалу я возмущалась. Но как же так! Нельзя же поверить в то, что эта необъятная всеобщая мечта о свободе и независимости смогла привести к таким результатам?! Неужели люди не изменились? Но может быть в этой всеобщей мечте уже зарождались и зрели ростки новой несвободы? Новых дискриминаций?! Как же могут отцы сами, своими руками разбивать будущее своих дочерей?! Опутать новыми оковами завоеванную ими самими свободу?! Что-то сломалось в стране с достижением Независимости. Но это было трудно понять» (с. 28–30).

Ясным оставалось одно: *идеалы освобождения народа* были преданы. И единственный из всех многочисленных сводных братьев героини, сочувствующий ей в отцовском доме, где часто «менялись» жены, младший по-своему сформулировал одну из основных причин этого «извечного» предательства, – спросив у жившей в интернате сестры, за что она ненавидит их общего отца и его мать, смиряющуюся с тем, что ее муж «беспутст-

вует»: «А какая разница? Та или другая женщина? **Женщины вообще ничего не стоят.** Не играют никакой роли в истории... Моя мать смирилась с этим. Да, она жертва. Как и любая, и многие другие. Но жертва воспитания, Традиции, которую прививают с детства. Она смирилась. Она и не знает другой участи... Твоя же воспротивилась. Взбунтовалась. Уехала из страны. А моя, как и все. Принимает всё, как неизбежное...» (с. 33).

Вот эта «**неизбежность смирения**», а точнее, обреченность мусульманской женщины на нескончаемое ее и в современности «*порабощение*» мужчиной (именно так определяют состояние *традиционной зависимости* женщины в семье и обществе «несмирившиеся») добавляет немало черных красок к картине и постколониального Алжира, усугубляя ее или углубляя мрачность ее фона усилением фундаменталистских притязаний, в которых «запреты» в пространстве «женского удела» только «множатся»...

В жизни героини и этого повествования Малики Мокеддем (названного автором «романом», видимо, прежде всего из-за высокой степени *типизации* судьбы его персонажей, поэтому и очертания основного конфликта – «человек и общество» – вполне «романны») светлыми были только те моменты, когда она погружалась в чтение любимых книг или уносила в мечтах своих в какие-то неведомые дали Будущего. Настоящее же было навсегда отмечено одиночеством, памятью о навсегда исчезнувшей из ее жизни матери и вечными угрозами отца и братьев: **«Берегись! Мы убьем тебя, если ты нас обесчестишь! Помни, мы следим за тобой!»** (с. 57). Не иначе как каким-то страшным «судилищем» казался дом отца, где выросла она сама и подросли все ее сводные братья. «Моя жизнь не стоила для них и сле-

зинки. В мясной лавке, которую держал отец, все они словно точили ножи, клялись, что не позволят мне следовать “примеру моей матери”. “Если и ты взбунтуешься, как она, – кричал отец, – я выпью всю твою кровь! Ты – моя дочь! И я, я сам тебе найду мужа! Он тебе покажет, что стоит твоя независимость! Переломит тебе хребет, если сделаешь то, что сделала твоя мать!» (с. 57).

До замужества еще было далеко, а вот школу она все-таки закончила с отличием, и ее приняли в Университет. И она добилась, что будет жить в студенческом общежитии, хотя отец и считал, что это «место разврата» и ее решение «отделиться от семьи» произвело эффект «разрыва бомбы» (с. 56). Но сыграла свою роль обещанная ей стипендия: братья «сторговались» с сестрой на половину денег, которые она обязалась передавать им ежемесячно. Они, ставшие все, как и отец, кроме младшего его сына, «исламистами», и называвшие всех женщин, получавших образование, не иначе как «проститутками» и «продажными тварями», не побрезговали этим мелким откупом сестры и кроме оскорблений больше не удрочали ее ничем, получая свою «долю». Да и отец, живя в отдалении от дочери, больше не грозил ей насильственным замужеством. Лишения и почти нищета студенческого существования не сломили, но скорее закалили девушку. Только любовь свою с сокурсником Ясефом Кензе приходилось тщательно скрывать: и в Университете, как и повсюду, уже завелась исламская «полиция нравов»... Потом, уже работая врачами, они снимали квартиру, скрывали от знакомых ее адрес, умудрялись как-то держать втайне от его и ее родных свою связь, но все равно их «свободная любовь» оказалась под прицелом ее братьев. Младший – сочувствующий Кензе – был обвинен ими в «бесстыдном по-

кровительстве», «сводничестве», «сутенерстве», а сестру они заставили делиться ее скромным заработком, иначе они ей угрожали расправой...

Она им платила. Какое-то время смирялась и с этим. Но в городе, где они все жили, усиливались облавы на женщин, замеченных на улицах или в «общественных местах» (кафе, кино и т. д.) с «посторонними» *мужчинами* (не в сопровождении отцов или братьев): их хватали, называя «падалью», бросали в фургоны грузовиков, куда-то отвозили... «Исчезнувших» таким образом было уже немало. С мужчинами, заподозренными в адюльтере или просто живущими не в браке со «свободными» женщинами, исламисты расправлялись не менее жестоко: от угроз и преследований переходили к «прямым» действиям: стреляли в упор на улицах, взрывали машины, убивали дома зверским образом на глазах у семьи... Случаи были тоже не единичными: террор множился по стране и спасения искать где-то в другом месте было бессмысленно. Повсюду находились и другие причины расправ с «непокорными» заветам Аллаха: убивали всех, кто был заподозрен в **«связях с Западом»**, обвинен в следовании **его** правилам жизни, преподавании **его** языков в школе, в желании овладеть **его** наукой. Поэтому попытка героини переехать на работу в столицу и как-то устроить там свою жизнь с любимым, которому его родители *запретили брак с женщиной, живущей отдельно от своей семьи* («Она – падаль!», – твердил его отец /с. 62/), тоже окончилась неудачей. И там царил террор, исчезали люди, и там убивали врачей, писателей, журналистов, учителей, преподавателей Университета и других учебных заведений, – всех тех, кто не хотел смириться с утратой Свободы, Независимости, кто не был покорен воле тех, кто потребовал «возврата к истокам» веры в Аллаха, «очищение

страны» от «коросты Запада», абсолютно уравненной, слитой, совмещенной в сознании исламистов с коррупцией чиновников и властей, приведшей страну к экономической разрухе и социальной нестабильности. И здесь приходилось скрываться, таиться, снимать квартиры, селиться то у одних друзей, то у других, а их становилось все меньше и меньше. «Мечты» исчезали быстро, а «убийц» становилось больше. «Мы жили, как кочевники» (с. 62). И первым не выдержал этой жизни возлюбленный. Они расстались. Родители Ясефа настояли на его браке с кузиной. Кенза снова погрузилась в одиночество и смятение души. «Она уже не только сливалась с хаосом, царившим вокруг, в Алжире. Она сама стала этим хаосом, который воцарился в ней» (с. 72). Но невозможно было *смириться* с тем, что она называла «разными гранями одной и той же, вечной женской драмы». «Ни одна женщина не может не стать ее участницей. Даже лучшие из них! И сколько же их, которых оставляют их возлюбленные, чтобы жениться на девственницах, находящихся во власти Традиции? Сколько же их, предпринявших попытки самоубийства или совершивших их?!. С дипломами в кармане, образованных, перед которыми, казалось бы, открыты двери будущего? Но именно они еще более, чем все остальные, чувствуют себя обреченными, не верят в жизнь, потому что их предал любимый мужчина, ради которого они не побоялись пожертвовать “своей честью”, а его заставили жениться на другой... Что же говорить о судьбе тех женщин, которые и грамоты-то не знают... Они не защищены ничем. И если будет надо, от них мужчины “откажутся” в любую минуту, выгонят из дома на улицу вместе со всеми их детьми... Изобьют еще... Они – рабыни.., и Государство, Общество, столь пышно разглагольствующие о прогрессе, упрямят в

низведении женщин к выполнению только примитивных функций. Делают из них роботов деторождения. Подумать только, что разведенные, изгнанные из дома своими мужьями женщины сегодня не имеют даже той элементарной помощи, которую оказывают мусульмане нищим, давая им кров и хлеб...

Что-то сломалось и в самой Традиции... Мало разве несчастных, изгнанных из своих деревень в города голодом и разрухой, мало разве тех, кто потерял ориентиры в этом царящем повсюду хаосе, пришедших в отчаяние и смятение (даже перебравшихся ценой жизни «за море», добавлю я)?⁴³ Но женщины платят за все случившееся самую высокую цену...

Многие из тех, кого старая Традиция раньше в Магрибе запирала в домах их отцов или мужей, запрещала выходить, обрекала на изоляцию от общества, теперь вынуждены работать, чтобы прокормить своих детей. А их, этих женщин, никто и никогда не готовил к встрече с этим миром. Он был им просто запрещен. Но теперь им приходится «погружаться» в него, уткнувшись носом в половую тряпку. Другого они ничего и не видят, разве что ноги своих «начальников», которые рассматривают свысока «женское достоинство», повернутое к ним задом... Но этим женщинам еще повезло, другие же просто нищенствуют, попрошайничают на улицах...

Находятся же главы западных государств, представители интеллигенции, которые ратуют за «улучшение

⁴³ Смею заметить, что обывательское мнение насчет «высоких социальных позиций» легальным эмигрантам во Франции, к примеру, — некое заблуждение тех, кто полагает, что это улучшает их жизнь как таковую: семьи как-то выживают, конечно, но одновременно растет и количество безработных среди всех эмигрантов, и социальное недовольство и напряжение в недрах самого французского населения, усматривающего угрозу *своему благополучию* и даже возможности (увы, проявляющиеся!) террора со стороны массы маргинализированных слоев мигрантов разного рода, живущих или случайными заработками, или попавших под влияние радикального ислама... (С. П.).

положения этнических и прочих меньшинств» в разных концах света... Но почему же никогда и никому не приходит в голову мысль улучшить положение женщин! Просто помочь им! А ведь их – большинство на планете. И никто не думает о том, что существуют **Законы**, которые превращают женщин в животных.

Сегодня женщины из горделивых «матерей будущего человечества» стали стыдливо скрываемым позором в мире, шествующем по дороге прогресса...» (с. 76–77).

...Мечты о «лучшем мире» *задохнулись* под натиском нового времени, – «нашествия новых варваров» в Независимом Алжире, где «мало-помалу затуманился рассудок людей», – размышляла Кенза, сравнивая судьбу своей матери, еще живой «выбравшейся на свободу», со своей. «Теперь просто убивают людей каждый день. Убивают невинных. Ни в чем не виноватых детей. Насилуют юных девушек и женщин. Убивают интеллигенцию. «Непохожих», не утративших веру в высокое предназначенье рода человеческого, в гуманизм. Убивают и грозят заstopорить прогресс. Замкнуть историю народа на ненависти людей друг к другу. Пятнают кровью ислам, который в этой стране был всегда толерантным к другим религиям, исповедовавшимся здесь. Нашествие исламских интегрисов – как СПИД. Они – убийцы самой веры в Аллаха... Но в этой свершающейся в стране чудовищной драме из крови и пепла самые страшные последствия – *сгоревшие мечты и надежды*. Особенно женщин. Особенно тех, кто мечтал выбраться на свободу, получив образование. Они оказались изгнанницами на своей собственной земле. Она стала для них настоящей чужбиной. И эта – пострашнее той, которую обретают эмигранты, переехавшие за море в поисках Свободы. А нашему, именно нашему поколению так хотелось сделать этот опасный прыжок через века

отсталости и бездну мрака незнания! ... Мы теперь сполна вкусили холод этой мрачной бездны. Некоторые не выдержали и покончили с собой. Алжир может гордиться самым “высоким уровнем” женских самоубийств» (с. 81–83).

...Кенза не покончит с собой, не впадет в отчаяние, но и не смирится с жизнью, как сделали это ее подруги. Она попробует другое «искушение» – не упоением безнадёжного прыжка в пустую и холодную «бездну», но попыткой пересечения *пространства моря*, разделяющего два мира – Восток и Запад. Там, на другом берегу, когда-то укрылась ее «опозоренная» мать, сделавшая свой прыжок над «бездной» неволи в свободу, позволив себе *любить другого*, а не того, кто ей, согласно Традиции, навязала родительская воля. Жестоко поплатившись за свой выбор, мать осталась в сознании людей, знавших ее, «жертвой». В сердце же дочери, нашедшей следы ее жизни в воспоминаниях соотечественников, давно поселившихся на юге Франции – «поближе» к оставленной за морем родине, – **примером несмирения с фатальностью «запрета на саму Жизнь».**

Да, она, дочь, знает, что все они, мусульманские женщины, – неизбежные участницы одной и той же извечной «драмы», где играют «главные роли»: рабынь и невольниц в Доме Мужчины. Да, дочь знает, что в ее стране «мечты избыывают», а «убийцы – множатся». Но Море, его вольный простор, его свежий ветер, его «открытый» в бесконечность горизонт, словно позвали Кензу в далекую от всех берегов, от страданий, от разбитых надежд и иллюзий, в бескрайнюю, *чистую*, светлую Даль. «*Vers des ailleurs blancs*» (с. 222). Она не знает еще, что это такое, ее «**прекрасное далёко**». Знает только, что **начнет все с чистого листа**. Хотя никогда

не забудет ни боли своей земли, ни ее мечты о Свободе...

Спустя несколько лет писательница разработает мотив моря, так часто звучавший в литературе магрибинцев, «развернет» его в самостоятельную канву нового романа, названного по-арабски «N'Zid»⁴⁴, что может быть переведено и как «Я продолжаю», и как «Я возрождаюсь». Это будет некая одиссея одинокой женщины, оказавшейся в *открытом море* на кем-то брошенной яхте, очнувшейся после какого-то *страшного удара* и блуждающей от пристани к пристани, не желая бросить **нигде** якорь... Постепенно возвращаясь к ней память погружает ее в прошлое, и она начинает восстанавливать картины жизни в далекой стране, припоминать лица родных и друзей, пережитые ими трагедии, и таким образом, шаг за шагом снова воссоздает современную историю Алжира, исполненную страданий, бушующего там пожара войны... Но и на этот раз Море не обозначило пространство *разрыва с родным берегом*, но, наоборот, обострило ощущение родной земли, вернув ее изначальный для творчества Малики Мокеддем образ – *Пустыни*, где прошло детство героинь и ее первой книги «Люди, которые идут», и этой – «Я продолжаю»... И здесь Пустыня – край, где *зарождался мир* *настоящей Жизни*, мечта о **Свободе**, о **Счастье**, где слышалось только пение лютни Возлюбленного, где беспредельно царила **мелодия Надежды**...

Все это исчезло, ушло в песок. Убили Возлюбленного. Задушили мелодию его флейты. «Зарезали свет», который наполнял когда-то душу героини, носящей «светоносное» имя – Нура⁴⁵. Но она, выжившая в Несчастье, пережившая Беду, скитания, бесприютность,

⁴⁴ Mokeddem M. N'Zid. P., 2001.

⁴⁵ От арабск. «Нур» – свет.

«безъякорность», потерянность свою «*между двух берегов*», пытается возродить свой Свет, начать еще раз жить в память о той Мелодии Любви и Надежды, которую подарил ей ее Возлюбленный, знавший древние напевы своего народа, когда-то кочевавшего *по пространству Свободы*. Попытается возродить и сохранить эту Музыку своего Сердца. Вернуться на ту землю, на краю которой в далекой Дали простирается ее «чистая» и «светлая» Пустыня...

Остановившись подробно на творчестве М. Моккедем, которая успешно продолжает и работать врачом, и верить и мечтать о Свободе [не столь давно вышедший в свет ее роман «Мои мужчины» («*Mes hommes*. Р., 2016) подтверждает это желание «воли», «самостоятельности», «независимости» ни от какой и ни от чьей *власти*, – хотя к уже освобожденным от «всех оков» разочарование приходит постоянно)], я хотела показать ощущение «изнутри», на себе познавших «*мрак зависимости*» от цепей экстремально заостренной исламистами традиции Жизни, самими женщинами, ставшими писательницами. И они с мужчинами-коллегами довольно часто протестуют против тех «религиозных догм», которые, с их точки зрения, омрачают **реальность их бытия**⁴⁶.

В книге другой алжирки – Маиссы Бей – «**В начале было море**»⁴⁷ – как бы всё наоборот, хотя и всё похоже: солнечные каникулы, теплое море, зарождающаяся Любовь, надежда на вольность... И Время действия – не Освобождение страны, не Война за Независимость, а торжество радикального «исламизма», воюющего за

⁴⁶ Я бы не напомнила об этом, если бы не события в Алжире последнего времени... Но об этом – у политологов. Добавлю от себя, что въезд в страну всё еще ограничен (С. П.).

⁴⁷ Bey M. *Au commencement était la mer*. Р., 1996 (переиздана в 2003 г. массовым тиражом).

«чистоту» истоков, за исповедание Традиции, связанной с **невозможностью** или точнее, **запретом** для Женщины *самостоятельного выбора*, принятия собственного решения стать **свободной**. Как Море, рождавшее в ее душе *жажду Жизни*, ощущение неведомого ранее Счастья...

Омывающее Магриб Средиземное море стало в творчестве магрибинцев неким символом Простора как Свободы и Надежды на открытые горизонты Счастья⁴⁸

...Родной брат героини повести, не простив «вольность» поведения сестры на морском побережье, «не-разрешенной семьей» Любви ее *к не выбранному отцом для своей дочери мужчине*, **измену** «священной Традиции» **Жизни**, первым бросит в нее камень – таков *среди людей* обычай «побийения», наказания «*павшей женичины*»⁴⁹. Люди ее **забьют до смерти**. И таким образом именно **Море**, порожденное им *ощущение Свободы*, станет причиной ее **гибели**, а не «возрождения»: так трагически трансформировался изначальный топос литературы, возникшей на заре Освобождения страны в

⁴⁸ См., к прим., нашу работу «Метаморфозы образа Моря в литературе магрибинцев». М., 2010.

⁴⁹ Обычай этот апеллирует к Корану, где сказано следующее: «А тех жён, в верности которых вы не уверены, [сначала] увещивайте, [потом] избегайте их супружеском ложе и, [наконец] побивайте» (Сура 4, ст. 34, перевод Н.О. Османова). Однако, комментатор утверждает, что Мухаммад **осуждал избивание** (тем более жестокое) и рекомендовал это лишь в крайнем случае и в «легкой форме», **без увечий** (см. Коран, пер. Н.О. Османова. М., 1995, с. 432). О **побийении** же именно *камями* в Коране сказано однажды в суре Йа Син (36, аят 18) следующее: «*Те* (не поверившие в *посланников*, принесших Откровение Всемогущего. – *С.П.*) сказали: “Мы увидели в вас (т. е. «посланниках») злое предначертание. Если вы не удалитесь, мы *обязательно* побьем вас камнями, и вас постигнет мучительное наказание от нас”» (Коран, перевод Шарипова У.З. и Шариповой Р.М. М., 2009). В плане *отсутствия* в сакральном тексте прямого «указания на смертную **расправу** с «согрешившей» женщиной небезынтересно замечание исследователя этимологии и семитских параллелей южноаравийского теонима HGRM Наумкина В.В.: «Иное значение [имеет] арабское имя существительное, отличающееся от *lājir* [lājara, lājir] огласованием второй коренной, – *lājara* ‘камень’. Встречающееся в хадисах *lājara* означает ‘запрет’, но, отмечает Лэйн (Lave, Lexicon. – *С.П.*), не ‘побивание камнями’, «как принято думать» (по Ибн ал-Асиру, ‘не каждого насильника следует побивать камнями’)... (см. Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика. М., 2008, с. 495).

творчестве Ассии Джебар. Поэтому, если бы я писала книгу, посвященную Маиссе Бей, то следовало бы, наверное, назвать эту ее повесть **«Море как мотив обреченности на смерть»**. И хотя такая модуляция мотива Моря имеется и в романе «Жажда» А. Джебар уже в 1954 г. (там Джедла тоже уходит из Жизни, и Море было во многом причиной ее разочарования в муже), однако, *сама выбирая свой смертный путь*, И ее «обреченность» – это не **предопределенность** Традицией, не неизбежность краха существования, обусловленное некими общественными «установлениями», **людским запретом** на собственный выбор, где прежде всего – религиозная доминанта «охранения» *чести Женщины*. Ассия Джебар эту категорию, на мой взгляд, довольно подробно представляла в развитии **самосознания и самощущения** обеих героинь своего романа «Жажда», «сгустив» целый ряд и психологических и социальных атрибутов бытия женщины: от **«безразличия»** до **«стыда»**, от **«тревоги»** и **«смятения»**, от **душевных мук**, **«угрызений совести»** до **«страха»**, закрывших горизонты Жизни одной и открывших, «очистивших» их для другой героини, осознавшей и свою **ответственность** и свое жизненное **назначение**.

В повести М. Бей – о «чести» женщины – **как того требует Традиция** – знает только (а потому *охраняет* ее) именно мужчина, ибо женщина, с его, мужчины, точки зрения, как существо «слабое» таит в себе *опасность*, предполагающую – в случае утраты ей своей «чести» – **позор** семьи, рода (племени в далеком прошлом...⁵⁰). Поэтому **«оберегая»** женщину, а точнее, запрящая ей ее Свободу, ее Независимость, Традиция по своему **обрекает** ее, как показано в книге М. Бей, на

⁵⁰ О магрибинском «кодексе чести» см. в опубликованной ИВ РАН «Антологии берберской литературы». М., 2004.

Смерть, или на Тюремь или «заточение» в Доме мужа. Об этом писали все современные мужчины-магрибинцы⁵¹, и Маисса Бей только продолжит тему «бесправия» мусульманки, художественно типизируя ее современный образ (и, бесспорно, – сгущая во многом краски, хотя это – право художника). Но именно она, женщина, пишущая свои книги уже в XXI столетии, отважно «берущая Слово» (как сказал бы знаменитый писатель-марокканец Тахар Бенджеллун), не случайно обращается и к древнему сакральному изречению (по-своему модифицируя его), и к старинному уже мотиву в литературе магрибинцев: «**В начале было Море...**» Увы, это во много **сегодняшний** путь Женщины по тому Берегу, давно уже освобожденному от власти Чужого, но так и не ставшему абсолютно *свободным* для тех, кто выбирает, подобно героиням М. Моккедем, свое «**одиночное** плавание», забыв о том, что все еще остается «прикован» к тяжелым цепям тех «якорей», которые глубоко застряли в раскаленных песках Жизни и не отпускают Человека в вольный Простор Моря...

И Малика Моккедем, и Маисса Бей – известные алжирки – и своим художественным творчеством, и своей публицистикой, и своей гражданской позицией, весьма характерной для алжирцев в целом, в чьей стране Свобода и Независимость завоевывали огромной ценой кровавой, почти восемь лет длившейся антиколониальной Войны, и они, все писатели в целом, вправе судить о результатах освобождения...

Но вот и тунисские писательницы – а Тунис с 1956 г. стал довольно-таки реформированной и модернизированной страной, – и в 70-е, и в 90-е гг. XX в., и в начале XXI в. всё продолжают «отвоевывать» для своих геро-

⁵¹ См. подробно нашу работу «Женский портрет на фоне Востока и Запада». М., 2006.

инь выход из мрака Традиции, обрекающей женщину на полную зависимость от семьи, мужа, от власти вековых предрассудков. Я имею в виду не только «**Пепел на заре**»⁵² Дж. Хафсийи, но и «Параллельные хроники» **Эмны Бель Хадж Яхьи**⁵³ как наиболее яркие примеры попыток либо самоосвобождения женщины от «традиционных» условий существования, от «гнета традиционной семьи», попыток обретения *личной* свободы, независимости (в конечном счете оказывающихся сопряженными с утратой многих иллюзий /«Пепел на заре»/) или, наоборот, попыток **возврата** получивших известную свободу тунисок (отмена в стране полигамии, **всеобщее** образование и т. д.) к *истокам веры* под напором волны исламского фундаментализма, понимая их – истоки – как способ *сохранения самобытности*, как способ не поддаться разрушающим «духовность» Востока «соблазнам Запада».

«Chroniques frontalières» – история, или точнее, истории, двух героинь, одна из которых «выбрала Восток» (хиджаб, темное платье, верность стране, семье, **дому**, мужу), хотя и получив «западное» образование, осталась преподавать в провинциальной школе, учить «гуманизму и равенству», а другая – предпочла, несмотря на протест окружающих, возлюбленного-француза и уехала с ним на Запад, где, «вкусив сполна» обещанные «Свободу и Братство», погибнет, пройдя все унижения «*презрением к арабам*». Но измученная и *своей* землей, где властвует Традиция, и убитая «чужой», где еще жив «обыкновенный расизм», эта героиня Эмны Бель Хадж Яхьи не кажется более несчастливой, чем ее прежняя подруга, оставшаяся в Тунисе: та просто обрекла себя на медленное тление, постепенное увязание в болоте

⁵² Jelila Hafsia Cendre à l'aube. Tunis, 1975.

⁵³ Emna Bel Hadj Yahia. Chroniques frontalières. Tunis, 1991.

конформизма, в бессмысленных попытках (для себя) как-то *оправдать* опускающийся над ней вокруг мрак «власти Традиции». «Параллельные хроники», дополняя друг друга, стали, в некотором роде, продолжением так и неокончившегося в литературе Магриба (и Туниса, в частности) диалога Востока и Запада, показав и в 90-е гг. XX в. остроту и болезненность проблемы **выбора** той или иной цивилизации в странах, исторически сконцентрировавших в себе **множественность культурных, этнических и конфессиональных начал...**

Но вот идет вовсю и XXI век, а проблемы – в целом все те же, и та же константность и та же боль в обращении писателей к Традициям Жизни, так и не изменившейся по сути своей для мусульманской женщины. Я беру книгу алжирки **Лейлы Маруан** «Девушка и мать», написанную в 2005 г.⁵⁴; и хотя события, описанные в этой горькой повести о жизни и даже «почти смерти» героини (ее чуть не убила, забив до потери сознания, собственная мать), относятся к 70-м – началу 80-х гг. в Алжире, видимо, сама тема весьма актуальна и по сей день в стране, да и повсюду на мусульманском Востоке, если крупнейшее издательство Европы позволяет себе печатать книгу не очень известной во Франции писательницы.

Но воссозданная в книге трагедия – весьма симптоматична во многих отношениях и не только в плане критики Традиции, чуть было не лишившей молодую девушку жизни, причем руками ее собственной матери, страдавшей от этой же Традиции больше, чем многие окружавшие ее женщины... Да и сама «симптоматика» появления и в жизни, и в литературе таких образов, как Мать из книги Лейлы Маруан во многом связана именно с мусульманской традицией отношения к женщине

⁵⁴ Leïla Marouane. La jeune fille et la mère. P., 2005.

даже в такой стране, как Алжир. «Даже» – потому что именно женщины вынесли здесь на своих плечах многие трудности войны за Независимость.

Алжирская война с колониализмом была по преимуществу войной партизанской, и именно женщины (а таковых было немало) служили партизанам, скрывавшимся в горах, да и в городском подполье, связными с Центром, руководившим борьбой, и их подвиг был в те годы очевиден. Женская «доля» в этой особой народной войне, неравной по силам регулярной армии колонизаторов, была воссоздана и в романах М. Диба и А. Джебар, К. М'Хамсаджи, и многих-многих книгах прозаиков, поэтов, новеллистов Алжира⁵⁵. Однако мало кто попытался рассказать о женщине – героине Войны **после Победы**, ее участи в мирное время, в контексте уже обретенной Независимости. Пожалуй, только М. Дибу удалось в полной мере еще в 1968 г. показать трагизм судьбы партизанки-связной в романе «Пляска смерти»⁵⁶. Забытая всеми, живущая в нищете его Арфия, ненужная никому в *новой реальности* героиня, – образ, вобравший в себя судьбу многих, сражавшихся за Свободу, но так и не увидевших ее *реальное воплощение* в тех идеалах, за которые боролись. Арфия – это и **образ** – **укор** тем, кто совершил это предательство, позволил иллюзии упоения Победой над Врагом рассеяться и снова опустил «занавес», не дающий проникнуть Свету Свободы: плоды Независимости достались немногим, и людям снова напомнили о не исчезнувшем в горниле Войны и социальном неравенстве, и о гнете Традиции, потребовавшей от женщины снова вернуться под «власть мужчины», и о неизбывной нищете «простого люда», и

⁵⁵ См. подр. гл. «Война как палимсест алжирской литературы» в кн.: Прожогина С.В. От Сахары до Сены.

⁵⁶ Dib M. La danse du roi. P., 1968. См. наш перевод его на русск. язык в 1990 г. в книге: М. Диб. Избранное. Изд-во: Прогресс.

об оставшемся в стране «тяжелом наследии колониального прошлого», о мраке невежества, о толпах голодных и беспризорных «детей революции»... Арфия тогда, в конце 60-х, еще исполненных дыхания едва минувшей Войны, казалась хоть и трагическим «венцом» Алжирской Революционной Войны, однако должным быть *транзиторным*, когда-то исчезнувшим навсегда и в охватившем страну энтузиазме строительства социализма в 70-е гг., и в литературе, поначалу также подхватившей волну этого энтузиазма...

Но уже романы Р. Буджедры 70–80-х гг. участь женщины, даже в освободившейся от колониализма стране, даже ставшей «независимой» (мать из романа «Отвержение» /1970/, студентка из романа «Солнечный удар» /1972/, врач из романа «Дождь» /Lapluie, P., 1987/ описывают существование женщин как **неизбывное их сражение с Традицией** давно ушедшего Прошлого, как неизбывающую попытку женской «самоидентификации»: определения своего места в жизни либо в обществе, *среди людей*, либо в стенах «тюрьмы» своего Дома, где ее «тиранят» мужчины – отец, братья, царят «извечные» правила необходимости саморастворения в их своенравной Воле... Героиня буджеровского «Дождя» еще исполнена надежды на какой-то природный *катаклизм*, «*потоп*», *всеомывающую грозу с дождем*; другие же просто гибнут. Трагедию участи алжирской женщины в контексте «Свободы» изобразил и алжирец Рабах Беламри (романы «Раненый взгляд», 1987, «Каменный приют», 1989, «Женщины без лика», 1992⁵⁷), продолживший эту печальную проблематику вслед за своими литературными Учителями – Дибом, Буджедрой и др. – и в конце 80-х – начале 90-х гг.

⁵⁷ Об этих произведениях Р. Беламри см. подробно в нашей работе: «Между мистралем и сирокко».

Таким образом, возвращение Лейлы Маруан к образу женщины-матери, в известной мере дублирующему образ дибовской героини – партизанки Арфии – само по себе «традиционно».

И это «возвращение», что особо примечательно, в литературном плане идет как бы не в прямом рассказе от «первого лица», но через призму возвращающегося сознания дочери, пытавшейся не просто оправдать безумный поступок своей матери (избившей ее до полу-смерти за «показавшуюся» ей *«утрату невинности»* ее дочерью), но восстановить, по возможности, саму логику поведения женщины, когда-то отважно боровшейся в горах и за свою Свободу...

Объясняя дочери, зачем она ушла сражаться в годы войны с французами, Мать говорила так: «Я не боялась ни пыток, ни смерти. Потому что, пойми меня, **была убеждена, что никогда не стану свободной сама, если все мужчины моей страны, мой отец, мои братья, мои дяди, мои кузены, мои соседи не обретут свою свободу...** И вот результат, – сказала она тихо» (с. 17). А она могла бы, еще до ухода в горы, к партизанам, стать невестой француза, офицера, влюбившегося в нее. Но мусульманке было запрещено религией выходить замуж за немусульманина, не говоря уж о том, что француз считался тогда просто врагом... (с. 19). И когда дед решил выдать своевольную внучку насильно за одного из арабов, работавшего у них на ферме, еще даже несовершеннолетнего, но мусульманина, хотя и «не вполне благонадежного», непокорная девушка не побоялась воспротивиться воле «старейшины» и ушла к «солдатам Народного Фронта, обещавшим ей, что едва закончится война, Соппротивление, и если Бог упасет ее от пуль или вражеского плена, то ее, отважную партизанку, отправят учиться в Дамаск или в Каир...» (с. 20).

А мать **только об этом и мечтала – учиться**, с детства завидуя девочкам-европейкам, ходившим в школу с ту-гими портфелями, набитыми учебниками...

И вот, намазав лицо сажей, нахернув на голову стар-рый бабушкин платок, одев какие-то лохмотья, взяв в руку палку, претворившись безумной старухой, юная девушка зашагала в горы, к партизанам. И там ей при-шлось совсем нелегко: случалось и разминировать зем-лю, и перерезать колючую проволоку под током, и уби-вать людей, рискуя собственной жизнью, и все это – во имя **Мечты о Свободе**... Ее прозвали Жанной Д'Арк, и ей, как и Той, пришлось терпеть и унижения, и пытки, и надругательства от *своих* же соотечественников, не очень-то считавшихся с особыми трудностями, которые терпела женщина на Войне. Пока ей не встретился тот, кто стал отцом героини рассказа о Матери, взяв ее под свою «опеку».

Но окончилась Война и воцарилось спокойствие, од-нако мирная жизнь тоже не принесла Матери никакой радости, ни осуществления ее былых надежд. Рожда-лись один за другим дети, муж часто уходил из дома, не вынося их крика, снова возвращался, потом «отлучал» жену, потом снова требовал, чтобы она вернулась к се-мье, и эта бесконечная череда «разводов» и все новых беременностей, нищета, ужасы «домашних» аборт (с помощью старшей дочери, которой, едва ей исполни-лось 8 лет, приходилось помогать матери во всем, а та и не стеснялась, – у самой силы были на исходе), рёв младших братьев и сестер, молчание презиравшего и мать и дочь отца, – все это как крошечный ад запечат-лелось в сознании девочки, для которой только школа (после Независимости она стала обязательной) остава-лась спасением, да разговоры со сверстницами по доро-ге из школы домой... Отец иногда «напоминал» матери,

что своим существованием и она и все дети **обязаны только ему**, что ему приходится «прилагать усилия, чтобы прокормить всю эту ораву», и что им всем незачем жаловаться ни ему, ни Богу на свою жизнь. «Это было одним из его особых удовольствий, его большой кайф – заставить нас *усовеститься...*» (с. 35).

Ну, а мать, прежде чем «окончательно сойти с ума» и, **«потеряв всякую надежду на эмансипацию», о которой мечтала до Войны**, чтобы как-то «выкрутиться» из безденежья, поначалу разводила кур, которых продавала своим соседкам (хотя всю выручку забирал себе отец, не разрешавший ей ни ходить на рынок, ни посещать турецкую баню, куда ходили обычно женщины, ни парикмахерскую, ни вообще выходить в город); потом потихоньку от отца распродавала свое приданое (старинные домотканые покрывала, доставшиеся от бабушки); потом завела козу, чтобы поить ее молоком детей (пока отец не принес животное в жертву во время мусульманского праздника и зажарил мясо...).

В доме не было ни телевизора, ни проигрывателя, ни пластинок. Только маленький транзистор, который дочь слушала потихоньку по ночам, в основном настраивая его на французскую волну... Мать до поры до времени «закрывала глаза и уши», оставляя дочери возможность мечтать о *другой жизни*, о жизни *«женичины без хозяйна»* (с. 37), и даже позволяла читать книжки после всех домашних дел: уборки, стирки, глажки, кормления младших детей. «Иди, иди, – говорила ей мать, – покорми свои мозги. Освободись». И дочь читала. Всё подряд: от «Мальчика-с-пальчика» до «Пари Матч». Брала книги и журналы у своей французской подружки, чьи родители работали в Алжире. Мать не возражала ни против чтения, ни против образования дочери, ходившей в школу, но, как и для отца, *девочка* для нее таила в себе

самой, внутри себя *скрытую угрозу*: *ведь ей предстояло стать девушкой и блюсти свою невинность, дабы не обесчестить семью*. «И она порой обращалась со мной, – вспоминала потом дочь, – как со смертельным врагом. Жестокости ее не было предела» (с. 39). Слово **«девственность»** вслух не произносилось, но когда на мать «накатывал гнев», она кричала: «Если ты **ее** потеряешь, то это – конец для всех нас! Твой отец выкинет нас всех из дому, в пустыню, и твои братья и сестры останутся навсегда сиротами! Их сожрут вампиры...» (с. 40).

Но «вампиризм» самой матери приходилось терпеть изо дня в день: она все чаще грозила «зарезать дочь собственными руками» (с. 40). Той шел уже шестнадцатый год, и черты лица когда-то красавицы-матери все чаще искажались смертельной злобой и тайным ужасом... А вдруг дочь «подведет»... Отец полагал, что дочь вообще не заслуживает внимания – он, когда родилась девочка, восемь месяцев не подходил к колыбели: презирал и жену, и новорожденную, «унижавшую» его мужское достоинство... Взрослая же дочь только усиливала чувство ожесточения, вызывая потребность скорее освободиться от угрозы «бесчестья», исходившей вообще из женского пола... (Ибо оно лишает чести и самого мужчину...) И мать, и отец словно жили в каком-то напряженном ожидании, накаляя и без того грозovou атмосферу, сложившуюся в семье...

...Как-то кто-то из «зловредных» братьев подсмотрел за сестрой и донес матери, что она шушукается и остается в своей комнате одна с кузеном, гостившим у них. Как-то кто-то из «доброжелательных» соседей увидел девушку с помощником краснодеревщика в саду, где тот целовал ее то ли под деревом, то ли на скамейке...

Слухи доползли и до отца, который решил «дело» просто. В одно прекрасное утро в доме появились четы-

ре старухи-свахи, и девушку, не спросив ее согласия, как и положено, почти выдали замуж за какого-то девятнадцатилетнего ювелира, правда, вот, с не очень «правильной» сексуальной ориентацией, однако богатого, а потому нуждавшегося в «стабильном» и «нормальном» социальном положении...

Мать попросила у отца отсрочки свадьбы: дочери надо было сдать экзамены, чтобы получить свидетельство об окончании школы. Хотя уже почти убитой сообщением о своем предстоящем насильном замужестве, дочери было не до экзаменов. Но вначале свидетельство потребовалось другого рода: свахи запросили у матери «сертификат», подтверждавший, *как было положено по обычаю*, девственность невесты. Пришлось вести девушку ночью на окраину города к старухе-знахарке, «специалистке» по таким делам. К медицинским учреждениям доверия не было, да и ходить туда осмеливался не каждый: а вдруг «всё» всем станет известно? К «старухе» — надежнее. Она за небольшие деньги могла сказать и правду, и соврать, не моргнув глазом, подписывая «бумагу». Но Матери было важно знать **именно правду**, и дочери пришлось терпеть довольно унижительную процедуру.

Однако старуха не сказала ни «да», ни «нет», уклончиво объявив после осмотра девушки при свете фонаря, что та хоть и не лишилась еще девственности, но «привычку общаться с мужчиной имеет»... Просто онемев, оледенев от ужаса, от беспомощности, от унижения, девушка позволила знахарке, **не оказывая сопротивления**, обращаться со своей плотью так, как «сподручней» казалось проворной старухе...

...Ни о каких «положительных» результатах экзаменов в школе речи уже идти не могло, — девушка почти сломалась от обрушившихся на ее голову переживаний. Мать

была вне себя от того, что дочь, выйдя замуж и не завершив своего образования, останется на всю оставшуюся жизнь во власти мужа и Традиции «заточения» в доме... Она умоляла своего мужа повременить со свадьбой дочери, напоминая о жалкой своей участи, о том, что она сражалась в горах за Свободу, и если следующие поколения, их дети, тоже останутся такими же несчастными, какими были они сами, только мечтавшие о Независимости и боровшиеся за нее, и жертвовавшие своими судьбами, своими жизнями на войне с Врагом, то зачем тогда все эти жертвы, зачем сражались, **во имя чего?** Муж прервал ее пылкий монолог: «Их больше нет, твоих борцов, безумная старуха. Их заменили приспособленцами, проходимцами и предателями. И они смеются над тобой и над твоей Революцией...» (с. 104). Мать посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Одного из них я вижу перед собой» (с. 104).

...После бурных событий у матери случился очередной выкидыш; дочь, как всегда, почти автоматически, помогала ей оправиться, хотя сама уже не знала ни как жить, ни как вести себя в доме с отцом, с братьями, с младшими сестрами, которые, хотя и жалели ее, однако перечить воле Родителя боялись.

Все чаще стали мучить головные боли, видения какого-то «доброего духа», который как-то утешал, как-то пытался «смягчить» последствия «истории с подмастерьем», доказывая ей, что «ничего ведь серьезного не произошло», и она *чиста и невинна*...

Но девушка предчувствовала худшее, — не только свое скорое «замужество» и жизнь с несчастным извращенцем...

Первой не выдержала мать. Однажды, в попытке выместить весь свой долго копившийся гнев на неудавшуюся жизнь, излить всю горечь свою за несбывшиеся

мечты, как-то прервать свое бессилие, невозможность приостановить *«движение по тому же кругу»* жизни и дочери своей, раздосадованная ее неудачей на экзаменах в школе, мать, привязав ее к дереву, стала хлестать ее юное тело мокрыми плетками. Словно наказывая ее за самый страшный грех «бесчестья», словно оно, это «бесчестье», как и **новое повторение «мерзкой жизни»** жгло ей душу огнем, корежило ее в судорогах мщения, наливало злобой, застилавшей глаза. Дочь стала чем-то неодушевленным, слившись с деревом, прильнув к которому, целовал когда-то девушку ее возлюбленный (да и то, все *случившееся ранее*, могло быть только чьим-то *миражом...*). И когда «дьявольские силы» иссякали в Матери, она звала своих сыновей, и те брали мокрые плети (так было больнее бить) и продолжали истязание...

Накануне Отец предупредил, что если жена будет противиться его Воле, то он «отправит ее к ее отцу» снова, вернув ее (на сей раз навсегда) в «родительский дом» с детьми, и этот развод, это мусульманское «отвержение» жены будет совершенно «по-настоящему», в присутствии имама, с лишением жены всего имущества, с позором на всю ее жизнь... И он торжественно клялся при этом **«памятью предков»** (с. 114).

Для Матери это его решение, как и известие о провале дочери на экзаменах, были сродни силе «разорвавшейся в ее душе бомбы» (с. 144). И не **имея права на Слово**, она превратила его в осколки этой бомбы, которые уничтожали теперь тело дочери...

...Очнувшись после нескольких дней комы в больнице, дочь, как сквозь толщу стены, слышала неясные звуки, какие-то обрывки фраз: «Сотрясение мозга. Отслоение сетчатки глаза. Разрыв внутренних органов. Внутреннее кровотечение. Едва спасли. Она была уже при

смерти. Мать тоже в больнице. Нет. Не в этой. В лечебнице для душевнобольных. Ее подобрали на улице. Одетую, как нищенку. Она бродяжничала. С ножом в руках... Говорила, что уйдет к партизанам. В горы. Чтобы спасти мир. И свою дочь. Что сама она – партизанка. Что провела в маки́ пять лет. Сражалась, как мужчина. Но кто же будет воспитывать детей? Знакомая их отца. Ну, слава богу, всё хорошо, что хорошо кончается. Во всяком случае, для старшей дочери...» (с. 176).

Еще, уже почти засыпая, дочь услышала или, может быть, уже грезилась сама во сне: «Как только встанет на ноги, уедет к дяде, в Париж. Он обязался заботиться о ней до ее совершеннолетия. Обещал записать ее в школу. Ведь она любит читать. Ей часто одалживали книги. И еще. Она любит рисовать. Расписывает глиняную посуду, которую лепит сама. Еще с раннего детства. Училась у старших... С матерью поговорили... Она словно ждала этого разговора. А еще с судьей. И он пытался облагоразить отца... А подмастерье получил свой синяк под глазом... Пусть не пристаёт к молодым девушкам» (с. 177). (Ему уже, видно, «отомстил» кто-то из братьев...) Разобрались «по-своему». А дочь пока только выздоравливала...

...Прошло еще несколько лет и в Марокко «во весь голос» заговорят, напишут, покажут даже фильмы об усилении деспотизма Традиций, ожесточающих, унижающих, не защищающих женщин. В 2011 г. Мария Гессус напишет скорбное свое повествование «Хасна, или судьба женщины»⁵⁸, где покажет «обыкновенную историю» молодой марокканки, с огромным трудом выбравшейся из глухой и полной предрассудков деревни в город, – казалось бы, на свободный простор... Но какой ценой? Ее «по обыкновению» «по дешевке» бедные ро-

⁵⁸ Maria Guessous. Hasna ou le destin d'une femme. Casablanca, 2011.

дители просто-напросто продали в качестве прислуги в дом какого-то богатенького горожанина. В его семье над ней как только ни измывались, как только не старались напомнить, что она – «простая половая тряпка»... Хозяин заставлял мыть ему ноги, хозяйка постоянно обрекала на голод, а потом, когда девочка подросла, ее начали продавать (буквальным образом) из одной семьи в другую, нахваливая ее трудолюбие и видя полную безвыходность ее положения... Испытав все формы «зависимости» от власти не только богатых людей, но их ханжеской морали, скрывавшей за завесой Традиции полную распущенность их нравов, вечной жажды и всяческих непристойных «утешений», девушка в конце концов бежала, как-то однажды услышав (на рынке, куда ее как-то одну отправили за покупками) от таких же обреченных, как и она, на новые формы современного рабства, что якобы можно из Танжера (где она жила в последнее время) *отправиться на лодке в эмиграцию* через море на Запад, в соседнюю страну, что на «том берегу Гибралтара»... ..Последнее, что помнит героиня печальной повести, – это какой-то огромный морской вал, потом какой-то проблеск света, а потом – опустилась полная мгла... Бездны, поглотившей мечту и надежды выбраться на Свободу...⁵⁹

Горько было бы ставить здесь точку, хотя примеры того, как магрибинки по-своему воспринимают и деспотизм исламизма, и надежду на возможность обретения Свободы, перебравшись за море, можно множить и множить. Но мне было важно показать и эти, особо запомнившиеся мне, грани судеб женщины в современном художественном творчестве магрибинок.

⁵⁹ Статистика – европейская – показала, что лодки с беженцами из Северной Африки в Европу, куда заманивают зачастую мошенники, или гибнут в море, перегруженные, или доплывают до берегов Европы с половиной выживших...

«НА КРУГИ СВОЯ» КАК УДЕЛ МУСУЛЬМАНКИ?

Как мы могли заметить, у современных марокканок в конце прошлого – XX – начале XXI-го столетия тоже появилась своя, «женская» литература. Мне уже довелось писать выше об особенностях этого, – как сейчас принято называть, – гендерного – направления в искусстве слова мусульманских стран. Как и об особом женском «уделе», если женщина-мусульманка, и если, несмотря на все достижения прогресса, эмансипации, демократизации и пр. достижений в исламском мире, в том числе и Марокко, где есть разные конфессии, в социальной жизни в общем заметен закон старой Традиции жизни. Поэтому многие книги современных марокканок, да и марокканцев – о необходимости «прозрения» Женщины, *обретения ею себя как личности*, охранение женского естества, его понимания, о желании женщиной свободы, о надежде на право *выбора* и своей Любви, и своей Судьбы, о дарованной возможности *учиться и выйти из стен Дома*, из ставшего уже узким круга патриархальной семьи, на дорогу Знания, на дорогу *независимого существования*. То есть на путь обретения того Счастья, о котором мечтает любая женщина, если она способна мыслить и различать *горизонты*, открытые человечеству в эпоху, когда кажется, что оковы средневековой традиции, религиозной догмы уже не столь могущественны. Или могут показаться таковыми...

Но есть среди произведений художественной (и публицистической) словесности и такие свидетельства, в которых, увы, женщина предстает, как и полвека назад, как и в книгах, написанных еще колониальными писателями, жившими в странах Магриба¹, в ореоле некоей *извечной обреченности* на ту свою судьбу, которая якобы и в «замысле Господнем», и в «умысле человеческого» предстает как *удел мусульманки*, вынужденной смиряться с той доминантой в общественном порядке, которая повелевает ей **не забыть** о том, что предназначено ей как существу женского пола: **власть мужчины в исламском социуме**. Забудешь – напомнят. Не смиришься – закроют Дверь, за которой пусть не надолго, но был испит глоток Свободы. Попытаешься сломить Судьбу – замкнут рано или поздно в кругу семьи или в оковах Традиции, соблюдающей не только обычаи, ритуалы, хранящей «заветы предков», но и жестокую иерархию социальных ролей... Во всяком случае, об этом есть и сегодняшние свидетельства. И в них отражены и даже заострены те приметы, которые несовместимы с концептом Прогресса, тем более – в эпоху глобализации...

Мужчина-писатель, знаменитый Тахар Бенджеллун, исследовавший с начала 60-х гг. XX в. судьбу своей соотечественницы во всех ее проявлениях, напишет о вечном желании «безумной любви»², заставившем женщину забыть о «Вечном, Неизменном Времени Востока» и напомнит об ее *уделе*; Хурийа Бусседжра – писательница, в начале 2000-х только начинавшая, – тоже напишет

¹ Об этом см. подр. наше исследование в «Истории литератур стран Магриба». М., 1993 (в 3 томах).

² Фрагменты новеллы с таким названием будут использованы ниже из сборника: Tahar Benjelloun. Le premier amour est toujours le dernier. P., 1995. «L'amour fou», из с. 9–35. Смело заметить, что знакомить Читателя с содержанием новелл – дело неблагодарное и не очень соответствующее самому жанру весьма короткого «сообщения» о том или ином событии Жизни... – С. П.

о безумном желании женщины *стать другой*, избавиться от вечного «клейма рабыни», служанки, достающего «по наследству» тем, кто, как и она, — из *сословия нищих*, — и тоже, увы, напомним о печальной судьбе женщин, извечно на этой земле становящихся рано или поздно «предметами домашнего обихода», особенно в домах богатых, а значит — людей, в чьих руках **власть**, возможность распоряжаться судьбой других...

И та, и другая героини предлагаемых Читателю фрагментов новелл в качестве наглядных «картинок» — потерпят крах, вернутся **к себе** «домой», или «**на круги своя**», так и не разомкнув **кольцо как бы Удела существования Женщины**, обреченной Властью Традиции, социального неравенства, религиозной догмы на **покорность своей Судьбе**.

Но главное не в этом. Обе героини п о п ы т а л и с ь разорвать цепи своего извечного рабства, прорвать уготованный им «удел Жизни». Поэтому бесполезно будет послушать собственный голос тех, кому предоставлена эта редкая возможность — рассказать о себе в сравнительном (и на этот раз почти **однозначном**) показе художественной типизации и в творчестве мужчины-марокканца, и в творчестве марокканки. [Заметим при этом, что знаменитый писатель подчеркивает свое «сочинительство» (а на языке художественного метода это называется типизацией), а Х. Бусседжра — наоборот, предельно свидетельствует...]

«...Эта история — вымышленная, — начинает свое повествование Т. Бенджеллун. — Я придумал ее однажды, сидя на террасе кафе «Мираж», что расположено над гротом Геркулеса в Танжере. Здесь неподалеку мой друг дал в мое распоряжение небольшой домик для летнего отдыха и, конечно, работы: моего сочинительства. На бескрайнем песчаном берегу океана, расстилавшегося

перед моим взором, стоял какой-то немыслимый дворец, воздвигнутый здесь, как говорили, совсем за короткий срок каким-то арабским принцем³. Предназначением его было стать купальной кабиной: он любил море, а главное – тишину, царившую на этом побережье. Кто-то говорил, что это дворец греческого судовладельца, которому разонравилось Средиземное море и теперь он предпочитал Атлантический океан... Захотел, якобы, провести в этом местечке остатки своих дней, а главное – скрыться от правосудия в своей стране...

...Море здесь то синее, то зеленое. Пенистые гребни волны – белые. А дворец (или пляжная кабина какого-нибудь принца или судовладельца) – под цвет желтого песка. Все это не раздражало взор и выглядело совсем не так уж и плохо. Незатейливо даже, как и та история, которую я придумал однажды вечером, слушая по радио какую-то певицу. А то, что послужило основой для моего повествования, так это то, что здешняя молва приписывала именно певице (или танцовщице), которые будто бы существовала на самом деле. Я ничего не уточнял, не искал подтверждений. Просто воспользовался тем, что люди любят рассказывать и пересказывать друг другу. Таких историй – множество. Вот и одна из них. И пусть никто и не пытается идентифицировать с кем-то моих персонажей. **Всякая придумка, воображение – лишь отражение украденного у реальности** (выделено мной. – С. П.). И обычно это всё возвращается в эту же самую реальность, где и происходит смешение правды и вымысла. Вот, к примеру, в какой-то ближневосточной газете писали недавно об исчезновении знаменитой египетской актрисы. А в другом журнале высказали пред-

³ Явление теперь почти банальное – почти всё марокканское побережье застроено сегодня богатыми «чужестранцами», а посещается в основном туристами весьма состоятельными и часто имеющими «особые намерения»... (С. П.).

положение, что это она сама всё выдумала, чтобы о ней снова заговорила пресса...

Так вот, моя история произошла несколько лет назад, в ту самую эпоху, когда и моя страна начала широко открывать двери всякого рода визитерам. Но особенно – богатым, и в частности, тем мужчинам, которые перемещались из своей Аравийской пустыни, чтобы отдохнуть здесь, наслаждаясь несколькими ночами, проведенными в роскоши, неге и сладострастии. Это были «белые» ночи, бессонные, когда пары алкоголя туманили остекленевшие глаза мужчин, привычно поглаживавших свои толстые животы или лоснившиеся, уже поседевшие бородки, торчавшие на их лицах, почерневших от усталости. Они не любили сидеть, и их грузные тела возлежали среди множества диванных подушек, обтянутых шелком. Они не любили кожаные канапе и кресла и предпочитали порой просто устраиваться на пышных коврах. Всё здесь было к их услугам, и им не надо даже было произносить ни единого слова, достаточно было сделать небольшой, почти незаметный жест, чтоб их поняли. Слуги улавливали малейшее их желание даже по выражению глаз, по движению руки: так, например, палец, поднятый ко рту, означал приказ принести им напитки; взмах ладони – сигнал музыкантам начинать свою игру; тем же жестом можно было остановить их музыку; палец, направленный в сторону кулис, приглашал к выходу на сцену танцовщиц; взгляд, обращенный к потайной двери, – требование пения исполнительницы, ожидавшей своей очереди. И т.д.

А когда они разговаривали между собой, то бормотали что-то непонятное. На диалектах своих бедуинских племен. Чтобы ни слуги, ни музыканты не знали, о чем они говорят. У них был такой тайный код. Но и без дешифровки его, и так все было ясно и понятно: за их сло-

вами стояли надменность, вызов, презрение к окружающим и желание унижить других людей. Просто так, ни за что. А слуги делали свое дело молча. Им было известно, что люди, которых они ублажают, – особенного рода. В общем-то работа эта была им привычной, просто требования этих людей были не совсем обычными, а иногда и невыносимыми. Ведь бедуины эти были из нуворишей, быстро разбогатевших, но не вполне разбиравшихся даже в том, что им хотелось. Вот и текло вино рекою, и бокалы их не просыхали, и кубики льда не успевали растаять в виски... Да и некоторые из них требовали, чтобы это были не кубики, а шарики, или имели форму сердечек. А маслины должны были быть обязательно испанскими, законсервированными в металлических баночках. А сыр – только французским или, еще лучше, голландским. Они не любили местной выпечки хлеб, но только ливанский. Официанты знали эти капризы и удовлетворяли их...

...Любили ли, в самом деле, эти люди музыку или только тела танцовщиц? Предпочитали ли они пение Сакины всем остальным? А она, ведь, была, точно, великой певицей. Ее скромное происхождение не позволяло ей часто участвовать в такого рода вечеринках. И ее отец всегда при этом сопровождал ее. Он был учителем на пенсии, подрабатывал здесь игрой на флейте в оркестре. Его сольные номера приводили в восторг и даже вызывали ностальгические слезы у людей, которые слушали его, потягивая виски, возлежав на своих атласных подушках. А надо сказать, что виски они пили много, словно это был какой-то лимонад. Они вскрикивали: «О, Аллах!» или «О, ночь моя! О, жизнь моя!», слушая певицу. А когда Сакина уходила, они отрывались от своих бокалов и, прикладывая ладонь к губам, посылали ей вслед воздушные поцелуи...

...Сакина была высокого роста, глаза ее чуть косили, но это всё не лишало ее необычайной притягательности. Ее черные, густые и длинные волосы ниспадали до самых бедер. Она поигрывала их волной, когда наклонялась немного, следуя руладам своего голоса. Носила легкие из тонкой материи длинные прямые платья-кафтаны, прелестно облегавшие ее грудь. Она была целомудренна, стыдлива и никогда не бросала взоры на своих слушателей. И когда она пела, то казалось, что голос ее улетает в другие миры; ее глаза были подняты к небу, а руки простерты куда-то в его бездну...

Всё это возбуждало и пленяло слушавших ее людей, и мужчины дорого платили за удовольствие услышать ее пение. Чем-то голос ее напоминал голоса Ум Калтум и Исмахан. В нем звучали целых две октавы, и это делало его замечательным. Конечно, это был дар божий, и Сакина, глубоко верующая мусульманка, каждый день возносила Аллаху благодарственные молитвы, не употребляла никогда спиртное, не красилась, или разве что чуть-чуть... Многие называли ее Лалла Сакина, словно она и сама источала благодать и святость. Ее поклонники восхищались ее скромностью, ее сдержанностью и особо выделяли ее среди всех других знаменитых арабских певиц. Пресса уважала ее. Она никогда не была объектом скандальной хроники. О ее личной жизни знали мало. Было известно только, что она – не замужем, что никогда ничего не рассказывает о своей семье или о своих планах, как это обычно делают звезды сцены или экрана.

Красивая и спокойная, Сакина смущала тех, кто делал попытки как-то ее соблазнить: она элегантно, но в то же время решительно отталкивала их от себя...

...В тот вечер она была одета в бело-голубое. На ней было мало украшений, и как Ум Калтум⁴, она держала в правой руке белый шарф. Она спела только одну песню: «Тысяча и одна ночь». Много раз повторила припев, меняя тембр голоса и ритм. Бедуины⁵, уже почти пьяные, кричали ей, чтобы она еще раз спела последний куплет. Она милостиво выполнила их просьбу. В песне говорилось что-то о пустых и полных бокалах, об опьянении, о звездах, спустившихся на землю, о долгих ночах, полных сладких грёз... Всё это питало воображение слушателей до бесконечности.

Жесты Сакины были скупыми и размеренными. Тело двигалось в такт песни, быстро. Но всё волшебство было в ее голосе. Он был страстным и проникновенным и доводил бедуинов до неистовства. Некоторые просто вопили от восторга и блаженства. Даже было что-то неприличное в этом упоении ее провоцирующим их голосом. Сакина же сама, как обычно, держалась равнодушно, безразличная к окружавшей ее атмосфере. Она прекрасно знала цену тем, для кого она пела.

Песня длилась около часа. Певица уже устала и, поприветствовав присутствовавших, она удалилась в ложу, где сидел в ожидании ее отец. Смыла уже с себя нехитрый свой макияж. Как вдруг постучали в дверь. Она открыла. Кто-то из слуг преподнес ей огромный букет цветов, закрытый целлофаном. Она едва видела за этим букетом лицо человека, но голос его услышала: «Это вам от шейха». Сакина удержала руку слуги и спросила его доверительно: «От которого?» «Да от самого страшного уроды, но самого богатого из всех них. Помните такого коротышку с торчащей клином бородашкой? Вот-вот, кажется, что он какой-то там у них принц. Но гово-

⁴ Известная египетская певица середины прошлого века. – С. П.

⁵ Имеются в виду «арабы из пустыни», или жители тех стран, где преобладает Аравийская пустыня. – С. П.

рят, что он неграмотный, хотя и щедрый... Однако не следует строить из себя гордячку. Он зол и всемогущ. Прощайте, Лалла Сакина!»

Через несколько минут этот же посыльный пришел снова. «Он просит тебя выйти в гостиную. Ничего не бойся. Он не один. Я думаю, что он просто хочет сделать тебе комплименты. Будь благоразумной! Учти, что эти люди способны на всё. Их ничего не останавливает. Нефтяные деньги обеспечили им все права».

Она пошла в гостиную, но по дороге ее отец, уже сильно усталый и раздраженный, ей сказал: «Подумай хорошенько. Я доверяю тебе. Но это твое ремесло!.. А что делать, как выжить нам всем в это трудное время?!...»

Сакина переоделась уже в черное платье. На шее ее была нитка искусственного жемчуга. Она подошла к шейху и сделала что-то вроде реверанса, приветствуя его. Шейх сидел, окруженный свитой и друзьями. В одной руке держал большой стакан с виски, другой перебирал четки. Не сдвинувшись с места, он сделал знак Сакине приблизиться к нему. Потом сказал: «Ты хорошо поешь, дочь моя. У меня мурашки бегают по телу от твоего голоса. Мне надо слушать тебя много и часто, а главное – смотреть, как ты поёшь!»

– Спасибо, мой Господин. Я польщена, – ответила Сакина. – А теперь, с вашего позволения, я поеду домой.

– Нет, – возразил шейх. – Я не позволяю. (При этом он засмеялся.) То, что я сказал, – очень важно. Не торопитесь. Впереди еще целая ночь, чтобы всё обсудить. Выпейте стаканчик апельсинового сока или кока-колы.

– Нет, нет, спасибо. Я должна вернуться домой. Меня ждет отец.

– Твой отец уже ушел. Не надо было много денег, чтобы его уговорить! А ты ведь не хочешь испортить мне вечер? Садись-ка рядом. Я кое-что хочу тебе прошептать на ушко.

Кто-то подтолкнул ее легонько, и она упала на подушку прямо рядом с шейхом, который, взяв ее за руку, притянул к себе и, поглаживая ее по спине, прошептал, наклонившись к ней:

«Ты будешь моей женой, деточка...»

Она резко поднялась и крикнула:

«Вам не стыдно, старый боров?! Вы думаете, что всё можно купить? Богатство, карьеру, человеческое тело, человеческое достоинство, всё, что захочется? Но вы просто ужасны! Отвратительны! У вас остекленевшие глаза и брюхо, набитое всеми пороками и грехами! Вы привыкли уже мотаться в эту страну, чтобы насиловать наших девушек, а потом отбываете в вашу пустыню с головой, полной музыки и криков этих несчастных. Хотите еще? Увезти с собой багаж, полный свежего человеческого мяса, которое будете потреблять у себя, когда вздумается?! Нет! Со мной у вас ничего не получится! Я презираю вас! Плью на вас и ваше прогнившее насквозь богатство!»

Она, действительно, плюнула и ушла. По-видимому, два телохранителя шейха попытались ее силой удержать, но она вырвалась из их рук. И шейх сделал жест, означавший, что они могут ее отпустить. Люди из его свиты пали перед ним на колени, извиняясь за произошедшее и нанесенное их господину оскорбление. Шейх громко рассмеялся и подал знак наполнить его стакан. Три молоденьких толстушки немедленно подбежали к нему и прижались к его телу. Это были танцовщицы, почти обнаженные. Он погладил их пышные груди. И теперь казался даже счастливым, совсем забывшим об

инциденте, как будто отказ Сакины вовсе ничего для него и не значил. Но в глубине души он был, конечно, уязвлен. У него не было привычки получать отказ в чем бы то ни было. Тем более, никто не осмеливался наносить ему оскорбления. И тем более публично. В его стране за такое бы просто отрезали язык тому, кто посмел совершить подобное. А здесь, несмотря на всю болтовню о «добро пожаловать к нам!», шейх никогда не чувствовал себя в безопасности...

...Он провел ночь с тремя танцовщицами, конечно же, презиравшими его, но соглашавшимися на его баснословные гонорары, которые они умели выманивать из шейха. Он это всё знал, но пользовался их услугами; просил даже, чтобы они массировали его тело подошвами своих ног... Они прохаживались по нему таким образом, а он стонал от удовольствия. Потом вдруг заснул, и женщины не знали, к кому обратиться за оплатой их услуг. Пришел какой-то мужчина и прогнал их, обругав всеми словами. Они испугались и побежали, выкрикивая проклятия и желая шейху жутких мучений и страданий, ну и, конечно, «чтоб он сдох как можно быстрее»...

...На следующий день шейх со своей свитой покинул эту страну на личном самолете. Во время перелета он молчал. Его антураж был обеспокоен. Он попросил только дать ему географическую карту. На ней отыскал ту страну, из которой только что улетел, взял красный фломастер и перечеркнул это место крестом. Стоявшие вокруг переглянулись. Ведь это означало, что и со страной, и со всеми тамошними удовольствиями было навсегда покончено. И отныне нельзя было ни произносить ее названия, ни вкушать блюда ее кухни, ни слушать ее музыку. Во дворце шейха все это станет табу. И будет проклято. Такова была его воля и его вердикт.

Ибо никто еще и никогда не пытался унижить этого человека, — такого могущественного и такого щедрого. Он не считал даже нужным сообщить об инциденте властям этой страны. Надеялся, что справится сам и найдет способ восстановить попорченное свое достоинство... И никакие официальные извинения ему не нужны, — все равно они ничего не будут стоить в сравнении с тем, какое зло причинила ему эта певичка...

...А Сакина, гордая собой, решила, что больше никогда не будет петь на этих частных вечеринках, в этих особого рода домах... Она обо всем рассказала отцу и даже высказала ему свое недовольство его поведением. Отец был очень смущен, слышал ее резкие упрёки. Он пытался что-то пробормотать, прося прощения. «Я ведь не знал... Да, надо бы было остаться мне с тобой, а не уходить»...

...Но время шло, и инцидент в местном дворце шейха был позабыт. Сакина улетела в Лондон записывать диск с лучшими своими песнями. Отец поначалу полетел вместе с ней, оказывая ей всяческое внимание и поддержку. Когда она отправилась в Лондон во второй раз, то ее уже сопровождала мать. Записи длились почти по месяцу. Она использовала время, чтобы посмотреть город, познакомиться с его достопримечательностями, встретиться со своими земляками-студентами или работающими там эмигрантами. Консульство ее страны даже устроило небольшой прием в ее честь. Арабские и английские музыканты пришли поприветствовать ее, Би-Би-Си пригласило ее на передачу, где она пела без сопровождения оркестра, и слушателям открывалась вся мощь и красота ее природного голоса. Пресса писала о ней только хорошее. А Сакина была счастлива. Ей не хватало только рядом с собой человека, который бы ее любил. Но случай не заставил себя долго ждать.

...Его звали Фаваз, он был красив и элегантен, молод, образован, хорошо воспитан, скромен. Его родители, как он сказал, бежали сюда от гражданской войны в Ливане и обосновались в Лондоне, где снова возобновили свое дело. Фаваз был на четыре года старше Сакины и, казалось, безумно влюбился в нее. Вначале в ее голос. Потом в ее лицо. Увидел ее впервые на коктейле в консульстве, организованном в ее честь. Он наблюдал за ней весь вечер и прежде чем уйти, спросил у своего друга – генерального консула – представить его Сакине. В нем было что-то от английского джентльмена: он поцеловал ей руку, поприветствовал ее мать, поклонившись ей, сказал какие-то приятные слова по поводу звучания голоса Сакины. Он был галантен и показался ей очень элегантным, даже безупречным – и физически, и морально... Говорил на нескольких языках, предпочитал классическую музыку и литературу. Не любил видео и выпивку. Был очень занят, но тем не менее попросил Сакину составить ему компанию и посетить выставку картин импрессионистов. У Сакины сложилось мнение, что Фаваз знаком со многими людьми: его все здесь, и на приеме, и на выставке приветствовали, были с ним почтительны, а некоторые даже отводили его в сторону, чтобы доверительно поговорить о каких-то своих делах... Ему приходилось то и дело извиняться перед Сакиной. А он открывала для себя Манэ и Ренуара. И была счастлива оказаться в компании с Фавазом...

...Несколько дней спустя он попросил разрешение у ее матери пригласить ее дочь поужинать с ним. Сакина тогда была занята, но предложила ему перенести их встречу на конец недели, когда у нее будет закончена работа на студии звукозаписи. Между тем Фаваз предоставил в ее распоряжение машину с шофером-англичанином на тот случай, если ей захочется совер-

шить экскурсию по городу или посетить универмаги... Всё шло как нельзя лучше. Может быть даже слишком хорошо. Это было такой редкостью встретить достойного мужчину, внимательного, предупредительного...

...В тот вечер, за ужином, Фаваз показался ей каким-то суетливым и был в странном настроении. Сакина спросила, всё ли у него в порядке. Он ответил ей, что печалится по поводу ее близящегося отъезда. И действительно, Сакине уже больше нечего было делать в Лондоне и она торопилась вернуться домой. Фаваз взял ее руку, приложил к своим губам и сказал: «Я совершил безумство привыкнуть к вам, вашему лицу, вашей улыбке, вашему присутствию – столь ясному, чистому, прекрасному, столь нежному. Я постоянно думаю о вас; закрываю глаза и снова вижу вас, и вы – еще прекраснее, еще ближе, но всё такая же недостижимая для меня. Ваш голос уносит меня в детство, в ту невинную пору жизни, которая светится в вашем взгляде. Я говорю с вами, опустив глаза, потому что смущен, потому что хочу сказать вам так много чистого, светлого, – всё то, что живет в глубине моего сердца... Я знаю, что вы – порядочная женщина, сдержанная, скромная, полная собственного достоинства. Что вы – прекрасная актриса. Замечательная певица. И я был бы счастлив, если бы мои чувства нашли отклик в вашем сердце. Я ни о чем не прошу вас. Только о том, чтобы вы мне поверили. Чтобы оставили для меня уголок в вашем сердце. Не отвечайте мне сразу. Я хотел бы, чтобы мои слова проложили верную дорогу к вам и чтобы вы обо всем подумали. Ведь как только я увидел вас, я сразу понял, что моя жизнь должна измениться. Вы вошли в нее и все мои дела, заботы, расчеты, контракты, – всё было забыто. Растроено. И я больше не могу возвращаться ко всему этому, столь далекому от любви. Да и в ваших

глазах я увидел какой-то огонек, давший мне надежду. Но что мне делать? В родную страну я больше не вернусь. Она разрушена. Теперь я в поисках другой земли, которая готова меня принять, усыновить. Англия – прекрасная страна для работы. Ваша страна – просто прекрасна. Она – столь же красива, как и Ливан, но менее тревожна и более душевна. Она могла бы стать моей второй родиной, если ваши чувства ко мне это позволят. Моя судьба теперь в ваших руках. Не говорите ничего. Во всяком случае, не сейчас. Дайте мне закончить. У меня серьезные намерения. Мне двадцать восемь лет, я – обеспечен, у меня прочное положение, и я хочу обзавестись семьей. Ведь наша религия обязывает к тому, что мужчина становится настоящим мужчиной только тогда, когда у него появляется семья, когда он уважает моральные принципы и сохраняет свою честь и достоинство. Это и есть главная его добродетель. А я – правоповерный мусульманин. Хотя и не фанатик, соблюдающий все ритуалы, но ислам живет воистину в моем сердце. Конечно, и мне случается порой говорить неправду, но это – ложь во спасение. Для дела, которым я занимаюсь, иначе не проживешь и ничего путного не реализуешь. Я люблю детей. Но это – не недостаток. Я люблю спорт. У меня просто страсть к футболу. И во время матча меня лучше не трогать. Но главная моя беда в том, что я безумно люблю вас. И если вы меня поймете, то, значит, можно будет справиться и с этой моей слабостью. Я хорошо обо всем подумал, я взвесил свои слова. И еще раз скажу вам, что страстно люблю вас, и чувствую, что это навсегда. Я не прошу вас мне поверить на слово. Поезжайте к себе и спокойно обо всем поразмышляйте. Хорошенько обо всем подумайте, а потом дадите мне знать, и я к вам примчусь. Всё теперь будет зависеть от вас.

...Он коснулся легкими поцелуями ее рук, поднялся из-за стола, чтобы проводить ее к выходу.

Сакина была взволнована. Хотела заплакать, но сдержалась. Она в жизни ничего подобного не слышала. Никто и никогда не делал ей таких признаний. Она спрашивала себя, а вообще способны ли арабские мужчины на подобные поступки, сделанные с такой деликатностью и с таким достоинством? Ей казалось раньше, что все это может быть только в любовных романах или мелодраматических фильмах... Когда они подъехали к ее отелю, Фаваз вышел из машины, поцеловал ей руку и попросил разрешения позволить ему сопроводить ее завтра в аэропорт. Она ответила, что ее студия звукозаписи уже позаботилась об ее отъезде, да и вообще она не любит расставаний и прощаний ни на вокзалах, ни в аэропортах... Дала ему свою визитную карточку, вписав туда номер своего личного телефона и домашний адрес. «Так вы меня можете найти. В любое время».

Конечно, она не спала всю ночь. Она словно заново слушала все, что говорил ей накануне вечером Фаваз; слышала его нежный голос. Видела его взволнованное лицо. Она была завоевана им и хотела бы лежать в его объятиях, положив голову ему на плечо, — ну, как это показывают в фильмах про любовь... Хотела бы идти с ним, держась за его руку, гулять по улицам Лондона и под дождем, и в тумане... Ей нравились такие клише и она отыскивала их в своей памяти в минуты одиночества. Наверное, она желала этого человека. Грезилась о его крепком, обнаженном торсе, о его мускулах, о его ласковых пальцах в своих волосах. Дальше этого ее воображение не развивалось: она не осмеливалась даже думать о том, что они могут заниматься любовью... Она встала с кровати. Приняла холодный душ и собрала че-

модан. Ей очень хотелось позвонить ему. Но она взяла себя в руки...

...Вернувшись домой, в свою страну, она обнаружила великолепный букет роз с записочкой: «Эти цветы – для вас, с пожеланиями счастливого возвращения. Ф.».

...Сакина здесь вела жизнь спокойную и простую. Жила со своими родителями в маленькой квартирке в центре города, где вечно царило оживление, и было шумно и днем, и ночью. И она привыкла ложиться спать, заткнув уши маленькими восковыми шариками, и предпочитала почитать что-нибудь, чем слушать музыку. Она любила, как и большинство девушек, современные французские романы, понимая, что это не ахти какая художественная литература, но не хотела отставать от моды... Отец пытался было заставить ее читать классику, но у него ничего не вышло. Сакина жила еще в мыльном пузыре своих радужных девичьих грез... В то же время она презирала ложный блеск и безумную роскошь всех этих вечеринок, которые устраивали здесь эмиры из стран Персидского залива, предпочитая теперь ее страну Бейруту, где они раньше тратили свои непомерные капиталы. Но в Ливане была опустошительная война, и он не мог принимать у себя этих любителей особых удовольствий...

...Будучи примерной мусульманкой, она понимала, что эти люди развращены своими деньгами, исполнены пороками и избалованы теми, кто пользуется их капиталами... Но отец ее в тот вечер настоял на том, чтобы она выступила перед каким-то «эмиром». Он уверил ее, что всё пройдет вполне корректно. Ему это обещали. А теперь эта вся история, которая с ней приключилась «во дворце», была забыта: новая надежда засияла на горизонте не очень-то известной певицы, хотя и с золотым голосом, достойным самой Ум Калтум... Это было не

ее, Сакины, мнением, но ее учителя пения. А он был когда-то музыкантом в оркестре, аккомпанировавшем великой египетской звезде. Старый учитель был сухоньким и элегантным. Носил очки и красную феску и смешил Сакину, рассказывая ей всякие египетские байки. Но он ей не советовал петь перед всеми этими новоявленными эмирами, приговаривая: «Ну что понимает осёл во вкусе имбиря?» Да здесь не только у него была антипатия к нуворишам из Персидского залива. Их не любили повсеместно, разве только те, кто вел с ними дела и делал свои деньги на их капиталах, их терпели... Не ругали, не критиковали, не защищали, а именно терпели...

...Комната Сакины была увешана портретами и фотографиями любимых арабских певцов и певиц, но были здесь и Эдит Пиаф, и Мария Каллас и даже парочка итальянских теноров... Рядом с ними она прикрепила и фото Фаваза, сделанное на улице Лондона во время их прогулки каким-то пакистанцем. Под ним она наискось просунула стебель с засохшим цветком из букета. И долго любовалась. Она представляла себе, как похитит ее этот ее прекрасный принц словно из волшебной сказки и будет шептать ей на ухо сладкие слова любви... Она то плакала, то смеялась. И вся жизнь казалась сном... И ей даже не хотелось не смешивать ее сладостный сон и реальность: она просто сейчас верила в спасительную любовь ее волшебного принца...

...Работа с учителем пения шла как нельзя лучше. Она делала невероятные успехи, ее голос звучал в полную мощь. Раньше все шло само собой. А теперь она владела искусством пения, управляла своими связками, пробовала работать в разных регистрах... Словом, стала настоящей профессионалкой. Диски, записанные ей в Лондоне, появились в магазинах. И она получала пись-

ма от восторженных поклонников своего таланта. Самое умное, написанное истинным и тонким ценителем ее голоса было подписано Фавазом: «Ваш голос – это мечта, о которой можно только мечтать... Он уносит нас к далеким берегам нашей страсти и бесконечного счастья. Я не могу сопротивляться ему. Слушаю подолгу. Простите и эту мою слабость... До скорой встречи. Ф.»

...Сакина поделилась с матерью, рассказав ей всё. Та ответила: «Дочь моя, ты уже взрослая. Жизнь меня научила одному: не доверять людям. Они не способны быть искренними. Они трусливы. Но чтобы добиться своей цели, они могут пообещать тебе достать с неба луну. И даже звезды. Чтобы поразить тебя и заставить делать то, что им хочется. А когда добьются своего, то быстро забывают о своих обещаниях. И начинают поглядывать в другую сторону. Отец твой был другим человеком. Мы с ним были в кузенном родстве, и он все-таки был мне братом, хоть и двоюродным. Но в нашей традиции разрешены такие браки, и мы уже рано были обещаны своими родителями друг другу. И когда поженились, то он, конечно, как и все мужчины, часто встречался со своими друзьями, проводил вечера вне дома. Но быстро устал от такой жизни, вернулся ко мне и даже просил у меня прощения. Любовь прекрасна и безоблачна только в книгах, на картинках, в кино. А настоящая любовь, та, что «идет в счет», – это любовь в жизни обыденной, повседневной. О ней говорят мало или даже никогда не говорят, потому что об этом нелегко говорить. Но если твой муж любит тебя не только по праздникам, но и в будни, оказывает тебе знаки внимания и преданности не только за праздничным столом, – то, значит, – он настоящий мужчина. И любовь его – настоящая. Но как об этом узнать заранее? Я ничего не знаю об этом твоём ливанце. Внешне он кажется вполне благопристойным и

хорошо воспитанным. Да и намерения вроде бы у него серьезные. Но где вы станете жить? Здесь, у нас в стране, или в Лондоне, или в Бейруте? Подумай хорошенько обо всем, но прежде всего о твоём голосе, о своей работе. Арабы не любят, когда их дочь или их сестра работают певицами, актрисами, выступают на сцене. Это ремесло для них – почти как проституция. Уверена ли ты в том, что Фаваз не помешает тебе продолжать петь? Ведь мужчины не только трусливы, но и ревнивы. И они не выносят, когда их супруга показывается на публике, имеет успех, достигает чего-то в жизни, известности, к примеру, которой нет у них самих.. Всё это правда. В порядке вещей, особенно у нас, арабов. Может быть, конечно, этот ливанец, живущий давно среди англичан, и стал джентльменом, и освободился от своего арабского «каркаса», в котором зажала его наша традиция. Может быть, он даже стал европейски цивилизованным человеком, уважающим женщин, их права, их желания и их страсти. ну тогда он – просто герой! И возможно, что дочь моя повстречала на своем пути такого героя... Будущее покажет»...

...Время шло, и Сакина продолжала жить воспоминаниями и предаваясь своим мечтам; одни из них были прекрасны, порой фантастичны, а порой и обыкновенны. Она нарочно смешивала реальное и воображаемое, полагая, что не может объективно представить себе свое будущее, тем более свою старость рядом с Фавазом... Что-то в глубине ее души мешало ей вообразить себе такое мирное счастье... И она сердилась на самую себя, ловя себя на мысли, что находится все время в ожидании письма или звонка от Фаваза. Уже думала о самом плохом. То он объясняется в своей пылкой любви уже другой женщине, то вообще изменился до неузнаваемости, став обыкновенным, злым, безразличным, вульгар-

ным даже... «Ну нет, — уверяла она себя. — Это невозможно. Зачем очернять его образ? Для чего разрушать свою надежду? Только ради недоверия к мужчине? Как учила ее мать? Да и та это делала скорее по привычке, из каких-то там ее принципов, совсем не зная этого человека... Это был просто материнский совет, не более, предупреждение о необходимости осторожности... А это нигде еще и никому не мешало... Арабские женщины всегда будут опасаться мужчин: столько натерпелись от них несправедливости, что стали и сами безжалостны к ним, даже жестоки и грубы. Не все, конечно...» Так думала Сакина, зная, что ее собственная мать, предупреждая свою дочь, прежде всего думала о том, чтобы та стала сильной и даже немножечко жестокой: ведь Сакина была прежде всего актрисой, и к любви относилась с девичьим романтизмом, начитавшись всяких там любовных романов для простушек и ничего не знала о настоящей жизни. Ей хотелось, чтобы и в реальности все было, как в книжках. А реальность-то совсем ничтожна... Маленькая размеренная жизнь, где иногда случаются праздники, семейные в основном, куда ее и приглашают частенько петь. И вообще уже было оговорено с родственниками, что и Сакина выйдет замуж за одного из своих кузенов — человека не без амбиций, но предпочитавшего игру в карты слушанию музыки... Он даже как-то летом флиртовал с Сакиной. Потом, правда, не объявлялся. А она еще долго не спала по ночам, вспоминая его улыбки, комплименты, цветы, флакончики с духами, которые он ей дарил... *Любила любовь...*

...Когда Сакина вернулась из Лондона, ей нанес визит старый учитель пения. Поздравил ее с записью пластинки, но напомнил об инциденте, произошедшем во дворце шейха. Она подтвердила всё, спросив, что он об этом думает.

– Дочь моя, я несколько осведомлен об этих людях. Знаю, что они презирают всех, всю нашу планету. Их религия – деньги. Но их сила – их слабость. Настоящие принцы, истинные эмиры никогда не были такими. Да и никогда не позволяли себе такое, не появлялись на публике. Это все псевдо-монархи или какие-то их далекие родственники, или бывшие придворные, которые, разбогатев, приезжают за границу и выдают себя за верховных вождей... И я, надо сказать, восхищен твоей смелостью: как ты обошлась с этим «шейхом»? У тебя была прекрасная реакция! Ты отомстила таким образом за сотни женщин, которые подверглись унижениям этими проходимцами. Но, увы, заметь, что некоторым нравится такая жизнь. И не все женщины считают себя жертвами. Вот почему твой поступок наделал много шума. Думаю, что о нем немало говорили и в Лондоне, когда ты там записывала свой диск. Поэтому опасайся. Будь осторожнее. Работай и продолжай идти своим путем.

– А чего мне надо опасаться?

– Я говорю тебе это на будущее. Не вступай никогда вместе с ними на их дорогу. Вот и всё. Ты – певица с чистой душой. И это – редкость в твоём ремесле.

...Как писал ей Фаваз, он, оставшись в Лондоне, был там очень занят. Потом ему удалось слетать несколько раз на Ближний Восток, урегулировать свои дела и они теперь процветали. Пару раз он находил возможность позвонить Сакине и сказать ей теплые и нежные слова. Он был мастер на слова, обладал особым талантом, подбирая именно то, что нужно сказать. «Ну, как, – спрашивала себя Сакина, – можно избежать его чар? Никто из женщин не устоит перед ним...» Когда она думала так, то словно испытывала какую-то легкую боль, недомогание, даже панический страх иногда ее охватывал

при мысли, что Фаваз может изменять, может покинуть ее, может соблазнять и бросать всех женщин, как Дон Жуан, как коллекционер любовных походов... И ей хотелось узнать побольше о жизни Фаваза, о его прошлом, о том, чем он занимается... Но у кого спросить? Кто может серьезно что-то знать о нем? Разве что консул, на приеме у которого они встретились? Но она не слишком хорошо была знакома с этим консулом, чтобы вот так запросто позвонить ему в Лондон и задать личные вопросы... Да и какое у нее право задавать ему свои вопросы, расспрашивать о ком-то... Тогда она решила съездить сама в Лондон, чтобы внезапно объявиться в отеле, где жил Фаваз, и спросить, вернулся ли он из своей поездки... Или застичь его врасплох. Но это было рискованно. «Да и какое я имею право на то, чтобы он отчитывался передо мной, где он пропадает?», – подумала она... И она просто позвонила в этот отель (а не на личный телефон Фаваза), спросить, там ли Фаваз. Просто, чтобы удовлетворить свое любопытство. Но потом бросила трубку. И как бы *случайно* в этот самый момент он сам набрал ее номер и сказал, что приедет на два дня к ней в страну, чтобы познакомиться с ее семьей. Все произошло очень быстро. Она едва успела привести в порядок квартиру, где родные собирались принять гостей. Мать отказалась что-то приукрасить, навести марафет, сказав: «С какой стати? Нам нечего скрывать. Мы – простые люди, живем скромно и предпочитаем, чтобы нас воспринимали такими, какие мы есть. И зачем нам показывать свое загримированное лицо? Зачем нам лгать? Скрывать что-то... Если он – человек серьезный и его намерения – искренние, то ему надо знать, с кем он имеет дело: с людьми бедными, которым жизнь нечасто улыбалась и не была легкой. Твой отец – не бизнесмен какой-то, не торговец. На песнях твоих много не

заработаешь... А с пиратством, которое процветает на Арабском Востоке, и гонорары твои от продажи твоих пластинок будут невелики... Вот так. Надо быть честными. Прекрасные мгновения безумной любви быстро проходят. И надо возвращаться к реальности. Ее-то и надо ему показать. Вежливо, конечно, но без колебаний. Твердо дать ему понять, что к чему».

Отец хотел было надеть свой темный парадный костюм «по такому торжественному случаю», но мать не разрешила ему. В доме было чисто, прибрано. Рубашка отца была выглажена. А на Сакине было надето простое и скромное платье. Мать и не пыталась скрыть свое не особо-то приветливое настроение... И выглядела довольно строго... А Фаваз пришел в великолепном темно-синем костюме, принес всем подарки: флейту для отца, наручные часы – для матери, маленький компьютер – для брата, электронную книжку – для сестренки, а для Сакины – кольцо, усыпанное бриллиантами.

Мать хотела было отказаться от подарков, – ее охватила какая-то невыразимая грусть. И она чуть было не заплакала. А отец был доволен. И взволнован. Сакина не знала, надо ли принять кольцо или нет. Она посмотрела на мать, но та сделала ей знак «молчать». И Сакина положила кольцо на стол перед собой и пристально смотрела на него. Слезы потекли из ее глаз. Слезы счастья, но и какой-то тревоги. Фаваз тоже молчал. Он неожиданно почувствовал смущение и даже испытывал известное напряжение. Встал из-за стола, извинился за причиненное беспокойство и хотел откланяться. Отец его удержал. И тогда он сделал свое официальное предложение. Отец ответил, что решать всё Сакине. Мать принесла чай и пирожные. Все, как правоверные мусульмане, подняли руки ко лбу и прочитали первую сургу Корана. Потом поприветствовали друг друга и сели

за чай. Фаваз рассказал с волнением о своих родителях. О том, что его мать уже давно умерла. Что отец с трудом переносил это горе. Фаваз дал понять, что тот не вполне даже в своем уме. На мгновение воцарилось печальное молчание. Потом снова заговорили, решив назначить свадьбу до наступления лета. И Фаваз снова отбыл по своим делам, а Сакина начала готовить свое приданое. Сомнения и тревоги улетучились, как дым. Жизнь снова стала прекрасной. Всё ей улыбалось. Она работала с охотой и энтузиазмом. С подъемом души. И ей посыпались предложения от египетских композиторов. Телевидение ей посвятило целый вечер. Сакина становилась настоящей звездой арабской песни...

...Свадьба состоялась, как это и предполагалось, в последнюю неделю мая. Пригласили только родственников и некоторых друзей. Это был небольшой и нешумный праздник. Но жених и невеста все равно очень устали, так что любовью в первую свою брачную ночь не занимались. Только нежно поцеловались, а на следующее утро улетели в свадебное путешествие в Рим и Венецию, где и решили провести свой медовый месяц.

Но это был горький мед.

...Фаваз был очень нервным и раздраженным. По прибытию в отель в Риме он попросил у администратора комнату с двумя отдельно стоящими кроватями. Объяснил Сакине, что не может заснуть, когда кто-то находится рядом. Стал куда-то постоянно звонить, разговаривая при этом на разных языках. За ужином был неловок, опрокинул бокал с кока-колой себе на пиджак. Разозлился и во всем обвинил Сакину. Она заплакала, встала из-за стола и ушла в номер. Когда Фаваз пришел туда, она сделала вид, что спит. Он выкурил несколько сигарет, смотрел телевизор до часу ночи...

...Сакина задумалась над его сексуальными способностями. Не понимала, почему он ее не ласкает, не спит с ней, не занимается любовью. Ночью, когда он уже спал, она приблизилась к нему и сама начала его ласкать. Но он вскочил и сказал, что его врач запретил ему заниматься сексом две недели, поскольку у него обнаружен вирус гепатита, а это заразно, и что он должен лечиться... Она поискала в ванной в шкафчике какие-нибудь специальные его лекарства, но не обнаружила ничего кроме парацетамола и аспирина... Он ей объяснил, что предписанных ему препаратов нет здесь в аптеках, но его врач разрешил делать ему уколы интерферона... Она ему поверила. Но сколько же дней ей еще оставаться девственницей? ...О физической любви она имела представления тоже по книжкам, в которых описывались романтические истории. Иногда, правда, во время флирта со своим кузеном, они занимались любовными играми, но вполне невинными. Она умела сопротивляться всем его далеко идущим поползновениям... Но сейчас она ждала любви Фаваза, была готова принять его в свои объятия, а ее муж только похрапывал на соседней кровати. Сакина сняла обручальное кольцо с пальца и внимательно рассмотрела его в ванной при ярком свете. А если камни были фальшивыми? И вообще, всё происходящее, может быть, было ненастоящим? И этот человек вовсе ей и не муж, и свадьба была только подобием чего-то, каким-то симулякром, а этот медовый месяц — всего лишь плод ее воображения, превратившийся в дурной сон? Не мог же в самом деле настоящий муж так резко сменить свою личину? Все казалось теперь подозрительным, тревожным, даже очень тревожным. Она обеспокоилась не на шутку, заплакала, слезы застилали ей глаза, катились по щекам, и она чувствовала себя безобразной, никому не нужной, брошен-

ной. Но вошел Фаваз, обнял ее, покрыв поцелуями. Сказал ей, что их брак – это воплощение его мечты, но вот только неожиданное обстоятельство помешало их полному счастью... Он был нежен, говорил ласковые слова, твердил, что глаза ее столь прекрасны, что способны заставить птиц улететь с неба и опуститься на землю... Он ей говорил еще, что плакать – это грех, что надо быть терпеливой, и что для их мечты о счастье просто еще не настало время, но она сбудется... Сакина чуть-чуть успокоилась...

...Потом они уехали в Венецию, обедали в уютном ресторанчике на площади Сан Марко. И он был сама любезность и внимательность, вел себя как пылкий возлюбленный. Но при этом постоянно разговаривал по мобильнику. Просто не расставался с ним. Вот и сейчас неожиданно раздался звонок, Фаваз вдруг стал серьезным, поднялся из-за стола и вышел, чтобы продолжить разговор с кем-то ему позвонившим. Сакина оглянулась: вокруг почти никого не было, только старая парочка англичан молча сидела за столиком. Они оказались ей вполне симпатичными. И она подумала: как хорошо стареть вместе. Уже ни о чем не надо говорить друг с другом. Ничего друг другу не объяснять. Достаточно одного взгляда. Доживу ли я когда-нибудь до такого?..

Пожилой официант, обслуживавший ее столик, с трудом передвигался. Руки его дрожали. Это наверное был самый старый «гарсон» в Италии... А может быть, это был и сам хозяин ресторанчика... Он подошел к ней и сказал: «Вы прекрасны, мадемуазель!» и отошел в сторону... Сидевшая за другим столиком английская старушка ела одна, читая полицейский роман. На стенах помещения висели фото звезд кино, сцены, спорта, запечатленные рядом с хозяином заведения. Некоторые

актеры подарили ему свои портреты с автографами. Сакина подумала, что когда-нибудь и ее фото будет висеть рядом с этими знаменитостями... Вернулся Фаваз. Мрачный, злой. Сказал, что завтра утром он должен улететь по очень важному делу. Иначе он многим рискует. «Когда я был у тебя в стране, один из моих помощников наделал ошибок. Теперь надо посмотреть, во что это выльется. Речь идет о нескольких миллионах. Мне очень жаль, но придется испортить тебе медовый месяц. Сейчас я предлагаю тебе поехать в Рим. Ты там совершишь экскурсию по городу, погуляешь, а я к концу недели вернусь. Или, если хочешь, лети в Лондон, посмотри, как идут дела в твоей студии звукозаписи...»

– Нет, – ответила она. – Я полечу с тобой. Больше я тебя никогда не оставлю. Твои проблемы – мои проблемы. А мои успехи будут и твоими успехами. Я тебя люблю и не хочу оставлять тебя одного. Мы так мало знаем друг друга. У нас даже не было времени, чтобы наскучить друг другу. Поссориться.

Фаваз рассмеялся, взял ее за руку, прижал к себе и сказал:

– Ты просто чудо! Я так нуждаюсь в твоей поддержке! Я хочу, чтобы ты была всегда со мной – и моей сообщницей, и моей подругой, и моей возлюбленной. Наша любовь – прекрасна!..

...Ночью они заснули, прижавшись друг к другу. Она чувствовала, что ее муж страстно желает ее, но уважала его обещание, данное им врачу, его воздержания. А когда она предложила простой выход – использовать средства предохранения, то он решительно отказался, сославшись на какую-то бразильскую поговорку: «Это всё равно, что есть конфетку вместе с фантиком!» Она засмеялась и ласково провела рукой по лицу Фаваза: он не противился ее ласке...

...Когда они прилетели в Диар, в аэропорту их ждал черный лимузин с тонированными стеклами, который шофер подогнал прямо к трапу самолета. Шофер был очень похож на Саддама Хуссейна – те же усы, то же телосложение, тот же свирепый вид. Не сказав ни единого слова, он завладел кейсом Фаваза, открыв дверцу машины. Стояла жуткая жара. А в салоне работал кондиционер. Поехали молча, не обменявшись ни словом. Сакина захотела сесть поближе к мужу и взять его за руку. Он взглядом предупредил ее о том, что этого делать нельзя. Она не шелохнулась. Осталась на своем месте. Смотрела в окно на город. Кругом только высились дома и бежали ленты дорог. Прохожих не было видно. Какие-то рабочие – то ли из Йемена, то ли из Пакистана – переносили мешки с цементом. Ехали медленно. В тени было +45°. Машина приблизилась к фасаду какого-то дворца, открылись ворота, и они въехали во двор. И ворота закрылись. Сакина спросила, почему они вначале не заехали в гостиницу. Фаваз сделал ей знак, чтоб она замолчала. Он достал из кармана четки и теперь нервно перебирал их. Она подумала, что, видимо, дело, по которому они прибыли сюда, слишком серьезно. И в тот момент, когда шофер начал тормозить, Фаваз сжал руку своей жены. Машина остановилась перед парадным входом во дворец. Шофер открыл дверцу, чтобы выпустить Сакину. Фаваз уже вышел и ждал на ступенях дворца. И тут Сакина заметила какого-то невысокого и коренастого человека, одетого в белое, с толстым животом, с седой бороденкой... Она подумала, что это ей снится. Узнала того самого «принца», которого она оскорбила, на которого плюнула, который просил ее когда-то стать его женой, потому что он любил ее голос и ее грудь...

Он внимательно смотрел на нее. Она чуть было не потеряла сознание. А когда взглянула на Фаваза, то тот отвернулся от нее и сказал старику:

– Господин мой! Вот ваша вещь! Я вам ее возвращаю! Миссия моя выполнена.

...Два чернокожих евнуха увели Сакину, дивную певицу, в пожизненную тюрьму, где Богом обещанный ад – ничто в сравнении с тем, что она там будет сносить...

...Ее вынудили, угрожая убить, написать родителям, что она – счастлива и что во имя безумной любви к своему мужу она больше никогда не будет петь»...

Мне кажется, что приведенные фрагменты новеллы Т. Бенджеллуна лучше, чем любой абстрактный анализ не очень-то большого текста свидетельствуют и о художественном мастерстве писателя, и об особом его умении писать портрет своей соотечественницы. Но главное, этот текст позволит Читателю сопоставить выше отмеченные нами «гендерные» аспекты в литературе магрибинцев, поскольку ниже приведем в качестве иллюстрации пример и из творчества одной, уже тоже теперь известной, марокканки, где имеется почти созвучная тема, хотя и в несколько другом ключе и социальном «диапазоне», – в новелле марокканки Х. Бусседжры «Мира»⁶.

Хурийя Бусседжра, в отличие от Гонкуровского лауреата Т. Бенджеллуна, – новое имя в литературе Марокко. Однако у нее был уже издан роман, упомянутый выше, «*Le corps dérobé*» (1998 г.) («Сокрытое тело», – что можно перевести и как «Тайный стыд тела»), – где рассказано о сложных психологических взаимоотношениях матери и дочери, воплотивших жизнь разных поколений женщин сегодняшнего Марокко, по-разному понимаю-

⁶ См. сб. ее новелл «Незаконченные женщины»: H. Boussejra. Femmes inachevées. P., 2000.

щих Свободу, Эмансипацию, Запреты, Стыд и Необходимость и для женщины «самовыражения» и самостоятельности. Но автор прославилась именно книгой новелл о судьбах современных марокканских «рабынь» – социальных и сексуальных: служанок в домах богатых господ, невольниц в руках жестоких продавцов человеческого товара, пленниц в «особых» гаремах арабских шейхов. Книга имеет суггестивное название – «Незаконченные женщины», и в ней – калейдоскоп невыдуманных историй, услышанных из уст свидетелей или реальных прототипов героинь ее новелл о несостоявшихся жизнях тех, кто вырос в нищете, остался в сонме отверженных, но даже если и сумел выбраться вдруг (случайно, или проявив волю) из омута казавшегося уже бесконечным несчастья, то ненадолго: клеймо бесправного и бессловесного изгоя, которое легко может обрести женщина, если ей довелось родиться *в бедности* в сегодняшнем мире, где царит культ денег, затмивший даже авторитет религии (а в исламе высоко ценится именно доблесть мужчины как охранение чести женщины), вернется, запылает на ней снова. Нет там ни каст, нет рас, но есть, увы, все те же общественные «классы», разделяющие людей по признаку принадлежности миру *хозяев* или миру их современных *рабов*... И Закон, защищающий такое положение дел.

Вереница «служанок», портреты которых запечатлены писательницей в этой книге, – это новые звенья огромной цепи человеческих судеб, идущей из глубокой древности в наши дни, где особо остро переплетаются проблемы личные и социальные, традиция и необходимость общественного прогресса, экономические и политические трудности, приводящие людей к эмиграции, к следованию императиву «Уехать!»⁷. Во что бы то ни

⁷ Именно так назвал Т. Benjelloun один из своих романов: «Partir!». Р., 2006.

стало «Уехать!» (т.е. отправиться на поиски лучшей жизни), в свою очередь нередко влекут деструкции психологические: осознание человеком своей «ненужности нигде», «ничейности», утраты «корней», потери места в жизни и «своей» и «чужой». И многие произведения марокканской литературы (как и всей магрибинской) XX – начала XXI вв. исполнены горькими примерами таких судеб. Приведенные ниже фрагменты новеллы «Мира» (Mira) из книги Х. Бусседжры, – один из портретов современной марокканки, не «общезначимый», конечно, но и не случайный, ибо в нем – характерные штрихи и новых времен, и знакомый привкус так и «незавершившегося прошлого»...⁸ Хотя Закон, карающий в конце концов героини – суров, но – Закон...

«Во имя чего вы могли бы заставить людей излить вам свою душу, обнажать, не стыдясь, все тайны своей жизни, забыть о гордости и чести, лишь бы увидели вы их страдания и познали бы их истинную ценность?»

(Халиль Джебран, «Пророк»)

Во имя Правды...

«...Рассвет застал нас, когда мы еще были высоко в горах. Обычно в это время я выгоняла скот из стойла пастись на лугах. Сейчас я шла рядом с другими девушками из моей деревни, которые, как и я, отправились в город на работу в чужие семьи. Тетушка Семсара завила наших родителей, что всё будет хорошо и даже дала им задаток в счет будущего нашего жалованья. Мы отправились в путь поздно ночью; звезды ярко светили в небе. Еще вечером я ходила к ручью и стирала одеяла и теплые подстилки, чтобы подготовить домашних к

⁸ Напомню название первого романа классика марокканской литературы Д. Шрайби, воплотившего свою мечту о *завершении* Прошлого в эпоху Независимости: *Le passé simple*, т. е. «Простое прошедшее».

зиме. Мне не исполнилось еще и тринадцати лет. Теперь нам предстояло выйти на большую дорогу, по которой ходил автобус. Он-то и должен был подобрать всех тех, кто направлялся в город. Семсара пообещала моим родителям, что я буду работать в Рабате. И я рассталась со своей прежней жизнью, чтобы доставить им удовольствие. Мать с отцом убедили меня уехать...

...Я не знала, что меня ждет, а потому боялась. Мне не нравилась эта женщина, которая не промолвила ни слова за все время пути. Ничего не сказала мне о моих будущих хозяевах. Но у меня не было выбора. Теперь я уже не могла вернуться домой. Родители мои только разгневались бы.

Я никогда раньше не видела города. Но слышала, как старшие рассказывали о его огнях и невообразимом движении, о людях, которые все куда-то спешили, идя в разные стороны. И хотя некоторые молодые люди возвращались нерадостные, мне город казался каким-то вечным праздником. И сейчас, когда я ехала в город, я пыталась представить себе лицо моей будущей хозяйки, и оно казалось мне исполненным доброты. Как у моей матери.

Я не сомкнула глаз в пути. Семсара купила крутое яичко, очистила его, положила на кусок хлеба, придавив сверху, и дала мне поесть, не забыв сказать, что она заботиться о бедных и исполнена к ним сострадания. Но я не была бедной. У моих родителей был своей земельный участок, небольшой, но на нем паслись наши животные, росли оливковые деревья, и даже бежал ручей, водой из которого они делились с другими крестьянами, взимая с них небольшую почасовую плату за полив их полей. Для некоторых мои родители казались богачами. И я не понимала, почему они нуждались в деньгах, продав мои услуги каким-то чужим людям всего за триста

дирхам. Они сказали, что за меня им будут так платить каждый месяц. Хозяйка дома, куда я ехала на работу, обещала дать мне кров и кормить...

Пока я раздумывала о поступке родителей, не представляя, зачем и куда направляюсь, о себе самой и своей судьбе не размышляла. Не знала даже, вернусь ли домой когда-нибудь. Разве что утешала себя тем, что теперь буду носить городские платья и увижу много нового. Не буду больше пасти скот. А значит, не буду больше плохо пахнуть, – ведь запах животных просто впитывается в твою кожу, прилипает к тебе...

...«Скажите ее матери, что она ни в чем не будет нуждаться. Я буду обращаться с ней так же, как со своими дочерьми», – обратилась к Семсаре женщина, к которой мы пришли в дом. Семсара оставила меня у нее и исчезла.

– Мира, ты будешь спать здесь, рядом с моей дочерью, – приказала мне женщина.

Комната была большая, светлая. Я подумала, что женщина эта не лишена доброты, и что Господь благословил меня, послав к ней. Но каково же было мое удивление, когда ночью, перед тем, как лечь спать, я услышала, что должна постелить для себя на полу, рядом с кроватью ее дочери. Еще она произнесла, что лучше всего спать именно на полу, и что это полезно для здоровья...

Разбудила она меня очень рано. В кухне дала мне какой-то старый замызганный школьный халатик, из которого выросла, наверное, одна из ее дочерей, рукава его и мне были по локоть. От него пахло плесенью, было много пятен. Мне в нем было тесно и противно. Но надо было готовить завтрак и отнести его дочерям, которые еще спали. Их было четверо, и самая маленькая была моего возраста. Я должна выполнять все их капризы. Особой любезностью они не отличались, да и откуда

ей было взяться, если их мать внушала им всю жизнь, что они – самые умные и самые красивые, самые необыкновенные. Хотя я ничего особенного в них не заметила.

Женщина попросила называть ее Госпожой и обращаться к ее дочерям так же, только потом прибавлять еще и их имена. Она отвела меня в чулан, села на табуретку и остригла мои длинные волосы. Сказала, что у меня полно блох, и что лучше было меня обрить наголо и опрыснуть голову керосином... Я чуть было не расплакалась, но не посмела поднять глаз на мою мучительницу. Мне было стыдно, но я знала, что ничего в моих волосах не водилось, моя мама два раза в год за этим тщательно следила... Потом мне повязали платок. И я себя не узнала в зеркале. Я превратилась в кого-то другого по воле чужой женщины, из-за каких-то ее опасений. Просто ей, видимо, хотелось, чтобы я выглядела хуже, чем ее дочери. Она знала, что они красотой не отличались, и боялась, что кто-то может принять меня за одну из ее дочерей, если я буду хоть чуточку красивее, чем кто-то из них...

Обуви у меня не было, мне дали какие-то сандалии из пластика, очень жесткие и неудобные, они натирали мне пятки. Утром я должна была убираться в доме, а к одиннадцати часам идти в кухню и помогать готовить обед. Хозяйка велела мне хорошенько запомнить все ее жесты, чтобы лишний раз не тратить слов, объясняя мне снова, что надо сделать. Еще я не должна была никогда снимать платок с головы и свой халатик, служивший мне фартуком. Словом, я была должна постоянно быть наготове. Вот я и спала даже, не развязывая платок и в этом старом тряпье. Из-за боязни наказания.

...Меня долго мучило желание повидаться со своей семьей. Я не понимала, как это умудрились мои родите-

ли променять мою жизнь на мое рабство. Ведь в родной деревне я жила свободной и вольно дышала воздухом полей, когда пасла наш скот. Счастливая, я даже не осознавала этой свободы. В городе же, которого я и не видела вовсе, я только и делала, что ходила по пятам за своей хозяйкой на рынок, да исполняла желания других людей. И не видела этому конца... А Госпожа мне внушала, что мне повезло жить в такой семье, как ее. В другой я сидела бы на хлебе и воде... Я сейчас вспоминаю об этом, как будто все это было вчера. А провела я в этом доме целых пять лет. Тогда еще младшая из дочерей не вышла замуж, а другие уже покинули дом и ушли жить к своим мужьям. Мне удалось только один раз выбраться к себе в деревню. Там многое изменилось. А может быть, это изменилась я?

Но я, действительно, мало что узнавала. Все вроде бы было привычным, но в то же время уже и чужим. Кто-то вырос, кто-то состарился, чьи-то сыновья вернулись с заработков в городах и построили дома своим родителям. Кому-то повезло эмигрировать. Другие мечтали об этом. Пересечь границу и уехать подальше. Старики, оставшиеся в деревне, гордились своим потомством, жившим в больших городах: получали в конце месяца денежные переводы. Моя госпожа тоже посылала моим родителям деньги с помощью Семсары, имевшей свою прибыль. А я не получила за все годы работы у хозяйки ни единого су, разве что мне дарили по праздникам бумажку достоинством в десять дирхам.

Еще мне отдавали старые платья, из которых вырастали хозяйские дочери и с которыми они с жалостью расставались. Госпожа продолжала стричь мои волосы. Она хотела, чтобы они были как можно короче. И ей было невыносимо видеть, что мои волосы – шелковистее, чем у ее дочерей... Еще она мне твердила, чтобы я

не смела и думать о замужестве, да и по нынешним временам лучше жить одной... А еще лучше было бы, чтобы я ей прислуживала всю свою жизнь. Ей хотелось сделать из меня настоящую рабыню. Конечно, от нее не ускользали взгляды, которые бросали на меня мужчины, когда мы вместе с ней шли по улице. Но мне она велела всегда идти, опустив глаза. Стыдиться, не смотреть на чужих. А я мечтала выйти замуж, иметь свой собственный дом. Зависеть только от мужчины, который исполнял бы только мои желания, защищал меня, избавил бы меня от моих страхов... Конечно, я никому об этом не говорила. Да у меня и не было никого, с кем можно было бы поделиться сокровенными мыслями. Вот я и научилась скрывать их, разговаривать сама с собой, в одиночку, притаившись в своем уголке, по ночам. У меня так и не было кровати, где бы можно было полежать, отдохнуть, чтобы не болели мои усталые за день руки и ноги. И присесть-то просто было некогда...

...Так и оставалась я чужой всем в этом городе и в деревне своей тоже стала чужой. Нигде не было у меня своего места. Я как бы жила и не жила, была сама собой и словно какой-то другой, посторонней. Уже не знала, где мои корни, не ощущала их. Конечно, нечего было и думать о возвращении в деревню. Но жизнь мне и здесь казалась лишенной всякого вкуса. Безликой, стертой какой-то.

Надо было позаботиться о своем будущем. Найти какое-то свое место в том пространстве, где я теперь существовала. Конечно, я ничего такого не говорила своей хозяйке, обещала оставаться ей верной всю свою жизнь. Это было, разумеется, чистой воды ложью, потому что я мечтала уже давно иметь свой дом и царить в нем полновластной хозяйкой. А восхищенные моей фигурой взгляды мужчин только укрепляли меня в моих

надеждах... Да я знала и без этого, что и моя Госпожа, и ее дочери завидуют мне, моему телу, моей коже, шелку моих волос – потому и заставляли меня носить платок, скрывавший эту красоту... Но я-то, когда выходила из дома одна, все равно обнажала голову! И презирала этих женщин, которые считали меня своей рабыней...

...Я видела в их глазах только презрение, только приговор, что я никогда не буду кем-то другим, только человеком второго сорта, никем не желаемым, всеми принимаемым за жалкую посредственность. Но в глубине своей души я чувствовала иное, знала, что сами они ничего не стоят. Даже удивлялась, как это старшие дочери моей Госпожи смогли найти себе мужей в эти трудные времена. Теперь многие женщины мечтают выйти замуж, обрести достойных мужчин, но всё напрасно. Так и живут в страхе состариться в одиночестве, иссохнуть, не родить. Я же все эти годы жила только надеждой отомстить за свое бесконечное унижение. Хозяйка же пыталась убедить меня, что не сумеет обойтись без моих услуг, без моего присутствия в ее доме. А я знала, что она просто и дня не проживет без моей помощи. И считала себя истинной хозяйкой этого дома.

Ее мужа тоже обслуживала я. Каждый вечер наливала ему в тазик теплую воду для ног. Он поначалу не обращал на меня никакого внимания. Я была слишком молода для него, до того самого дня, когда он заметил, что мои груди налились и мои бедра округлились; старое платье туго обтянуло их. Вот тогда его взор устремился на меня. И всё изменилось. Он сам меня научил всем телесным удовольствиям. Я согласилась не сразу. Долго отказывалась от предложенных им утех. Но выхода никакого не было, и я подчинилась ему. Вот так и превратилась в цветущую женщину... Взяла своего рода реванш над Госпожой.

...Эта семейка, несмотря на внешнее взаимное согласие, жила недружно. И во многом я была тому причиной. Мои прелести у каждого члена семьи вызывали разные чувства.

Но с каждым днем и мне становилось все труднее выполнять приказы Госпожи. Даже называть так свою хозяйку я больше не хотела. Она уже была не главной в доме. В лучшем случае мы были равными. Потому что делили между собой одного и того же мужчину...

...Мои родители навестили меня тем летом. Остановились в городе на денек. Сказали мне, что могут забрать меня с собой, если я чувствую себя несчастной. Но я уже и вообразить не могла, что вернусь в деревню. Там уж точно я стану никем. К тому же я поняла, что их вполне устраивают полученные от моей Госпожи деньги за мою работу. Вроде бы теперь в этом доме я даже что-то значила. Да еще сам хозяин мне покровительствовал. А может, это мне только казалось. Но он же продолжал меня желать! И этого было достаточно, чтобы успокоить мою тревогу. Иногда я даже думаю, что Госпожа мне платила именно за те услуги, которые я оказывала ее мужу. Он-то сам мне ничего не давал, ни единого грóша. Да и как он мог? Ведь Госпожа рылась во всех моих вещах, и я не могла рисковать, припрятав хоть какой-то подарок. А ему и так было хорошо. Я в этом уверена. С ним у меня всё происходило днем, после обеда, когда его жена уходила из дома. Мы пользовались ее кроватью, которая была ее гордостью. Она говорила, что привезла ее из Италии. Вот так и я сражалась с ней, одерживая победу на ее собственной территории... Иногда даже надевала ее шелковое белье.

Когда смотрела на себя в зеркало, то видела там вполне привлекательную и даже вызывающе красивую женщину... Я любила эти моменты своего торжества:

глаза его блестели от желания обладать мной. Он умолял меня, а я исполнялась радостью, — хоть так, но жизнь улыбалась мне.

И я посмеивалась над наивностью моей Госпожи и ее дочек. Ведь мне удалось завладеть самым хозяином! И все другие уже ничего для меня не значили... Вообще, видимо, женщина чувствует себя реально существующей, ощущает свою силу лишь тогда, когда одерживает верх над своей соперницей. Вытесняет ее с ее собственного места. Это придает женщине какое-то даже мужское качество в ее сражении с другой.

...Как-то мне удалось убедить Госпожу отпустить меня на рынок одну. И я воспользовалась ее разрешением, чтобы побродить по городу, а главное — дойти до сада, окружавшего Башню Хассана⁹. Там каждый день, как сказала мне одна девушка, собирались служанки из богатых домов. Я присоединилась к ним, чтобы поболтать. Все ругали своих хозяек и во всех бедах и неприятностях, свалившихся на головы бедного люда, винили общество.

Собравшиеся в саду девушки были одеты во всё самое лучшее, что у них имелось, — так они надеялись привлечь к себе внимание военных, проходивших мимо. А вдруг, как в волшебной сказке, всё изменится в их судьбе и исчезнет нищета? Но в лучшем случае мужчины только использовали девичьи прелести, пообещав лучшую жизнь, но потом безжалостно бросали их. Я-то никаких надежд не питала и не строила иллюзий, зная цену этим «прохожим». Никакого доверия к ним не имела, и мне совсем не нужна была эта компания, мою жизнь надо было менять не таким образом. Хотя и была прислужгой, но я имела власть над своим хозяином и не считала себя нищей. Но я не осуждала тех, у кого не

⁹ Так называют жители Рабата этот высокий минарет. (С. П.).

было ничего, кроме этих жалких ожиданий поворота в несчастной судьбе...

...На рынке мне часто встречалась одна девушка, которая была не похожа на служанку. Мы с ней иногда останавливались, чтобы перебраться двумя-тремя фразами. Потом снова уходили за покупками. И вот однажды она мне сказала, что занимается устройством девушек на работу за границей. Я не осмелилась расспросить ее о деталях, но поняла, что знакомство с ней нужно продолжить...

...«Покрой голову! – закричала Госпожа, увидев, что я вернулась домой, нагруженная пакетами и сумками. – Твой хозяин дома!» Она всегда следила за тем, чтобы он не видел меня, когда я убиралась в комнатах. Иногда она меня просто запирала на кухне, если муж находился в доме. Вот как хорошо она его знала! Не подозревала даже, что в ее собственной кровати мы с ее мужем были на равных, а я даже, может быть, имела власть над ним бо́льшую, чем он надо мной...

...Когда я выходила одна на улицу, то снимала с себя мой жалкий халатик, распускала свои длинные, шелковистые волосы и чувствовала, как ласкали они мое лицо. Я становилась другой. Мне хотелось как можно подольше задержаться в городе, побыть на свободе и вернуться в хозяйский дом как можно позднее. Так я воровала для себя время...

Латифа, девушка, которую я встречала на рынке, спросила меня в тот день, сколько мне лет и где живет моя семья. Она думала, что я из Рабата. «У тебя такая белая кожа!» – сказала она, погладив меня по щеке. Я не поняла ее жеста, но у меня было ощущение, что она была добра ко мне. Ко мне раньше никто так ласково не обращался.

«Не горюй! – сказала она мне. – Я вытащу тебя из твоего рабства. Что-нибудь придумаю».

Я не знала, что Латифа может сделать для меня, но, видя ее драгоценности, – а она обильно украшала ими себя, – я подумала, что она-то уж сумеет найти какой-то надежный выход. И мне хотелось уже выглядеть так же, как она, и я была уже заранее ей признательна за внимание и даже за проявленное уважение...

Госпожа отсылала меня два раза в неделю после обеда убираться в домах своих дочерей, хотя у них и имелась своя прислуга. Но, как говорила моя хозяйка, в генеральной уборке квартиры мне нет равных. Мне было наплевать на чистоту квартир ее дочерей, но у меня не было другого выбора. И в тот день, когда я снова встречалась с Латифой, та мне сказала: «Послушай, Мира, надо, чтобы ты дала мне свое удостоверение личности, – это требуется для оформления загранпаспорта».

...Теперь я была во власти только одной мысли – возможности уехать, путешествовать. И всё остальное мне стало безразлично. Я ни с кем не разговаривала, работу свою делала, считая ее напрасной тратой времени, и даже охладела к притязаниям мужа хозяйки. Он казался мне каким-то червем, прилипшим к моему телу, стал мне противен, я в нем видела не столько господина своего, сколько раба, и я совершенно не желала, чтобы со мной обращались как с какой-то отверженной, парией. Общество мне отказывало в уважении из-за моего социального статуса – прислуги, оно и знать не знало, что творится в глубине моей души, исполненной муками и страстью к жизни, как у всякой нормальной женщины...

...Я увиделась с Латифой месяц спустя после нашей последней встречи. Она мне велела идти с ней получать мой паспорт. Я подпрыгнула от радости при мысли, что наконец-то меня ждет свобода. Теперь я – полноценная

гражданка, а не какая-то рабыня-прислуга. У меня теперь есть право иметь свой собственный паспорт! Теперь нет больше разности между мной и моими хозяевами!

Да, я не завидовала больше своей Госпоже. Сладкий озноб охватил меня в предчувствии новой жизни, хотя я не представляла, что это такое. У меня как бы туман стоял в голове, и он не давал мне возможности реально задуматься над тем, что ждет меня впереди...

...На следующий день я снова встретила с Латифой, на рынке. Она объяснила мне, что занимается тем, что помогает найти договорную работу для таких вот несчастных девушек, как я. А я ей понравилась, потому что у меня вид девушки порядочной и честной... Я подумала, что мне и вправду сильно повезло. Надо же было встретить человека, который поверил в меня и был готов изменить мою судьбу!

Латифа сказала, что сама оплатит все расходы по моему путешествию. Я должна была улететь в одну из стран Персидского залива через две недели. С этого дня я уже не замечала ни угроз, ни оскорблений Госпожи. Я сказала себе, что должна сопротивляться ей до самого моего отъезда. У меня не возникло даже желания повидааться с родителями, да я и считала уже, что они не заслуживают моих прощальных приветов: я не забыла, как жестоко они обошлись со мной, продав меня в рабство за три гроша. Вот как стану богатой, так и свершится моя месть за потерянное время моей жизни! Я почему-то представляла себе после предложения Латифы «работать за границей», что буду зарабатывать немыслимые деньги. Это кружило мне голову еще несколько дней...

...Там, куда я должна была лететь, мне надо было заботиться только о самой себе – о своем теле, о своей

красоте, и научиться танцевать восточные танцы. Меня, как сказала мне Латифа, должны будут научить там всему этому за две недели...

...Вылет мой был назначен на пятницу, мне это подходило, потому что в этот день я ходила за покупками для Госпожи после обеда. И мне не нужно было придумывать никакого повода, чтобы выйти из дома. Это будет моим последним «рыночным днем». Латифа будет ждать меня в машине. Так и случилось. Я села в ее машину, и она отвезла меня в роскошную квартиру в самый дорогой квартал столицы – Агдал. Там она заставила меня принять ванну, потом дала мне натянуть джинсы и отвела к парикмахеру. В зеркале я увидела совсем другую Миру – ее новый и лучший образ. Теперь у меня было только будущее, а прошлое исчезло. Я его выбросила из памяти. Однако я сказала себе, что никогда не должна забывать о горестях моей нищеты, и о том, что я их преодолела для лучшей жизни...

...Я села в самолет, замирая от страха перед неизвестностью. Меня, конечно, никто не провожал, когда я покидала родную страну. Какая-то женщина ждала меня по прибытию в мое новое настоящее. Она, в свою очередь, отвела меня в какой-то огромный дом, где всё было покрыто тайной. Там уже было много других девушек. Они лежали на мягких диванах. Увидев меня, бросились мне навстречу, расспрашивая о новостях из моей страны... Позднее я поняла, что многие из них не были на родине уже несколько лет. Они тщательно экономила деньги, сберегая каждую монету... Я была счастлива оказанным мне приемом. Почувствовала наконец, что мир открывает мне свои объятия. Мне дали разместиться в просторной комнате, где вся мебель была покрыта белым кружевом. Там было огромное зеркало, много светильников, и стоял гардероб, в котором висели пла-

тя, о которых я даже не мечтала. Флаконы духов в изобилии были размещены на туалетном столике со множеством выдвижных ящичков.

Меня попросила переодеться какая-то молодая красивая женщина, наверное здешняя хозяйка или домоуправительница. Она показала мне на роскошный пеньюар, лежавший на большой, пышно убранной кровати. Я в новом своем обличье вышла к остальным девушкам, которые, как мне показалось, готовились к какой-то вечеринке. Потом я узнала, что здесь каждый день – праздник, кроме пятницы: это был священный для всех день отдыха.

Внимание, которым меня окружили, шокировало. Ведь я не привыкла к этому, – моим уделом прежде было подбирать крошки, есть объедки и спать на полу.

– Ты такая красивая! – сказала мне та дама. – Вот увидишь, тебя хорошо отблагодарят здесь за твою несравненную красоту. Но для этого надо постараться.

Огни люстр, сиявших здесь, затмили мой разум, ослепили меня. Я не знала даже, где нахожусь.

В этот вечер за ужином было много мужчин. Вокруг них вились в танце девушки, одетые в прозрачные наряды. Мужчины бросали им деньги пачками, но танцующие не подбирали их, – для этой цели здесь была молоденькая девушка, лет двенадцати-тринадцати. На ней было длинное восточное платье, расшитое золотом и серебром. Другие девушки не забывали подливать гостям вино в бокалы. Здесь находились и прекрасные юноши потрясающей красоты. Они прислуживали за столом, разнося блюда с угощениями. Можно было подумать, что всё происходит где-то в раю. Дама подошла ко мне и сказала, чтобы я пошла в свою комнату и постаралась отдохнуть после долгого перелета.

Удивленная такой нежной заботой, я крепко заснула в эту первую ночь. И спала, не видя снов.

На другой день та же дама снова подошла ко мне и объяснила, что если я хочу остаться у них, то мне надо найти себе мужа. Что меня можно выдать замуж хоть сегодня же вечером. Но это будет обязательно мужчина лет шестидесяти. Так всё и случилось. Мой муж со мной не говорил. Никогда. Я к этому постепенно привыкла. Я научилась доставлять ему удовольствие, ему нравилось, и он появлялся в этом доме несколько раз. Мадам была очень мной довольна. За каждую ночь, проведенную с этим стариком, она дарила мне дорогие украшения. Я прятала свои сокровища в шкатулку и ставила ее под кровать. Накопив своё богатство за такой короткий срок, я стала думать о Марокко. Как я, когда вернусь туда, превращусь там в респектабельную особу. Теперь о деньгах уже не придется заботиться. И я отомщу своей Госпоже и ее дочкам. Мое общественное положение будет превосходить их...

Мадам потом представила меня другому господину, сказав, что прежний мой муж меня «отставил»¹⁰. И чем больше шло время, тем больше мужчин, казалось, спешило разделить со мной мое ложе. Особенно после того, как они видели мои танцы. А я стала замечательной танцовщицей, чьи телодвижения были похожи на пение сирен, завораживающее людей каждый вечер. Но главное было в том, что после всего этого Мадам никогда не забывала щедро расплатиться со мной...

...Так прошло два года. Мне вернули, наконец, мой паспорт, и Мадам сообщила мне, что я имею право посещать эту страну, когда захочу, и что я была самой верной ее девушкой среди всех других, самой послуш-

¹⁰ У мусульман этот обычай – «устного развода»-отлучения жены – весьма распространен. (С. П.).

ной. И добавила, что хотела бы продолжить контакт со мной...

...Когда я вернулась в Рабат, то купила себе большую квартиру в дорогом квартале Эр-Риад, машину и получила водительские права. Телефон был установлен, квартира – меблирована, и жизнь мне улыбалась. Я уже подумывала отправиться в родную деревню навестить родителей. Но не спешила. Можно было и подождать. Все равно, они всегда будут рады меня видеть, тем более когда у меня теперь есть деньги. Я, конечно, им сразу и скажу, что была замужем за богатым эмиром, который жил шесть месяцев в Марокко, а остальные полгода – в своей стране. Что у него там были важные дела и крупный бизнес. Конечно, моя семья будет счастлива услышать эту сказку, и совесть у них будет чиста...

...Мне надо было еще сделать кое-что, – это имело для меня большое значение.

Я припарковала свою машину перед старым рынком, куда когда-то моя Госпожа посылала меня за покупками. Там ничего не изменилось: такая же грязь, те же продавцы. Потом пошла к тому дому, где работала прежде. Позвонила в дверь. Никто не открывает. Постучала. На стук вышел мой бывший хозяин. «Вам кого? Что Вам угодно, госпожа?» «Ты что, меня не узнаёшь?! Это я – Мира!»

...Я вошла в свою старую тюрьму. Или, точнее, снова увидела те места, где была на каторге. Внешне там ничего не изменилось. Разве что всё и все состарились. Белые прежде занавески на окнах теперь мне казались серыми и тяжелыми от пыли. Я слышала, как шаркают по полу шлепанцы моей Госпожи. Мы встретились взглядами. В них было все, что мы хотели сказать друг другу. Она не осмеливалась мне признаться в том, как я изменилась. Да и как она это могла? Ни одна женщина

не признается в этом другой, если только обстоятельства ее не заставят. Хотя каждая женщина нуждается в комплиментах, признательности, благодарности, но ей никогда не отважиться сделать это для другой. А я была на седьмом небе, видя в ее глазах зависть, и мне не хотелось даже увидиться с ее дочерьми. Я и так была уверена в том, что она им все расскажет: о моей свадьбе с арабским принцем, о моем счастливом замужестве. Это я уж порассказала своим бывшим хозяевам! От предложенного им кофе я отказалась. Попрощалась и уехала. Отныне я пообещала себе разрушать подобного рода «счастливые семейные очаги» и безжалостно воровать мужей у таких женщин, как моя бывшая Госпожа. Пусть даже на несколько часов!

...В тот вечер я позвонила Мадам, чтоб спросить у нее, когда я снова могу начать свою у нее работу. Она мне ответила, что предлагает мне контракт другого рода. Что даст мой адрес туристам и путешественникам, которые на несколько дней смогут останавливаться у меня, чтобы отдохнуть и забыть о своих проблемах. Еще она попросила меня организовывать для этих людей их вечерний досуг и подобрать для них красивых молоденьких девушек... Не старше шестнадцати, — уточнила она. Потом еще добавила, что среди «посетителей» моего дома могут оказаться люди с особенными наклонностями, т.е. они могут попросить обеспечить их хорошенькими мальчиками, загорелыми и крепенькими. И чтоб со светлыми глазками!..

...Я уже сознавала, что никогда больше не смогу даже претендовать на достойную жизнь. А потому, не задумываясь, приняла предложение Мадам. Как и ее обещание положить на мой счет в банке кругленькую сумму. Деньги — вот то единственное, что мной теперь принималось в расчет... Только благодаря им у нас стано-

вятся «респектабельными» гражданами, занимают высокое место в обществе. И никого здесь не волнует, откуда эти деньги берутся у людей. Лишь бы их, этих денег, было много!.. А все эти женщины, которые на меня косо поглядывают или презирают, все они – ханжи. Просто их проституция – это их «узаконенный» брак. А в глубине своей души они мне все завидуют и хотели бы быть на моем месте. Но я всего добилась сама, одна, без всякой помощи какого-либо мужчины! Я просто использовала вожделения мужчин, которые пользовались мной: ведь они не могли не поддаться моим чарам, не могли избежать соблазна и продали бы целый мир за мои ласки!

И теперь каждый вечер праздник был в моем доме, у меня. И мужчины были счастливы обрести здесь всю возможную красоту, которую они никогда бы не встретили где-то на улице. Им не надо было искать утех, я им сама подбирала для этого молодых и красивых, без малейших изъянов: цена за таких была дороже. Очень высокой. У мужчин из стран Залива девственницы – в особой цене. Они не любили, чтобы кто-то их опережал. А потому каждый раз, посещая Марокко, возвращались в мой дом. Мадам меня предупреждала заранее об их визитах. Говорила, кто придет...

...Вот и сейчас я всё приготовила в доме. Кто-то из гостей уже подоспел. Девушки все были на месте. В дверь позвонили. Я была, как всегда, великолепна, надев свои украшения. Пошла открывать сама... Двое мужчин стояли передо мной, устремив на меня ледяной взгляд. – “Полиция!”, – представились они.

* * *

Печаль этих повествований, на мой взгляд, – невыдуманных, конечно же, историй *женской жизни*, – тем не менее как бы *светла* изнутри самих этих свидетель-

ствований: они, в общем-то о том, что, несмотря ни на что, женщина еще может думать о Свободе, хотя каждая понимает ее по-своему. Платя за это горькую цену. Но рано или поздно Свобода когда-то придет... И каждый распорядится ею по-своему.

...Поначалу, когда я прочитала эти новеллы, мне даже вспомнились слова старинного русского романа, написанные в «серебряном веке»: «И если на тебе избрания печать, // Но суждено влачить ярмо рабыни, // Умей терпеть. // Умей любить. // Умей молчать //...»¹¹

Марокканки могут не смиряться. Несмотря на очевидное могущество инерции «социальных устоев». Если пишут правду о судьбах своих соотечественниц. Может быть, они верят в то, что сказал однажды замечательный алжирский писатель Р. Мимуни: «Le printemps n'en sera que plus beau» – «Весна непременно придет и станет еще краше»?..

И во всю мощь зазвучит тогда, я в это верю, дивный голос Сакины, героини Т. Бенджеллуна. И танец прекрасного тела Миры станет Песнью Освобожденной Надежды... И это – не только **моя Вера**, хотя с этой страной – Марокко – многое меня связывает лично¹².

В Истории мусульманского мира «*Путь к себе*» как *путь к вершинам своей Цивилизации* свершался нередко. И освобождение мусульманки от как бы *предназначенного ей Всевышним некоего «земного» ее Удела*, возможно, станет когда-нибудь обретением не только ее собственного личного достоинства, но и возвращением

¹¹ Слова М. Лохвицкой.

¹² Там нам с мужем довелось довольно долго жить и работать, там родился наш сын, там я начала свои студии магрибинской литературы, там пришлось узнать, что такое истинная жизнь и судьба марокканок, с которыми довелось встретиться. С тех пор многое, конечно, изменилось. Но многое осталось и почти прежним. Так рассказывают мне и мои друзья, и коллеги, посещающие или работающие в Марокко... Но марокканки, как и другие магрибинки, продолжают писать. Пусть по-французски (да и по-арабски они пишут немало, а это значит, что Свобода творчества есть)... (С. П.).

тех Традиций человеческой Жизни, которые, возможно, и обусловят Возрождение Цивилизации из уже почти замыкающего круга только поражений.

**О «ГОСПОДНЕМ ЗАМЫСЛЕ»
И ЛЮДСКОМ УМЫСЛЕ**
(по следам женских откровений в
магрибинской литературе)

*...Ничто не может
Отнять у меня
Ни молчания дня,
Ни света в ночи...*

Поль Элюар

Казалось бы, давно ушли в прошлое 50–60 годы XX в. – время мощного расцвета магрибинской литературы, время, озаренное мечтой о Независимости, о Свободе и Независимости, доставшихся немалой ценой¹. И было вполне понятно тогда, в эти годы, обращение, к примеру, алжирских писателей к поэзии одного из самых ярких французских поэтов, чье имя неразрывно с эпохой Сопrotивления его страны фашизму в годы Второй мировой войны, – Полю Элюару: это его стихи одна из первых женщин-алжирок, взявшихся за перо, чтобы рассказать миру о своем народе, – Ассия Джебар поставила эпиграфом к своей книге «Дети нового мира»:

*«Бедам всем вопреки и строго
Дети нового мира сплотились – и тень
Ночи им не страшна, и хозяева наши
Не страшны. Светит им наступающий день»².*

¹ В Алжирская война за Независимость – почти 1.000.000 жертв.

² Assia Djebar. Les enfants du Nouveau monde. P., 1962. Русское издание: И светит им наступающий день. М., 1965. Пер. Э. Лазебниковой.

Не надо уточнять, **кто** были тогда эти хозяева: у французов в ту эпоху – свои, хотя и ненадолго, у алжирцев – свои, почти сто тридцать лет... Главное, что **народ** по ту и по другую стороны Средиземного моря мечтал о пришествии Нового мира, а потому страстно и уверенно ждал Рассвета Нового Дня, нетерпеливо различая Свет в Ночи.

Но вот, почти полвека спустя, снова прочитала строки Поля Элюара, предваряющие одно из знаковых произведений алжирской современности, – роман Маиссы Бей «В начале было море»³, о котором я уже упоминала выше. Я их поставила и эпиграфом к этой главе, потому что в них заключена **главная интонация** и сегодняшнего творчества магрибинок, но особо характерная именно для женщин-писательниц.

Возможно, эпоха Ожидания Свободы и Счастья как-то перекликается с нынешней, потому, что люди *всегда* ждут Рассвета как конца не просто ночи, но мрака жизни, но возможно и потому, что Ночь Прошлого как бы внезапно опустилась над Алжиром, повергнув его в ужас новой Войны⁴, на этот раз с врагом не чужим, но собственным, и кто в этой Войне был прав, кто виноват, рассудит История. Однако неслучайно в названии первого романа М. Бей упомянуто именно «Море». Оно всегда было символом Вольного Простора, Дыхания Надежды, определявший и эпоху борьбы за Независимость⁵ и вновь обозначило жажду Счастья, жажду Сво-

³ Maïssa Bey. Au commencement était la mer. P., 1996 ; перевод 2003.

⁴ Как мы уже писали выше, в 1989 г. в Алжире вспыхнул террор, продолжавшийся вплоть до начала 2000-х годов, развязанный Фронтом Исламского Спасения, практически переросший в гражданскую войну, вызванную во многом царившими в стране политической нестабильностью, экономическим спадом, безработицей и чиновничьей коррупцией, что вызывает массовые протесты и демонстрации и по сей день...

⁵ «Кто помнит о море» (Qui se souvient de la mer. P., 1964) – так назывался роман классика алжирской литературы М. Диба, связавшего с метафорой Моря эпоху ан-

боды⁶ для тех особенно, кто был отягощен и «системой запретов» – издавна ставшим обязательным соблюдение норм религиозной морали. А воцарение «исламских догм» и тенденций искоренения «западной культуры» в стране, давно уже ставшей «поликультурной», совершившей когда-то свою битву за Независимость как Революцию своих социальных устоев, дарующую человеку, но особенно – женщине, Надежду на полноправность, на свободу собственного выбора дороги Жизни в эпоху гражданской войны уже на исходе XX в. было особо болезненным. О том, как были убиты надежды, как не свершилась Мечта о Счастье, как было снова попрано человеческое достоинство, как снова унижена Женщина, как были забыты идеалы Революции, как опустился новый Мрак над страной, как в «горле застрял крик отчаяния», как постепенно воцарялось «Молчание моря», глухая Тишина, исполненная человеческим страхом за Жизнь, Маисса Бей напишет⁷, и они подтверждаются примерами и других произведений, в том числе и новеллистического творчества Зинеб Лабиди. Наша попытка ознакомления читателей с образцами современной малой прозы и других магрибинцев⁸ была продиктована не только ее особой созвучностью эпохе, о которой в основном или просто молчали, или мало писали наши политологи, наши социологи, да и литературная критика почти совсем забыла о Магрибе конца

тиколонияльной войны. О нем см. подробно в наших работах «Франкоязычные писатели Магриба 60–70 гг.». М., 1980, «Обречение Авеля». М., 2020.

⁶ Именно так – «La soif», «Жажда» называлось, если вспомнит внимательный Читатель, первое произведение Ассии Джебар, отразившее чаяния и надежды молодого поколения алжирок, вступавшего на порог Новой Жизни (см. русск. перевод романа в: «Ассия Джебар. Избранное». М., 1990).

⁷ Bey M. Nouvelles d'Algérie. P., 1998; Cette fille-là. P., 2001 ; Entendez-vous dans les montagnes. P., 2002 ; Sous le jasmin la nuit. P., 2004 ; Surtout ne te retourne pas. P., 2005 и др.

⁸ См. нашу «Антологию» магрибинской новеллистики XX–XXI вв. М., 2019.

XX – начала XXI столетия. Дело даже не в образцах, которые удалось представить Читателю, и не в созвучности судеб женщин-писательниц (З. Лабири род. в 1946, а М. Бей род. в 1950). По «первой» своей профессии – обе не писатели, как и многие другие женщины-магрибинки, они – преподавательницы французского языка, и обе начали издаваться в то время, когда именно французский язык был практически «искоренен» из обращения в стране в период усиления радикального исламизма и ужесточения расправ именно с франкофонной алжирской интеллигенцией⁹. И не в очевидности их пронзительного мастерства рассказчиц: в конце концов, для магрибинской франкоязычной литературы в целом свойственна высокая художественность (вспомним творчество Катеба Ясина, А. Греки, Ж. Сенака, Мохаммеда Диба, Мулуда Маммери, Малека Хаддада, Рашида Буджедры, Рашида Мимуни, Тахара Ваттара, А. Мемми, Т. Бекри, А. Серхана и мн. др. выдающихся магрибинских прозаиков и поэтов¹⁰). А «женская литература», новая волна которой, как это ни парадоксально, высоко поднялась именно на исходе XX в., в тяжелые для Алжира, в «смутное» для Марокко и Туниса время, давно имеет славную традицию. Именно в Магрибе засверкала плеяда имен (и мусульманок, и христианок), которыми гордится литература на французском языке в арабских странах: Джамила Дебеш, Фадьма Амруш, Маргарита Таос, Анна Греки, Ассия Джебар, Хафсийя Джелила, и именно женские имена «разгораются» сегодня все ярче и ярче на небосводе художественной культуры «этнических» магрибинцев и в Северной Африке, и во Франции

⁹ Мне довелось выше уже рассказывать о произведении Ассии Джебар «Оран, мертвый язык», частично посвященной и этой проблеме в книге «Любовь земная». М., ИВ РАН, 2004.

¹⁰ Об их творчестве см. подр. в Истории национальных литератур стран Магриба. Т. Литература Алжира. М., 1993 (колл. авторов) и др. наших работах.

– горизонты их существования теперь – и по одну, и по другую стороны Моря: Малика Моккедем, Сония Мумен, Латифа Мансури, Фарида Бельгуль, Нина Бурауи, Джюра, Зулика Буккорт, Лейла Себбар и мн. др., о творчестве которых мне доводилось писать немало¹¹.

...Но в новеллистике Зинеб Лабиди и Маиссы Бей, на мой взгляд, слышится особое звучание, вобравшее в себя и умение Ассии Джебар услышать *пульс эпохи*, и лирическое искусство «женского откровения», страдающей «душой исполненный полет» воображения Маргариты Таос, и экспрессивный трагизм Нины Бурауи, и меланхолическую литанию Лейлы Себбар, и художественный документализм Джюры, и неподражаемое мастерство перевоплощения в свою героиню Фарида Бельгуль...¹² Главное, конечно, для меня – *прямое свидетельство*, ничем не прикрытая отвага «взятия слова» (как сказал когда-то марокканский писатель, лауреат Гонкуровской премии Тахар Бенджеллун о героине своего романа «Харруда») именно там, где оно практически было запрещено в 90-е гг., а для женщин – *особо*. Перефразируя известное «казнить нельзя помиловать» можно определить «формулу» сборников новелл (достаточно красноречиво названных писательницами «Новости из Алжира», «Прошедшие по жизни»¹³, или строкой старинного романа «Жасмином ночь благоухала...») как «МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ». Именно так. Нельзя говорить, потому

¹¹ См. наши работы: Между мистралем и сирокко. М., 1998; Иммигрантские истории. М., ИВ РАН, 2003; Женский портрет на фоне Востока и Запада. М., 2006 и мн. др.

¹² Я имею в виду написанную от лица маленькой девочки – алжирской иммигрантки, ее потрясшую франкоговорящий мир повесть «Жоржетт!» (1986 г.).

¹³ И то, и другое название можно перевести по-другому («Les nouvelles d'Algérie» Маиссы Бей как «Алжирские рассказы», а «Passagères» Зинеб Лабиди как «Встретившиеся в пути»). Однако, как мне кажется, предлагаемый выше перевод названий больше соответствует смыслу сообщаемого и обобщаемого писательницами.

что в рассказах героинь произведений писательниц затронуты болевые точки *женского удела, определенного Религией, Традицией и новой Войной* – войной двух *разных времен*, существующих вместе, но противостоящих друг другу: прошлого, еще живущего в настоящем, и настоящего, которое пытается смотреть в будущее...

Но и нельзя молчать, потому что «тишина, – как сказано в одной из новелл М. Бей, – может раздавить». Слишком велик страх, слишком много сдерживаемого гнева и отчаяния страдающих не только от того, что происходит вокруг, когда повсюду льется кровь, не только от постоянной своей женской *униженности*, но и от тягостного осознания женщинами *своего «бесчестия»*, ибо «*норма благочестивости*» достигается ими невероятной ценой своего *смирения* с тем, что кажется им *противоестественным*, или даже ценой ухода из жизни, которая приносится «обесчещенными» в жертву Богу – Аллаху «Всемилощивейшему» и «Всепрощающему»...

Порой (как это показано в новелле М. Бей «В молчаньи утра») осознание «*нечистоты*» своей души, исполненной *сомнениями в своей правоте*, но что еще хуже – в правоте своего любимого, становится как бы сродни утрате девичьей невинности, и тогда концепт «бесчестия» может терзать женщину, ибо она, мусульманка, не может не знать, что «*благочестивы*» только те женщины, кто понимают, что мужья их всегда «**выше по достоинствам**» (Коран, сура 2; 228¹⁴), а потому и сомнения в достоинстве благих намерений своего мужа воспринимаются героиней как тяжкий грех. Она, не последовавшая за своим мужем, которому грозили смертью преследовавшие его террористы, не захотевшая бросить свой дом и укрыться (и может быть и спастись) с люби-

¹⁴ Здесь и далее использую перев. Н. Османова. Но и у христиан сказано: «...всякому мужу глава Христос; жене глава – муж» (св. апостол Павел, I послание к коринфянам, гл. 11:3)... (С. П.).

мым в чужом, невольно ускорившая его гибель от пули тех, кто «сеял в стране страх», терзается теперь своим «*нечестивым*» поступком не меньше, чем героиня другой новеллы – девочка с истерзанной бандитами плотью, не знающая, что лучше – повеситься, как ее подруга по несчастью, или жить дальше – «обесчещенной» среди людей, которые никогда не простят ей «зла», пусть и жестоко отметившего ее тело, но и лишившего ее той «чистоты», которую ей предназначено было блюсти (новелла М. Бей «В ночной тиши»).

Молчание¹⁵ невыносимо, ибо оно разрывает душу человека грузом невысказанного, потаенного, порой «стыдного», «запретного». Но и в бесконечности, «несмолкаемости» разговоров о несчастьях «страны и народа», и даже близких людей, в попытках *замещения* словом необходимости действия, хотя и осознаваемого «говорящими» людьми как *бесполезное*, – груз Пустоты, который тоже тянет душу человека в бездну отчаяния от гражданского своего «бесчестья» (новелла М. Бей «Давайте поговорим о чем-нибудь другом!»). Хотя и психологический этюд женской души, страдающей от своего «бесчестья» – мнимого «предательства» мужа; и жестокий реализм зарисовки измученного тела тринадцатилетней девочки, идущей на встречу со смертью, чтобы спастись от свой «нечистоты»; и сгущенная в уродливый гротеск салонной болтовни «хроники текущих событий» – расправ террористов со своими жертвами (как «бесчестие» самой страны), – всё становится необычайно точным и важным свидетельствованием современниц о состоянии общества, переживающего глубокий кризис ценностных ориентиров. Когда уже прожившие полсотни лет в независимой, самостоятельной, богатой природными и человеческими ресурсами, некогда процве-

¹⁵ У М. Бей слово «silence» – как «тишина», «безмолвие».

тавшей стране люди ощущают свою жизнь и судьбу как «**проклятие**» «извечных войн»¹⁶, вечно «тяготеющее» и над самой Историей народа, или как невозможность народа спастись от унижений и постоянной угрозы «бесчестья»... Значит, если есть такое самосознание (как осознание своей фатальной предназначенности), то нет твердости в самих *устоях* жизни, ее социальных, этических, духовных основах. Что-то пошатнулось, а может быть просто разошлась, раздвинулась та, старинная уже трещинка, которую подметили уже сразу после войны за Независимость те, кто еще «*помнил о Море*», об идеалах Революции, о высокой Надежде на Победу, плоды которой достались, увы, не сражавшимся в горах отважным партизанам...¹⁷

...Но люди пытаются *выжить*, даже зная, что цена такой жизни слишком завышена, что унижение свое и смирение (или даже покорность) свое со «злом» – слишком тяжело для души, а порой – и бесполезно, и опасно. Ибо нельзя поверить человеку, сумевшему как-то «умерить свою гордыню», примириться с тем, что противно его сознанию, противоречит разуму, стесняет и плоть, и дух. Поэтому новые «повстанцы» – «*воины Аллаха*», взявшись за очищение общества от «скверны» его светскости, от «заразы» привнесенных в него западных норм жизни и морали, спасая его от «бесчестья» и «бесстыдства», насаждая запреты на образование женщин, повелев им снова «закрыться», носить хиджаб, покрыть голову, не верят той, которая учила их когда-то в школе французскому языку, но теперь одевшую одежду

¹⁶ Именно так назывался последний роман безвременно скончавшегося в годы новой алжирской войны Р. Мимуні – «*La malédiction*». Р., 1992.

¹⁷ Об утрате иллюзий, связанных с независимостью Алжира, написаны многочисленные художественные произведения алжирцев. См., напр., А. Djébar. *Les alouettes naïves*. Р., 1965; М. Dib. *La danse du roi*. Р., 1968; Р. Boudjedra. *Le démantèlement*. Р., 1982; Т. Djaout. *Les chercheurs d'os*. Р., 1984; Р. Boudjedra. *Le desordre des choses*. Р., 1990; Р. Mimouni. *La malédiction*. Р., 1992 и др.

«благочестивой» мусульманки (как в новелле Зинеб Лабиди «Смирившаяся»). Они, конечно, убьют ее, как убивают всех, кого по-своему считают виновными в несчастях и бедах народа, так и не одолевшего нищеты, безработицы, неграмотности, болезней, массового исхода из деревень, массовой эмиграции... Среди их жертв – и интеллигенция, бывшая во время антиколониальной Войны и Революции в Алжире (как повсюду в Магрибе в эпоху борьбы за Независимость на исходе 40-х – начале 50-х гг.) яркой и отважной «выразительницей общего несчастья», – именно таковыми считали себя учителя, поэты, прозаики, журналисты...

Но даже зная, что смерть может ждать человека в эпоху террора где угодно, – дома, в подъезде, на улице, в гараже, у газетного киоска, на набережной, в кафе, в автобусе, в школе прямо на уроке, – повсюду, где достанет пуля или полоснет по горлу нож; даже зная, что тебе грозит в любое время «развод» или мужнино «отлучение», отсыл жены в родительский дом за *непослушание*, а значит за «бесчестье»; даже принимая постулат о том, что «женщина – *ниже по достоинству своему, чем мужчина*», даже понимая, что поступок твой – уход из дома – может стать вечным твоим *позором* и лечь клеймом «бесчестья» на весь твой род, твою семью, женщина может найти в себе способность *преодолеть страх*, переступить через «Запрет», забыть на время о жгучести стыда за содеянное, за вкушение недозволенного, и отдаться порыву души, томлению тела, учащенному ритму сердца, зову Жизни, еще пульсирующей на этой земле. Вот почему в «безымянных» новеллах Зинеб Лабиди – только «мимолетности» женского существования, фиксации отдельных состояний женского естества, не уstraшенного свирепствующим повсюду террором: Танцующая ли вопреки желанию мужа на свадьбе

своего брата; Убегающая ли из вполне благополучного дома навстречу с неизвестностью, не выдержав «диктанта» мужа; Размышляющая ли о причинах своей униженности мужчиной, либо не стерпевшая привода им в дом четвертой жены; Вспоминая ли о горделивой «непокоренности» своих предков, страдавших от чужих набегов; Одевшая ли хиджаб — «как все», — чтобы слиться с массой женщин, пытающихся использовать традиционное «закрытие» тела как «завесу» от воцарившейся повсюду угрозы Смерти, — героини так или иначе еще находятся в *пространстве Жизни*, ценя тот ее миг, который дает пусть краткое, но такое радостное ощущение освобожденности... Надо ли говорить о том, как бесценен этот миг?

Однако, литература, сосредоточенная именно на проблеме «женского удела» (мусульманки) и на исходе XX в., и в начале XXI (а художественным свидетельствованиям ее остроте несть числа), не может не вызвать вопрос о том, *зачем* культивируется в обществе и по сей день концепт женского «бесчестия», насколько *реальны* опасения и страхи, а главное, действительно ли они связаны именно с «запретами» **религии**, возврат к «чистым истокам» которой проповедуют исламские фундаменталисты, так или иначе, но усилившие практически повсюду в мусульманском мире свое влияние на общество, совершая битву свою за «очищение прогнившего до основания мира» именем Аллаха? И не переставая удивляться все возрастающей ответной, особой реакции художественного сознания магрибинцев, и женщин особенно, писательский «отряд» которых не только не замолк, но вырос¹⁸, не только не сложил своего оружия под давлением

¹⁸ Явление, характерное для стран Магриба, наблюдаемое и в Алжире, и в Марокко, и в Тунисе, где женщин-писательниц, по нашим наблюдениям, становится все больше и больше... (Я вообще склонна думать, что и «женское» и «мужское» франкоязычное художественное свидетельство или раздумья магрибинцев об окружаю-

«исламистов», но и «отточил» его, демонстрируя свой мастерство, удивимся главным образом тому, что в Священном писании мусульман **не** содержится, с моей точки зрения, ни смертельных угроз женщине, ни даже намеков на необходимость ее **принижения**, угнетения и **отнятия у нее свободы**, если таковую она желает обрести...

Не поленимся заглянуть в Коран и Хадисы пророка Мухаммеда и прочитать «свод» из цитат, где речь идет именно о «женской доле» мусульманки.

Поскольку «праведные» и «неправедные» дела в мире, где ислам – **основная** религия, с некоторых пор все чаще и чаще совершаются «во имя Аллаха Всемогущего», то сверить «Замысел» Всевышнего с «умыслом» людских деяний порой становится настоящей необходимостью. Это позволяет различить изначальные установления, наставления, предписания и рекомендации, содержащиеся в тексте Корана и их «бытовые» трансформации, иногда гипертрофированные (а иногда и «стертые»)¹⁹ многовековой Традицией, укоренившись в народе обычаями (хранящими еще иногда и до-

шем их мире — явление особое и издающееся в странах Магриба и в Европе, главным образом во Франции, не только потому, что эта литература — часть общественного сознания, остро реагирующего на вызовы современного исламского мира, но и потому, что именно в Европе и особенно во французских городах все чаще совершаются в формах свирепых террористических расправ вылазки исламистов, ибо и их реальное присутствие в обществе, давно ставшем поликонфессиональным, наполовину североафриканскими эмигрантами, очевидно, нуждается в предупреждении.)

¹⁹ Имено в виду убийства и расправы с людьми, часто ни в чем не повинными, не являющимися ни рьяными сторонниками, ни ненавистниками как и официальной власти в стране, так и сил «исламского возрождения», прибегающих к террору: действия последних особо расходятся именно с кораническими предписаниями [см., напр., суру 5, ст. 32: «Если кто-либо убьет человека не в отместку за [убийство] другого человека и [не в отместку] за насилие на земле, то это приравняется к убийству всех людей» (слово «насилие» — ар-фасадун — М. Ю. Крачковский переводит словом «порча»; М. Асад: «corruption» — «разложение»; М. Али — ...«вред, беда»; Маудуди — ...«всеобщий беспорядок»; Блашер — ...«возмущение»; Масон — ...«насилие». См. комментарий Н. О. Османова к пер. Корана, с. 443]; сура 17, ст. 33: «Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах» (имеется в виду право возмездия, казни или сражения — комм. Н. Османова, Коран, с. 492)]. Коран, перевод с арабского и комментарий М.-Н. О. Османова. М., 1995.

исламские традиции жизни, а потому по-своему либо усиливающие, либо дополняющие исламскую). Сюда можно добавить вполне патриархальные предрассудки и поверья, с «именем Аллаха» напрямую не связанные, однако «проецирующиеся» в общественное поведение и общественное сознание в совокупности с религиозным.

В меру наших возможностей, обратимся к русскому переводу арабского текста Корана, выполненному не столь давно, а потому с учетом многих других переводов (и научных толкований) и изданному под весьма солидным грифом Российской Академии наук и ее Института востоковедения. Разумеется, используем только те фрагменты, где речь так или иначе идет об *отношении к женщинам*. Цитат подобралось немало, но, полагаю, собранные вместе, они по-своему отразят и засвидетельствуют не только исторически конкретную обусловленность определенных исламом установлений и предписаний, но и непреходящий смысл онтологической оппозиции «мужчина и женщина», а также сущностное единство их общечеловеческого предназначения.

Не исключаю, что в тексте Священного писания мусульман осталось еще больше о том, на что я сумела обратить внимание, однако и эти фрагменты вполне красноречивы.

Итак,

Коран,

Сура 2, ст. 148. Для каждой общины есть своя *кибла*²⁰. Так стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях» (везде подчеркнуто мной. – С. П.).

Сура 2, ст. 187. ...Ваши жены для вас – одеяние, а вы одеяние для них.

²⁰ «Запретная мечеть», т. е. запрещающая «стычки» – комм. 117 к суре II М.-Н. О. Османова (если решиться метафорически истолковать «общину» в ограниченном, «*семейном*» аспекте, смысле, то Дом человека тоже должен иметь свою «кибду» (С. П.).

Сура 2, ст. 215. Скажи: «Прежде всего должно (позаботиться, дабы) осталось родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам.

Сура 2, с. 221. Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют... Не выдавайте [дочерей] замуж за многобожников, пока они не обратятся в веру.

Сура 2, ст. 222. ...не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся²¹. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах. Воистину Аллах любит кающихся и любит очищающихся.

Сура 2, ст. 223. Ваши жены – Ваша пашня [где вы сеете семена потомства]. Приходите на вашу пашню, когда возжелаете. Готовьте для себя [грядущее добрыми деяниями].

Сура 2, ст. 228. ...Женщины имеют [по отношению к мужьям] такие же права, как и обязанности, согласно шариату и разуму, хотя мужья и выше их по достоинствам.

Сура 2, ст. 229. О разводе объявляйте дважды, после чего надо удержать жену, как велят шариат и разум, или отпустить ее достойным образом (т. е. без споров об имуществе и без «оговора». – С. П.). Вам не дозволено удерживать что-либо из дарованного (в качестве калыма)... (N. В. Жена может сама выкупить развод за счет оговоренного при замужестве калыма. – С. П.).

Сура 2, ст. 231. Когда вы даете развод женам, то по прошествии установленного для них срока (ожидания месячных. – С. П.) оставляйте их (у себя), согласно обычаю (если они окажутся беременными. – С. П.) или не отпускайте их по обычаю, но не удерживайте.

²¹ Вероятно, имеется в виду самое основное для «естества» женщины – ее менструальный цикл. – С. П.

живайте с мыслью повредить им, преступая [закон]. А тот, кто поступит так, совершит насилие по отношению к самому себе...

Сура 2, ст. 232. Когда вы принимаете развод ваших родственниц, то по прошествии установленного срока не препятствуйте им вступать в брак с (прежними) мужьями, согласно обычаю, если между ними установилось согласие. Это наставление тому из вас, кто верует в Аллаха и в Судный день. Так [будет] благороднее и чище для вас...»

Сура 2, ст. 233. Не причиняйте никакого вреда матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка.

Сура 2, ст. 237. ...Не забывайте, что вам следует относиться друг к другу с благожелательностью.

Сура 2, ст. 240. Если кто-либо из вас упокоится и оставит жен, то следует завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не изгоняли из (вашего) дома. А если они сами покинут (ваш дом), то нет греха на вас за то, что они предпримут, согласно обычаю...

Сура 4, ст. 3. Если вы опасаетесь, что не сможете быть справедливыми с сиротами, [находящимися на вашем попечении], то женитесь на (других) женщинах, которые нравятся вам, – на двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете заботиться о них одинаково, то женитесь на одной, или на тех, которых вы взяли в плен (на войне с «неверными». – С. П.)

Сура 4, ст. 4. Даруйте женам их махр (откуп. – С. П.). А если женщины откажутся от чего-либо (из махра), то пользуйтесь этим во благо и в удовольствие.

Сура 4, ст. 15. А против тех из ваших жен, которые совершат прелюбодеяние, призовите в свидете-

ли 4-х из вас. Если они подтвердят (прелюбодеяние) свидетельством, то заприте (жен) в домах, пока их не упокоит смерть или Аллах не предназначит им иной путь.

Сура 4, ст. 20. Если вы захотели заменить одну жену другой, и если первой из них был выделен даже кинтар золота, то не удерживайте из этого ничего [совершая грех].

Сура 4, ст. 11. Аллах приписывает вам завещать (наследство) вашим детям так: сыну принадлежит доля, равная доле двух дочерей. А если оставшиеся дети – женщины числом более двух, то им принадлежит две трети того, что бы оставил. Если же осталась всего одна дочь, то ей принадлежит половина наследства. А родителям умершего (если есть ребенок) ... принадлежит каждому по 1/6 того, что он оставил... Если же у умершего нет ребенка, то мать умершего наследует 1/3.

Сура 4, ст. 19. О вы, которые уверовали! Не разрешено вам наследовать женам против их воли. Не запрещайте им забирать часть махра, который вы им дали (при женитьбе), если только они не совершили явного прелюбодеяния. Обращайтесь с вашими женами достойно. Если же они неприятны вам, то ведь может быть так, что Аллах неприятное вам обратит во благо великое.

Сура 4, ст. 34. Мужья – попечители (своих) жен, поскольку мужья расходуют (на содержание жен) средства из своего имущества. Добродетельные женщины преданы [своим мужьям] и хранят честь²²,

²² То есть супружескую верность и имущество (коммент. Н. О. Османова, Коран, с. 431).

Для сравнения можно привести перевод этого аята Корана В. Пороховой (М., 2001: «Мужья над женами стоят (Блюдя очаг их и сохранность). За то, что Бог одним из них дал *преимущество* (выделено мной, ибо далее во многом комментирует суру 228) перед другими, и также потому, что весь расход на содержание семьи из

которую Аллах велел беречь. А тех жен, в верности которых вы не уверены, [сначала] увещайте, [потом] избегайте их на супружеском ложе и, [наконец] побивайте²³. Если же они повинуются вам, то не обижайте их.

Сура 4, ст. 128. Если женщина опасается, что муж будет дурно обращаться с ней или избегать ее, то не будет на них греха, если они поладят миром, ибо мирное решение – лучше. Хотя люди (по природе) и скупы, но если вы будете творить добро и будете богобоязненными, то воистину Аллах ведает о том, что вы вершите.

Сура 4, ст. 129.... Не будьте же полностью благосклонны (к одной), оставляя (другую) заброшенной. Если вы исправите (свои прегрешения относительно жен) и будете богобоязненными, то ведь Аллах – прощающий, милосердный.

Сура 24, ст. 31. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, пусть они прикрывают (головными) покрывалами вырез на

их имущества исходит». (Комментарии переводч.: Кау'амун – тот, кто защищает чьи-либо интересы в жизни и при этом строго блюдет справедливость. Это слово никоим образом не несет нравственного приоритета [См. суру 2, ст. 228: И здесь для женщин справедливы те права // Что и права над ними у мужчин, – // Но у мужей сих прав – на степень больше» (Комментарий можно сравнить с французским переводом 1840 г., выполненным М. Kasimirski по арабскому тексту, где этот аяят стоит под № 38: «Les femmes vertueuses sont obeïssantes et soumises; ells conservent soigneusement pendant l'absence de leur maris ce que Dieu a ordonné de conserver intact» [У В. Пороховой в переводе:

*Мужья над женами стоят. ...
А потому добродетельные жены
Послушно преданны мужьям,
Что повелел им Бог хранить.*
(Коран. М., 2001, сура IV, ст. 34)].

²³ Комментатор утверждает, что Мухаммад осуждал избиение, что он рекомендовал это лишь в крайнем случае (измена) и в легкой форме, без увечий (Коран, пер. Н. О. Османова, страница 432).

груди и не показывают своей красоты (мужчинам), кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своим женщинам, или своим невольникам, или слугам из мужчин, у которых нет вождения, или детям, которые не ведают о женской наготы; пусть они не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрываемые красоты. Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении, – быть может, вы будете счастливы²⁴.

Сура 33, ст. 53. ... Если просите у жен Пророка какую-либо утварь, то просите ее через завесу. Это безгрешнее для ваших и их сердец. Вам не подобает ни огорчать Посланника Аллаха, ни жениться когда бы то ни было на его вдовах после его смерти, ибо это – великий грех пред Аллахом.

Сура 33, ст. 59. О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать (от других женщин) и не подвергнут оскорблениям.

²⁴ Для сравнения небезынтересно вспомнить и христианское воззрение на проблему необходимости *сокрытия* тела женщины и *покрытия* ею своей головы. Так, в I Послании к Коринфянам Св. Апостола Павла говорится (гл. 11:3–17): «...Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос; жене глава – муж; а Христу глава – Бог. Всякий муж молящийся или пророчествующий с покрытою головою (выделено мной. – С. П.), постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову; ибо это то же, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога.

Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою главою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него; но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии...»

Сура 55, ст. 2. Когда они выдержат установленный срок, то оставьте их (у себя) с добром или же отпустите с добром (при разводе. – С. П.).

Сура 55, ст. 6. Поселяйте их там, где вы сами поселитесь – по вашему достатку. Не причиняйте им вреда, дабы не поставить в трудное положение. А если они беременны, то содержите их, пока не разрешатся от бремени...

Сура 55, ст. 7. Пусть обладающий достатком уплачивает (разведенной жене) согласно своему достатку. Тот же, кто стеснен в средствах, пусть уплачивает часть того, что даровал ему Аллах...

И в хадисах Пророка Мохаммеда нет никаких «отступлений» от данного Ему Аллахом Откровения, и вся основная «гендерная парадигма» и здесь может быть выражена формулой: «Милость моя берет верх над гневом моим»²⁵. Так, в хадисе 5-м читаем (напоминающая об ...«абсолютизации» концепта женской «чистоты» как единственного признака благочестия): **«Чистота – это только половина веры... Смирение (терпение) – освещение (веры)»**. В хадисе же 13-м мужчине дается прямое поручение быть «защитником и блюстителем тех непосредственных обязанностей, которые его положение (в семье и обществе) накладывает на него», и «нести ответственность» за действия тех, кто находится в его подчинении или на попечении...» Но если мужчина «является учредителем порядка» для всех «проживающих в его доме», то, в свою очередь, сказано далее в хадисе 13-м, **«женщина является также распорядителем в отношениях со своим мужем и его детьми»**. Иными словами, – уточняется хадисом, – **«каждый из вас явля-**

²⁵ Хадис 1. Здесь и далее цитаты из хадисов приводятся в перев. В. Пороховой по изд. Аль-ахадис аль-кудсийя. Хадисы Пророка. Центр Аль-Фуркан. Дамаск, 1419 г. по хиджре.

ется своего рода пастырем, и ответственным за свою паству»(везде выделено мной. – С. П.).

Любопытно, что весь объем понятия «зла» и как «дурного», «нехорошего», и как «необоснованного обвинения», и как «сомнения в истинном положении вещей», и даже «хулы», как «любое посягательство будь то на честь, имущество или жизнь другого», вплоть до «преступления Господних пределов», – а именно так дешифруется арабское слово «зулум» переводчиком, – в хадисе 17-м²⁶ передан с помощью синонима «притеснения»: «О слуги мои, Я запрещаю любое притеснение при отношении к Себе и запретил его вам по отношению друг к другу, – а потому не посягайте ни на честь, ни на имущество, ни на жизнь друг друга». И как не прислушаться благочестивым и правоверным мусульманам к словам Айиши, жены Пророка, передавшей людям его наказ, воспроизведенный в хадисе 84: «По вере в Бога лучший из верующих тот, кто лучшим образом следует правилам хорошего тона и *добрее всех к своей жене*»...

Неслучайно, видимо (а точнее, именно поэтому) Абу Дауд, передавая слова Пророка, мог сказать: «Из всего разрешенного (в исламе) самым ненавистным в деснице Аллаха является развод» (хадис 86)...

И сколь бы ни «осовремененными» переводом могут показаться слова Мохаммеда, переданные в свидетельстве Аббаса в хадисе 106, нельзя не отметить их глубокого *реального* смысла, обобщающего «неумеренность» притязаний и мужчин, и женщин во все времена и повсюду находивших повод для взаимного неудовольствия или разлада и забывавших о границах-«пределах» дозволенного им свыше...

²⁶ Из Аль Ахадис аль'Кудсийа, с. 46.

Итак, не найдя в наставлениях Аллаха (мне доступных) ни особых угроз, ни устрашения (кара Судного дня – для всех грешников), а в запретах Его – ничего особо противоестественного²⁷, вернусь к «женским откровениям» в творчестве современных магрибинок и задамся вопросом, отчего же все-таки так горек и Рассвет, и День женской жизни, фиксируемой художниками, отчего так давит Ночь, опускающаяся в душах их героинь. Почему сама жизнь их превратилась в «оковы», и нет конца того Пути, который был когда-то, еще в начале 50-х гг. XX в., определен героиней романа марокканского писателя Дриса Шрайби «Простое прошедшее» (1953) как путь, уготовленный для мусульманки: «Между тюрьмой малой (в Доме) и тюрьмой большой» (в окружающем мире)...

Кто-то из магрибинок и в 50-е, и в 70-е еще, и в 80-е, и в 90-е гг. XX в. попытался разрушить стены хотя бы одной из них, этих тюрем, где испытывали особый «гнет» мужской части своей семьи, не позволявшей жить так, как жили девушки и женщины *другого мира*: – француженки, другие европейки. Не забудем, что колониальное «сообщество» на одной земле не могло не влиять на самоощущение мусульманок в пространстве на-

²⁷ Нельзя же, в самом деле, видеть в словах о том, что «мужчина выше женщины по своему достоинству», яркий пример дискриминации, особого «унижения» женского пола как такового в исламе. Не менее «красноречивы» в этом плане тогда окажутся куда более ранние слова христианского Апостола Павла, обращенные к коринфянам (11:2), хотя в них содержится объяснение религиозной иерархичности оппозиции муж // жена. Для сравнения: о концептах «униженности» и «достоинства» (человека вообще) в античной и византийской традиции см. у С. С. Аверинцева в «Поэтике ранневизантийской литературы». М., 1977, с. 56–83, где особо примечательно толкование крайней формы унижения человеческого достоинства – **рабства** в более ранней чем ислам, такой монотеистической религии как христианство, однако, позволяющее некую усеченную «проекцию» и на ислам. Само по себе абсолютное повиновение «Воле Всевышнего» (в том числе и исполнение Его «запретов» в исламе, добавим и мы) как *служение* человека *Господу Богу* Всевышнему, исключает, как отмечает исследователь, само «*рабство человеческой природы*», ибо «*служящие Господу*» **уже не суть рабы людей** (выделено мной. – С.П.). (об этом см. подробно в: С. С. Аверинцев. Указ. соч., с. 58).

блюдаемой ими «современности», несмотря на все барьеры конфессионального и социального различия...

Редкие в уже далекие годы эпохи колонизации женщины-магрибинки, имевшие возможность учиться в европейской школе или даже в университетах, отвергали традиционный уклад жизни своих семей, обрекавший, как они считали, женщин на «бесцветность и покорность», – именно так рассуждали героини первых произведений и Д. Дебеш, и Ассии Джебар. Героиня последней – Салима из романа «Дети нового мира», отважная защитница своей и своего народа Независимости, боровшаяся за нее *«вопреки всему»*, даже переносила именно во французской тюрьме мучения и пытки, не переставала думать о том «великолепном чувстве гордости», которое переполняло ее и ее соратниц, окрыленных мечтой и преисполненных *воли добиться «другой жизни», «преодолеть все трудности», «преобразить» свой мир*. И в первый раз это чувство она испытала именно тогда, «когда она покидала колледж с *«завоеванным дипломом в руках»*, а затем тогда, «когда она *поняла*, что является посланцем своего народа в тот, *другой мир»*²⁸.

Я специально выделила курсивом «ключевые» слова в цитате из произведения, написанного по «горячим следам» битвы за Независимость Алжира, потому что именно *Свет Знания*, породил не только волю жить «по-другому», без оков Традиции, но и *национальное самосознание*, т. е. осознание народом себя как особой целостности, способной и **противостоять** Чужому – завоевателю, угнетателю и т. д., и жить **самостоятельно**, т. е. *выбирать свой путь*, хотя и писать на языке французском и исповедовать идеи Века французского Просвещения... Жизнь распоряжалась по-разному судьбами

²⁸ «Светит им наступающий день». М., 1965, пер. Э. Лазебниковой, с. 78.

таких женщин, по-разному понявшим и тогда этот неодолимый зов **Независимости**. (Вспомним судьбы и героини «Жажды» самой А. Джебар, и героини Хафсийи Джелилы, вырывавшихся из «оков Традиций» и попавших в общем-то в плен одиночества.)

И если одними из магрибинок овладевало «чувство гордости» и «преисполненности воли» бороться, они страстно приветствовали обретенную магрибинскими странами Независимость²⁹, то другим – а таких было большинство, приходилось просто претерпевать, а может быть и принять, «малую тюрьму» своего Дома, ожидая Рассвет Новой жизни³⁰. Ну, а особо «нетерпеливые» или отмеченные особой «жаждой» Свободы, попытавшиеся разорвать «путы» своей зависимости от дома и семьи, бросив вызов традиционной морали, становились, как одна из героинь романа А. Джебар «Дети нового мира», Тума, даже женщинами «публичными», доступными не только «взорам» мужчин, преступавшими все «запреты» и Аллаха вообще, и общественной морали, или не знавшими о них вовсе... Но с такими женщинами обычно «разделявались» их же собственные братья (как в этом же романе А. Джебар), или другие защитники «чистоты» нравов и женского «достоинства и чести»... Но таких, как Тума, было немного в творчестве магрибинок. А

²⁹ В приведенном ниже в Приложении к нашей книге – фрагмент романа Хафсийи Джелилы «Пепел на заре» – яркое свидетельство этого.

³⁰ Возможно, это было мотивировано особо заметным в *практике* ислама уравниванием в своих смыслах понятий, что есть стыд // чистота // честь // благо, и упорным охранением женщины от «скверны», озабоченность «стыдом» ее, утратой ей «благочестивости», а отсюда и сковывающим «свободу» женщины слежением за поведением ее *за* пределами Дома (сопровождение ее мужчиной – братом или мужем – на улице, требование «защиты» ее от «чужих взглядов» и т. п.), т. е. *так или иначе* охранением ее «естества», ее «целомудрия» от любой возможности нарушения «целостности». Это, конечно, восходит к еще ветхозаветному концепту «материнской утробы», символу *сокровенности*, «потопленного укрома», связанному с мотивом «тихой безопасности» в святом мраке чрева матери-земли». Помимо всего этого, как отмечает исследователь этой проблемы в христианстве, «утроба вообще – образ мягкой, чувствительной, *болезненной незащищенности перед ударом*» (см. С. С. Аверинцев. Указ. соч., с. 63–64). (Выделено мной. – С. П.).

Свет занимавшейся Свободы, за которую сражались или отстаивали, так или иначе проникал в душу каждого магрибинского писателя. Ведь даже тогда, когда Тауфик, брат Тумы, персонаж Джебар, убил свою родную сестру на городской площади, он не только знал о том, что и на нем «было пятно..., грязь» «позорного» поведения своей сестры, но и то, что эту «грязь» **«надо было отмыть»** кровью убиенной, потому что помнил, давно хранил в душе рассказ *того, чью «честь оскорбила дочь-мусульманка, отдавшаяся чужеземцу»*. Реальная история борьбы против колониализма, ставшая уже легендой, сохранена в памяти даже убийцы своей сестры, «поправшей свое достоинство». Он *помнил* рассказ знакомого о том, что одна девушка, которая, «даже не продавшись» тому, кто лишил ее чести, и убитая у реки своим собственным отцом, *защищавшим честь своего рода*, по-своему была символична: его народ когда-то восстал в конце концов, пусть и сто с лишним лет спустя, за *поруганную честь родной страны, плененной чужеземцами...*

Но ведь восстанавливая в кровавой борьбе за свое освобождение от **их**, чужеземцев, гнета **свою «честь»**, свое «достоинство», магрибинцы так или иначе **обещали Свободу** своим народам. Она, Свобода, согревала Светом Надежды (в том числе и женщин – на освобождение от гнета «внутреннего» – засилья религиозных догм и запретов). Все ждали *«Обновления Солнца»*³¹ – Светом Нового дня, занимавшегося над страной...

...Алжирская Война за Независимость странным образом совместима извечные человеческие принципы защиты Отечества, родной земли, родного народа с

³¹ В романе А. Джебар «Дети нового мира» есть знаковый образ маленькой девочки, которую партизан Али увидел играющей *«среди пепелища»* на месте сожженной дотла горной деревушки: «Он продолжал смотреть на нее, а она, не испугавшись, улыбнулась, а потом пустилась бежать вниз по склону. Она бежала в мир обновленного солнца». В русском переводе – «Светит им наступающий день», с. 217.

древними обычаями этой земли – восстановления «чести» семьи, рода, племени³², отмщения за поруганное врагом их достоинство, «достояние» – понятия, издавна связанные не только с понятием территориальной целостности, но и с женским «целомудрием», равно охраняемыми людьми как *сокровища*, в границах, запрещавших нарушение их «чистоты». Ибо она определяла и сохранность его родовых владений, и «чистоту» рода, дававшую возможность его продолжения и процветания. (Исламская религия только «впитала» в себя уже существовавшие во многих странах, куда проникала, древние обычаи и понятия, усилив «запреты» повелением Всевышнего и Всемогущего.) И трансгрессия сферы «запретного», переход человеком границ «дозволенного», всегда воспринималось в народе – повсюду в Магрибе – как состояние *разлада* основ, устоев, крушения «опорных столбов», на которых держалось традиционное восточное общество, в отличие от западного, неохотно и по сей день «впускающее» в свои недра так называемые «современными» нормы нравственного, социального и политического мироустройства.

Не удивительно, что завоеванная Алжиром в 1962 г. Независимость особых, радикальных перемен в традиционном укладе обычной жизни народа не принесла, хотя именно женщины все-таки стали свободнее, полу-

³² См. подробно о концепте «чести племени» в нашей статье «Положение мусульманки в границах поликультурного общества» в кн.: Ислам и общественное развитие в начале XXI века. М., 2005, с. 265–281. Интересно отметить также, что именно в годы подъема национально-освободительного движения и в годы самой Алжирской войны некая демонстративная даже приверженность образованных алжирцев (да и всех магрибинцев) и к древним обычаям, и к конфессиональным традициям означала дистанцирование себя от колонистов-европейцев в целом и французов, в частности, чья культура пустила в эпоху колонизации уже глубокие корни (в Алжире особенно). В способе культурного противостояния колониализму была своеобразная попытка «самосохранения», спасения алжирской «самосущности» от ассимиляции и «обезличивания» народа. В современную эпоху – «глобализации» – происходит нечто подобное в тенденции даже радикального «избавления» от «засилья Запада»...

чив доступ и к образованию, и многие гражданские права, которых были лишены раньше, в том числе и право на обретение профессии, на самостоятельную работу, а значит, – и выход **за** пределы Дома. Однако, главное в их жизни осталось: брак и семья. (И в Тунисе это было – чуть раньше – так же как и в Марокко. Обе эти страны получили Независимость уже в 1956 г.). Но как показывают даже очень «эмансипированные» магрибинки, редко кто думает «расправляться» с вековыми обычаями и где «мужское превосходство» так или иначе (или в той или иной мере), обуславливает и зависимость дочери в семье от отца и братьев, родительского выбора ей жениха, «покорность» (пусть не такая, как раньше) жены мужу, его преимущественное право и на развод, и на новую свою женитьбу при сохранении брака с первой женой... И по-прежнему женщина здесь (как и повсюду в мусульманском мире) будет ждать рождения, конечно, сына³³ – будущего хранителя «рода и племени», защитника и матери своей, и имущества семьи, и «чистоты» своих сестер, основное предназначение которых – выйти замуж, не нарушив главное: ни свое, ни своей (родительской), ни мужниной семьи *достояние*, именуемое «**честью**»...

...Но, может быть, не так уж и противоречив или «неуместен» сегодня этот «принцип превосходства», обрекающий женщину на некую зависимость от мужчины, если даже просвещенные героини алжирки Зинеб Лабиди – и «вдовствующая», и «замужняя», и «униженная», и «убегающая», – все они, так или иначе, ощущающие гнет *запретов*, власть предрассудков и древних обычаев, неполноправность свою и даже неполноценность, не то чтобы смиряются с вековой Традицией

³³ «Богатство и сыновья – украшение жизни в этом мире», – Коран только утвердил вековую уверенность людей этой земли: Сура 18, аят 46.

жизни, но все-таки так или иначе *возвращаются* «на круги своя»: вдова будет уповать на своего старшего сына; двое из трех жен «вернутся в кухню» в ожидании четвертой; будущая свекровь уже предчувствует возможность высказать невестке *свои «претензии»* и свое неудовольствие, – иначе как одолеть извечную свою «второсортность» в доме мужа? Ну, а «убегающая» никуда так и не убежит, несмотря на уже почти открытую дверь своего дома: ибо знает заведомо, что тайный возлюбленный ее все равно никогда не будет *достойн ее выбора*, – и не нарушит запрета брать в жену ту, которую «*познал до свадьбы*»... (Любовь и здесь, в Магрибе, отнюдь не «дитя Свободы», – магрибинки, даже «бикультурные», всегда осознавали границы *дозволенного* религией и обычаем. И женщина порой тяжело расплачивалась за их нарушение...) Но, ведь, и добровольно надевшая хиджаб современная женщина («как все»), прекрасно понимающая парадоксальность самой этой странной *моды на древний, почти сакральный атрибут*³⁴, *рожденной страхом*, а не радостью «обновления» своего облика, неожиданно почувствовала себя *более свободной*, и однажды даже позволила себе «*полную свободу*» – одела и чадру и платье на *обнаженное тело свое*... (из моего интервью. – С. П.).

³⁴ В Коране есть прямое указание на то, что жены Пророка Мохаммеда жили в «затворе», скрытые *завесой*. «...А когда просите их о какой-нибудь утвари, то просите их через завесу» (сура 33, ст. 53). Мусульманское «покрывало» (как синоним «завесы», призванное скрыть само женское тело от взгляда «других», является и своеобразной защитой женщины, охраняющей и ее «неприкосновенность» для Чужого, и «тайну» ее существа, ее *целомудрие*(сура 24, ст. 31). Исследователь проблемы «завесы» в исламе, особенно в его мистических учениях, пишет: «Подобно тому как Завеса Тайного защищает от непосвященного высшую гносеологическую ценность, домашняя завеса... охраняет высшую ценность семьи – женщину. На профанном уровне женщина становится отчасти “уравненной” с трансцендентной Истиной: она запретна... для “чужих” и открывается “своим”... [Суворова А. Ностальгия по Лакхнау. М., 1995, с. 117–180]. [Для сравнения: о трансцендентном смысле понятий «завеса» и «покрывало» в христианстве см.: Второе послание к коринфянам Святого апостола Павла, гл. 3:11–18; Послание к евреям Святого апостола, гл. 6:18; 19; 20; гл. 10: 19, 20, 23].

Так в чем же дело? Почему же, вот уже почти семь десятилетий, с тех пор, как написан роман Лейлы Дебеш «Азиза» (подр. см. выше), не прерывается цепь женских свидетельствований (в рамках только художественной словесности) о «деспотизме» исламских запретов, о жестокой власти Традиции Жизни, но одновременно и непрекращающейся жажде женщин изменить ее тесное, узкое «русло», выйти на простор, где вольно дышит грудь и взор открыт дальним горизонтам?.. Отчего эти «слезы души», страдающей и мечтающей о Свободе и в годы колонизации Францией, и в годы борьбы за Независимость, и в годы «строительства Новой Жизни», и в годы, даровавшие магрибинкам возможность распоряжаться своей профессиональной судьбой и плодами своей политической самостоятельности, и в годы наступившего «похмелья» после упоения Победой над французами, изгнания *Чужих* (колонизаторов и иже с ними), и в годы обретения странами массы врагов «внутренних», *Своих*, недовольных ни новой Властью, ни новым Порядком, так и не избавившими народ от нищеты?³⁵ Ведь лейтмотив многочисленных уже книг и алжирок Малики Моккадем, и Латифы Бен Мансур, и Лейлы Маруан, и Маиссы Бей, и Зинеб Лабиди³⁶ и др. магрибинок – это горечь несостоявшегося Счастья, так и не обретенной Свободы, извечности «женского удела», неодолимости *русла Жизни в оковах берегов, на одном из которых Деспотизм Традиции, на другом – Диктат Со-*

³⁵ Алжирская литература, к примеру, как и марокканская, пристально фиксировала все происходящее после обретения Независимости, пытаясь разобраться и в бездне новых политических и социальных противоречий, и в причинах новой войны, связанной с усилением исламского фундаментализма (см. романы 80–90-х гг. и начала XXI в. Р. Буджедры, Р. Мимуни, М. Дибя, А. Джебар, Тахара Бенджеллуна и др.).

³⁶ См., напр., Mokkedem M. Les hommes qui marchent. P., 1990, L'interdite. P., 1992, N'zid. P., 2006; Bey M. Au commencement était la mer. P., 1996; Cette fille-là. P., 2000, Surtout ne te retourne pas. P., 2005; Marouane L. La jeune fille et la mère. P., 2005; Ben Mansouri L. L'année de l'éclipse. P., 2001 и мн. мн. др.

временности. Но это – неизбежность... И женщины это знают. Так было и так будет, наверное, всегда. А потому – «замужняя» останется «замужней», зависимой от воли мужа, даже если восстанет против его власти; «вдова» останется «вдовой», т. е. женщиной так или иначе «ущербной», никому особо «неприглядной», почти «нечистой», – ибо был у нее уже «мужчина», а «опозоренную» или «обесчещенную»³⁷ ничто уже не спасет, – ни отмщение за поруганную бандитами ее честь, ни долг врачей, пытающихся вылечить ее потрясенную несчастьем своим душу. Измученная уже своим «позором» она сама избавит себя от своих мучений, и именно Женщина придет ей на помощь, указав на выход из больницы, ведущий в мрачный овраг, ведущий в Смерть, ибо только она спасет девушку от жизни в «бесчестьи»... Да и «надевишую хиджаб» все равно убьют: не потому что она «зналась с «чужими», иностранцами, но просто потому, что обучала «чужому» языку алжирских же детей... (подр. см. выше в кн. А. Джебар «Оран, мертвый язык», 1998).

А потому в книгах современных магрибинок – и вызов, и протест, и отчаяние, и смирение, и поиск компромисса, и вечная неутоленность Жажды «полета», «Танца» души и сердца, но и трепет тела, слышащего пульс «изначала Жизни», ощущающего его ритм, как никто другой... Но именно в книгах женщин-писательниц и ясное осознание *всего этого своего «безумия»* – ведь «жернова Жизни» беспощадны к «зерну», попавшему в них, если верить старой берберской пословице... И потому они, «вечно угрожаемые», но и «вечно источающие угрозу» (мания женской «чистоты» и «чести» в мусульманской семье) так пронзительно и горько

³⁷ Я имею в виду новеллу М. Бей «В молчанье ночи» (сб. новелл «Les passagères»).

и любят Жизнь, и ненавидят в ней то, что по-своему отягощает возможность Мечты о «лучшей доле». И она превращается порой и в мечту о «сладком плене» (слова и из русской песни!) – Любви, замужестве. Женщины ненавидят **Время Страха**, в котором их **насильственно заставляют** жить «Именем Аллаха», Время кровавого террора, превратившего *обычные* и даже уже *привычные* традиции жизни, быта в символ принадлежности к миру тех, кто объявил свою беспощадную войну не только нищете, безработице, чиновничьей коррупции, но и **«всему чужому»**. Так, древний замысел охранения «Чести племени»³⁸ как женского *целомудрия* и *злой умысел* «спасения» достоинства общества от «нечистоты», понимался и как **непринадлежность к вере в Аллаха**, и как **несоблюдении** неверующими в Него Его Учения. Но именно в этом Учении, или лучше даже Получении людей верить в Его, Аллаха Всемогущество и Всемилолюбивость, блюсти свою и своей семьи Благочестивость, уметь защищать свое достоинство и достоинство, помогать бедным и сиротам, пытаться жить в мире с женами, даже с «отвергнутыми», как я пыталась показать выше, цитируя строки Корана, – трудно найти *угрозу кровавых расправ* с «непослушными» или намек на необходимость именно **убийства их новорожденных детей** и жестокость мщения их близким... Но именно от *этого* творившегося в реальности исламскими «радикалами» Зла и хотевшего воцариться повсюду *страха* страдают героини магрибинок³⁹. А некоторые, испытав нелегкую и долю Свободы, Эмансипации, ищут укрытия в старом «родительском доме», спасаясь от страха

³⁸ Характерно название книги Р. Мимуни – «L'Honneur de la tribu», вышедшей в годы начавшегося в стране террора (1989).

³⁹ См. книги А. Djébar «Le blanc de l'Algérie», «Vaste la prison», «Oran, la langue morte», «Morte sans sépulture» и др., изданные в последнее десятилетие XX в., а также L. Ben Mansour «L'année de l'éclipse». P., 2001.

одинокости, как героиня марокканки Я. Шами в представляемой ниже во фрагментах ее повести «Церемония»...

Но книги эти – не просто свидетельства безысходности Войны Времен – Прошлого и Будущего, бесконечности крушений Надежд и Идеалов, неодолимости Судьбы, предназначенной Женщине. В них – живое дыхание Настоящего, попытка снять с него Завесу Молчания и взять Слово, чтобы сказать, пусть даже в «беспроблесковой Ночи» о том, что **Жажда Рассвета** не иссякает в душе человека, что сердце женщины все также отзывается на *«ритм земли»*, зовущей к Движению, к радости ощущения биения Жизни, солнечного тепла, «вкуса Моря», вольный простор которого снова и снова рождает мечту о Счастье и Свободе... И главное – извечную Надежду⁴⁰ на Будущее.

⁴⁰ Заметим попутно, что если даже отвлечься от важной для нас проблемно-тематической сферы, существующей, к примеру, в художественной литературе алжирок, и соотнести ее (частично, конечно) со сферой религиозного сознания, определяющего традиционный уклад мусульман (что мы попытались показать выше), то небезынтересно сопоставить концепты «страха» и «надежды», особо явленные в творчестве алжирских писательниц, не только с общечеловеческим переживанием Жизни как таковой, но и с другими, близкими исламу, формами религиозного мировоззрения (другими арамейскими религиями). Так, исследователь проблемы «унижения и достоинства человека» в ранневизантийской литературе пишет: «Легко усмотреть, что **драматическое сосуществование ликующей надежды и пронзительного страха**... укоренено в самих основах христианского представления о человеке. Уже Ветхий Завет осмыслил человека не как равную себе природную сущность, поддающуюся непротиворечивому описанию, но как пересечение противоречий между богом и миром...» (С. С. Аверинцев. Указ. соч., с. 76). Именно существование Надежды в душе человека осмысляется в христианстве как антитеза стоической максимы о «стремлении к невозможному» как некоем «безумии»: **«сверх надежды надежда»** (Св. ап. Павел. Послание к римлянам, IV, 18) [цит. по: С. С. Аверинцев. Указ. соч., с. 75].

ОСОБЕННОСТИ ОЩУЩЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ «ПОРУБЕЖНОСТИ» В ЛИТЕРАТУРЕ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ МАГРИБИНОК

Всё вышесказанное свидетельствует и об остроте взгляда, и глубине психологизма при освоении женщинами-писателями из Магриба и пространства Традиции Жизни, и пространства «модернизации» как очевидного прогресса в постепенной эмансипации мусульманок. Но при этом нельзя забывать о том, что, как и их многочисленные коллеги по литературному «цеху» магрибинцы-мужчины выражают свое отношение к окружающей реальности на языке французском, который еще и на сегодняшний день позволяет им «разговаривать с миром» более свободно, чем арабский (даже в плане объема читательской аудитории). Но этот язык как наследие собой эпохи, долгого соприкосновения с культурой Франции во время ее «присутствия» (в любой форме колониализма) на магрибинской земле, многим представителям художественной интеллигенции и Алжира, и Марокко, и Туниса, создавал и новое мироощущение свое как представителей и некоей уже свершившейся культурной метисности, и некоей цивилизационной порубежности, где порой стираются, а порой заостряются грани и «своего», и «другого» не только в творческой, но и личностной судьбе.

Пример безусловно выдающегося писателя Алжира Малека Хаддада, создавшего на французском языке свои немногие, но абсолютно значимые в истории ал-

жирской литературы романы («Я подарю тебе газель», «Набережная цветов не отвечает», «Ученик и урок») и сборник стихов¹, недолго пробыв в эмиграции во Франции в годы антиколониальной Войны (с 1954 по 1960), вернувшись в Алжир в 1961 г., написал, еще до представления его стране Независимости, свое эссе «Нули вращаются в холостую» (*Les zeros tournent en rond*), где сказал, что на Родине, тем более освобожденной, надо писать на «родном языке»... Сам он, не владея арабским, «сложил» свое оружием – умение писать о *своей* стране, быть может, как никто другой из его современников проникновенно лирически – рано умер, оставшись навсегда одним из признанных мастеров художественного слова, поведовавшего миру о прекрасных надеждах именно своей Родины, о ее полной горечи, сомнений и забот истории отвоевания своей Свободы, о ее героях, умеющих преодолевать «пространство Пустыни» и жаждущих «приручить» в нем вечный его символ (желанной всеми Свободы) – неуловимую и стремительную газель...

Однако не все его современники и предшественники, и последователи франкоязычные писатели и поэты, такие как алжирцы М. Фераун, М. Диб, М. Маммери, А. Джебар, марокканцы Д. Шрайби, М. Лахбаби, А. Сеффриуйи, или тунисец А. Мемми и мн. др. задумывались над этой нелегкой психологической проблемой «утраты национальной идентичности», когда писали не на арабском (хотя и могли бы, если бы захотели), а на «языке Чужого», – того, кто угнетал их народы в годы колониализма. Язык французский был ими освоен еще в школьные годы, и они обратились к нему тогда, когда им необходимо было рассказать всем, кто его понимал,

¹ О творчестве М. Хаддада подр. см.: С.В. Прожогина «Магрибинский роман». М., 2007; изданы на русск. языке его романы в сборнике «Набережная цветов не отвечает». М., 1990; предисловие – моё (С.П.)

о том, что значит быть алжирцем, марокканцем, тунисцем, что означает *самобытность* их народов как *право на самостоятельность*, несмотря на резкую критику и колониализма, и наследия прошлых эпох, и оков старых традиций, мешающих и Свободе, и Прогрессу их обществ... Алжирец М. Маммери, по происхождению кабил, даже в наступившее тяжелое время (уже в 70-е гг.) в его стране, когда началась политика «всеобщей арабизации культуры» и когда была **закрыта** созданная им в Алжирском Университете кафедра берберологии, продолжал писать именно на французском и рассказывать миру о своем любимом горном крае, его обычаях, его ожиданиях исчезновения какой-то «забытости», обреченности только на старые устои *своей жизни*, воссоздавая атмосферу всеобщего ожидания перемен и надежд на лучшее... Это не значит, что этого замечательного писателя не постигнут разочарования, что он останется в своем вечном ожидании «перехода» своей страны в Новый мир, что он не станет уже глобально оценивать итоги всех войн и исчезновение из истории целых народов, принесенных «в жертву завоевателям» (хотя и на примере только ацтеков). Но он полагал себя прежде всего *алжирцем*, хотя и писал обо всем этом именно на языке французском². Но и араб М. Диб, высланный французами из Алжира еще в 60-е гг. проживший в изгнании практически полвека, так и не вернувшись в родную страну по причинам своих многих разногласий с тем, что произошло после предоставления Алжиру Независимости, до конца своих дней, уже переведенный на множество языков мира, писал по-французски, получив признание как мастер художественного слова и премию

² Об этом подробно в нашей работе «Магрибинский роман». М., 2007. Здесь же хочу почтить память об этом писателе и ученом, чье бесценное наследие – собрание памятников берберской культуры – послужило развитию мировой науки – фольклористики, этнографии, истории, литературоведению.

Французской Академии, вошел в мировой литературный процесс именно *как алжирец*. Не только потому что так и не сменил своего алжирского подданства, но и потому, что не прекращал писать о своей стране, разделяя с ней и боль утрат, и горечь исчезновения многих иллюзий и неперенные надежды и свои, и «своего народа» на то, что идеалы борьбы за Свободу и Независимость когда-нибудь все-таки восторжествуют...³

Пришедший в литературу Алжира на исходе 60-х гг. XX в. Рашид Буджедра избрал позицию собственных переводов с французского на **арабский язык** своих романов, потрясших читателей своим откровением и своей необычной манерой письма. Что не помешало этому ставшему знаменитым писателю в 90-е гг., эпоху наступления радикальных исламистов и развязанной ими гражданской войны в Алжире стать жестоко преследуемым угрозами «расправы» и «уничтожения»⁴... Увы, этой участи не избежали некоторые его собратья, писатели, поэты, даже творившие только на арабском, но считавшие себя, как и выживший несмотря ни на что Р. Буджедра, прежде всего теми, кто пишет *правду* о своей стране, хотя и критикуя некоторые ее «порядки» (Р. Буджедра называл их «беспорядком вещей» – *desordre des choses*), мешающие ее и Свободе, и Независимости, о чем прочитал и публичную лекцию во Франции в 94 г., собрав огромную аудиторию.)

Так же поступали и франкоязычные марокканцы – Тахар Бенджеллун, и Абдельхак Серхан, и Мохаммед Хайреддин и мн. др., не избежавшие ни вынужденной эмиграции, ни критики в свой адрес соотечественников, недовольных разоблачением избыточности «отсутствия света» на своей залитой Солнцем земле...⁵

³ О М. Дибе см. нашу работу «Обречение Авеля». М., 2020.

⁴ О Р. Буджедре см. подр. нашу работу «Алжирская сюита». М., 2011.

⁵ Под. см. в нашей работе «Марокканский ноктюрн». М., 2015.

Их много – магрибинцев-писателей, франкоязычных, но по природе своей и сущности именно *национального* самовыражения в художественном творчестве. Даже если некоторые из них, уже родившись на Западе, во втором поколении эмигрантов могут себя спокойно, как, к примеру, Азуз Бегаг, называть себя «французом» (по «праву почвы», что вполне законно), хотя именно все-таки и по-алжирски, как бы «с другой стороны», трезво оценивающим ту реальность североафриканского бытия во Франции, которая ему (по основной профессии – социологу) открывается во всем мрачном «сиянии» своей «толерантности», и своего неодолимого различия «чужого» в пространстве своих республиканских ценностей...⁶

Все оттенки процесса сохранения своей национальной идентичности в творчестве магрибинцев не покажешь в рамках очерка, в котором хотелось бы, в основном, рассказать об особенностях именно «женского» литературного творчества франкоязычных магрибинок. А их, как мы видели выше, – немало. Но в аспекте понимания своей *культурной порубежности* остановлюсь на тех примерах, в которых эти особенности наиболее ярко запечатлены.

И можно отметить сразу же, что использование французского языка уже и в 30-е, и в 50-е годы и в творчестве магрибинок, уже начавших писать в эпоху подготовки национально-освободительного движения в Алжире – и М. Т. Амруш, и Дж. Дебеш, и Ассии Джебар – никаких сомнений не вызывало: они прибегали к нему, чтобы рассказать всему миру о традициях именно своей страны, и о том, что **хочет женщина-магрибинка**. Воспитанная в христианской школе, не будучи мусульманкой, но зная и родной кабилский, и

⁶ См. подр. нашу работу «Восток на Западе». М., 2002.

арабский, М. Т. Амруш в своих книгах 40-х гг. «Улица тамбуринов» и «Черный яхонт» даже подчеркивает свою очевидную принадлежность к своей стране, своей родине, Алжиру, его горному краю – Кабилии, всячески воспевая (а впоследствии и буквально – в своем мастерстве исполнения кабийских народных песен на родном языке, став знаменитой в Европе уже в 50-х гг. и всеми признанной певицей) именно свое «алжирство»...

Так же происходит и в отмеченном выше творчестве Дж. Дебеш, которая одной из первых в литературе Алжира, наряду с такими крупными мастерами как Мулуд Фераун (тоже кабил, как и М. Г. Амруш) описала вековые традиции отношения к женщине, сохранившиеся и в Алжире, и хотя очевидно была не согласна с их «пленом», будучи европейски и всесторонне образованной (как и ее последовательница Ассия Джебар, овладевшая с детства и арабским языком), оставила полнокровные свидетельства национальной самобытности Алжира и вошла в историю ее художественной литературы именно как алжирка, писавшая на языке французском, работавшая в своей стране и помогавшая ей выйти «на дорогу прогресса»... У Ассии Джебар, как мы могли отметить выше, в ее ставшем знаменитом повсюду, особенно во Франции, романе «Жажда», героиня (метиска!) вообще возвращается к «старым устоям» Жизни (именно мусульманок), предпочитая своей абсолютной независимости, эмансипированности, «свободу выбора» своей личной жизни именно «традиционных» ценностей – семьи, замужества, ожидая брака именно с мусульманином-алжирцем, хотя и «прогрессивным журналистом»... Это не означало, что другие ее героини, подобно и самой писательнице, не посвятят себя делу освобождения своего народа от мрака предрассудков, от цепей религиозных догм, от гнета и колониализма и радикального

исламизма, — и все свои произведения писательница будет создавать именно на языке французском, хотя блестяще читала на арабском и свои лекции, и вела свои выступления перед соотечественниками во Франции... Не испытывая проблем с «национальной идентичностью», А. Джебар сохраняла всегда свое алжирское гражданство, будучи очевидно бикультурной, только способствовала оценке своего творчества именно с акцентом его «алжирскости» — и как пафоса защиты Свободы своего народа, и как резкой критики накопившихся в нем обострившихся внутренних противоречий и радикальных перемен уже в эпоху постколониальную, — писала именно на языке французском.

Невозможно не вспомнить и других вполне «бикультурных» традиций и 70-х, и 80-х, и 90-х гг., и начала 2000-х — и тунисок Хафсийю Джелилу, Магерцию Бурназ, о которых речь шла выше, не утративших свою очевидную «тунисскость»...

Но среди современных магрибинок, особенно франкоязычных алжирок, есть и другая тенденция, не менее яркая, очевидная: считать себя абсолютно свободными и в *одновременном подлежании* сразу «двум мирам» — и своему — восточному, и западному, испытывая при этом не только душевный комфорт, самосознание своей *изначальной культурной метисности* и равноценного существования и в их творчестве, и их мироощущении полное отсутствие некоего разно-цивилизационного отличия.

И если в творчестве Нины Бурауи, алжирской метиски, вынужденно уехавшей с семьей во Францию во время обострения конфессиональных и культурных противоречий в Алжире, героиня «будет рыть руками» французскую землю, чтобы вернуть свою *самосушность*, «докопаться до родной земли», то уже взявшая

себе сценический псевдоним Джюра алжирка по происхождению, ставшая успешной во Франции «этнической певицей» (как и М. Т. Амруш), покорявшая французскую аудиторию своим исполнением берберских песен, однако решившая рассказать о трагедии своей личной судьбы, избрала путь защиты своей именно **равной принадлежности** обоим мирам – и Востоку, и Западу... Хотя, уже с дистанции времени, можно было бы сказать, зная особую, преимущественно минорную, интонацию творчества тех североафриканцев, которые «по праву почвы», родившись во Франции, даже считаясь французами, что тем не менее они ясно осознают свою *маргинальность* в рамках европейской культуры, где представители этнических или конфессиональных «меньшинств» не всегда признаны французским сообществом «полноценными» соотечественниками (см. литературу «бёров» – представителей и второго, и уже третьего поколений североафриканцев, родившихся во Франции). И что имеющееся у некоторых североафриканцев самосознание своей **равной** принадлежности обоим мирам – лишь «*пространство ослепительных желаний*»...

В этих словах алжирской поэтессы Анны Греки (**французенки**, но вышедшей замуж за алжирца, впоследствии убитого французами, выбравшей *своей землей* Алжир, посвятившей этой стране свое творчество 60-х гг. XX в.) метафорически запечатлена и страстная мечта, и горячее стремление, и, конечно же, «безумная вера», и иллюзия самой возможности той **доброй встречи цивилизаций**, где будет царить только Любовь, только Свобода, когда люди, живущие в *одном пространстве*, на одной земле смогут ощутить себя *единым человечеством*... И потому я вспомню еще раз книгу Джюры, где именно Женщина становится душой этого

Великого Пространства, где звучит Музыка человеческой души, прорывающаяся сквозь лед существующего *недоверия*... Джюра уже в 90-е гг. XX в., несмотря на всю драматичность своей личной судьбы, вписала себя именно в такое пространство.

Джюзр Абуда, как я отметила, была известная исполнительница народных берберских песен, алжирка из Кабилии, взяла себе псевдоним по названию одной из горных вершин этого края – Джурджюра – «Железная гора». Взяла для своего вначале сценического, а потом и литературного имени. Однако, и для нее самой, и для героини ее автобиографической повести «Покрывало молчания»⁷ выбор своего жизненного пространства обернулся драмой, как во многих книгах магрибинцев⁸, живущих во Франции. Но Джюра, несмотря ни на что, уверенно полагает, что она – и «*оттуда*», и «*отсюда*»: Восток и Запад для нее – **равнозначимы в ее судьбе**. Хотя трагедия в ее жизни была, долго отголоски случившегося с Джюрой и запечатленного в ее повести волновали и алжирскую, и французскую прессу по разным поводам, и имя известной певицы и писательницы, награжденной Почетным орденом Франции, обязательно вспоминают, если поводом служит очередной «бунт» мусульманки, решившейся бросить вызов своей семье...

Первую книгу Джюры можно было бы вполне, по характеру сюжетной коллизии и масштабу повествования, назвать романом, и даже романом «кровавым», написанным «собственной кровью», как это предлагает издатель произведения⁹. Однако автор, хотя и сливает

⁷ Djura. Le voile du silence. P., 1990.

⁸ Подр. о них в наших работах: «Иммигрантские истории». М., 2001, «Восток на Западе». М., 2002.

⁹ В аннотации издательства Лаффон на обложке книги читаем: «Un roman vécu, signé dans le sang, dont on sort bouleversé, différent, admiratif et averti». (Роман, написанный кровью, волнующий, непохожий на другие книги, вызывающий восхищение и о многом предупреждающий.)

автобиографию с художественной нарративной, тем не менее сознательно не отделяет себя от своей героини, насыщает реальный событийный ряд публицистическим пафосом, укрупняет и подчеркивает эффект **присутствия**, а не **вымысла**, что значительно влияет на структуру произведения, но и придает бóльший вес его документальной основе. Поэтому сложившийся в литературоведении термин и обозначаемый учеными как «*gécit de vie*» – «повесть о жизни»¹⁰, – ближе к определению жанра, в котором работает Джюра, тем более, что, на наш взгляд, такого рода «повесть» позволяет включить и черты этнографически-натуралистического и романтического, и реалистического и даже политического «дискурса».

В этом пограничном жанре – **документальной прозы** – пишут, как мы могли отметить, сейчас многие магрибинцы, особенно женщины, живущие во Франции. (Достаточно привести примеры наиболее крупных произведений: это и «Национальность: иммигрантка» (1988 г.) Саккины Букеденны; «Простая девушка» (1989 г.) Тассидит Имаш; «Грот паучихи» (1990 г.) Абделькадера Беккара; «Рожденные в предместье» (1991 г.) Фарида Айшуна; «Жизнь в раю» (1992 г.) Браима Бенайши; «Дочь пастуха» (1994 г.) Лауры Музайи; «Ни чадры, ни забвения» Мимуны (1995 г.) и др.¹¹)

Как правило, все эти авторы обычно не продолжают попытку литературного творчества, выросли на Западе в

¹⁰ Именно так называет, к примеру, Ж. Дежé, мой учитель в Центре франкофонных исследований в Сорбонне, тип литературной продукции магрибинцев, соответствующий нашему определению (см. J. Dejeux. *Maghreb. Les littératures de langue française*. P., 1993), 125 страниц библиографического отбора и критических наблюдений миссионера и просветителя, одного из первых французов, заговорившего о самобытности магрибинского франкоязычия еще в 1957 г. ...

¹¹ Имею в виду: S. BouKhedenna. *Nationalité: immigré(e)*. P., 1988; T. Imache. *Une fille sans histoire*. P., 1989; A. Bekkar. *La Grotte de l'araignée*. P., 1990; F. Aïchoune. *Nés en banlieue*. P., 1991; B. Ben-Aïcha. *Vivre au paradis*. P., 1992; L. Mouzaïa. *Illis et MeKsa (La fille du berger)*. P., 1994; Mimouna. *Ni le voile, ni l'oubli*. P., 1995.

семьях эмигрантов, или даже родились во Франции. Но так или иначе они знают о своих «корнях», порой возвращаются на свою «историческую родину», либо воссоздают последовательную цепочку событий своей жизни, связующую «два мира», либо рисуют картину жизни в городских иммигрантских кварталах на фоне специфических проблем, возникающих в этой среде. Но так или иначе, практически все *«récits de vie»*, написанные магрибинцами во Франции в схожей повествовательной манере, исполнены единодушной *горестной констатации*: искомый их родителями «рай» не состоялся на «земле обетованной» эмигрантам. Но и возвращение в родное лоно, путь назад практически невозможен: слишком глубоко проросли магрибинские «семена» в чужой земле. Хотя граница своего существования, точнее, ограниченность жизни барьером различия (лейтмотив любого такого повествования) не дает благополучных выходов. И это **различие**, разность двух миров, усугубляется не только постоянно возникающими здесь причинами политического, социального, экономического порядка, но и «внутренним» противостоянием самой мусульманской общности (*communauté*) во Франции, упорно пытающейся сохранить свои специфические традиции, и, в частности, ту, что ограничивает роль женщины *вне* семьи, лишает ей равных с мужской прав и, главное, права выбора своей судьбы... (Красноречив в этом аспекте и роман классика алжирской литературы М. Дибя «Если захочет дьявол», вышедший в разгар гражданской войны в Алжире. О нем подр. см. в нашей работе «Обречение Авеля». М., 2020.)

У Джюры – иная интонация. Образ мусульманской чадры воссоздан не как «покров тайны», как сокрытия только лика, но и самой жизни женщины, как образ тотального «молчания» ее существа. Обретая под пером

многих магрибинских художников – особенно мужчин – очертания «тюрьмы», темницы, обрекающей женщину на печальный удел, используется Джюрой для решительного и смелого *разрыва* этой «завесы мрака», безжалостного обнажения реальной действительности, в которой живут мусульманки в Европе, принуждаемые своими родителями и старшими братьями к соблюдению традиционных «исламских предписаний». Отбрасывая «покрывало молчания» с души самой женщины, Джюра пытается разрушить то, что мешает нормально, с точки зрения женщины конца XX в., жить, пробиться навстречу Свету, Знанию, подобно цветку по весне из-под снега, преодолеть «лед» насильственного отчуждения женщины в современном обществе...

Этот мотив – несмирения, преодоления, *прорыва «завесы»*, искусственно, по убеждению Джюры, отделяющей Жизнь от Света, от истинного, свободного *земного* бытия, земного счастья, которое обретается человеком в его повседневной борьбе за **правду**, за **любовь**, за право самостоятельно распоряжаться собой, – этот мотив рождался в ее душе постепенно, набирал силу с трудом, но с самого начала звучал точно: чуткое ухо и доброе сердце подраставшей девочки уже улавливали верные «ноты», различали основные элементы бытия, из которого будет позднее она выламываться. Но книга Джюры построена так, что в зачине ее – уже картина кровавой расправы, попытка физического уничтожения этого мотива, низвержения мечты, растоптания цветка надежды, *пробившегося сквозь лед*.

Трагическая развязка, однако, не стала финалом попытки самой героини преодолеть барьер чуждых друг другу миров; наоборот, она только усилила стремление молодой женщины, алжирки, позволившей себе нарушить **семейный запрет и выйти замуж за француза**,

осмелившейся бросить вызов вековой традиции, за-
прещавшей мусульманке брак с иноверцем, укрепила
ее желание идти до конца по пути, который она выбрала
самостоятельно, вопреки всем запретам, довлеющим
женщине ее народа всю ее жизнь. «То, что для огромно-
го большинства женщин может казаться самым обыкно-
венным, само собой разумеющимся, для меня было за-
вершением б о р ь б ы , реализацией почти недостижае-
мой мечты» (с. 13). Ребенок, которого ждала Джюра,
должен был стать исходом этой борьбы, символом по-
беды над Мраком и Злостью, которые не хотели мирить-
ся с переступившей Запрет женщиной. Но родной брат и
члены его семьи пытались убить и ее саму, и ее избран-
ника, оставив их, истекающих кровью от ножевых ран,
на берегу реки, где еще несколько минут назад мирно
отдыхала молодая чета (это – факты автобиографии пи-
сательницы). В 1987 году об этом будут писать газеты,
потом будет, уже после спасения, многих месяцев боль-
ницы, шумный судебный процесс, на котором брат –
Моханд Абуда – станет *обвинять сестру* и отстаивать
с в о ю невиновность...

Именно тогда окончательно спадет с глаз героини
книги и пелена последней «завесы» – доверия к благо-
разумию тех, кем движет чувство мести, кто не спосо-
бен одолеть извечный страх перед «чужим» и, прикры-
ваясь религией, грозя человеку «небесными законами»,
продолжает сеять этот Страх, множить его семена в ду-
шах и сердцах людей, заставляя их противостоять друг
другу, ненавидеть, преследовать, убивать. Именно тогда
почти вернувшейся с т о г о света Джюре захотелось
рассказать **правду**, именно рассказать, не спеть, как
раньше, на родном языке для соотечественников, вни-
мавшим звукам голоса, который пел о Красоте и Гордо-
сти, Славе и Подвигах, Любви и Верности, но именно

рассказать, причем на «чужом», но давно ставшим «своим», языке об огромной боли людей, насильно разделяемых барьерами *р а з л и ч и я*, обрекающими их на вечную вражду и непонимание.

Диссонанс, услышанный в юности, прочувствованный позднее на своем собственном теле как ножевая рана, диссонанс между «L'ordre familiale» – традиционными семейными отношениями, упорно и упрямо подерживаемыми и во Франции в мусульманских семьях, – и окружавшей жизнью, не сразу приобрел для Джюры трагическое звучание. Поначалу и ей, как и ее сверстницам-соотечественницам, оказавшимся волею судеб на Западе, соблюдение воспроизводства *с в о и х* традиций казалось единственным способом *самосохранения* их народа *в чуждой среде*, единственной его защитой своего «я», единственным убежищем людей, спасавшим от мира, который столь же упорно продолжал считать их традиции «дикими» и с нескрываемым недоверием относился к тем, кто, живя на земле «*д р у г о г о*», продолжал культивировать *с в о и* корни...

Однако, со временем этот рано услышанный диссонанс уже резонировал для героини во всех сферах повседневного бытия, не только дома, становился помехой, сковывал жизнь, обрекал *на изоляцию*. В итоге **дисгармония между Законом предков и реальной Жизнью** будет осмыслена как Абсурд, и именно с этого разлада, распада «звуков» жизни, и начнет свое повествование Джюра, потому что в основе рождения ее повести о жизни – не стремление восстановить обратный путь к светлому истоку детства, не собрать в красиво звучащий аккорд отголоски былого и не соединить в изящную цепочку события жизни, но именно **запечатлеть этот упорно наступавший, окружавший абсурд, хаос, мрак, который родные люди называли Порядком,**

считали установлением, придерживались как Закона: *«Абсурд почти средневековых норм поведения, навязываемого женищине, живущей под небом Запада в конце второго тысячелетия. Абсурд традиций, с одной стороны, обусловивших мое обращение к той музыке и тем песням, которые я исполняю, хотя и актуализируя их, но, с другой стороны, определяющих именно косность привычек и нравов, упорно цепляющихся за понятие женской «чести», а на самом деле влекущих за собой преступление против ее человеческого достоинства, обрекающих так же, как и меня, многих девушек моей расы на существование на грани жизни и смерти»* (с. 16).

Резкость и мрачность услышанного Джюрой «звучания» жизни в юности связаны по контрасту с воспоминаниями о красоте горного края, в котором прошло раннее детство, с его благоуханием по весне, с ласковыми песнями и сказками любимой тетушки, вырастившей девочку. Тогда она еще не осознавала приметы своей беды, хотя почти не знала родительской ласки: отец давно уехал на заработки во Францию, а мать не благоволила к рожденному ею существу женского пола, не приносящему, как считали здесь издревле, счастья в дом, и растила сама только своих сыновей... Теперь, когда Джюра, лежа в больнице, боролась за жизнь своего, еще не родившегося, ребенка, желая только одного, чтобы он, увидев свет, не стал еще одной жертвой «жестокости миропорядка» (с. 16), и перебирая в памяти первоэлементы своего бытия, понимала, *что* смогло закалить в ней характер, воспитать волю к жизни, страсть к свободе, упорство в достижении цели.

...Родная деревушка была бедной, но гордой, — жители ее считали себя потомками славного племени, предводительницей которого была, ставшая легендарной

берберской царицей, Кахина, боровшаяся со всеми захватчиками родной земли, противостоявшая даже самому арабскому завоевателю Северной Африки, – Окбе... О ее подвигах свято хранили, передавая из поколения в поколение поэтические легенды и предания, и в детстве Джюра много слышала рассказов о бесстрашной воительнице, неоднократно преданной, страдавшей от измен и поражений, но никогда не сдававшейся на милость победителя. Казалось, что о Кахине напоминала сама земля, сама природа родного горного края, его неприступная вершина, названная еще побывавшими здесь древними римлянами «Железной горой», – воплощение «гордости, отваги и упорного сопротивления этой неприступной страны» (с. 17). Могучая гряда кабилских гор, поражающий своим великолепием и величием пейзаж контрастировали с аскетичной суровостью деревни, в которой жил народ, называвший себя «непреклонным», «несгибаемым» (*«un peuple qui ne se soumet pas, ne se plie pas devant personne»* (с. 17)¹².

Однако, вспоминала сейчас Джюра рассказ тетушки, натиска бедуинской конницы и мусульманской веры этот народ не выдержал, и когда-то плененный Кахиной и сохраненный ей сын Окбы завоевал ее царство, и оно стало частью арабской Ифрикии... А удалось победить гордый и непреклонный народ, как гласили преданья, именно потому, что он, единившийся перед лицом врага, не сумел сберечь свое внутреннее единство, свою силу, расколовшись под грузом распрей и противоречий, соперничества, борьбы вождей родов и племен за

¹² Не могу не сказать еще раз, что имею честь быть знакома и испытываю глубокую благодарность к одному из потомков легендарного вождя одного из кабилских племен – Тассадит Ясин, крупного этнолога, создавшей Центр Берберологических исследований в Доме Наук о Человеке (Париж) на основе архива, переданного ей писателем М. Маммери, и помогавшей мне в изучении образцов берберского фольклора, переведенных ею на французский, и уточнения атрибутов этнического бытописания в литературном творчестве современных алжирцев (С. П.).

власть, изнурявших друг друга изменами и предательствами... Кахина осталась в памяти девочки, как и в памяти ее народа, символом «непокорства» (Kahina l'insoumise), всю жизнь восхищающим душу «образцом упорства», путеводной звездой. «Я должна продолжать свой путь, как она, вопреки изменам близких, предательству своих, которым я верила и полагала, что сделала им столько добра...» (с. 20). А еще, как казалось Джюре, сближало ее с Кахиной самое главное: царица, как и она при своем рождении, была источником глубокого разочарования для всех, потому что родилась девочкой ... (с. 20). И до ислама на этой земле, по ее верованиям, к женщине относились с предубеждением, хотя зачастую и ставили ее во главе племени; и до пришествия арабов у берберов был свой обычай отнимать существо женского пола от материнской груди раньше срока, дабы сохранить молоко и силу матери для рождения будущего сына. «Груз неравенства тяготел над женщиной с самого рождения» (с. 23). И тяжесть груза вековых устоев давно уже казалась сродни громаде неприступных каменных глыб, крепостью окружавших горную деревушку. И никакое обилие роскошных ритуальных украшений и пышное множество покрывал, скрывавших во время свадьбы лик невесты, не уравновешивали громады стыда, который испытывала женщина, когда на всеобщее обозрение выносили под утро окровавленную простыню как знак ее «чистоты» и «чести» ее рода. И недаром торжество традиционного свадебного обряда всегда казалось Джюре чем-то сродни **ритуалу жертвоприношения**, когда на местные и мусульманские праздники закалывали животных...

После свадьбы горные берберки *не живут в затворничестве*, но стать замужней женщиной и для них означает навсегда потерять свободу, – суровый присмотр

родни мужа и собственных братьев будут равносильны домашней тюрьме, в которой царит закон беспрекословного подчинения мужчине. «Традиционная свадьба прекрасна, как обещание, и предательски ужасна, как беспросветное будущее» (с. 29). (Здесь – очевидное эхо еще полвека до этого написанной Дж. Дебеш книги «Азиза»: см. выше).

Тяжесть предстоящего *мрака* Джюра ощущала особо. Семья девочки жила в бедности, как и огромное большинство населения страны, а Кабилия в Алжире отличалась даже на общем фоне особой нищетой. Несмотря на то, что ее отцу удалось (в числе лишь десяти процентов алжирцев) получить школьное образование и он был грамотным, достойной работы ему не нашлось, а крестьянским трудом уже было невозможно прокормить многочисленное семейство. И подобно многим своим соотечественникам, он уехал в начале пятидесятых годов XX в. в метрополию на заработки, прельстившись обещаниями тогда особо нуждавшейся в дешевой рабочей силе Франции, избавлявшейся от последствий Второй мировой войны и стоявшей уже накануне новой, своей, одной из самых затяжных и бесперспективных колониальных войн, в которой так и не сумеет отстоять свои заморские притязания...

Какое-то время семья Джюры, подобно другим, жила в ритме постоянного ожидания возвращения отца в отпуск: «Это было бесконечной цепью одного и того же: мужчина на короткий срок приезжал в Алжир, делал новых ребятишек и снова уезжал на работу, чтобы иметь возможность содержать семью, которая становилась все больше и больше и почти чужой» (с. 33). Отец решил разорвать эту «цепь» и несмотря на уже почти бушевавшую на пороге Алжирскую войну увезти своих в эмиграцию, не убоявшись обвинения в «предательст-

ве» и последствий, связанных с этим. Шел декабрь 1954 г.

...Девочка при переезде первый раз увидела море, потом – город. Тогда еще магрибинские эмигранты преимущественно заселяли правый берег Парижа, жили в густонаселенном пролетарском квартале Фобур де Тампль (там сейчас в основном живут магрибинцы и африканцы – французских «бедняков» не видно...) Они со своими огромными семьями ютились в маленьких гостиничках, снимали дешевые комнаты и квартирки в «доходных» домах, пользовались услугами недорогих лавчонок, похожих на турецкие, кофеен, базарчиков, где все чаще и чаще слышалась арабская и берберская речь... На работу, на завод отцу приходилось ездить через весь город, а потому семья и здесь его видела редко; уходил засветло, приходил за полночь. Мать, не знавшая ни единого слова по-французски, почти не выходила на улицу, покупки доверяла детям и соседям. Вскоре у нее на свет появился еще один малыш, так что для матери ритм жизни вроде бы и не изменился, хотя и продолжалась она теперь в другом географическом пространстве, но в привычных границах традиционного уклада.

Однако, главная перемена в их жизни все-таки произошла: отец всех старших детей записал в школу. Для Джюры, дождавшейся наконец этой радости, открывалась новая жизнь. Хотя начиналась она больно и трудно.

«Выбиравшиеся из своих берлог» (с. 37) дети эмигрантов (особенно тех, кто постепенно оказывался, получив вид на жительство и социальную помощь жильем, в особого рода гетто, в городских предместьях, заселенных только магрибинцами и африканцами, в своего рода каменных джунглях, безликих и бесцветных, немедленно обраставших бидонвиями, мусорными свалками, пыльными и подозрительными но-

чью пустырями), попадая даже в обычные городские школы, **встречались с абсолютно другим миром**. Они вдруг резко, видя французских сверстников, ощущали свою *н е п о х о ж е с т ь*, свое отличие, и не только потому, что плохо говорили или не говорили вовсе на их языке. Ощущение **разности** (*différence*) было не только в словах, которые по-разному произносили школьники. Магрибинцы, видя, как ведут себя с ними другие дети, как смотрят на них, словно на инопланетян, понимали свою «окраинность», свою маргинальность, чуждость, особость, *непосредственно*, «кожей», различая прежде всего свою *н и щ е т у*. Она, не ощущавшаяся ими прежде, когда они прибыли сюда из еще более жестокой нищеты, из своих голодных деревень, словно отпечаталась на их лицах, облике, поведении. К скованности, недоверчивости, недетской озабоченности добавился теперь еще и *стыд* – за то, что бедно одеты, многого не понимают, не умеют, за то, что их почему-то называют «грязными и злыми», за то, что у них так много братьев и сестер, за то, что их водят в школу только отцы, а если матери и появляются здесь, то на них, на их цветастые деревенские платья французы показывают пальцами, называя «крольчихами»... Хотя маленькие магрибинцы и знали, что обилие детей в их семьях – не наказание, но «божья благодать», дарующая надежду на обеспеченную старость... (с. 41).

Но была и еще одна *разность*, которую особенно ощущали девочки: в «традиционных» эмигрантских семьях продолжал царить закон, по которому **и здесь, на чужой земле, жизнь существа женского пола полностью принадлежит мужчине, главе семейства, отцу, а если его нет, то его брату, родственникам по мужской линии, а затем, когда подрастают собственные дети мужского пола, – старшему сыну и так да-**

лее... Конечно, этот закон не только позволял мужчинам распоряжаться судьбой девушек и женщин, но и обязывал заботиться о них, как и обо всех членах семьи, хотя в городах, особенно здесь, на Западе, именно женщинам приходилось все чаще и чаще подрабатывать и просто работать (уборка квартир, подъездов, мытье посуды в кафе и ресторанах) и содержать свои многочисленные семьи, и помогать своим родителям и мужьям, которые все чаще и чаще оставались без заработка, особенно во время Алжирской войны, когда каждого магрибинца могли подозревать в связи с партизанским подпольем... И тем не менее, с т р а х перед отцом, братом, дядей, у каждой школьницы-мусульманки был куда сильнее преклонения перед авторитетом учительницы или учителя, страх, что будет избита за плохую отметку, что не вовремя вернется домой, что будет замечена, как разговаривает с мальчиком, что тайком употребляет косметику, что слушает пластинки, что хочет сходить с подругами в кино... **«Я просто умираю от страха, предвидя гнев отца. Я ужасалась самой мысли, что он узнает»** (с. 39), – свирепость его реакции была хорошо известна Джюре... (Надо ли упоминать, что поездка на зимние или летние каникулы со всем классом куда-нибудь в горы или к морю считалась отцом просто «преступлением против нравственности», о чем красноречиво свидетельствуют практически все соотечественницы Джюры, написавшие и свои «повести о жизни».) **«Нравы наши совсем не эволюционировали, и женщины и здесь продолжали жить под игом мужчины»** (с. 38). Так. **р а з н о с т ь**, ощущаемая детьми, узаконивалась их родителями, разрасталась и по вине «противостоящего» мира, не желавшего мириться с особенностями «другого», постепенно закрепляясь обоюдно в

менталитете **всех**, стоявших по разные стороны барьера жизни.

Но чем выше становится этот барьер, чем суровее становился людской закон, насильственно удерживавший взрослевшую девочку в клетке, на которую набрасывалось **«покрывало молчания» и смирения**, чем упорнее отец и старший брат пытались объяснить ей древние обычаи и заставить ее соблюдать «чистоту» религиозных предписаний, настаивая на том, что **только так можно сохранить на чужой земле крепость семьи и избежать унижений**, тем упорнее пробивалась девушка навстречу окружавшей ее жизни, где женщины не прятали лицо, не боялись чужих взглядов, не пугались мужского общения, не страшились занесенной над твоей душой грозной длани (или ножа) отца, мужа, брата...

И начиналась **двойная**, параллельная жизнь, тайное существование, потихоньку перераставшее из подспудного противостояния в протест, а потом и бунт против гнета семьи, предписаний, предрассудков, начиналась борьба за **равное** место со всеми, кто окружал тебя в **этом** мире.

В жизни Джюры, как и в жизни многих ее сверстниц — соотечественниц или единоверок, родившихся во Франции в магрибинских семьях, эта борьба поначалу обретала парадоксальные формы подчеркнутой или подчеркиваемой **разности** с окружающим, непохожести на **других**, выражения своей солидарности с такими же, как ты, иммигрантами, и эта солидарность в среде школьников, например, проявлялась в открытом соблюдении **своих** праздников, поста, употреблении своей пищи. На фоне уже находившейся в разгаре Алжирской войны за независимость, в которую так или иначе были вовлечены все мусульманские эмигранты во

Франции, детская солидарность друг с другом была первым шагом на пути к своей личностной, человеческой независимости, хотя и осуществляемым в формах жизни, из которой человек, осознававший необходимость своей независимости и свободы, постепенно выламывался.

В изначальном, выступавшем в «национальном обличье» противостоянии, обретались первые ощущения «**собственного достоинства**» (с. 41), что помогало, как пишет Джюра, **идти дальше** и, преодолев «*свой собственный фольклор*» (как способ самосохранения, чувство «корней»), осознавать свою **полноценность**, свою **разность** с другими. «С высоты моих семи лет я уже боролась за свою независимость, еще не вполне отдавая в этом себе отчет» (с. 42).

Вообще, «неписанные законы племен» (с. 44), по которым жила мусульманская община во Франции, играли двойную роль в судьбах соотечественников и единоверцев Джюры: с одной стороны, **отъединяя** одних от других, увеличивая **разность** между магрибинцами и французами, с другой, **объединяя** людей внутри этой общины, что в эпоху войны выражалось в постоянной взаимоподдержке, когда семьи оставались без кормильцев и зачастую содержались за счет коллективных пожертвований. Так случилось и с семьей Джюры, отец которой был арестован по подозрению в связи с подпольем Фронта Национального Освобождения Алжира, а потом сослан на родину, в тюрьму, выйдя из которой долго содержался под домашним арестом у себя в деревне, откуда когда-то уехал в эмиграцию...

Родственники отца помогали его семье до самого его возвращения. Рано повзрослевшие старшие дети, и Джюра в их числе, делили с матерью все заботы, пытались не оставить учебу, стремясь выжить и как можно

быстрее самостоятельно продолжить свое существование. Появление в доме отца после долгой разлуки только усугубило это стремление. Сломленный, ожесточенный, не увидевший и в наступившем освобождении своей страны возможностей для достойной жизни, перспективы выбраться из вечной нищеты, он все чаще и чаще бил, и все жестче и жестче требовал от матери и дочерей соблюдения религиозных предписаний, которые сам уже давно нарушал, практически потеряв работу и просяживая днями в питейных заведениях. Но за каждым выходом из дому повзрослевшей Джюры так же следил, запрещая, вплоть до побоев, всякое общение с друзьями, особенно с юношами, тем более с французами. Он уже подбирал ей «своего» жениха и угроза «традиционной свадьбы» нависла и над тринадцатилетней девушкой... Однако Джюра уже твердо знала, что никакие угрозы и самые страшные побои и издевательства, которые усилились теперь и со стороны старшего брата, не заставят ее смириться с обычной участью мусульманки, что она никогда **не примет способа существования своей матери, прожившей почти в затворничестве в стране, где женщины пользовались равными с мужчинами правами...** Она знала уже, что не даст никому набросить на себя «покрывало молчания и смирения» и запретить себя в доме, который ей все больше и больше напоминал тюрьму...

И все больше и больше тяготили ее вынужденные посты: по месяцу голодать днем во время учебы было просто трудно, школьная программа требовала внимания и сосредоточенности. А в школе у Джюры были свои успехи, и творчестве в том числе, – она пела и солировала в школьном хоре, занималась в художественной самодеятельности, несмотря на унижительные заме-

чания о том, что «смуглый цвет» ее кожи «не подходит» для ролей европейского репертуара...

Такого рода «иголки» кололи часто (чего стоило, например, услышать фразу, оброненную учительницей истории на уроке, о том, что если бы не победа в битве при Пуатье в 732 г., то все француженки сейчас носили бы чадру» /с. 48/), но Джюра училась самообладанию, зная, что главное – окончить школу, и дальше – снова учиться. Почему-то очень хотелось поначалу стать юристом, – видимо желание защитить себя, защищать других было настолько сильно, что мысли о собственном творчестве пробудились позднее.

Да и сказанное на уроке истории не столько смущало своей жестокостью или агрессивностью, или даже тайной враждебностью («арабы так и останутся вечными врагами французов», – думала Джюра), сколько констатацией того, что **и по сей день мусульманская женщина для Запада – синоним безликости, безжизненности, «анонимности» существования...** (с. 49).

Взросление сознания, взросление чувств, взросление тела... А это уже в Доме, где властвовала Традиция, «становилось о п а с н ы м », попадало под «особое позрение» (с. 49). Запреты множились, отмечалась каждая минута задержки возвращения из школы, проверялось содержимое портфеля, сумочки, карманов, сыпались напоминания о наказаниях, о покорности воле отца, о смирении и послушании. **«Для девушки, – гласила берберская поговорка, часто вспоминаемая матерью, – есть только два пути: замуж или в могилу»** (с. 59). К началу первого пути она должна подойти девственницей – иначе, «обесчестив» себя и весь свой род, будет убита, зарезана, отравлена (с. 59). Так было из века в век, и так будет, – твердил отец, и ему уже вторил старший брат. Да и младшие сыновья уже были готовы

поддержать мужчин... **«Можно ли было подумать, что и здесь надо подчиняться закону предков?.. Что и здесь семья заставляла опускать глаза, смотреть только вниз, если мужчина попадался навстречу, и разрешалось обращаться к нему, только если он – служащий в метро»** (с. 52).

Так медленно и мучительно тянулись годы. Наконец, когда отец объявил, что нашел жениха и выдает ее замуж, Джюра попыталась сбежать из дома. Ее нашли, заставили уехать в сопровождении брата на время, «одуматься», в Алжир, вспомнить жизнь по законам «племени»... Встреча с родным краем не только растревожила душу воспоминаниями о детстве, но и стала болезненным соприкосновением с исчезнувшим прошлым – все та же нищета, отсталость, все та же зависимость женщин от средневековых норм жизни...

Из родной деревни брат увез Джюру в столицу, устроил на работу, сам присматривал за ней, предупредив о том, что она не должна ни с кем встречаться после рабочего дня и возвращаться, пока не стемнело. И в городе Джюру поразило обилие женщин, скрывавших лицо, отсутствие их в кафе, кинотеатрах; без сопровождения мужчин они могли только появляться на базарах и в магазинах. «И Город жил, как большая деревня» (с. 84), – отметит она. Но город был городом, и в нем жили р а з - н ы е люди. В дом, где поселилась она с семьей брата, заходил в гости его приятель, архитектор – француз Оливье, с которым они часто слушали музыку; он приносил любимую Джюрой классику – Баха, Бетховена, Вивальди, разговаривал с ней, одобрял ее намерения всерьез заняться песенным творчеством, собирать фольклор, делать аранжировки народной музыки. Он и сам занимался национальной архитектурой и искусст-

вом Алжира, помогал ей разбираться в тонкостях своей профессии...

Когда брат заметил, что француз все чаще и чаще захаживает в дом (а сестра была необыкновенно красива), он решительно прервал эти визиты, написал отцу и получил ответ: «возвращаться». Там, в Париже, она услышала его приговор: «Больше из дома она никогда не выйдет» (с. 91). Это означало, что до тех пор, пока он сам не распорядится ее судьбой, **она будет жить взаперти.**

И потекли месяцы домашнего заточения. Разрешалось только читать книги, но писать письма или отвечать на те, что посылал ей Оливье, было запрещено, как и любое другое общение с внешним миром. Помогли младшие сестры. Они нашли подругу Джюры, и та сумела организовать ее побег к Оливье. Джюра знала, что теперь ей уже никогда не вернуться в родную семью, которую она «обесчестила» навсегда...

Семья Оливье приняла беглянку, хотя тоже не очень благосклонно смотрела на то, что «молодые» решили обойтись без официального бракосочетания, но Джюре не хотелось, чтобы на их свадьбе ее семья демонстративно отсутствовала.

Так прожили они пять лет, и за это время отец делал неоднократные попытки, сопровождаемые угрозами, вернуть дочь в дом. Однажды даже позволил себе попытку ее увещевания, «нормального» разговора, пригласив ее посидеть с ним в кафе (что, по его понятиям, было вообще недопустимым) и даже *просил* ее **«оставить француза, не позорить семью»**. Но семья эта после побега Джюры и сама распадалась. Мать, не выдержав гнета и нищеты, беспросветности тупика существования своего и уже подросших детей, ушла из дома и жила с помощью своих братьев и Джюры, которая

теперь помогала ей, жалея ее, забыв копившуюся с детства обиду на ту, что лишила ее когда-то любви, отняв от материнской груди... Та, принимая с благодарностью теперь помощь от дочери, просила ее, однако, «держаться в тайне сожителство с французом и ни в коем случае не соглашаться с ним на брак»: родственники в Алжире никогда не простят Джюре такой измены...

Джюра работала, помогала Оливье снимать фильм об архитектуре Алжира «Али в стране чудес» и часто совершала с ним поездки на родину, не уставая восхищаться красотой родного края и величием его природы, но и поражаться упорству и неколебимости людей, которые пытались сохранить «*вековые устои*», *древние «табу»*, уже очевидно непосильным грузом давившие на их жизнь, на жизнь страны, пытавшейся выйти одновременно и навстречу XX веку...

Там, в Алжире, Джюра встретила и со своим старшим братом Мохандом, и он пригрозил ей зарезать ее, если она «не оставит француза». «**Между нами лежало море**» (с. 11), – напишет Джюра, обозначив все разрастающуюся пропасть между взглядами на жизнь, обусловленными Традицией, и самой жизнью, уже давно разрывавшей оковы вековых норм и представлений. Но своеобразный разрыв между берегами ее жизни обозначился и в душе самой Джюры. Противоречие между «зовом родного края» и уже вполне созревшей необходимостью жить и работать на *другой* земле, в условиях свободного развития личности и творчества, она испытала именно тогда, когда начала реализовывать свое призвание. Ей страстно хотелось воссоздать красоту своей родины, заставить увидеть ее и услышать, показать богатство ее возможностей, помочь понять изначальную глубину и мудрость ее культуры. Берберский

фольклор, который она собирала, поэтические образы, сотворенные ее народом, были не только пространством ее самореализации, осуществления своего таланта, формой обретения независимости и свободы, демонстрацией *полноценности* своей культуры, но и защитой *п о д л и н н о й* сути ее, истинного богатства людей, хотя и опутанных предрассудками, «закрытых» от жизни *«завесой молчания»*, отгороженных барьером *недоверия к ч у ж о м у*, разделенных *тянувшими только в п р о ш л о е* нормами жизни, погружавшими во «мрак». Для Джюры в фольклоре, в изначальной подлинности души народа, словно как на стержне, откристаллизовалась чистота народной души, глубина его надежд, величие его представлений о Долге, Чести, Подвиге, Добре, Свете.

А вся жизнь девочки, рвавшейся в школу, к Знанию; девушки, стремившейся к Любви, а не покорности воле отца, преодолевавшей запрет на свободу; молодой женщины, отстаивавшей право на творчество, а не рабство в семейном затворничестве; весь ее душевный и духовный опыт и потенциал, ждавший реализации в искусстве, в музыке, которую люди должны были слышать и понять, различить красоту, увидеть глубину истоков, — были свидетельствами попытки прорыва «Завесы», преодоления барьера, нежелания «мрака», плотным кольцом окружавшим мусульманку.

Как пишет Джюра, ей всю жизнь приходилось слышать как бы два голоса. Один повелевал **«убрать завесу»¹³**, **«открыть лицо»**, **«разорвать «покрывало молчания» и «зарыть его в могилу»**. Другой, будто предостерегая, потихоньку твердил: «Во имя Господа Бога,

¹³ Напомню, что о многозначности и глубине смысла этого мусульманского атрибута женщины подробно см., напр., в кн.: А. Суворова. Ностальгия по Лакхнау. М., 1995, с. 177–180.

откажись от этого, **сохрани чистоту, благочестие**», – как будто они *вплетены в ткань чадры*» (с. 173)...

Понимая и всю иллюзорность запретов, но и всю весомость аргументов, на которых веками держалась прочность устоев мусульманской семьи, Джюра тем не менее пыталась выйти из порочного круга душевных противоречий, и выбор своей судьбы предоставить осуществить самой себе.

О Джюре, об образе героини ее автобиографической повести, можно было бы сказать словами ее соотечественницы, поэтессы эпохи борьбы Алжира за свободу и независимость, Анны Греки (1931–1966 гг.): «Я пленница жажды света // Все мысли мои – о Новом //...»¹⁴.

«Плен» этот окончательно прорвался, – так казалось Джюре, – когда она запела на сцене. Помог счастливый случай. Озвучивая фильм об Алжире, она познакомилась с продюсером одной кабийской певицы, песни которой легли в музыкальную киноканву. Эрвэ помог и Джюре отобрать для своего репертуара песни ее края, записать кабийскую музыку, создать ансамбль народной песни (куда Джюра пригласила и своих сестер), организовал концертную деятельность. «Джюрджюра» стала известна во многих странах, собирая в залах не только магрибинскую диаспору, но и подлинных любителей и знатоков североафриканского фольклора. Творческая дружба с Эрвэ переросла в большую любовь, хотя в душе навсегда осталась благодарность и уважение к Оливье, ставшему бесстрашным проводником Джюры в мир свободы...

Оказалось, что песенное творчество, освободив ее, реализовав ее почти инстинктивное стремление к свободе, оказалось по-своему освобождающим и для многих ее соотечественников. «Берберская сущность» – еще

¹⁴A. Greki. Poésies. Alger, 1964. P. 17.

со времен услышанных в детстве песен и легенд, всегда понимаемая Джюрой как *призыв к сопротивлению насилию*¹⁵, как *Гордость, Непреклонность, Красота помыслов, которые спасали человека от рабства*, теперь озвученные в ее песнях, – как бы одобряла, обнадеживала людей, слушателей ее, участников ее концертов. Но уже в середине восьмидесятых вдруг началось новое наступление ислама, агрессивно поднявшего флаг борьбы за «чистоту» религии, за возврат к «истокам», объявив новую войну с «неверными», особо жестоко каравшего «поклонников» Запада, его понятий свободы, прав человека, *личной ответственности за свою судьбу*. Получалось так, что изначальное свое сопротивление бытовому «обскурантизму» ставшая певицей Джюра превращала свои публичные выступления в арену политического протеста против наступления фундаменталистов: **«Мой бой я вела за женщину, за ее равенство с ее сестрами во всем мире, за то, чтобы она могла свободно распоряжаться своей собственной жизнью, навсегда избавилась бы от унижающего ее покровительства мужчины. Она – извечная хранительница народной культуры, а культура – это сокровище народа, его главная драгоценность. И женщина, сохраняющая эту культуру, обогащает память народа, помогая ему, ибо “тот, кто не знает, откуда он пришел, не может знать, куда идет”... Воспевая все это, я осознавала политический смысл моих песен, надеясь, что они помогут избавиться от нелепых табу, возродить гармонию общей силы мужчины и женщины, силы, на-**

¹⁵ Приняв ислам во время арабского завоевания Северной Африки VII–VIII вв., берберы в своих преданиях и фольклоре хранили, тем не менее, воспоминания о своей былой независимости и своем сопротивлении арабскому нашествию (образцы берберского фольклора, как и художественной литературы, можно увидеть в созданной с помощью Центра берберской культуры в Доме Наук о Человеке (Париж) в Институте востоковедения «Антологии берберской литературы» в 2001–2004 гг. (Кабили; Риф; Туареги). Отв. ред. С. Прожогина, перевод с франц. М. Николаевой.

правленной на эволюцию нашего общества...»
(с. 142).

Свой собственный пример, своя, наконец-то состоявшаяся жизнь, вдохновляли Джюру, помогали ей в искусстве народной песни передать дух вольнолюбия, идею Красоты и Любви, *освобождающих* человека.

В древних текстах, передаваемых из поколения в поколение, зазвучавших с новой силой в творчестве Джюры, люди слышали и вековую печаль, и вековую тоску женщины, истомленной «жаждой света». Певица словно решалась одна из всех сорвать «покрывало молчания» с участи мусульманки и брала на себя удар тех, кто пытался «оставить женщину в темнице» на исходе XX века, когда уже целые народы, страны и континенты обрели желанную свободу... Шел 1987 год.

...Вызов Джюры не оставил равнодушными тех, кто вел *другой* бой. В отсутствие Отца (он уже умер), Брат взялся за нож, и в самый счастливый момент ее жизни, когда она, ожидая ребенка, которому скоро предстояло появиться на свет, позволила себе короткий отдых вместе с любимым в жаркий августовский полдень на берегу реки, попытался лишить жизни всех троих. Неожиданно нагрянувшая банда мстивших Джюре родственников надеялась уйти незамеченной, оставив на яхте окровавленные тела Джюры и Эрвэ. Но судьба была милостивой, — нашли и пострадавших, и преступников. Джюра выжила, и ей сохранили ребенка. Он станет для нее не только воплощением мечты, любви, реализацией ее стремления к свободе, права распоряжаться собой, но и **символом реального соединения двух миров, которые она равно любила.**

Выйдя из больницы, она будет писать свою первую книгу, расскажет о своей жизни и подведет итоги нелегкого пути к счастью, сказав: «Эту безумную надежду на

гармонию я буду петь и воспевать всю оставшуюся мне жизнь для поколения моего сына. А моя книга пусть станет маленьким, пусть хрупким, но кирпичиком здания, которое останется стоять, в ряду других, свидетельством этой надежды, помогая всем тем, кто будет в возрасте моего сына, таким же, как и он, рожденным во Франции или на другой земле, носящим в себе одну или сразу две культуры, но никогда не культивирующим в душе опасные **страх или боязнь д р у г о г о (La peur-de l'autre)**, чужого, не своего. Потому что именно это порождает ненависть, именно **страх р а з н о с т и**, которая, на самом деле, является истоком духовного **о б о г а щ е н и я**. А страх подавляет человека, мешает взаимообогащению людей, их любви или хотя бы их маленькой попытке жить освобожденными, жить без войны друг с другом» (с. 174).

Своего сына – полу-бербера, полу-бретонца, француза, она назвала Риван. «По-берберски это значит “Дитя музыки”. А во времена короля Артура и его Круглого стола это означало “Король, **идуший вперед**”».

...Так Джюра, сбросившая «покрывало молчания», пробившая себе дорогу к Свету, выразила надежду, что ее дитя вместе с другими, подобными себе, обязательно пойдет по этой дороге дальше, туда, **где царствует Гармония**, где, как сказала ее предшественница по «жажде света», «поднявшийся ветер» смел «бесправье, бессилье и злобу...»¹⁶.

...Снова утомила внимание Читателя подробной «картиной мира», запечатленной Джюрой. Но и ее надо видеть. Ведь «пространство» Джюры – составляющая, и немалая, современного Запада. В портрете героини Джюры, в ее представленном на страницах повести сво-

¹⁶ Анна Греки. Стих. «Пленница», пер. А. Полонского в сб. «Современная алжирская поэзия». М., 1990, с. 25.

ем «я», – попытка услышать Гармонию, попытка удержать ее и обогатить звуками Своей, очень личной мечты и надежды. Ее книга скорее соткана из аккордов мажорных, наполнена пафосом разлома льдов Чужбины, вырывающихся осколками из-под звуков радости, которые стремятся преобразить мир, заполнить пустоту, устранить тень, напоить пространство Светом. Этот «прорыв» – и в публицистической книге «Сезон нарциссов»¹⁷, написанной Джюрой как *предостережение Западу от страха перед миром ислама*, который Джюра отчаянно пытается защитить от всех попыток обращения его в средневековое пугало. Но «Сезон нарциссов» – это и попытка всмотреться в «двойное зеркало» – Востока и Запада, уже давно *сосуществующих* рядом, уже давно дарующих **плоды сближения своих культур**. Для Джюры **обе** стороны этого «зеркала» – **единое целое**, и потому она, всем опытом своей жизни доказывавшая **н е о б х о д и м о с т ь** этого единства, этого единения, звучащего для нее Гармонией слияния истинных человеческих ценностей, красоты идеалов, надежды на пришествие царства справедливости, на мир без войн и страха перед д р у г и м , так уверенно и так четко решает вопрос **«Кто мы?»**, стоящий и до сих пор перед магрибинцами, живущими на Западе: «...Я целиком и полностью **о т с ю д а** , но я и целиком и полностью – **о т т у д а** , и я **отказываюсь выбирать**, хотя этот выбор меня порой заставляют сделать. Выбирайте! Но я не хочу забыть ни мое берберское происхождение, как не хочу закрыть глаза и на то, что я выросла во Франции, что *эта* реальность – тоже моя жизнь. Алжир для меня – родная земля с ее запахами, красками, колыбельными песнями, с детскими криками, с раскатистыми трелями женщин во время праздников, которым нет равных ни-

¹⁷ Djura. La saison des narcisses. P., 1993.

где; родная земля с ее бескрайними полями, с бурными по весне реками, с незабываемым вкусом холодной воды, с нежной утренней росой на колючих кактусах, с паломничеством к святым местам, похожим на языческий ритуал. А Франция – как мое *второе рождение*, пробуждение к жизни, открытие искусства, музыки, мой расцвет, свобода творчества. **Но разве быть отовсюду означает быть ниоткуда?** Сколько же раз, о боже, я ощущала себя слишком магрибинкой для Франции и слишком француженкой для магрибинцев!.. (Везде выделено мной. Это – моя «педадь»... – С. П.)

...Кто же мы, дети Алжира, брошенные им слишком рано на произвол судьбы, но заронившего и слишком много семян в наши души? Кто же мы, дети Франции, воспринявшие ее вначале как землю своего изгнания, но которая поделилась с нами своим Знанием, свой Мудростью, своим языком, своей историей?

Наверное, мы – кочевники по земле культуры, в вечном поиске своей и д е н т и ч н о с т и ...

Однако я никогда не чувствовала себя **чужой** во Франции – ни в языке, ни в способе жизни. Мою “чуждость”, “посторонность” скорее ощущают другие, **заставляя меня ощущать это**. ...Упрощенный, стерильный образ некоего голого, обнаженного, лишенного своей культуры существа, был бы, конечно, куда более приемлем: он как бы легче для восприятия, более спокоен и надежен, легче усвояем, да и сам более податлив ассимиляции.

Но иммигрант – это не предмет, подобный пластиковому пакету, способному к “биodeградации”, к полному растворению в чужой среде и атмосфере. Быть вечно “чужим”, “посторонним” – это значит постоянно вопрошать, искать причины своей непохожести, несхожести с остальными. Вопрошать, пе-

рассматривать свою собственную, природную культуру, дестабилизированную ценностями давшего тебе приют общества. Вопросать себя, оказавшись перед лицом другого мира, который постоянно напоминает вам о вашем особом статусе. Без конца, снова и снова вам приходится самоопределяться во всех планах, на всех уровнях жизни — политическом, социальном, культурном, эмоциональном, сексуальном, религиозном... Быть чужой означает тайно или явно испытывать страх за будущее, постоянно терзаться сверлящей ваш мозг мыслью о том, что место, которое вы занимаете в этой жизни, абсолютно ничем не гарантировано...

...Для меня моя культурная **двудомность** — сама собой разумеется. Две культуры — это особое богатство. А если и существует какая-то дилемма, то она порождена **чужим** взглядом, с той стороны на эту проблемы. Лучше бы было рассматривать свое положение как преимущество, как свою силу, оружие, но тогда надо бы уметь вести свой непрерывный бой с повседневностью, а многие посчитали разумным отказаться от борьбы и предпочли третий путь: отъезд в Квебек, в Германию или Соединенные Штаты. А некоторые и вообще вернулись на родину, посчитав такое решение наиболее простым.

Но в последнем случае возвращенцы из эмиграции оказываются в *эхообразной ситуации*, весьма сходной с той, которую они познали на чужбине. **Еще раз — теперь уже вернувшись на родину — человек оказывается отброшенным средой (теперь уже своей!), ибо кажется непохожим, чужим, измененным, трансформированным своим изгнанничеством, своей жизнью на другой земле. Особенно эта ситуация трудна для девушек: всё, решительно всё в их поведении рассматри-**

вается как вызов тем, кто постоянно живет у себя в стране! Даже тогда, когда девушка пытается приспособиться к навязываемому ей способу жизни, ей отказывают в признании, постоянно напоминая, что она была и остается эмигранткой...

Этот разрыв в самосознании, самоидентификации порой непереносим, и именно он и подталкивает к тому, чтобы снова собрать свой чемодан и уехать еще раз с родины...

Но если я – ни **о т с ю д а** и ни **о т т у д а**, то кто же я? **Гражданка мира?** А ведь это – та самая реальность, в которой я живу, активно живу. Артисты, художники, люди искусства вообще, разве не составляют они всеобщее культурное достояние? Мое музыкальное вдохновение питается богатством культуры не только моего родного края, но всей Африки, Америки, Азии и Европы. Я выросла во Франции, а потому считаю, что принадлежу и к этой стране; я здесь вышла замуж, и свою сознательную жизнь прожила здесь, здесь выполняю свой гражданский долг. Мне трудно делить свои чувства между двумя берегами. Я – **о т с ю д а** и **о т т у д а**, **с той** и **с другой** стороны Средиземного моря, и мое сердце в равной мере отдано им. Именно потому, что я **безраздельно принадлежу двум мирам**, я веду бой за это **новое человеческое измерение**, за новую личностную идентификацию, за это наше **богатство**, которым владеют, как и я, все дети иммигрантов, выросшие здесь, на Западе. **Они должны были бы лакомиться медом нашего двуязычия, с наслаждением вдыхать аромат наших двух культур, ценить особый вкус наших смешанных блюд, упиваться красотой общего бытия, прелестью метисности...**» (с. 170–192).

Последняя глава книги Джюры названа «Надежда на завтра». Это, на мой взгляд, особый документ, свиде-

тельствующий о том, что ростки нового типа сознания, рожденного **в недрах Запада, но из семян Востока**, уверенно тянутся к солнцу и ждут расцвета: «...Во Франции, может быть, и произойдет столь необходимая сегодня для ислама “мутация”. Именно во Франции, где новое поколение иммигрантов учится одновременно и оставаться верным своим корням, своим первоисточникам, но также и жить в м е с т е с другими, на о б щ е й для всех земле...

«...В лоне почти конвульсивно содрогающегося мира, – пишет Джюра, – где каждый отчаянно цепляется за любые связи – религиозные, культурные, социальные, дети, родившиеся от смешанных супружеских пар, представляющие собой союз разных народов, традиций, обычаев и нравов, являют сегодня как бы рой ангелов-провозвестников, которые поведут нас за руку к новому будущему, к успокоенному в гармонии миру. Но пока это будущее не настало, надо, чтобы и угнетенные народы обрели свое достоинство, утвердились в своей культуре, и тогда люди в один прекрасный день без стеснения и мук смогут вступить в согласие с Другим, непохожим, понять и полюбить его. **Разве этнические столкновения, кризисные ситуации, которые переживают страны Востока, вспышки религиозных проклятий, преступлений нетерпимости, навязываемые всякого рода новые догматы – это всего лишь не переходная фаза, не последние судороги старых политических доктрин?**

Конец XX века не будет ли началом времени смешения народов, рас, религий, культур? Началом периода метисизации?

Уже завтра разные социумы увидят рождение нового Человека, не отринувшего своего “я”, но и не замкнувшегося на себе самом, открытого для любви к Другому.

Я вспоминаю стихи индийского поэта Робиндраната Тагора:

*Грянь, о Свет божественной любви,
Зажгись в глазах у тех,
Кто ненависти полны!..*

Увы, сегодня эта любовь еще не пробилась к сердцам людей, живущих в обществах, пока закрытых для этой любви. Порядок Любви еще не настал... Когда Нарцисс созерцал свое отражение в воде, волна открыла ему не его собственный образ, но облик того мира, который его окружал, хотя и сглаженный, и успокоенный, улучшенный почти до совершенства... Нарцисс нашел этот мир прекрасным, но красоту эту легко потревожило и разрушило единственное прикосновение его руки к воде...

Так и наш мир: достаточно прикосновения к нему жестокой руки, чтобы уничтожить его. Так попытаемся обрести покой, мир, тишину, попытаемся обрести Любовь. Да, именно так. И прав философ, который сказал: “Мир – это огромный Нарцисс, размышляющий, глядя на самого себя”... Но о чем же ему размышлять, как ни о главном – о Любви? В Кабилии моего детства – поля, на которых цвели нарциссы, – как песни о любви. Это пророк посылает их на землю каждую весну. И когда чье-то безразличие или бездушие топчет эти чистые цветы, Любовь одевает траур.

Но будущей весной нарциссы все равно расцветут. А с ними – и моя надежда» (с. 193–233).

Эта глубина веры Джюры внушает, конечно, не только уважение, но и некоторую надежду на возможность свершения ее прекрасной мечты. В любом случае примеры творчества ее «соплеменниц»-магрибинок убеждают нас в этом. Написанные в 2001 г. размышления алжирки Суад Бельхаддад «Между двух “я”»: алжир-

ка? француженка? Как выбрать»¹⁸ только подтверждают процесс некоей *метисизации культур*, когда самопринадлежность, самоидентификация в строгих рамках либо одной, либо другой затруднена четким выбором, ибо и алжирское происхождение, определяющее в известной мере жизнь магрибинки на Западе, и французское местонахождение и бытие в западном обществе сосуществуют в одной личности, влияя и на ее поведение, и на ее мировоззрение. Суад Бельхадда предпочтет *нейтральный* способ культурного самоопределения, избрав Италию своим «пространством», поскольку там не надо никому доказывать, что ты «и *француженка*, и *алжирка* *одновременна*»... (Итальянцам еще в начале 2000-х было, действительно, безразлично, кто ты по своему и происхождению, и по культурной принадлежности. Это сегодня многочисленные иммигранты в Италии уже стали проблемой не только политической, но и социальной, и психологической даже – «что делать с ними?..» Безразличие, или неразличения «чужого» исчезли...)

Но вот в самом Алжире, уже повсеместно известная Маисса Бей, крупная современная франкоязычная писательница утверждает, не убоившись в 2009 г. ни последствий, ни «издержек» только что закончившейся (официально – в 2003 г.) *гражданской войны*, где именно *франкоязычная интеллигенция* была под прямым прицелом исламистов, «*ненавистников всего западного*», что она «И ТА, И ДРУГАЯ»¹⁹. Прекрасно осознавая, что впитанная в ее алжирском детстве и повлиявшая на ее литературное творчество французская культура, языком которой она и пользуется, создавая пронизанные любовью, состраданием и надеждами именно *своей родной*

¹⁸ Souâd Belhaddad. Entre deux Je. Algérienne? Française? Comment choisir... P., 2001.

¹⁹ Maïssa Bey. L'une et l'autre. P., 2009.

страны произведения, помогает напоминать своему народу о необходимости сохранять идеалы Свободы, Равенства, Братства или о том, что попытки исламистов вернуть страну «к истокам» и обречь на полную изоляцию «от воздействия Запада» – бессмысленны²⁰. Я упоминала об этой замечательной писательнице выше в очерке, где шла речь об отражении мусульманских традиций в творчестве магрибинок, о ее романе «В начале было море...» (2003). Но и здесь, в используемом аспекте осознания франкоязычными магрибинками своего культурного «порубежья», я хочу особо подчеркнуть, что именно женщины как-то особо ответственны за свой выбор «между двух», уже свершившихся «Я», точнее, своей реальной принадлежности разным цивилизационным основам с осознанием еще и своего и гражданского, и человеческого долга перед своей *Отчиной*... «Между “той” и “другой”, – как пишет М. Бей в своей книге, – конечно же, лежит огромная дистанция. Но я перехожу границы, будучи абсолютно свободной, с ощущением именно своей личной Свободы... Это было нелегким завоеванием. Ибо утверждение “себя”, своего личного “я” – дело достаточно болезненное в нашем обществе. Но когда твои желания все-таки реализуются, то исчезают и страхи и своей “посторонности”, или своего недостаточного присутствия в разных культурах Мир принадлежит нам. Надо ли думать о своей беспомощности изменить его к лучшему? Главное – надеяться (с. 55–56).

Это состояние прекрасно передано в эпиграфе к книге «И та, и другая»: “Шагаю я с цепями на ногах. Но чувствую, что ТЕЛО ДЫШИТ Горизонтом...”²¹.

²⁰См., напр., ее книгу «Услышьте горы!» (Entez-vous dans les montagnes! Alger, 2005) или книгу новелл «Жасмином ночь благоухала» (Dans le jasmin la nuit. Alger, 2004) и др.

²¹ «Chaines sont mes pas // cependant mon corps est horizon» (Adonis).

Оставим этим бесстрашным женщинам пространство их «ослепительных желаний»... В конце концов, все нормальное человечество извечно ищет преодоления Хаоса в Гармонии...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почти обо всем, что было увидено, услышано, прочитано, — обо всем, что было доступно моим наблюдениям за творчеством франкоязычных магрибинцев, начатым еще в далекие 60-е гг. XX в., я написала в своих монографиях и статьях, сказала в своих докладах на многочисленных конференциях и съездах востоковедов. Но пристальное освещение (в достаточно полном объеме) именно творчества женщин-магрибинок постаралась представить здесь, в совокупности своих очерков, поделившись очень личными представлениями и впечатлениями от всех источников, бывших в моем распоряжении. Их немало, но сколько еще будет получено от друзей — писателей, от доброжелательных коллег, работающих временами в «моем» регионе, от издателей, с которыми налажена связь. Хотя уже почти исчезает возможность посещения необходимых библиотек и книжных магазинов...

Но полагаю все-таки, что основное — представлено. Это всё имена и книги не только «громкие», «резонансные», как теперь говорят, но и действительно художественные, — не из арсенала массовой культуры и литературы. Не только потому, что написаны на французском языке, да и просто представителями интеллигенции, или живущей и работающей в странах Магриба, иногда — в эмиграции, либо выходцами из среды магрибинских иммигрантов во Франции. Художественная ценность представленного — и в важности проблемно-тематической сферы, и в осмыслении ее — пристальностью «женского взгляда», остроте «пера», которым вла-

деют магрибинки, и в способе типизации реальности, которую осмысляют. В этом мне не приходится сомневаться, ибо я сама не понаслышке знакома с ней, и даже не в самые ее лучшие годы, отметившие постколониальную эпоху. Если отсчитывать время со дня нашего прибытия в Марокко (1961 г.), работы там, а потом и время постоянной жизни и работы в Алжире в его мятежные послереволюционные годы (вплоть до 1967 г.), а это – и время постоянного посещения Туниса и его фундаментальной библиотеки, основанной Ж. Фонтэном (как и библиотеки его коллеги-алжирца Ж. Дежё, моего наставника, – собирателя всех изначальных образцов творчества франкоязычных магрибинцев уже в 90-е гг.), а потом и систематического, вплоть до 2017 г. посещений стран Магриба и моей долгой стажировки все 90-е – до 2015 г. в Доме Наук о Человеке (M.S.H.) в Париже и в Центре научных исследований Франции, – где я имела возможность ознакомиться и со многими архивами (как в Национальном Центре берберологии M.S.H.), и с лекциями ученых-литературоведов, занимавшихся проблематикой, меня интересовавшей, и посещать занятия в Сорбонне в Центре мировой франкофонии... Я уж не говорю о представившихся мне возможностях и в Магрибе, и во Франции, личного знакомства со многими писателями – и с Катэбом Ясином, и с М. Маммери, и с М. Дибом, и с А. Джебар, и Ж. Сенаком, и с А. Мемми, и с Р. Беламри, и с Т. Бекри (с которым дружна и по сей день), и со многими другими писателями и поэтами. Главным для меня всегда было – знать не только тексты, но и саму жизнь магрибинцев, чувствовать пульс их настроений, их довольно сложного бытия (и творческого, и личного) в условиях и своей, и другой реальности, куда забрасывала их судьба. А когда я, подолгу живя и в Европе (в

одной Италии мы проработали с мужем после Алжира целых десять лет), никогда не упускала возможности узнать, как и чем живет Магриб, а проходя свою долгую стажировку во Франции не могла не посещать все издавна знакомые мне кварталы Парижа, Марселя, Экс-ан-Прованса и др. городов, ставшие в нынешнее время практически «этническими гетто». И жизнь «моих» североафриканцев мне всякий раз открывалась по-новому...

Но возвращаясь к художественной ценности избранных для моих очерков произведений магрибинок, к уже отмеченному (и, надеюсь, замеченному Читателем) глубокому психологизму, типизированному в образах их героинь, я могу добавить и еще одно, на мой взгляд, отменное качество – прекрасный, традиционный литературный французский язык, не перегруженный ни жаргонизмами (как в прозе современных французов), ни никакими, свойственными французской молодежи особенно, употреблениями верлана (слов «наоборот») или даже избыточными арабизмами, присущими, к примеру, творчеству талантливого алжирца Р. Буджедры, который, прекрасно владея арабским литературным и сам переводя на него свои произведения, порой злоупотребляет – для «орнаментации» – и арабской вязью (оформляя ей некоторые отдельные, зачастую пустые страницы), и вкраплениями во французский текст арабских слов, означающих и предметы быта, и способы выражения героями своих эмоций. (Надо сказать, что это было присуще и М. Ферауну, описывавшему свою, кабилскую, действительность еще колониального Алжира, и порой переполняющему текст берберскими словами, требовавшими его собственных комментариев в под-

строчниках...¹) Но это – не в упрек «старым мастерам», а для того, чтобы отметить особую «чистоту» прозы (да и поэзии) магрибинок, пишущих на французском, – что не умаляет их объемной демонстрации *самобытности Своего мира*...

Объемной – в том числе и эпической, столь свойственной писателям-магрибинцам, начиная с М. Ферауна, М. Диба, М. Маммери, Д. Шрайби, А. Мемми, а сегодня и Р. Буджедре, и Р. Беламри, и Р. Мимун и мн. других магрибинских франкоязычных писателей-мужчин, в чьем творчестве не просто «дышит» сама История, общество их стран, настроения эпохи и ее потребности и отмечены вызовы стремительно меняющегося мира. Но и у их соотечественниц, – как я попыталась представить, – немало и полноты эпического бытописания своего времени, – вспомним роман Дж. Дебеш «Азиза», где запечатлены и осмыслены традиции горного края не менее объемно и аналитически, чем это сделали и М. Фераун, и М. Маммери, или Али Бумахди, позднее уже – М. Диб, отразив реальную действительность Кабилии и ее обитателей... Да и «военные» романы А. Джебар не уступают ни в своем патриотическом пафосе, ни в своей психологической мотивированности вступления народа в Войну против колониализма ни творчеству К. М'Хамсаджи, ни М. Бурбуна, М. Уари, ни мн. другим алжирцам-мужчинам, исключительно посвятившим свои книги эпохе антиколониальной борьбы, неравной битве алжирцев с колониальной армией за Свою Независимость.

И я бы даже осмелилась сравнить сборник новелл о новой гражданской войне в Алжире уже эпохи 90-х гг. XX в. «Оран, мертвый язык» А. Джебар со знаменитым

¹ Возможно, конечно, и другое отношение к этой манере литературного письма: она способствует ощущению «особости» запечатлеваемой реальности...

романом М. Диба «Если захочет дьявол». Оба произведения не только преисполнены болью за свершившееся на их родине, но и по силе своего психологизма, да и по «эпическому дыханию» как умению запечатлеть само развитие исторических событий, их особую специфику, их особый фон (и этнографический, и социальный, и политический), по мастерству прозаического повествования, по-моему, с дистанции времени, могут показаться во многом равноценными...

А еще мне хотелось бы отметить в прозе женщин-магрибинок (а их сегодня – много, – в одной только тунисской, начиная с 70-х, включая 80–90-е и первое десятилетие 2000-х – я насчитала около 20!²) особую выразительность, вполне естественную именно для «женского дискурса», – и эмоциональность, и «приметливость» как умение подчеркнуть те детали или «частности» (быта, традиций, вкусовых ощущений и т. д.), которые не всегда доступны мужчинам-магрибинцам, особо не посвященным во все «тайнства» жизни и родительского дома, и обычаев, и ритуалов, связанных именно с «поведенческой моделью» женского бытия³. Более того, если даже женщины-магрибинки «развивают» в своем творчестве традиции своих выдающихся предшественников-мужчин, впервые обратившихся к какой-то особо специфической проблематике для своей страны (как это сделал, к примеру, тунисец А. Мемми, обнажив проблему «смешанного брака» и столкновение разных конфессиональных традиций), то, продолжая эту тему, магрибинки уже более позднего времени показывают ее шире (на примерах и других, не только католическо-иудейских разногласий, конфессий), и глубже, возводя конфликт этно-конфессиональный (характерный имен-

² См. в нашем исследовании «Магрибинский роман». М., 2007.

³ См., к примеру, повесть Я. Шами «Церемония», фрагменты которой даны ниже.

но для Туниса) до степени социально-политической, упрекая саму систему Власти в стране, допустившей даже после ее Независимости возможность *внутренних противоречий* и противостояний⁴. В данном свode моих очерков эта проблема особо не затрагивается, ибо меня преимущественно интересовала проблема судеб женщин-магрибинок в парадигме «традиция – модернизация», понимание именно магрибинками возможностей своих ролей как в условиях власти Традиций Жизни, так и в необходимости эмансипации как вызова современной эпохи. Полагаю, что мои собственные возможности обращения и к художественным источникам, и к определенной информации о реальной жизни магрибинок и в Алжире, и в Марокко, и в Тунисе, и в их эмиграции во Франции в какой-то мере были полезны Читателю.

Ко всему и сказанному, и отмеченному выше могу добавить только то, что знакомство с миром книг именно магрибинок значительно и расширяет, и дополняет, и углубляет в целом картину не столь уж отдаленного от нас окружающего их мира и даже его Истории, встающую со страниц их замечательных соотечественников-писателей. Я бы могла только пожелать этому женскому «отряду» художественного творчества в странах Магриба расти и продвигаться все дальше по пути и постижения национальной реальности, и ее возможностей найти диалог с Западом, как это пытаются сегодня молодые новеллистки⁵, и расширяя горизонты «малой прозы», и находя выход к тем горизонтам, которые открыты Гармонии, или просто попыткам осуществить желанный всем человечеством мир между Востоком и Западом...

⁴ См. подр. в указанном выше «Магрибинском романе».

⁵ См. в нашей «Антологии» магрибинской новеллистики» (М., 2019), к примеру, перевод новеллы туниски Л. Бен Мхини «Когда зацветет горох...»

RÉSUMÉ

Les essais présentés dans cet ouvrage, caractérisent la littérature des Maghrébines en soulignant «la spécificité féminine» de leur œuvre, surtout romanesque et novellistique.

Les Algériennes, les Marocaines et les Tunisiennes cherchent à refléter la réalité nationale de leurs pays surtout dans les aspects concernant les contradictions entre la tradition religieuse (musulmane) et la nécessité de la modernisation de la vie des femmes en époque postcoloniale où devraient être gardés les idéaux de la lutte pour la Liberté et l'Indépendance. Les noms de D. Debeche, A. Djébar, Jelila Hafsia, M. Mokkedem, M. Bey, Y. Chami, L. Ben Mansour, H. Boussedjra, S. Bencheckroun, M. Guessous et beaucoup d'autres, écrivaines professionnelles ou non, se sont regardées ici par leurs livres connus et analysés dans le contexte de la comparaison avec l'œuvre des écrivains Maghrébins (hommes), leurs prédécesseurs ou leurs contemporains, pour faire évident la profondeur psychologique et la finesse aiguisée de leur désir d'écrire le destin féminin de leurs compatriotes.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Джелила Хафсийа

ПЕПЕЛ НА ЗАРЕ **(фрагмент из романа)***

В ней происходила собственная внутренняя революция, когда начались первые политические волнения в ее стране. За несколько дней она вернулась на несколько лет назад, в свое прошлое. В первый раз она вдруг ощутила радость принадлежности к сообществу своего народа, почувствовала то, что чувствуют другие люди, надеясь на то, на что надеялись они, хотела того, что желали тунисцы. Она узнала, наконец, что означает коллективная воля. Потому что она слишком поздно поняла, что такое на самом деле колониализм и расизм. А ведь ей было тринадцать лет тогда, когда она училась в пансионе, где директрисой был французенка из Нормандии, недавно обосновавшаяся в Тунисе. Женщина замечательная в своем роде. В молодости она испытала гнет немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Была интеллигентной и великодушной. Была наделена ясностью осознания необходимости своей профессии и получала удовольствие от хорошо выполненных обязанностей. Была серьезна в своей работе, вполне приносящей свои плоды. Мать Набили и эту французенку связывали дружеские отношения. Директрисе нравилось жить и работать в Тунисе. У нее не было родственников, и она была незамужней... «Я уже не так молода и могу теперь делать то, что мне нравится», — любила повторять она. К тому же у нее были во всем

* Jelila Hafsia. *Cendre à l'aube*. Tunis, 1975 (p. 181–193). Перевод мой –С.П.

свои собственные представления. Набиле казалось, что она знает эту женщину всю свою жизнь. Мать, отдавая ее во французскую школу, конечно, выбрала именно этот пансион. Здесь, пока директорствовала эта француженка, не было никаких различий между учениками, будь они мусульмане, евреи или европейского происхождения. Но именно по этим признакам расценивалось всё население Туниса. Это были этно-национальные элементы этой страны в эпоху ее французской колонизации...

В пансионе Набиле было хорошо. В то время она проявляла живой интерес к общению с другими девочками, очень хотела завести подружку. Среди учениц была та, которую звали Колетт. Хорошенькая, спокойная, независимая, уверенная в себе девочка. Набила поначалу стеснялась дружить с ней, была, в отличие от Колетт, весьма скромной, держалась на дистанции от других, боялась быть униженной. Но у Колетт, к счастью, была способность к желанию понять то, что было не похоже на нее, на ее мир, на привычную для нее самой обстановку. И многие ценили в ней это качество — полагали, что это особая глубина ее ума, его проникновенность, и тянулись к ней. И Набила тоже стала поглядывать на Колетт с обожанием и даже с восхищением. Она ходила за ней по школьному двору во время перемен с надеждой, что та ее заметит. И Колетт, действительно, обратила наконец на нее свое внимание. «Я хотела бы узнать, не желаете ли вы послушать кое-какие пластинки вместе со мной?» — спросила она однажды у Набили. И с тех пор Колетт была для нее образцом для подражания, казалась блистательной в своих познаниях того, о чем Набила не имела ни малейшего представления, не понимала даже. А тогда она ответила Колетт, что ничего не знает о музыке, кроме уроков пения в

классе, да и вообще не имеет понятия ни о каком другом искусстве. Колетт ответила ей, развеселившись, что «так нельзя», что Набила «обманула ее ожидания», потому что «по внешнему виду» показалась ей серьезной и понимающей толк в музыке! «Как забавно!» — сказала она. «Ведь я слышала, как вы поете! Я просто обожаю слушать ваше пение! Я прошу вас, спойте мне что-нибудь прямо сейчас!» Но Набила ей возразила, что не умеет петь «по приказу». Разве что если они куда-нибудь поедут на загородную прогулку, на свежий воздух «Ну ладно! Вы мне споете завтра какую-нибудь песенку, когда мы пойдем гулять. Ведь мы можем пойти поболтать друг с дружкой? У вас ведь найдется немного свободного времени?»

Конечно, времени у них было предостаточно, чтобы быстро завязать дружеские отношения. И с тех пор они словно жили в царстве света, природной мудрости и счастливых намерений. Они наилучшим образом проводили свой досуг, мечтая о красоте, о смелости, о благородных поступках... Они ненавидели стыд и страх. А зло для них было ничтожество помыслов и жизненных целей, зависть, ложь и жестокость. Они ничего не хотели знать об уродствах окружающего мира. Вместе читали прекрасные книги. Слушали любимые пластинки. Почти не расставались. В школе они держались особо, окруженные немногими несколькими подругами, — товарищами, как они их называли. Они вместе пели, смеялись и болтали. Читали по очереди стихи. Но и для Колетт, и для Набили другие не представляли особого интереса. Они только вдвоем рассказывали друг другу о своих общих желаниях и понимании счастья. Только у них были собственные и совместные понимания замужества, брака вообще. И только они считали, что задумываться об этом всерьез еще рано. Колетт считала да-

же, что женщина должна уметь жить для себя самой. Набила с ней подолгу спорила. Но они вместе считали, что надо уметь слушать и понимать других, несмотря на разность их характеров, их поведения. В течение всего этого периода Набила ни с кем не дружила так близко и ревностно, любила Колетт.

Но образ этой девочки, сохраненный в памяти Набили, все-таки как-то размыт. Она уже не помнит, к примеру, *JelilaHafsiакак причесывалась ее подружка, как одевалась, была ли она высокого роста или среднего. Ей помнится только то, что волосы ее были золотистого цвета, что у нее был благородный профиль, пристально смотревшие глаза, бледная кожа очень живого лица с узкими губами, что у нее были грациозные движения. Вспоминает о Колетт в целом тепло. Но с болью и горечью тот ужасный день, когда они поссорились.

Это было накануне больших летних каникул, когда их всех из пансиона отпускали по домам. Колетт должна была поехать к своим родителям, французским колонистам, жившим в сельской местности Туниса. Она и Набила с грустью расставались друг с другом. Пообещали писать письма каждый день. Но вот Колетт пришла в школьный двор, где ее ждала Набила. Это было место, где девочки когда-то клялись в вечной дружбе. Колетт долго стояла молча перед Набилей. Что-то не клеилось, что-то беспокоило Колетт, и Набила это чувствовала. Та начала было что-то говорить, потом покраснела. Ей надо было сообщить Набиле что-то очень важное, но она не знала, как это сказать. Набила была заинтригована. Наконец, Колетт вымолвила скороговоркой: «Знаешь, когда ты будешь мне писать письма, не подписывайся своим настоящим именем... Подпишись лучше как Жаклин или Мадлен...»

Набила посмотрела на нее с удивлением. Она ничего не понимала. Покраснела. Потом отступила назад. Ее всю затрясло, по щекам текли слезы, то бросало в жар, то в холод. И она закричала, наконец: «Потому что тебе стыдно, что твоя подруга — туниска?! Да я тебе вообще не буду писать! У меня нет больше подруги!»

И ушла. Колетт ее догнала. Плакала. «Это не я, не по моей вине, и ты знаешь прекрасно. Это всё мои родители, которые не хотят, чтобы я общалась с тунисской средой! Они не знают, что моя лучшая подруга — туниска, а не француженка!» Набила смотрела на нее с удивлением. Ничего не говорила. А Колетт начала кричать: «Но я не хочу тебя терять! Не хочу! Пиши мне! И подписывайся своим именем! Какое мне дело до моих родителей!» Заплакала. Набила все еще была охвачена внутренней дрожью, но слез уже не было. «Нет, — сказала она категорически. — Между нами всё кончено».

Шок был ужасен. Она никогда не сталкивалась с проблемой колониального расизма. И уж, конечно, ничего подобного не ожидала от Колетт. Они ведь так привязались друг к другу, так много значили одна для другой... Набила это понимала. И теперь была ранена и уязвлена до глубины души. Ей словно открылась сущность колонизации ее страны, колониализма в целом, когда колонизаторы считают колонизованных ими «туземцев» какими-то особыми существами, их недостойными, теми, которых «не надо посещать», с которыми «не надо дружить». А ведь именно постоянный контакт с коренными жителями той земли, где ты занимаешься своим колониистским делом, должен был привести людей к сближению, к пониманию, к установлению каких-то более тесных связей, даже к симпатии... Ведь зависимость от других была так очевидна... Но именно презрение «к другим», неевропейцам, как они, французы,

было основой колониалистского поведения, и оно мешало естественной логике необходимости понимания другого, установлению не только взаимодействия, но хоть какой-то доли симпатии. И так постепенно образовывалась неодолимая бездна взаимопротиворечий, разности между мусульманами и европейцами-христианами, разности менталитетов, разности исповедования духовных ценностей.

Арабов демонстративно опасались. Говорили, что им необходимо внушить страх перед европейцами. «Что с них взять, — ведь они же — варвары!» И все колонисты, жившие на их земле, своих детей воспитывали в «презрении другого». Внушали им эти свои идеи.

И вот тогда, в школьном дворе, стоя перед Колетт, Набила была охвачена душевным смятением. Она вся кипела. Но была слишком еще молода, чтобы понять, что расизм был разменной монетой во всем западном мире. Ей просто показалось, что французы-колонисты на ее земле — дураки. И расист был просто каким-то зверем, а не человеком. Но эта сцена оставила глубокий след в ее душе.

Конечно, сама Набила была родом из довольно обеспеченной буржуазной городской тунисской среды и не имела, как говорится, «ничего общего» с огромной массой бедных арабов, тунисцев в целом. Некоторые ей даже говорили: «Ты не похожа на других!... А эти — «другие» — и были ее с о о т е ч е с т в е н н и к а м и . И она должна была бы давно уже определиться со своей принадлежностью к своему народу... Но это происшествие в школьном дворе отметило всю ее жизнь.

...Ее страна сражалась за независимость. Политические лидеры требовали свободы. А свобода была мечтой о чем-то прекрасном и необходимом. Они требовали еще и возвращения достоинства своему народу. Эти по-

степенные открытия в жизни своей страны были для Набилы головокружительны. Время было непростое, шла война в Индокитае, и никто не видел никакого выхода в этой битве... В Тунисе, в свою очередь, после двух лет мирных усилий, был выбран тоже путь борьбы, и народ балансировал на грани ужесточения насилий... Еще одна война для Франции (которая уже теряла и Вьетнам, и Алжир...). Бургиба, лидер тунисского политического движения, был арестован, и это вызвало в стране всеобщую забастовку. Разразились волнения. Происходили бесчисленные аресты тунисцев. Среди них — деятели неадестуровской партии, которая требовала свободы и независимости от Франции, — все те, кто хотел того же. Участились чистки, вспышки терроризма... Потом и пытки патриотов во французских тюрьмах. Кое-кто стал подумывать о восстановлении «порядка»... Но никакого порядка не было, и волнения в стране только умножились...

Все осознавали, что восстание тунисцев — неизбежно. Шли необратимые процессы. Страна меняла и свое лицо, и менталитет тунисцев. Пресса стала заниматься фальсификацией событий. Газеты освещали только то, что колонизаторы, французские служащие в Тунисе, хотели читать. Какие происходят обыски, какие аресты... А их было предостаточно. Но ряды борцов за Независимость становились все больше. Волнениями была охвачена молодежь страны. Ведь народ уже требовал Независимости.

И вот, наконец, настал день победы. Конечно, среди тех тунисцев, а их было тоже немало, которые считались «привилегированными слоями» в колониальном обществе, шли многочисленные дискуссии, и не все были согласны с требованиями патриотов, боровшихся за полную Свободу от Франции.

Набила помнит об этих «дискуссиях» в одной буржуазной семье. Даже самые заклятые колонизаторы не говорили на таком языке: «А вы, на чьей стороне будете?» «Пока еще ничего не знаю». «В любом случае нельзя допускать того, чтобы женщины шли в политику!»

В целом многие из них не знали ни истории своей страны, ни ее настоящего. Не хотели попросту отказываться от своих привычек к довольству, мизерного комфорта на фоне нищеты народа, не хотели и думать о его будущем. Боялись всего того, что этим буржуазным слоям народ не простит богатства, приобретенного за счет сотрудничества с колонизаторами... Но именно этот слой тунисцев стал ненавистен во время борьбы за Независимость, потому что так или иначе способствовал власти колониализма. А когда Независимость пришла, все эти люди словно где-то растворились. Либо погрязли или в безразличии, или в своем извечном презрении к «простому люду».

В течение всех дней всеобщего возбуждения люди общались друг с другом, обменивались новостями, радовались, беспокоились, возмущались, нервничали, гордились, поднимали у себя настроение, даже если говорили о плохой погоде, дожде или, наоборот, когда было тепло и солнечно... Им было просто хорошо, когда они чувствовали себя вместе, а значит — сильнее. Какая была солидарность! Какая вера в будущее! Все словно возрождалось. Тогда было у всех право на надежду. Иначе для чего надо было затевать битву за Независимость? Разве не для того, чтобы дать свободу каждому и заставить звонить похоронный колокол по эксплуатации человека человеком? Вся страна была охвачена одним порывом. Даже женщины, которые привыкли к рутине своего бытия, простой семейной жизни, монотонной,

чудовищно однообразной в своем извечном традиционном послушании только воле мужчины, в своей невозможности никакой инициативы, вдруг, словно охваченные ураганом, вострепнулись и почувствовали свою собственную ответственность, свою значимость, ощутили свои возможности, свое неизбежное участие в общественной жизни. Даже образовалась и расцвела мужская и женская солидарность. Казалось, что будущее принадлежит всем безраздельно. И у всех были свои планы на это прекрасное будущее...

И вот как-то, в начале июня, проснувшись поутру вместе с солнцем, Набила услышала прокламацию Свободы на радио. Нельзя было поверить! Свершилось! Независимость наконец пришла. И совпала с возвращением из ссылки Хабиба Бургибы. Набила вскочила, вышла на улицу. И весь день и всю ночь ходила по Тунису. Город был весь в цвету и цветах. Улицы украшены, люди нарядны. Казалось, что все обнимали и целовали друг друга! Все куда-то бежали, спешили, торопились на встречу со Свободой. Они были освобождены. Дети пели. Как волновалось ее сердце! Она смешалась с толпой, встретила знакомых... Некоторые из них хмурили брови. «Вот теперь-то и начнутся наши трудности. Расцветут пышным цветом», — предсказывали они. Она им сочувствовала. Думала, что они просто не могут радоваться вместе со всеми, не понимают свой народ. И на всю свою жизнь сохранила, несмотря ни на что, светлую память об этом праздничном дне. Ничто не могло затмить в ее сердце эти прекрасные мгновения пережитой совместно с другими радости. Они и до сих пор искрятся в ее душе.

...Бургиба вышел на улицы столицы. Она пошла с друзьями на площадь, где он должен был выступать. Сюда он приехал на автомобиле. Потом пошел к трибу-

не, пробираясь сквозь гущу тех, кто добивался Свободы. Там было полно и детей, и женщин. Они держались за руки, радостно смеялись. Смешавшись с толпой, они превратили праздник не в военный парад, но в народное гулянье, похожее на нарядный, раздольный карнавал. Потом все несколько дней подряд болтали со своими друзьями, пили, гуляли, смеялись, праздновали свое освобождение. И она вместе с другими, ставшими ее друзьями. Это был какой-то огромный прилив, всплеск всеобщего Братства. Это была победа для всех тех, кто верил в Будущее, надеялся, что она будет принадлежать именно им. Все словно бросались в открытое море...

Набила поняла тогда, что и ее судьба была отныне связана с судьбой ее народа. И свобода, и угнетение, и счастье, и несчастье людей будут отныне касаться и ее личной жизни...¹

¹ Напомним, что речь идет о 1956 году. — С. П.

Ясмина Шами

ЦЕРЕМОНИЯ*

Это единственный дом, в котором она может жить.

Не только потому, что перед ним простирается аллея из апельсиновых деревьев, на ветвях даже зимой висят тяжелые и спелые плоды, испускающие чудесный аромат, который она вдыхает с упоением полной грудью, едва выходя за тяжелую дверь портала, со скрипом открывающуюся перед ней спешащим навстречу сторожем... Как и все обитатели этого дома, Хадиджа наблюдает за суетой бегающего с утра по двору из одного конца дома в другой по своим делам Буджему. Потом слышит, как заводит машину отец, отправляющийся за покупками по хозяйству. Он привозит вскоре всё, что нужно для приготовления пищи, — этим занимаются женщины. Они получают в свое распоряжение вдоволь и муку, и растительное масло, и сахар, и мяту к чаю, и мясо, и кур, еще живых, которых надо будет прирезать завтра, очистить тушки от перьев... В знакомых с детства звуках и ритме, в котором живет большой дом, есть что-то успокаивающее, даже в громком смехе Латефы, доносящемся из кухни, даже в тяжелых вздохах бабушки после совершенной молитвы вечером, даже в ссорах, иногда возникающих между Лалой Ритой, матерью Хадиджи, и ее мужем, отцом Хаджем Мохаммедом... Эти внезапные их ссоры, резкие споры, заставлявшие когда-

* Yasmine Chami. Cérémonie. Actes Sud, 1999. La Fenne, 2004 (фрагменты из повести даются по посл. изданию. Пер. с франц. С. П. Прожогинной).

то в детстве биться ее сердце от страха, теперь кажутся обычными, привычными, понятными... И Хадиджа легко дышит в атмосфере этого дома, где она нашла теперь свое убежище, в родном месте, таком знакомом, но и таким другом, отличным ото всего, что ее уже давно окружало в жизни... Да, она дышит здесь легко, но дыхание это ее порой прерывисто: случаются мгновения, когда уже давно расстроенные струны ее сердца начинают звучать так, что становится дурно, как от подступавшей к горлу тошноты... Она начинает вдруг ощущать, что тело ее тяжелеет, наполняясь чем-то горячим, вязким и неприятным; порой вздрагивает, будто что-то сотрясает ее... И в такие моменты обретенный вновь ритм жизни родного дома, утешавший ее, успокаивавший и даже укачивавший, как колыбельная, когда-то петая матерью, атмосфера, снимавшая с души все прежние тревоги, куда-то исчезла. И тогда волны этих пережитых тревог и неприятностей снова могли нахлынуть в ее душу и сердце... Это случалось по ночам, когда призрак другого дома возникал в ее сознании. Того дома, который она покинула ночью, прижав к себе трех дочерей, стремительно убежав ото всего, что было в этом доме, исполненная отчаяния, необъяснимого порыва бросить всё и убежать, скорее бежать... Помнила только, как муж в эту холодную и дождливую ночь безразлично, словно чужой, наблюдал за ее побегом, и как старшая ее дочь, Сельма, с достоинством, упрятав куда-то свою детскую еще слабость, утешала мать, говоря ей: «Ну давай же, поскорее, мамочка, убежим отсюда, нечего нам здесь больше делать, ты же видишь, что мы ему больше не нужны...»

Этого Хадиджа никогда и никому не рассказывала. Даже Малике, приехавшей сюда из Парижа за два дня до предстоявшей здесь церемонии. Ей, своей кузине,

еще совсем молоденькой, но умевшей утешать ее, склонив нежно голову на ее плечо, в минуты, когда понимала смятение в душе своей старшей двоюродной сестры... Да и как рассказать о том, сколько вынесла она унижений за годы своей супружеской жизни, сколько накопилось тоски, которая осела в душе после всех перенесенных страданий, когда семейную жизнь еще хватало сил поддерживать, несмотря на все ураганы и бури, происходившие в ней?.. И если спросил бы кто-нибудь у Хадиджи, как ей удалось выстоять и так долго жить с неверным и недобрым мужем, и даже надеяться на что-то лучшее, когда вдруг беременела и ждала нового ребенка, когда вновь расцветало ее женское тело, она не смогла бы ответить сегодня. Видимо, это особая привилегия молодости — надежда. Неистребимая вера, которая держит человека на месте. И ему довольно малейшего внимания, хоть какого-то раскаяния со стороны другого, скромной его ласки, — и жизнь возвращается на круги своя. И вчерашнее несчастье позабыто, хотя именно оно и становится повседневностью...

Хадиджа — архитектор. Она создает дома, где живут люди. Прекрасные дома с большими окнами и тенистыми террасами, с просторными комнатами, где много воздуха. «Дома для богачей» — как говорит в насмешку над ее проектами ее младший брат. Но ведь она только чертит линии воображаемого пространства... Хадиджа пожимает плечами в ответ на усмешки брата и думает, что если бы он сам начал строить более скромные сооружения для людей победнее, то она бы посоветовала ему еще добавить к его планам и дворiki с деревьями, где могли бы играть дети, или куда бы могли пойти покинувшие свои деревни крестьяне в поисках работы в городе, и где бы они смогли отдохнуть в при-

вычной обстановке жизни простых семей, знающих уже, что это такое — «миражи» города...

Но у ее нанимателей другие цели. Им надо, чтобы архитектурные проекты приносили прибыль, и потому ее работа — вовсе не поэзия, где должно жить только вдохновение и воображение...

И вот теперь, сидя прямо на свежeweымытом простым хозяйственным мылом полу в гостиной своего родного дома, Хадиджа вспоминает о своих былых проектах и мечтах, оставшихся где-то в глубине ее души после краха всей ее прежней жизни... Сидит, как старая королева, потерпевшая кораблекрушение и обретшая приют у своей родни... Ее дети — рядом с ней как напоминание ее прошлого, где случилось то, что в нормальной жизни не случается...

Сейчас для нее ее родной дом — единственно возможное пристанище. Конечно, не потому, что вокруг — благоухающие жасмином небольшие сады, где по весне расцветают белые нежные цветы. Их запах потом жаркими летними ночами замещается густым ароматом других деревьев и цветов, заполняя комнаты, пробиваясь в открытые окна, охватывая душу какими-то томящими предчувствиями... В детстве, когда она смотрела на мать, собирающую семью куда-то в дорогу, к кому-то в гости, на чью-то свадьбу или еще на какую-то другую семейную церемонию — обрезание, похороны и пр. — куда надо было являться в нарядных одеяниях (и потому мать укладывала в расставленные повсюду чемоданы, вынутые из шкафов, расшитые золотыми нитями кафтаны, фланелевые галабеи, парчовые платья, длинные шелковые покрывала, — всё, что соответствовало бы цели поездки), Хадиджа думала только об одном. О том, как скоро они вернутся обратно. В родной дом.

И с того мгновения, когда этот просторный, казалось, дрожащий от волнения встречи, дом снова распахивал им свои двери, она вновь видела Буджему с его вечной улыбкой на лице, Латефу с яркими, почти красными щечками, — всех, кто оставался стеречь дом и теперь гостеприимно встречал их на пороге... И начинался прием «путешественников», звенели тарелки, составляемые прислугой на большом столе, уже заждавшемся хозяйку дома и ее детей... И мать Хадиджы, Лалла Рита, вернувшиеся из поездки, как будто побывав в какой-то долгой экспедиции, царственно принимала обычные приветствия домашних, спрашивала о здоровье бабушки и дедушки, узнавала, что приготовили на обед и мимоходом уже делилась впечатлениями о визите к родственникам... Рассказывала о том, чем там угощали, было ли вкусно или нет, о том, как содержится другой дом — в чистоте или не очень-то, о том, любезными ли были ее золовки или ревниво относились к ней, просила Господа Бога уберечь всех своих от «сглаза» недоброжелателей... Ну, а потом уже детально рассказывала о том, как проходила та или иная церемония у родственников, каков был праздник, его организация, какие были гости, какие были на них наряды, украшения... Словом, шло пространное оповещение всех домашних, не побывавших в поездке, о событии, свидетелями и участниками которого были, и мать даже говорила, если речь шла о чьей-то свадьбе, о своих предчувствиях по поводу будущей жизни молодоженов. То ей не нравился жених, то родственники невесты, и она уже предвидела семейные и финансовые скандалы, ссоры и даже, если это была только помолвка, возможность ее разрыва...

...Когда Хадиджа была ребенком, ей казалось, что только в ее доме все жили по настоящим правилам, что

всё в нем было устроено навечно, прочно и основательно. Что ее дом — вообще источник жизни для всех и вся. Ведь не случайно же даже деревья росли так близко к дому, что их ветви всегда простирались в раскрытые окна. Или, как у той глицинии, например, чьи фиолетовые цветы висели прямо над порогом дома, когда открывалась его тяжелая дверь... А еще в детстве не было страха в душе, только что-то горячее и прекрасное охватывала ее душу, когда бабушка, укачивая ее, пела колыбельные или рассказывала сказки, начинавшиеся всегда одинаково: «В начале Бог существовал повсюду. Жил везде. И базилик, и лилия росли вместе...»

Да, когда-то Бог жил повсюду. А теперь вот кое-где его просто нет. Ушел. Малика пожала удивленно плечами. «Ты мечтаешь о чем-то давно прошедшем, о той жизни, когда, как в каких-то обрядах и ритуалах существуют вечные правила. Там всё следует одно за другим по порядку, и эти правила известны всем, легко узнаваемы... Но современная жизнь, дорогая, — это не старинная церемония, не прошлое, исполненное любимых сердцем запахов и звуков. Тогда, в прошлом, о чем ты вспоминаешь, все еще было наполнено обещаниями... А сегодня алчность грызет человеческие сердца, разъедает души, как мыльная вода, вылитая на землю, оставляет на почве невидимые трещинки... И вот однажды ты идешь по жизни, ни о чем таком не думая, спокойно и уверенно, и вдруг — раз! и привычная дорога рушится у тебя под ногами, и ты оказываешься на краю бездны. Пустоты. И вот, дорогая моя подруга, ты зависишь над этой бездной, и малейшее твое движение может быть фатальным. И такая пропасть есть у каждого. И мы все смотрим вниз, склонивши голову над пустотой, закрывая глаза. Чтобы продлить свою неподвижность. Застыв, надеясь на чудо».

Для Хадиджи голос Малики рассказывает какую-то печальную историю, будто пока ей чуждую. Хотя она прекрасно знает, что вокруг нее всё давно изменилось. И Лалла Рита тоже говорит ей часто об этом, когда вспоминает, вздыхая, о временах более спокойных, где каждый знал свое место... Когда Хадиджа утром уходит на работу, кафе в центре Рабата уже полны народу — молодых безработных с сигаретами во рту. Они смотрят на нее усталым взглядом, как и на всех проходящих мимо девушек, постукивающих своими каблуками-шпильками по тротуару... И в полдень молодые люди сидят на прежних местах, хотя уже ведут себя поживее, накурившись гашиша...

Она знает, Хадиджа, что многое изменилось. Но то, что случилось с ней, — это совсем другое... И зачем Малика всё упрямо уравнивает? Ведь Хадидже всего-навсего хотелось быть полной хозяйкой в своем доме, где всё было бы послушно одному лишь ее прикосновению. Но то ли ее рука была всегда нерешительной, то ли малейший ее жест вызывал подозрение, а порой и скандал...

А Малика всё говорила и говорила, уже тише, порой переходя на шепот, что нельзя жить, окружая себя только декорациями, вообще жить в декорациях... Даже если строишь дома, то надо, чтобы там люди жили, а не блуждали, как неприкаянные души, за толстыми крепостными стенами, которые только подтверждают узурпаторскую власть их хозяев... Так что же происходит? Или мы сами уже не умеем жить в наших домах, или же мы настолько опустошены душевно, что наши дома нас отбрасывают, как мы выбрасываем мусор?..

«Но что все-таки она хочет сказать мне?» — спрашивала себя Хадиджа в сотый раз. Вообще вся ее жизнь состояла из одних вопрошений. Вот и сейчас, она поду-

мала, что Малика ее считает просто какой-то куклой, хотя и с фантазиями. Но все-таки куклой, чьи механические части лишены всякого смысла... А ведь когда Хадиджа встретила Фарида, она вдруг ощутила такое биение крови в своих венах, как будто в них влился бурный поток реки во время паводка. Ей было тогда двадцать пять. И окружавшие ее женщины уже поговаривали о том, что она «засиделась» в девичестве, что пора бы и замуж... Действительно, было самое время подумать о своей свадьбе. Но как узнать, что истинно, а что фальшиво? «И я полюбила его, — думала Хадиджа, — со всей силой долго сдерживаемых в моем целомудрии страстей. И потом носила в своем теле его детей, как праздник этой любви. Я украсила его дом, как умела, следила за порядком, пекла для него всякие сладости, почитала его мать, принимала его родственников, оплакивала его неприятности. Ничего не понимаю, как могло случиться всё то, что случилось...»

Сидя в уютном уголке гостиной родного дома, Хадиджа слышит доносящиеся из кухни голоса женщин, нанятых хозяйкой специально для помощи по приготовлению праздничных блюд для предстоящей церемонии... Они ощипывают куриц, маринуют мясо, замешивают на меду тесто для пирожных. Женщины говорят громко, язык их грубоват, и все свои действия на кухне они осуществляют, сидя прямо на полу... Их гортанный говор заметно отличается от мягкого диалекта Феса, на котором болтают между собой многочисленные тетушки, приехавшие в Рабат по приглашению на церемонию и помочь своей сестре по хозяйству.

А предстоит серьезное событие: свадьба брата Хадиджы в доме ее отца... Она — старшая дочь Хаджа Мохаммеда и Лаллы Риты. И вообще — единственная их дочь, потому что вслед за ней рождались только

мальчики. Их было трое у Лаллы Риты. Малика — тоже единственная в своей семье дочь. И у нее двое братьев. Она из родни отца Малики, в которой преобладают мужчины. Тем более крепка дружба этих двух женщин — Хадиджы и Малики.

И вот теперь Хадиджа сидит, положив руки на колени, открыв ладони, вопрошает, размышляет о своем. В гостиную входит Лалла Рита. Величественная такая, но чем-то все-таки обеспокоенная... Но даже в сдерживаемом гневе своем, ее миндалевидные глаза с длинными ресницами, ее полные губы не дрогнут никогда, и с ее лица не сойдет улыбка... «Наверное, в моем возрасте она была красавицей», — подумала Хадиджа. Ее мать приблизилась к укромному уголку, где сидела Хадиджа в неярком свете лампы, и показала ей драгоценности, предназначенные невесте сына, его будущей супруге. Хадидже они известны. Она их сама выбирала со своей матерью. Ей понятен и смысл ее прихода: какое-то страдание пополам с гневом. Ведь по сути дела Хадиджа в ее глазах выглядит предательницей, — ее уход из своей семьи задел материнскую гордость. И мать скрывает это свое осуждение дочери. Но ее молчание — ее незаживающая рана. Она болит еще и потому, что у Хадиджы не было, с материнской точки зрения, достаточных аргументов для обвинений своего супруга. Ничего особо серьезного и сурового мать не нашла в словах дочери, объяснявшей ей причину своего расставания с бывшим зятем. Но Хадидже лучше знать историю своих семейных отношений, и она, не понятая матерью, должна лить свои слезы в своем одиночестве. А потому они, как капли расплавленного свинца, разъедают ее душу...

Теперь она, потихоньку открывая футляры, рассматривает драгоценности... Здесь и обручальное кольцо с большим бриллиантом, сверкающим всеми своими гра-

нями, и традиционный золотой пояс с чеканными узорами, с пряжкой, в которую инкрустирован изумруд... Надо теперь расположить футляры на поднос из серебра, покрытый кусочком зеленого бархата, расшитого золотыми нитями. Каждый, кто увидит футляры, должен будет оценить по достоинству будущего супруга... Ну а сколько стоит будущая супруга ее брата, оценит вскоре и Малика. Хадиджа, зная свою кузину, улыбнулась при мысли об этом. Но ирония Малики порой, как бальзам на душу. В конечном счете и она сама, Малика, справляла свою пышную свадьбу, устроенную с соблюдением всех правил Традиции... И это была свадьба по любви, когда двое очень молодых людей женились, полагая, что не могут жить друг без друга... А потом эта история с ребенком, которого никак не могла родить Малика, при всей своей красоте, ее тело так и не познало радости расцвета... Вот и говорит Малика теперь, что тело человека — как дом. В нем должен кто-то жить, чтобы этот дом был живым, обитаемым... Шутила, что ее вечно ожидаемый ребенок, наверное, так любит свой дом, что не хочет выйти из него на свет...

А сейчас Хадиджа сидит и держит в руках футляры с драгоценностями. Потом, чем-то взволнованная, встает и просит Латефу принести серебряный поднос. И она уверенно расположит все эти сокровища и добавит еще, уложив на другие такие же подносы, отрезы парчи и шелка, привезенные матерью из своего последнего паломничества в Джедду, к могиле Пророка, тонкое французское кружево и прозрачный синий муслин, чтобы набросить на голову и оттенить белизну лица ее будущей свояченицы.

В саду звучит детский смех и слышится звонкий голос Малики. Мать открывает окно. Зовет всех в дом. Она хочет, чтобы все присутствовали при подготовке

ниях к свадьбе. Дочери Хадиджы прибегают первыми, старшая, красавица Сельма, восьмилетняя Зинеб, крепко держа за руку младшую из своих сестер – Найму, чьи черные легкие кудряшки выются, словно ореол над пухленьким, с ямочками на щеках, личиком... Малика приходит чуть позже, и мать волнуется. Но вот она вошла в ярком сиянии ее летнего платья. Ищет глазами Хадиджу. Хочет рассеять ее грусть... Радостно восклицает от удивления, увидев всё богатство свадебных подарков невесте. Дети выются вокруг нее, мать не может сдерживать во взгляде своей благодарности за искренность одобрения Маликой всех приготовленных для свадьбы сына подарков...

Входит бабушка, держа в руках серебряный поднос с вазочками для благоуханий. В них зажжены сандаловые палочки. Сельма бежит ей навстречу и помогает поставить поднос на пол... Как чудесно это желание, думает про себя Хадиджа, принадлежать этому миру женщин, которые знают все правила жизни, не нарушают их, не обманывают сами себя... Почему же сама она не такая, упрекает себя Хадиджа, зачем осталась одна на краю дороги, зачем уже кровоточит в душе ее новая рана, — ведь она чувствует, что весь этот свершающийся на ее глазах праздник — не ее...

Малика сажает Сельму к себе на колени. Гладит рукой ее длинные волосы орехового цвета. Девочка краснеет от удовольствия, но она действительно красива, и все женщины в доме это признают... Хадиджа смотрит на свою дочь, наблюдает за тем, с каким любопытством она рассматривает свадебные подарки. Кто знает, о чем она мечтает...

Малика с пониманием следит за реакцией Хадиджы, взглядом своим словно хочет снять с души кузины тревогу. Ведь той еще предстоит немало волнений, и надо

присмотреть за тем, как будет Хадиджа сносить свое одиночество, как-то подготовить ее к тем испытаниям, которые еще предстоит пережить. Малика знает, что Хадиджа просто устала от своей борьбы за жизнь — такую, как она ее понимала. Вот и сбежала от мужа. Как тот давно уже совершал свой побег — от дома, семьи, от жены и детей... Мечтал, видимо, о свободе холостяцкой жизни. Вот и обрел ее, как чудо, освободился разом и от жены, и от дочерей... Сельма, как старшая, понимала уже, что происходит, как рвется на ее глазах связующая всех их нить... Другие были совсем маленькие еще тогда, — ведь прошло уже два года. Но Сельма еще бродит в своих мыслях, вспоминая о прошлом, с которым осталась еще в глубине ее души какая-то связь, с просторным белым домом, где жили они все с отцом, но в котором мать так и не стала по-настоящему хозяйкой... Там, в саду, деревья, которые они посадили, так и не успели еще подрасти тогда, чтобы пустить глубокие корни и, быть может, осенить когда-нибудь своей густой кроной, густой листвой ее детство, защитить его... Будет ли когда-нибудь у нее тот дом, тот единственный дом, который, в понимании ее матери, должен быть сам по себе целым миром, полным своей истории, своей теплоты, вспышек веселья своих праздников и тишины, и покоя своих и утренных, и вечерних зорь...

Но тогда зачем понадобился матери отчий дом, где прошло ее детство, где все осталось по-прежнему, куда неизбежно так или иначе возвращаются, ищут там вечную красоту и спасение, погружаются в него, как в лодку после кораблекрушения, в надежде доплыть до берега? Или все-таки надо было положить всю свою жизнь на то, чтобы упорно строить и свой собственный, такой же дом, пусть даже не очень похожий, но как бы напоминающий тень прошлого? Даже если в нем не так

пышны и благоуханны деревья и цветы, не так тяжелы ветви глицинии и не столь белоснежны лепестки жасмина... И вот теперь Хадиджа думает об этом по ночам и будто слышит даже голос Малики, однажды разбудивший ее, чтобы спросить в тревоге: «Ну как сделать, чтобы Сельма, старшая дочь твоя чувствовала и у себя над головой надежную крышу? Ведь в глубине души ее царит неприютность, разрыв с родным домом...»

Этот внезапный вопрос кузины заставляет Хадиджу спросить и себя самую, так и не осознавшую еще до конца последствия своего поступка, может быть, и у нее в глубине души нет ничего, кроме ощущения разрыва, и отчий дом не спас ее возможностью надежды на укоренение своей жизни... И вот теперь, глядя, как Малика держит заботливо на коленях ее старшую дочь, Хадиджа видит, как кузина хочет помочь им, знает, что они нуждаются в помощи именно теперь, больше, чем когда-либо, в эти торжественные дни подготовки церемонии свадьбы брата в отчем доме. Здесь будет теперь еще на одну женщину больше, и вся семья будет слышать ее радостный смех, будет радоваться рождению ее детей, и главное — рядом с ней будет верный мужчина, самый близкий Хадидже из всех ее братьев, Сеид, теперь окончательно потерянный для нее.

Ее размышления прерывает голос Малики, напомнившей ей историю ее первой любви... «Ну вспомни, как тебе было восемнадцать, а мне — одиннадцать. Мы жили тогда в Фесе, и ты мне сама все рассказала, заставив поклясться на Коране никому ничего не говорить! Мы с тобой в семье были единственными девочками и спали в одной комнате, с желтыми стенами, и мне было страшно повернуться к тебе лицом: ты мне сказала, что если я лягу на правую сторону, то злые духи будут крутиться вокруг меня». И Хадиджа вдруг ощутила себя,

восемнадцатилетнюю, страстно мечтавшую весь день о новой встрече с молодым человеком, которого она встречала и раньше во дворе колледжа... Он был красивым брюнетом, но никогда не подходил к ней, а тут вдруг, накануне выпускных экзаменов, обратился к ней во время занятий с просьбой одолжить ластик, потом вернул его ей, и она долго хранила его, даже тогда, когда уехала в Рабат в архитектурный институт. Малика лукаво сказала, что у Хадиджы сердце было как у артишока, хранило долго свои тайны под густым покровом жестких листьев.

Да, она подобна и артишоку, и соляному столпу, эта женщина. Как бы застыла в своей истории. Не двинется вперед. Она хочет даже как-то получить ответ на свой поступок от матери, хотя и не сформулировала напрямую ей свой вопрос. «Мама, ну как ты смогла всё преодолевать сама, чтобы не порвать нити семейных отношений? Ведь они так часто готовы лопнуть... Наверное, мне не хватало терпения, отваги, решительности...»

А мать сейчас всё раскладывает свадебные подарки по подносам. А бабушка громким голосом поет славу Пророку. Хадиджа пробует ей подпевать. К ним присоединяется и сама Малика, очарованная всем происходящим. Молчит. Ее словно подавило величие древних традиций. Она вернулась в этот мир на несколько дней из Парижа, где она живет давно, со времени своей учебы в нем, этом большом городе из серых камней, застывшем в своей каменной красе, где одиночество — как знамя, где человек блуждает, подобно тени, в царстве мертвых душ, людей без привязанностей, без корней, в поисках знания, свободы, среди подобных себе, таких же одиноких тел, быстро переходящих с улицы на улицу, проносящихся, подобно мегерам, в потоке сверкающих витрин холодными зимними ночами... Живет в Па-

риже, в кортеже его обитателей, спасающихся здесь каждый от своего кораблекрушения, исчезающих повседневно в черной пасти метро и потом снова вынырывающих из его бездны...

Правда, там есть и другие люди, не бесплотные, не бездушные, непохожие на острые лезвия, готовые лететь тебе навстречу, хотя и уставшие от каменной тяжести города, от его подземных коридоров, от бесконечных забот. Они плохо одеты, в какие-то синтетические ткани, но продающиеся здесь очень дорого, они худы и небрежны в отношении к себе. кажется, что даже воды потратить на себя им трудно... Но здесь царит абсолютное безразличие к внешнему виду людей, здесь понимание своей целостности — совсем другое, более сложное, и потому они весьма расчетливы в своих отношениях с другими, тщательно выбирают, с кем можно разделить свое одиночество, а с кем — нельзя.

...В хоре женщин, затянувших «славу Пророку», слышится прекрасный голос Хадиджы, низкий, глубокий... Голос женщины, поющей так, как будто бы к ней вернулась вся ее былая любовь к жизни. В этом голосе словно проснулась вся ее уже давно заснувшая чувственность...

...И Малика подумала, вспомнив об их счастливых годах, проведенных у дедушки в Фесе, что Хадиджа, несчастливо вышедшая замуж, осталась, по существу своему, всё той же романтической и нежной девушкой, желавшей всем понравиться, страдавшей от каких-то своих внутренних разочарований, но всегда бывшей для всех образцом вкуса, девической неприступности, воспитанной в гордости и чести... Вспомнила почему-то ее в жаркий летний день, сидевшей у стены свежепобеленного дома в тени мушмулы, убаюкивающей своими чудесными ветвями... Но видимо уже тогда спорхнули с

них и злые феи, и поместили судьбу Хадиджы своим недобрым знаком. Но она не ведала этого...

...Мать Хадиджы поднимается, выходит из гостиной и велит Малике следовать за ней. В просторной спальне своих тетушки и дядюшки Малика видит огромный шкаф из темного ореха, большую кровать, обрамленную деревянной резьбой и покрытую одеялом цвета слоновой кости. Шторы на окне задернуты, чтобы солнце не нагревало воздух, но форточка открыта, и из двора доносятся звуки молотков мастеровых, забивающих в деревянные столбы палатки для гостей. На траве уже лежат большие, тяжелые шерстяные рабатские ковры, прижавшие зелень к земле. По углам палаток будут стоять диваны, а посередине — круглые столы со стульями, чтобы гости могли посидеть спокойно в своем семейном кругу... В глубине палаток — свадебные балдахины из бархата, расшитые золотом. Такие же будут висеть и там, куда войдет после прибытия в дом к жениху невеста...

Малика неторопливо ждет, как в детстве, когда тетушка откроет огромный шкаф, откуда она еще извлечет какие-то запасы подарков из своих таящихся там сокровищ.

Тетушка, поднявшись на цыпочки, снимает с верха шкафа связку позвякивающих ключей и превращается во владычицу своего королевства, предварительно оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться в том, не подсматривает ли кто, и плотно закрыв дверь своей комнаты, возвращается к племяннице. В высоком зеркале отражается ее крупный силуэт. Лалла Рита открывает поскрипывающую дверь шкафа. Малика разглядывает туалетный столик, где стоят пять или шесть флаконов разных духов, которые любит тетушка. Это дорогие французские ароматы... Рядом размещены коробочки с

тушью для ресниц и бровей — традиционной здесь черной краской из трав, называемой «кхолом», и старинная ваза из раскрашенного дерева, куда насыпана пудра, а рядом — большая бутылка одеколона с запахом лаванды... Молитвенный коврик Лаллы Риты аккуратно сложен и находится рядом со шкафом, как и молитвенный коврик ее мужа. Лалла Рита их легонько отодвигает и вынимает из шкафа большой сверток, покрытый шелковой бумагой. Садится на супружескую кровать, велит племяннице сесть рядом, держа сверток на коленях. Малика подумала, что уже давно, вот так, в интимной обстановке, не сидела рядом с тетушкой... Но она знала, что их разделяет не только дистанция их встреч, но что-то другое: Малика всегда видела себя в семье несколько от всех удаленной... И потому особо остро чувствует сейчас и переживает эту тетушкину доверительность.

Она решила, что Лалла Рита сейчас развернет бумагу и покажет ей дорогой льняной отрез, богато расшитый разными нитями... Но тетушка вдруг спросила ее: «Ну, как он там?» И увидела, как на молодом лице Малики отразилось какое-то смятение. Племянница ей всегда казалась какой-то газелью, будто преследуемой охотником... Она спросила ее негромким голосом, чтобы не спугнуть. Но Малика, словно зная своего охотника, видя его перед собой, уже вся сжалась, ей захотелось куда-нибудь спрятаться, укрыться, но охотник настойчиво преследовал ее своим взглядом. «Да, моя любимая тетушка, — подумала она. — Всякий раз, когда ты меня вынуждаешь бежать без оглядки, я должна останавливаться, словно к моим ногам кто-то привязывает груз, такой тяжелый, что я застываю на месте, как дерево... И мои ноги, как корни, глубоко погружаются в землю, черную землю, черную, как все ночи мира, и она начинает липнуть ко мне, жаркая и холодная одновремен-

но... А руки твои обнимают меня, гладят мой живот, мою грудь, и ты спрашиваешь меня о том, что еще не созрело вовсе... Но ты уже и так всё поняла, твоя широкая ладонь уже прочувствовала всю меня, и ты знаешь, что и на сей раз ничем мое тело тебя не обрадует. А тебе так хочется порадовать меня, вот ты и открываешь свой шкаф, вытаскивая на свет божий его сокровища, зная, что моя красота и мой вкус заслуживают твоего доверия, и что мои руки сумеют оценить качество подарков, которые ты бережешь... Знаешь, что мои глаза, мои гладкие шелковые волосы, мое гибкое тело заслуживают твоего внимания, твоей любви, а я, зная об этом, посещаю твой мир, возвращаюсь в него всегда, и так повелось с самого моего детства...»

Но Лалла Рита настаивает: «Как он там?» Малика не хочет делиться ни с кем своей заботой, молчит, веки ее потихоньку устало закрывают глаза. «Всё хорошо. Он будет завтра», — отвечает она.

Ей хочется исчезнуть. Ее лицо словно тает. Она стискивает ладони. Лалла Рита смотрит на нее заинтригованно. Поди узнай, думает она, из чего сделана эта девочка, которую она когда-то качала в колыбели, убаюкивала на своей груди... Тепленькую такую, маленькую, о которой забывала порой собственная мать. Это было не часто, если правду сказать... А потом вдруг девочка выросла, стала какой-то дикаркой, не выносила, когда ей оказывали знаки внимания, любви... Особенно не терпела грубые шуточки взрослых женщин, вызывающие в ней отвращение, вплоть до того, что она убегала из комнаты, хлопнув дверью. А другие девушки в доме, наоборот, стыдливо опустив глаза, покраснев, с удовольствием слушали старших, рассказывавших о своих альковных тайнах, где в основном высмеивали своих мужчин с целью унижения их превосходства в доме, в

семье, — вот, мол, из чего они сделаны, эти так называемые «могущественные властелины» — мужья. Кто-то жаловался, что не может никак забеременеть, отчаянно прося Бога помочь ее мужу. А Лалла Рита подпевала женскому хору сочувствующих: «Пусть Господь наставит его на путь истинный!..»

Да, пусть Господь укажет верный путь и ее любви, глубоко упрятанной в сердце Малики... Но кто знает о том, что было ее любовью? Она помнит день своей свадьбы, на которой было множество людей; повсюду благоухали цветы, шуршали дорогие платья кузин, мужчины взволнованно о чем-то переговаривались между собой, кто-то читал молитвы, держа в руках Коран, а они, вдвоем, будущие супруги, торжественно и беззаботно погрузившись в свои обещания быть навеки верными друг другу, действительно думали, что пройдут века, но их любовь не умрет никогда, останется с ними в их нерушимом союзе...

Сейчас Малика подумала о том, что история ее любви в чем-то похожа на старинное семейное предание о дорогом кожаном седле для любимой мулицы, которое заказал когда-то ее прадед... И она, улыбнувшись тетушке, попросила ее детским голосом рассказать ей еще раз историю белой лошадки...

Лалла Рита поначалу было не хотела вспоминать старую легенду, говоря Малике, что та ее должна была уже выучить наизусть — столько раз слышала... Потом вдруг согласилась, сказав, что история заслуживает того, чтобы ее повторяли постоянно. Ну, и начала свое повествование о прадедушке, которого Господь берег, который был человеком богатым и законопослушным, но очень тщеславным, горделивым. Как все мужчины его рода-племени, любил себя, был красивым и всегда безупречно одетым, как и его сын — дедушка Малики, и не-

смотря на свою седую бороду, держался молодцом, глаза его всегда сияли, и он с достоинством носил свои просторные галабеи из жемчужно-серой фланели поверх белоснежных рубах...

Малика слушала, кивая головой, вспоминая и своего деда, у которого она была любимой внучкой...

Лалла Рита продолжала, добавив, что прадед был одним из тех людей, которые идут по жизни уверенно, никому ничего не должны, потому что полагают, что никаких долгов у них перед другими нет... Но ему приходилось порой и гневаться, как и деду Малики, — «господь да упокоит их души...» Короче, у прадеда была жена, много детей, прекрасный большой дом в самом тогда престижном районе старинного Феса. У него было много земель, приносящих доходы, и он нередко навещался в свои поместья. С ним перемещался и его парикмахер и брадобрей, который ухаживал за его внешностью, подстригая его пышную шевелюру и бороду, выдергивая волоски в носу и ушах один раз в месяц... Его окружали его респектабельные сыновья, целовавшие ему руку каждое утро, его красавицы-дочери, которых он всех, одну за другой, достойно выдал замуж. Они жили со своими мужьями по соседству, в домах, примыкающих к родительскому.

Каждое утро прадед отправлялся в Караунин — главную фесскую мечеть. И хотя когда-то он так и не сдал в духовном университете при мечети экзамен по теологии, он в кругу фесских ученых был своим человеком и считался человеком образованным и многоопытным. Потом он отправлялся в свою контору, день протекал в разговорах со своими клиентами, которых он пытался рассудить, урезонить в спорах, давая им разные советы, к которым люди прислушивались с уважением. Раз в неделю он ходил на базар, где закупал разные продукты

для семьи, торговался, если не устраивала цена, с продавцами, судил о качестве предлагаемых товаров, — словом, вел себя на рынке как человек знатный, имеющий авторитет и свое особое мнение...

И вот однажды приобрел мулицу, красивую небольшую белую лошадку, нервную, изящную, несравнимую ни с какими другими. Очень ей стал гордиться, и все ему завидовали. Надо было видеть его каждое утро верхом на этой лошадке, как он едет по тесным улицам старой части города, приветствуя сидящих в своих лавочках торговцев, которые не могли не посмотреть на него и ответить на его приветствие, высунувшись из-за своих прилавков...

Но вот прадед вдруг решил, что седло его белоснежной лошадки слишком уж старенькое, выглядит потертым, хотя и сделано из хорошей кожи. И он отправился к ремесленнику, славившемуся в Фесе своим изготовлением отменных сёдел, и заказал ему великолепное и богато украшенное седло для своей прекрасной мулицы. Нечто вроде украшения для нее, какому могла бы позавидовать любая женщина. Он все свои требования изложил мастеру и дал ему возможность заказать всё необходимое в Испании, доставить оттуда самую лучшую кожу, самую мягкую, и мастер трудился над ее отделкой немалое время. Наконец, добившись нужной эластичности, он стал расшивать его по краям разноцветным шелком, и когда седло засияло своей красотой, он вручил его прадеду...

...Малика все настаивала на продолжении этой истории. Ждала, когда рассказчица переведет дыхание. И та, наконец, снова начала.

...Прадед был человеком, чьи желания было нелегко удовлетворить, но новое седло ему очень понравилось, он просто влюбился в него, как в свою лошадь. Хотя

мастер и дрожал от страха, не зная, как такой заказчик оценит его работу. Но тот сразу же водрузил седло на спину мулицы и поехал верхом по улицам Феса, его тесным и темным переулкам и закоулкам, какими изобилует старая часть этого древнего города — его медина. Он восседал на своей белой лошади, словно принц, а его седло, сияя своей неожиданной красотой, вызывало у прохожих удивленные возгласы... Редкие лучи солнца, проникающие сквозь тесно прижатые друг к другу фасады домов на узких улицах старой медины, словно специально высвечивали блеск шелка на кожаном седле мулицы. И прадед чувствовал свое превосходство, горделиво расправляя складки своей галабеи из тонкой шерсти, покачиваясь на лошади, сидя в своем новом седле, как на троне... На ногах его были удобные кожаные туфли без задников — бабуши, специальные, для прогулок по городу, через плечо перекинута сумка-мешок на мягком ремне, которая плавно раскачивалась на его бедре, а на руке были видны большие платиновые часы, на которые он изредка поглядывал. Он знал, что время — его союзник. Но кто, собственно, мог сегодня быть его врагом. видя его абсолютное удовлетворение, свойственное человеку, переживающему мгновения славы?... Когда вам дважды повезло в исполнении ваших желаний и их полном соответствии тому, о чем вы мечтали, да еще вас сопровождают восхищенные взгляды прохожих, — разве это не счастье? Пусть кто-то из соседей и позавидуют, зато восторженными возгласами других прадед просто опьянялся. А чья-то зависть только добавляла ему гордыни... Ведь в чувствах зависти порой — и оценка нашего превосходства, думал он. Богатства, которым мы владеем, порой забывая об этом...

Лалла Рита вдруг смолкла, услышав, как засмеялась Малика.

«Ты, собственно, над чем смеешься? — обратилась к ней, задумавшись, тетушка, — ты что, полагаешь, что надежно защищена от людской зависти? А я вот скажу тебе, что твой живот все еще до сих пор пуст оттого, что кто-то позавидовал тебе и сглазил тебя. Этот сглаз разделяет и опустошает. Отрывает мужчину и женщину друг от друга. Вот и кузину твою, Хадиджу, кто-то сглазил. Позавидовал. И вы обе перестали понимать своих мужей. Признавать их. У Хадиджы было всё, и дом, и семья, и муж, и прекрасные дети, и профессия... Но всякий раз, когда мы с ней встречались, сердце мое сжималось от предчувствий. Я знала, что злые духи выются вокруг нее, но она не в силах от них избавиться... Или не осознавала опасности в достаточной мере... Вы обе с ней не можете сопротивляться, а я, хотя мне все и завидуют всю мою жизнь, я за себя боролась. Защищалась. Или, быть может, лучше была защищена, избави нас Бог от зависти людской!..»

Малика перестала смеяться. Но слезинка смеха словно затуманила ее взгляд, застряв где-то в ее ресницах. На тетушку она глядела, как будто сквозь призму. Она казалась ей словно преломленной. Про себя подумала: «Ну, вот я и растрогалась!» Закрыла глаза и слезы покатались по лицу. Потом снова посмотрела на Лаллу Риту. Та шуршала шелковой бумагой, раскрывая свой сверток, который держала на коленях. А Малика продолжала разглядывать ее сквозь слезы, как через лупу. Увидела густую сетку морщин, бежавших словно ручейки, по округлым долинам ее щек, черные, подведенные тушью, глаза, ее гладкий высокий лоб, ее приоткрытые губы, обнажившие белоснежные зубы. Они просто сверкали в комнате, где было светло, и потому казалось, что во рту у нее — темная бездна... Малика подумала, что такие женщины, как ее тетушка, все похожи

на сказочных великанш, которые желают нам всем добра, но с облегчением констатируют, что наше знание о жизни не позволяет нам преодолеть зло, и только они одни в силах заклинать его...

Лалла Рита продолжала свой рассказ. Итак, твой прадедущка торжественно восседал на своей белой лошади, великолепно оседланной, и медленно ехал по городу, а люди восхищенно смотрели на него. И вот он, уже на полпути к своему дому, подъезжает к небольшому холму, за которым начинается квартал, где он живет. И вдруг его лошадь оступается, скользит, не известно почему, и падает. Непонятно, как это все могло случиться, потому что прадеду хорошо был известен его маршрут, по которому он тридцать лет подряд, ежедневно, без малейших происшествий, ездил раньше. Возможно, виной всему было его собственное возбуждение, чрезмерное довольство собой, сделавшее его менее внимательным, а может быть, он не так сильно держал поводья, а может быть просто очень грязной была сама улица или, точнее, узкий переулок, где всегда полным-полно и ослиного, и лошадиного навоза, и помета разных птиц... Так или иначе, но он упал вместе со своей белоснежной мулицей. Оказался на земле, запачкав грязью свою красивую одежду. К счастью, место это было немногочисленным, и никто не видел его падения. Но для такого гордого человека, каким был твой прадед, это было чудовищным унижением его достоинства. И когда он добрался до дома, он выплеснул весь свой гнев на прислугу, которая принесла ему комнатные туфли. Потом его жена слышала, как он орал в гостиной на ее старшую сестру, зашедшую к ним в дом. А та пришла предупредить его, что и так уже его покупка дорогой лошади вызывала зависть у многих, а теперь вот и роскошное это седло могло только усилить недоб-

рожелательность людей в отношении и к нему, и ко всем домашним, и к его родственникам... Всё это хотела высказать ему сама жена, но боялась и попросила свою старшую сестру предупредить своего мужа не совершать впредь такого безрассудства, способного вызвать всеобщую зависть. И Лалла Зохра сходила даже утром за советом к какому-то старцу — мудрецу, который прочитал ей какие-то стихи из Корана, записанные на кусочках пожелтевшего пергамента, сложил их в маленькие кожаные мешочки и велел повесить их на шею двух маленьких сыновей ее сестры... Сама она только попросила мужа после покупки седла раздать милостыню нищим... Но тот сорвался на нее, закричав, что сам знает, когда надо раздавать милостыню, а когда нет. Жена вышла в гостиную, где муж теперь срывал свой гнев и на ее сестре, увидела испачканную грязью его галабею, разорванную на коленях, раскрытую сумку и поняла всё. Но не проронила ни слова. Она давно научилась молчать.

...В тот же вечер, когда уже все готовились ко сну в огромную кованую бронзовыми гвоздями дверь дома кто-то громко постучал тяжелым металлическим кольцом, висевшим над ручкой портала. Лалла Зохра, напуганная, схватившись за сердце, бормотала: «Господи, убереги нас от плохих известий...»

Ее младшая дочь, недавно вышедшая замуж, ждала ребенка. Может быть, она начала рожать? Но где-то в глубине души Лалла Зохра чувствовала, что несчастье — рядом... И она, накинув поспешно покрывало на голову, которое сняла на ночь, не скрывшее теперь клоч седых волос, выбившийся из-под платка, поднялась в спальню и склонилась над железной балюстрадой балкона посмотреть, что там, внизу. Но из коридора уже доносился жуткий крик Дады, чернокожей кормилицы

из Мавритании, нанятой специально для младшей дочери, а до этого вскормившей своей грудью всех других детей Лаллы Зохры... И она снова спускается вниз. Спрашивает Даду, которой открыли дверь, что произошло. Но та ничего не может ответить, только ее открытые ладони выражают полное отчаяние. «Скажи мне, Дада, скажи, ты знаешь, говори же, кто из моих детей умер?»

Дада крепко обнимает Лаллу Зохру, ее объятие окутывает женщину, словно глубокая ночь... И она произносит: «Юсеф, твой внук. Он упал в реку после полудня. Твоя дочь узнала об этом только час спустя. Она думала, что он где-то играет со своими двоюродными братьями».

Лалла Зохра немеет. Потом наблюдает, как служанки, окружившие их, срывают с голов свои платки и до крови царапают свои лица руками... Их отчаянный жест выводит из оцепенения Лаллу Зохру, и она хочет бежать к младшей дочери, поддержать ее в постигшем их всех горе, начать приготовления к погребению внука... Начинает раздавать всем короткие приказы: начать выпечку маленьких булочек с запахом апельсина, посыпанных кунжутом; отправиться к портнихе, разбудить ее и сказать, чтобы приготовила белые траурные одежды на завтра. Потом снова поднимается в свою спальню, одевается, видит, что муж уже тоже готов пойти с нею, и лицо его выражает скорбь. У него в руках четки. И он идет, перебирая их и читая молитвы.

Дом заполняется запахами благовоний. Служанки задымили сандаловые палочки. У Лаллы Зохры кружится голова. Она плохо себя чувствует, держится, одеваясь, за спинку кровати. Как же так? Ведь Юсеф — это ее самый любимый внук, ему едва исполнилось десять лет, он был такой жизнерадостный, так любил поиграть, и

она всего два дня назад держала его за его крепенький кулачок, когда они вместе ходили, один раз в месяц, в паломничество к гробнице святого Мулая Идриса...

...Лалла Рита вздыхает: «Господи, будь милостив к нам! Не знаю, зачем я тебе всё это рассказываю накануне свадьбы твоего кузена...»

«...Лалла Зохра наконец заплакала. Села на кровать, раздавленная горем. Слезы текли по ее щекам. Они ничего не спросила у Дады, но поняла, что твой прадед, Малика, в тот день не удержался и уже под вечер, вывалившийся в грязи, но проехался все-таки на своей белой споткнувшейся мулице и перед домом ее дочери, где сегодня воцарился траур... Хотя ему, Хаджу Мохаммеду, было тогда совсем не по пути... Дада не заметила только, было ли под ним его драгоценное седло. Женщины молча пошли вслед за мужем Лаллы Зохры...»

Лалла Рита делает паузу. Замолкает. Но Малика ждет продолжения. Эта история снова захватывает ее. И хотя она знает конец, — сто раз уже слышала об этом, — она хочет, чтобы Лалла Рита сама освободила ее душу, которую опять всколыхнула своим рассказом.

И та продолжила: «Не будем вдаваться в подробности церемонии похорон Юсефа. Конечно, весь дом был в трауре. Чтицы Корана собрались, по обычаю, в гостиной. Сидели кружком, шепча молитвы. Женщины плакали... А на третий день после похорон надо было ошипывать курицу, готовить кус-кус — манку для него, протертую с оливковым маслом, несли в дом все соседи... Пили чай с мятой... В саду слышался смех детей, а в доме рыдала мать Юсефа... Ее утешали собравшиеся, как могли, вызывая к милости Пророка, уверяя, что самое большое несчастье всегда постигает самых благородных. Но вот так уж распоряжается воля господня...

Чего только не рассказывали люди... Говорили, что наутро после первого дня траура нашли зарезанной в конюшне белую лошадку Хаджа Мохаммеда, твоего прадеда. Будто ее горло было рассечено кинжалом. И кровь залила всю ее снежную шкуру...»

Малика закрывает глаза. Представляет себе ночь, прошедшую в молитвах у застывшего тела ребенка вплоть до рассвета, когда его смогли похоронить, — ведь по обычаю мусульмане своих усопших хоронят в день их смерти, но погибшего мальчика нашли слишком поздно. И тут, в разгар семейного горя, еще и эта новость о зарезанной лошади Хаджа Мохаммеда... «Господи, защити нас от завистливых!..» По семейной легенде, это он сам, прадед ее, убил свою любимую мулицу, потому что она своей необычайной красотой стала причиной зависти людей, которые и сглазили благополучие семейства. Но он, Хадж Мохаммед, сам убив объект своего восхищения и зависти других, только доказал всем свое могущество!..

История эта бродила по всему городу и из квартала перебиралась в другие, разлеталась, как облако пыли. И кто-то восхищался главой рода Хаджи Мохаммеда, кто-то порицал его чрезмерно жестокую реакцию (можно было бы освободиться от животного как-то по-другому), но всё, что бы ни говорили обо всем произошедшем, только прибавляло славы прадеду.

...Лалла Зохра молча стоит рядом с дочерью, скрестив руки... Только губы ее неустанно дрожат. Это она шепчет про себя бесконечные молитвы вот уже третий день. По усопшему ребенку. Которого она так любила. На другом конце комнаты стоит черная кормилица Дада. Один только раз они с Лаллой Зохрой взглянули друг на друга. Потом Дада удалилась в кухню следить за приготовлением поминальных блюд...

Лалла Рита смолкла. Над женщиной склоняется Лалла Зохра узенькой тенью. Малика слышит запах духов своей пратетушки. Это — «Золотая мечта», как и у ее бабушки, — чуть-чуть капелек фиалкового масла... Историю жизни Лаллы Зохры знает каждый член большой семьи, она, как легенда, передается из поколения в поколение — от бабушек к дочерям, потом — внукам и правнукам. Особенно важно, чтобы все женщины в этом роду-племени знали историю жизни своих предков... Лалла Рита знает и одну из версий этой легенды в интерпретации мужчин семейства. Будто бы Хадж Мохаммед не хотел убивать свою белую мулицу, он только думал изрезать свое драгоценное седло на мелкие кусочки, чтобы ему не завидовали больше люди. Он тоже знал цену простой человеческой мудрости... Сторонники этой версии рассказывают даже, что гибель внука Лаллы Зохры произошла гораздо позже, через несколько лет, и что видели даже, как ночью Лалла Зохра, закутанная в темное покрывало и в темном длинном платье — хаике — со своей черной служанкой Дадой пробрались в конюшню и сами зарезали там животное неопикуемой и вызывающей зависть красоты... Они будто бы не смогли преодолеть бред своих женских предрассудков, зная, что острые, как лезвие ножа, языки женщин способны стать орудием дьявола, сиять в душах людей, подобно холодным огням созвездий на ночном небе, рассеиваясь только при утреннем свете; но горе тому, кто примет свет луны за свет солнца...

...Малика знает, что ее мать, как и Лалла Рита, вошла в дом семейства прадеда, выйдя замуж за одного из его потомков. И ее мать, как и все другие женщины в доме, всегда восхищались терпением и смирением женщин, приближенных к родоначальнику, выносили все его патриаршие капризы... Но вот ведь нашлась

среди них та, которая позволила себе нарушить вековые правила и таким образом доказать, что женское молчание и покорность всего лишь выражение своего противостояния власти мужчин...

И Малика знает, что и ее молчаливая и смиренная бабушка по отцовской линии, вечно удрученная смертью одной из своих дочерей, так и не вышедшей замуж, рассказывая семейную легенду, не скрывала своего восхищения поступком Лаллы Зохраны и ее верной помощницы — Дады... Она считала даже, что Хадж Мохаммед первым нарушил установленные людьми обычаи, выставив всем напоказ свое семейное богатство, вызвав зависть, вовсе не думая о том, что потом пострадают именно те, кто предназначен продолжать его род, — женщины. И Лалла Зохрана только восстановила равновесие, зарезав собственной рукой драгоценное животное...

...И вдруг, для Малики в наступившей тишине прояснился смысл рассказанной Лаллой Ритой легенды. Это было какое-то озарение. Она подумала, что, может быть, речь шла вовсе не о том, как необходимо наказать мужское тщеславие, гордыню человека, который, мечтая только о нескольких часах своего торжества и личной славы, не задумывался над тем, что нарушает спокойное течение жизни целого семейства, выбивает ее из привычного русла, где все существовали, особо не выделяясь на фоне других людей, умели избегать публичной демонстрации своих удовольствий и своего богатства, боясь вековых предрассудков... Нет, в этом старинном рассказе героиня — сама эта белая лошадка, мулица, и мы все, решала Малика, все женщины — эти самые мулицы. И жест Лаллы Зохраны и ее служанки, объединенных в отчаянии от того, что мужчина не захотел быть ответственным за тех, кого породил, кого они

воспитали, чью жизнь берегли, — это всего лишь зеркало, в которое он, наконец, должен был посмотреть, чтобы увидеть то, на что смотрел, прикрыв глаза... Их кинжал сверкнул в темноте его ночи. А белая мулица ничего не ведала о своей смерти... Она спала, доверчивая, в своей теплой конюшне. И даже мирно взглянула на приближающихся к ней женщин, услышав, как они перешептывались между собой. Она думала, что притянутая к ней рука Лаллы Зохраны поласкает ее... И даже почувствовал, как холодный кинжал вонзается в ее плоть, она все еще доверчиво глядела на женщину. Шелковистое, белоснежное животное даже в момент гибели не поняло, что враг — рядом с ней. Не сумело его различить. Так же как не могла вообразить Лалла Зохрана, услышав стук копыт на улице, что это Хадж Мохаммед гарцует на своей лошадке в тот момент, когда в его доме воцарился уже траур... И агонию гибели от ее руки не подозревавшего ничего животного, потоки крови, которые хлынули из его горла, Лалла Зохрана видела как свою собственную смерть, воспринимала себя как мужчину, заносящего кинжал над собственным горлом, и ощущала себя той кровью, которая полилась из горла белой смиренной мулицы... А еще она почувствовала себя острым лезвием кинжала. Ночью, ставшей вместе с ней заодно, — заговорщицей... Землей, которая примет в себя рухнувшее тело. Уже застывающее... Тело невинной мулицы...

Лалла Рита, наконец, торжественно разворачивает завернутый в шелковую бумагу пакет. Малика замечает сразу три детских кафтана, один — зеленый — для Сельмы, темно-синий — для Зинеб, оранжевый — для Наимы. Все они расшиты золотыми нитями по вороту и по низу манжет. Лалла Рита их выпрямляет и складывает рядом, чтобы можно было полюбоваться на их по-

крой, на красоту вышивки. Малика в восторге, она не лукавит, хотя и разложенные на кровати праздничные одежды предназначены для детей кузины, чей старинный церемониальный кафтан из нежно-розовых кружев ложится рядом... «Но его Хадиджа уже надевала, когда еще была молодой девушкой!» — восклицает Малика. Лалла Рита хочет скрыть свою улыбку, — в ней бушуют смешанные чувства — и гнев, и унижение одновременно...

Малика продолжала высказывать свое удивление: «Наверное, для женщины ее возраста более подходящим был бы другой цвет, ну, кремовый, к примеру, или хотя бы темно-розовый». Тут Малика осеклась, подумав, что этим самым она только захотела подчеркнуть всю чувственную красоту тела и цвета кожи своей кузины, что могло бы рассердить Лаллу Риту. И она продолжала предлагать свой выбор цвета для праздничного одеяния Хадиджы: «Ну, может быть, шафрановый? Расшитый золотом, кафтан будет сиять, как солнце!» Она подумала, что сейчас Хадиджа больше похожа на тень от дерева... А этот нежно-розовый, как у еще нераспустившегося бутона, только будет подчеркивать ее нынешний возраст, да и бедра ее много рожавшей женщины... Ну зачем эти нежно-розовые кружева?..

Лалла Рита возражает: «Послушай, сейчас совершенно бесполезно думать, что ее кто-то заметит... Или что она хочет, чтобы на нее обратили внимание... Этот — сам по себе красивый цвет, и три стоявшие в лавке за мной женщины тоже выбрали его у продавца...» Она берет за руку свою племянницу, поворачивает ее ладонь кверху и целует ее. Малика тоже склоняется в поцелуе руки своей тетки, и та крепко ее обнимает. Малика видит, как по лицу Лаллы Риты текут горячие слезы... Она берет это лицо в руки и потихоньку начинает их ути-

рать... Лалла Рита уже не сдерживает своего отчаяния. Но что может оправдать ее состояние? Крах жизненной судьбы ее единственной дочери, ее уход от мужа жестоко сказались и на жизни матери. Она понимает, что ее преданная и сентиментальная дочь не способна защищаться, и Малика чувствует, что Хадиджа в этом во многом обвиняет и саму себя... И в этом ее материнское горе. В ее дочери нет веры в себя, а значит, и она не умеет найти выхода, ничто не озаряет ее душу... Но как смириться с этим? Как найти силы и признаться в этом? Ни мать, ни дочь этого сделать не могут. Да Хадиджа даже не рассказала матери и половины того, что ей пришлось вынести в ее супружеской жизни с этим ненормальным... «О Господи, сколько же она выстрадала...» Малика согласно кивает Лалле Рите. Теперь ей предстоит выслушать всю историю, сто раз уже слышанную, хотя каждая ее версия включала какие-то все новые подробности, которые, подобно непрекращающимся археологическим раскопкам, обнаруживают всё новые причины и мотивации несчастливой жизни Хадиджы...

Поначалу мать вспоминает, что дочь отказала тому, кто первым пришел к ней свататься, хотя казался человеком очень достойным... Его семья тоже была родом из Феса, тоже вполне благополучной. И его весьма любезные мать и сестра приходили к Лалле Рите в гости еще задолго до того, как они высказали пожелание сосватать своего сына и брата с ее дочерью. Лалла Рита была не против и мечтала уже обо всех преимуществах такого брака. Молодой человек был к тому же и хорош собой, даже очень, прямо-таки очаровательным. Да еще и имел диплом инженера-строителя, что очень ценилось в обществе, и у него было впереди блестящее будущее... Он наверное бы стал помощником генерального директора, а потом и генеральным директором того

процветающего предприятия по сборке автомобилей, которое принадлежало его отцу. Да и без этого молодой человек был уже богат и владел восхитительным домом, одним из самых красивых в Рабате, неподалеку от дома Хаджа Мохаммеда-младшего (сына того, легендарного), но не хотел его обустраивать прежде того, как войдет в него его молодая жена — женщина его мечты... Его мать уверяла Лаллу Риту, что ее сын — человек порядочный, знает свое дело, и что его супруге предназначена хорошая жизнь. Да и она сама прожила свою так же, будучи замужем за его отцом, который умел удовлетворять все ее малейшие желания... Прожила с ним по-королевски... О чем, очевидно, свидетельствовали и ее прекрасно ухоженное лицо, и белая кожа, и нарядный и элегантный кафтан сливового цвета, на который был наброшен широкий светлый шарф... И пальцы ее рук были все унизаны кольцами. А ее хорошо покрашенные волосы были коротко подстрижены, как подобает женщине ее возраста... Словом, всё говорило о том, что она принадлежит тому буржуазному сословию, которое знает себе цену и осознает свои прерогативы, хотя и не представляет себя напоказ и не кичится этим... А в наше время, подчеркивала Лалла Рита, это немало на фоне поведения всех этих нуворишей с их жужжащими повсюду и тархтящими автомобилями и бездонным звоном монет, с их женщинами, бесстыдно зарабатывающими свои деньги... Таких развелось теперь множество по всей стране. И надо уметь отличать одно от другого. Истинное благородство и богатство от кажущегося... Лалла Рита была в этом убеждена, как и мать претендента на руку и сердце Хадиджы. Но как же трудно сегодня предвидеть поведение людей, даже молодого человека или девушки из хорошей семьи... Теперь это ни о чем не говорит! Скандалы разражаются повсюду, час-

то, и об этом пишут, не стесняясь. Вот, к примеру, недавно опубликовали в газетах черные списки людей, замешанных в торговле наркотиками, а фамилии их принадлежат, между прочим, весьма почтенным семействам... Страшно становится. А вдруг увидишь в газете фамилию какого-нибудь своего кузена или дальнего родственника, друга, или просто знакомого... «О Господи, упаси нас и сжался над нами!» — вздыхает Лалла Рита. Но у матери жениха Лаллы Марии были точные сведения от своего брата, который был большим другом какого-то высокого полицейского чина, что все эти «облавы» и публикации в прессе были организованы с одной целью — дискредитировать знатные семейства. Никто не должен был забывать своего места в обществе, где правил порядок, и все должны бояться Министерства внутренних дел... Времена сейчас смутные, и это надо признать. Ох, где она, эта безмятежность прошлой жизни?!..

Вот почему, настаивала Лалла Мария, у Хадиджы, такой драгоценной дочери семейства Хаджа Мохаммеда-младшего, должна быть надежная и обеспеченная жизнь. А ее нынешнее примерное поведение известно всем, и сын Лаллы Марии будет гарантом и дальнейшего благополучия Хадиджы... Всё зависит только от решения ее родителей и воли Господа Бога всех мусульман...

Лалла Рита пересказала немедленно всё, о чем ей сообщила Лалла Мария, и Хадж Мохаммед-младший сразу же одобрил это предложение, хотя и знал, что кузина претендента на руку и сердце его дочери отличается фривольными нравами, которые были отмечены в светской хронике... Но кто сейчас может ответить за женское поведение, — о дочерях-то своих отцы семейства знают не всё, а уж о всяких там кузинах и прочей родне,

тем более... Возможно, что и эта кузина — из далекой родни...

Словом, всё, казалось, складывается хорошо, и жизнь Хадиджы устроится, как и полагается девушке из хорошей семьи... Бесценный подарок безупречной родне будущего мужа. Хотя мать ее втайне мечтала о чем-то другом.

Лалла Рита сказала об этом Малике. Она никогда ничего и никого не боялась еще со своих школьных времен, когда ее собственный отец заставлял ходить в школу, в ту далекую эпоху, в том обществе, где женщины не посещали учебные заведения, девочки в школу не ходили и довольствовались тем, что старшие велели им вызубрить две или три суры Корана, достаточные, как считалось, для минимальной религиозной осведомленности и ритуальной практики... Девочка росла веселой, ее радостный смех разносился по всему дому, она громко пела, и ее сердце было добрым и ласковым... Хадж Мохаммед-младший недаром присмотрел ее. Когда ей исполнилось семнадцать лет, он послал к ним в дом свою мать — посватать Лаллу Риту. И хотя ее муж не вполне соответствовал ее романтическим идеалам, она свыклась с семейной жизнью, родила Хадиджу и научилась со временем отличать главное от несущественного. И отдавали все свои силы и знания семье и дому. Тем не менее, она всегда любила выбирать самые лучшие духи, самые красивые ткани, даже в то время, когда доходы Хаджа Мохаммеда еще не были столь большими, и он был простым служащим... Но ее правила жизни, требования элегантности он всегда уважал... И их дети на семейных собраниях, вечерах, торжественных церемониях по какому-либо особому случаю были всегда одеты со вкусом и модно. Что вызывало немалую зависть у родни мужа.

Но именно умение Лаллы Риты во всем преуспеть, везде добиться победы, ее великодушие и жизнерадостность в немалой степени способствовали и продвижению вперед самого Хаджа Мохаммеда-младшего, и его успехам. И даже укреплению его авторитета среди его меньших братьев, которые уже тогда были богаче его...

Малика это всё уже знала... Знала из рассказов своей тетушки, которая доверительно ей рисовала картины своей жизни в семье мужа, где многие женщины ей завидовали, но она постепенно всех оттеснила на второй план, в тень, и завоевала абсолютное признание.

Но Лалла Рита не была уверена в способностях своей дочери покорять мужские сердца. Есть какая-то особая форма женского протеста, думала она, которая и восхищает, но и заставляет признать, что это только усиливает противостояние мужской силы и опасность акцентировки женской свободы, ее феминизма.

Хотя Лалла Рита и не считала свою дочь уже с ее юности принадлежащей к числу тех, кто будет целиком и полностью отстаивать свои права, свои условия на выбор своего счастья, мать видела, тем не менее, как дочь умело пользуется слабостями своего отца, о которых ей поведала мать, и когда он впадает в гнев и готов всё вокруг крушить, Хадиджа всегда могла восстановить равновесие в семье и отвести руку отца, всегда защищала их, однако никогда открыто не вставала на сторону матери при супружеских спорах... Возможно, именно поэтому, рассуждала Лалла Рита, в доме никогда семейные ссоры не доходили до крайней точки, что могло бы привести к конфликту и разрыву... Мать даже предполагала, что Хадидже, еще тогда такой молодой, но уже такой рассудительной, было понятно, что и вспышки материнского гнева — это всего лишь неудовлетворенность каких-то женских, глубоко чувственных

порывов, и дочь защищала мать собой, не боясь, что отец в приступах своей бессильной ярости может растоптать всё вокруг... Он унижал ее, кричал, что она — беспутная, гуляет после занятий в школе по улицам, что она просто обычная сучка, и что он когда-нибудь возьмется за нее и наставит на путь истинный...

Хадиджа знала, о чем не договаривал ее отец, — он хотел пригрозить ей тем, что и она вырастет такой же вечно неудовлетворенной, жадной до любви женщиной, как и ее мать... А он этих ее женских упований осуществить не может, не в силах...

Но все-таки Лалла Рита предпочитала думать о дочери, что и она унаследовала от того поколения, к которому принадлежал ее отец, и некоторую слабость, не имевшую ничего общего с силой его предков... Она часто вспоминает, как ее свекор, отец ее мужа, требовал от своей жены бесконечного удовлетворения его желаний, та пряталась даже от его ненасытности, и домашние просили его взять себе вторую женщину в супруги... А я, думала о себе Лалла Рита, совсем не имею необходимости скрываться от вожделений своего мужа...

И в устах Лаллы Риты история о белой мулице была предназначена для того, чтобы показать могущество тех, кто, давая жизнь другим, способен и отнять ее... И в воспоминаниях о ссорах своей семьи с семейством мужа, она только подчеркивала то, что мир уже давно перевернулся, и физическая сила, и мораль уже теперь не на стороне мужчин, но женщин...

А еще Лалла Рита добавила: «А Хадиджа похожа на своего отца». То есть в глубине души она считает ее какой-то бесполой, и если бы не ее успехи в учебе, а теперь и в работе, то надо было давно всерьез задуматься над воспитанием ее чувств, научить ее любви, но теперь, кажется, уже всё потеряно...

Лалла Рита улыбнулась Малике, хотя в глазах ее отразилась горечь, застывшая в ее душе... Да, тогда Хадиджа отказала этому молодому человеку. Нашла какой-то абсурдный повод. Она полагала, что сама найдет себе того, кого полюбит, что сможет полюбить. Сделает свой выбор одна... «Да, я знаю, что ты, — сказала она Малике, — так и поступила, но это совсем другое. У моей дочери нет твоей интуиции, она не видит то, что нужно видеть...»

Лалла Рита думает, что ее дочери не хватает даже той женской ауры, которая присуща некоторым, дается как милость Божья... И смотрит на свою племянницу так, будто та ее понимает, хотя лицо ее собеседницы всё темнеет и темнеет...

Она думает о розовом наряде, приготовленном для Хадиджы для церемонии свадьбы ее брата. Гнев наполняет ее душу... Ну какой там праздник для женщины, у которой не заживает боль ее утраченных иллюзий, не рубцуются нанесенная ей в ее замужней жизни рана?

...А Хадиджа смотрит на саму себя с высоты семнадцати лет, когда мечтала о любви, такой любви, которая позволит ей выйти замуж, выбрать такого человека, от которого можно было бы родить детей... Потому и отказала претенденту, в котором ее раздражали и претенциозные усы, и его амбиции стать генеральным директором какой-то компании, и его влажные ладони, которые надо было пожать при встрече и при прощании...

Она как-то призналась Малике, что не может себе вообразить, как это будут эти руки трогать ее тело?.. И несмотря на всю его вежливость и перспективы благополучия, она отказала... А потом вдруг нашелся тот, кто мог всколыхнуть ее чувства, и она запомнила навсегда и его первый поцелуй, и прогулку в тенистом саду... Ей показалось, что все ее девичьи мечты о счастье сбь-

дуются именно с ним... Но сегодня, в свои тридцать семь, Хадиджа знает, что жизнь замужем — это обычная для таких, как она, женщин — невеселая история, неизбежная для всех тех, чья мораль не выносит ни унижений, ни несправедливости... А они всё нарастали, и их надо было преодолевать. Ее мать теперь уверяет, что ей всегда не доставало в воспитании, а точнее, что оно убивало в ней: легкой смелости, которая рождает вера в себя... Женщины должны уметь играть в ту игру, в которую даже и не верят. Сами должны творить свою историю любви, сами придумывать нужные им мизансцены...

Да, думает Малика, чтобы удержать мужчину, когда-то плененного твоей невинностью и строгой моралью, а потом ставшего источником того, что тебе становится с ним душно и тесно, и ты считаешься «виновницей всех своих несчастий», который превращает тебя в игрушку только своих удовольствий и наслаждений, пока ты терпишь от него всё, а потом, уже став матерью троих детей, больше не можешь выносить его эгоизма, сама становишься заложницей своей строгой морали и жизненных правил, привитых воспитанием. И тогда вся эта твоя замужняя жизнь кажется безысходной, вечной обреченностью на какое-то актерство, где настоящая жизнь — лишь в твоём воображении... Хорошо еще, если твой муж — богатый и может иногда украшать твоё несчастье какими-нибудь роскошными подарками, огромным бриллиантом, например... У них всё просчитано, и Фарид был не исключением из этих общих правил, да еще и был примером семьянина, имея верную жену и троих детей... А то, что жена хотела нежности, нуждалась в искренней ласке и заботе, да еще не скрывала своей неудовлетворенности, даже плакала иногда от всей этой своей оказавшейся для женщины беспо-

лезной, девичьей любви, ты считал, гордясь своей вирильностью, влиянием каких-то «сентиментальных египетских сериалов», которые все женщины смотрели по телевизору. А она всё хотела, чтоб он брал ее за руку, говорил тихие и нежные слова, уверяя в своей любви, а не распоряжался ей только по своей прихоти... И что в итоге? Этот кружевной, розовый кафтан на свадьбу брата, трое детей и тридцать семь лет в придачу... Плохо сыгранное семейное счастье. Собственно, все так и думают. И даже сердятся на тебя, все, даже достойная твоя родня, что ты не смогла серьезно сыграть свою роль по всем правилам. А их приходится терпеть и соблюдать всем замужним. Ты просто отстала от всех. А все живут расчетливо и сегодня. Такие уж времена. Даже «продвинутые», «современные» женщины играют в эти игры, устраивает ли их муж или нет... А твое уставшее от него тело запротестовало, не вынесло фальши и неискренности, а всем нынешним красоткам наплевать, какой будет муж, лишь бы был. Вот и вся страна такая стала продвинутая, модернизированная, что торгует своими девственницами, продает их шейхам в Саудовскую Аравию, и даже не стесняется продавать мальчиков богатым европейцам, приезжающим специально в Марракеш, где процветает этот особый рынок, а ты, дорогая Хадиджа, всё цепляешься за свои принципы, за свои нравственные устои... «О, если бы ты знала, — думала Малика, — как я тебя люблю за твое сохраненное женское достоинство...»

...Служанка зовет Лаллу Риту, громко стуча в дверь спальни, где сидят Малика и хозяйка дома. Потом резко открывает дверь и взволнованным голосом сообщает, что прибыли гости. Это — золовка Лаллы Риты, известная всем болтунья, и ее муж — брат Хаджа Мохаммеда, и их дети. Хозяин дома уже вместе с Хадиджей встречал

гостей на пороге. Лалла Рита пошла поприветствовать гостей и, уходя, погладила по голове свою племянницу Малику и, открыв флакон духов на туалетном столе, чуть-чуть помазала стеклянной пробкой себе затылок, запястья и виски. Подушила и Малику. Посмотрелась в зеркало, и они вместе отправились вниз, в гостиную.

Там уже всё было готово к церемонии. Расставлены диваны для гостей, обитые зеленым бархатом и расшитые под старое золото. Служанка Латифа ожидала прибывших с серебряным подносом, на котором были стаканчики в подстаканниках для чая с мятой и старинный чайник, привезенный из Англии еще на свадьбу Лаллы Риты с Хаджем Мохаммедом, — с тех пор прошло уже сорок лет...

Малика села на диван между хозяйкой дома и Хадиджой и отвечала на бесконечные вопросы своей тетушки по отцовской линии о том, как живет ее родня в Касабланке и Рабате, где жизнь такая дорогая и где нужно так много зарабатывать... Потом, узнав, что муж Малики приедет только завтра, стала расспрашивать ее и о его родне, и о том, когда же Малика решится родить ребенка... «Ах, уж эти современные женщины, ну как же они ленивы... А вот моя Хурийя скоро сделает меня бабушкой, и это уже во второй раз, да услышит Господь наши молитвы...» Малика чувствует, как Хадиджа толкает ее в бок, видит, как Лалла Рита начинает учащенно дышать. Потом отвечает своей золовке вместо Малики: «Да, жизнь становится дорогой. Но это повсюду. Главное — жить достойно. А если кому-то повезет родить ребенка, да еще способного к учебе, то расходы в семьях становятся значительными, особенно если не брать кредиты и обходиться тем, что сэкономлено...»

Лалла Наджа, золовка, встрепелась. Потому что всем известно, что ее дети совсем не славятся этими ка-

чествами, разве что младший сын, которому удалось выучиться на инженера-агронома, ставший гордостью всего ее семейства... Но другие сыновья славились только своими провалами на школьных экзаменах, а потом устроились куда-то скромными служащими и то благодаря своим родственникам по материнской линии. Образовалась какая-то бездна в семейных отношениях, разделявшая всех двоюродных братьев и сестер. И Малика вспомнила, как в детстве все они были близки, дружны, как ходили, когда еще жили все вместе в Фесе, по старым его кварталам, по его базару в медине, где в темных лавках продавалась хна, бутылочки с туалетной водой, настоящей на лепестках роз, баночки с мускусом, ароматизирующим кожу... Помнила, как в витринах магазинчиков поблескивали позолоченные украшения, кольца с разноцветными камнями, колье с зелеными, как изумруды, стекляшками... По старинной части города их водила Хурийя, ее старшая кузина, она и вела переговоры с продавцами, если Малика что-нибудь себе выбирала... Помнила одетых в длинные галабеи женщин, которые искали на базаре в медине какие-то чудесные травы или обереги, всякие там талисманы... Тогда Малике было всего семь лет, а Хурийе — уже одиннадцать. И возвращаясь домой, девочка гордилась своими колечками, купленными за один дирхам, а Хурийя, экономная и хозяйственная, так себе ничего и не покупала... Ну, а если она хотела потратить денежки, то останавливалась по дороге, съедала в булочной испанское мороженое, заложенное как прослойка между двумя кусочками бисквита... Потом, под струйкой воды из фонтанчика в какой-нибудь стене, полоскала рот, чтобы мать ее не заметила, что она ела. А она всегда их поджидала на пороге дома, тревожно оглядывая девочек. Малика показывала свои дешевые колечки, сверкавшие

стекляшками на пальцах, и целовала тетушку, от которой пахло какими-то синтетическими духами с запахом клубники. Лалла Наджа молчала, ничего не спрашивая, но ее дочь, Хурийа, пожав плечами, смело отвечала, что она так ничего себе и не купила, но главное, что они хорошо провели время. И еще пойдут погулять и завтра... Малика соглашалась...

И вот теперь, сидя напротив своей кухни, беременной во второй раз, приехавшей из Феса на свадьбу Саида, Малика понимает, как многое их теперь разделяет... Хурийа уже три года удачно замужем, ждет еще одного ребенка и работает машинисткой в каком-то страховом агентстве... У них нет ничего общего. Только детство. Хурийа как бы осталась в нем. И не особенно хочет выходить оттуда, из своего прошлого... Как будто чего-то опасаясь...

Для Лаллы Хаджи отдаление от своих братьев и их семей — несправедливость. Разве все они не одного корня? Разве она не дочь того же патриарха их рода?.. Но Хадж Мохаммед сумел найти своим дочерям более престижных зятьев... Хотя этот «престиж» казался ей сомнительным. А ее дочь вышла замуж по любви. И в конечном счете кровные связи уступили место социальным различиям... И Лалла Наджа, самая прозорливая из всех своих сестер, знает, что если в каком-нибудь из родственных ей семей случается торжественная церемония — свадьба ли, или обрезание, — самые далекие кухни и кузены, ставшие внезапно очень богатыми после обретения страной независимости, ее семью не позовут в гости...

Это Хадиджа объяснила Малике, почему на тонких губах их тетушки Лаллы Наджмы застыла улыбка пополам с горькой усмешкой... Она воспользовалась моментом, когда традиционные свадебные тамбурины засту-

чали под ловкими пальцами тетушки Наджмы и ее дочерей, и на ухо прошептала Малике, сказав, что веселье им дается не без труда, да и всем тем, кто осознает, что судьба их родственницы похожа на судьбу старой лошади, которую еще держат в конюшне на всякий случай, просто из уважения... Малика согласно кивнула головой, хотя и не очень уверенно, вряд ли осознавая весь этот груз унижения, потихоньку установившийся, но безвозвратно... Да и как это осознать, даже рядом с не очень-то счастливой Хадиджей, все глубокие противоречия этого мира, который для некоторых сверкает всеми красками, подобно мыльному пузырю, а для некоторых становятся ярким светом, на который летят ночные бочки и гибнут в его лучах.

Для Малики старый мир, прошлое привлекательно, как море, с его предсказуемыми приboями и отливами, с ударами волн о прибрежные скалы, с его неведомыми сокровищами, сокрытыми в его глубинах.

Девочкой, когда она бывала в скромном доме тетушки Наджмы в Фесе, был коридор, выложенный черной и белой плиткой. На стене перед входной дверью была дощечка, обитая черным бархатом, на котором золотыми нитями была вышита надпись во славу Аллаха и его пророка Мохаммеда. А налево от нее висела фотография Каабы в Мекке. В большой гостиной с высокими деревянными лавками с резьбой по цоколю были закрыты окна, опущены жалюзи. Поэтому она казалась какой-то темной бездной. Но именно здесь хозяева принимали своих гостей, устраивали торжественные приемы, которые так приняты у всей феской буржуазии. Деревянные лавки были покрыты зеленым бархатом, подбитым толстой шерстяной тканью, чтобы не так было жестко садиться на них. Такой бархат, иногда вышитый золотом, составлял неременный элемент свадебного приданого

невест. Рядом с лавками повсюду стояли небольшие круглые столики из резного дерева, позволявшие гостям ставить на них свои стаканы с мятным чаем и тарелочки из китайского фарфора, на которых были разные сладости, взятые с большого подноса, разносимого по гостиной для угощения. Здесь было всегда прохладно и пахло хорошо вымытыми хозяйственным мылом полами... Иногда пришедшие в дом гости еще заставляли какую-нибудь девочку-служанку, еще домывавшую эти полы и иногда опускавшую свои примороженные пальцы (а в Фесе зимы очень холодные) в ведро с водой, откуда доставала свои тряпки... Таких служанок, которым исполнилось не больше двенадцати лет, было немало в этом доме. Их брали из бедных многодетных крестьянских семей, очень довольных тем, что могли пристроить своих дочерей на работу в город. Дальнейшая судьба этих незащищенных созданий мало беспокоила родителей...

Сегодня Лалла Наджа радостно стучала по туго натянутой коже глиняного барабана в форме цилиндра в честь свадьбы своего племянника. Теперь, потирая ладони, чтобы руки отдохнули, с удовольствием громким голосом рассказывает о последней из своих молоденьких служанок, которых они с мужем набирают по деревням, как отмывают, освобождают их от блох и вшей и учат правилам гигиены. Как одевают их, дают нателенное белье, о том, какие большие вообще расходы несут, когда обзаводятся прислугой. И как потом, вырастая, эти неблагодарные девчонки сбегают из дома с первым встречным на прогулке по городу, которую хозяева им разрешили совершать каждый месяц...

Малика, слушая всё это, чувствует, как внутри нее что-то начинает дожать и возмущенно напрягаться. Сердце стучит, словно после долгого бега... Она-то зна-

ет, что это такое, этот старый мир с его порядками и его укладом жизни. В нем, именно в нем, беспощадном и тираническом, малолетние служанки спят вповалку прямо на полу, на голых матрасах или каких-нибудь подстилках, в кухонных углах, где душно пахнет кориандром и молотыми орехами. Она помнит об этом, так как не раз посещала в детстве и юности дом своей тетушки, и после милых разговоров со своей кузиной Хурийей потом видела в кухне картинки, которые лучше не вспоминать и стереть из памяти...

И тем не менее она помнит, как старший брат кузины — Брахим, возвращался вечером с работы, и как тетушка заставляла какую-нибудь свою девочку-служанку тащить таз с теплой водой и мыть ему ноги. Ребенок стоял на коленях, натирая Брахиму ноги мылом, потом ополаскивал и сушил полотенцем. Потом надевал ему бабуши — тапки без задников. Мужчина вздыхал от удовольствия. Теперь Малика не может вспоминать о своем кузене без отвращения. О его жестких усах, о его коротких красных ладонях, плотно сжимавших украдкой бедра маленькой девочки, которая склонялась над ним, обувая его. Ее звали Лейлой, как помнит Малика, и она даже играла с ней как-то в куклы в каком-то темном чулане, где хранились соленые маслины и банки с желтым медом. У куклы были голубые глаза, белые волосы в завитках... Девочка прятала ее под отклеившейся от пола плиткой, где хранила все свои сокровища — какие-то красные пластмассовые заколки, маленький флакончик с туалетной водой... Тогда Малика была почти ее ровесница, им было лет по десять, и они улыбались друг другу, когда Лейла ставила перед Маликой тарелку с едой, прислуживая за обедом... Малика вспомнила, как ела с трудом, наблюдая за толстыми пальцами своего кузена, раздиравшими куски мяса... А когда Малика

уезжала, погостив, из тетушкиного дома, то обязательно накануне посещала чулан, что-нибудь прибавляя к сокровищам Лейлы — то красный пластмассовый гребешок для белых волос ее куклы, то тувфельки для ее маленьких ножек... Прятали всё под плитку...

...Однажды, несколько месяцев спустя, Малика, гостя в доме своего дяди, услышала, как Лалла Рита рассказывала, что произошло в Фесе в семье Лаллы Наджи. Там одна малолетняя служанка, долго расставляя в холодном чулане банки с засахаренными лимонными дольками, решила согреться и разожгла огонь в маленькой переносной чугунной печке. Стоял декабрь, и ей хотелось тепла... К утру ее нашли рядом с еще тлевшими в печке углями, но угарный газ задушил ее. Так она и лежала на выложенном плиткой полу. Из-под одной из них торчал белый локон, на котором лежала рука девочки...

...Вот почему Малика сейчас, слушая о домашних перипетиях тетушки Наджмы, приехавшей с семьей на свадебную церемонию, не может одобрять все ее «подвиги» по устройству деревенских девочек в городе, — это совсем не героические поступки, которыми можно гордиться, как шрамами после битвы. А если и есть эти шрамы на руках Лаллы Наджмы, они — результат случайных ее ожогов об утюг, или, как этот, на лбу, — результат резко поднятой крышки над кипящей водой в кастрюле-скороварке...

Хадиджа — более снисходительна, и она может почувствовать. Поэтому возмущение Малики у нее не находит отклика. Она более близка миру своей тетушки Наджмы, в отличие от Малики — совсем ему далекой. И потому, склоняясь к ее уху, шепчет: «Ведь Латифа тоже пришла в ее материнский дом совсем молодой девушкой, и тоже родом она из деревни...»

Но этот аргумент недостаточен, потому что Малика знает о доброте Лаллы Риты, и она не идет ни в какое сравнение ни с кем, а потому ее служанка — почти что член их семьи, она просто царствует в кухне, и ничто не решается без ее согласия, если речь идет о том, что подавать к столу, чем накормить гостей... Латифа участвует во всех семейных церемониях; она разделяла всеобщее несчастье, когда Хадиджа развелась с мужем... Даже предлагала свои услуги, чтобы помирить супругов.

Но, возможно, что в глазах Хадиджы нет особого различия между судьбой несчастных маленьких служанок в доме тетюшки Наджмы и судьбой своей, когда и она была сослана жизнью в женское свое одиночество, когда разбилась вдребезги ее мечта о семейном счастье...

Поэтому Малика стоит сейчас как бы в стороне от всех приглашенных в лом Лаллы Риты в канун свадьбы. Но самое удивительное — в том, что она в глазах всех гостей принадлежит миру какому-то особо привилегированному, почти недоступному никому, миру, о котором они ничего не ведают и не подозревают... Единственное, что им понятно, так это то, что ее отец добился социального благополучия, успеха, занимал всегда высокопоставленные должности, что у него — огромный дом, в котором мраморные полы, что вокруг дома — сливовый сад, белоснежно цветущий по весне и дающий тень и прохладу летом, что они часто путешествуют в Европу со своей красавицей-женой, хотя и немного мечтательной и как-то весьма удаленной от мирских забот и дел. Да и сама Малика больше живет в Париже. Вдали ото всех... Получается, что ее жизнь — это какая-то особая смесь из модернизации и груза прошлого, которое связывает ее еще со всеми этими традиционны-

ми ритуалами и церемониями... Мир, в котором выросла Малика, и мир, в котором она живет сейчас, это как сгоревшая любовь, которая ничего не оставила после себя, разве что ясность осознания невозможности продолжать жить по-прежнему. Она росла в доме отца с одной только жадью — улучшить свою жизнь, сделать ее более совершенной, и ей было мало того, что ее детство и юность проходили, защищенные надежной броней отцовского благополучия. Хорошо, конечно, что родной дом — как крепость, но ей было мало жить за ее стенами, в спасительной тени его сада. Душа ее блуждала и хотела вырваться за пределы охраняемого традициями и ритуалами жизненного круга, его старыми идеалами... Ее сердце волновала жизнь других людей, она печалилась их печалью, знала и разделяла их горести, видела несправедливость мироустройства. Уже в раннем возрасте. А потому всегда как-то стояла в стороне от окружающих. Как и сейчас, на свадьбе сына своей тетушки. Она давно знает, что ничто не может защитить людскую гордыню от беспощадного хода времени вперед, его будней, его проблем, никакие толстые стены древних обычаев и ритуалов...

Она давно поняла, что человек живет в том мире, который уже давно скрипит и трещит, как плохо настроенный инструмент, где много уже такого, что нельзя спасти, и где старые ценности взрываются со звуком грома от удара молнии. Чего только сто́ит одна история, которую услышала она вчера от Хадиджы... Та рассказала ей встревоженным от волнения голосом, как увидела, придя утром на работу, что у ее секретарши на ногах — дорогие туфельки, о которых сама Хадиджа мечтала вот уже два месяца и всё не решалась купить... А та, со своей скудной зарплатой, уже их носит... И единственное объяснение, которое нашла Хадиджа, это ее пред-

положение, что ее секретарша занимается проституцией... Ведь иначе как можно объяснить, что каждую неделю — на ней дорогая обновка: то великолепный браслет, то фирменный шарф, то парижское платье!.. Но Хадиджу возмущает не проституция как таковая, но то, что она противоречит самому кодексу местной жизни, ее устоям, ее укоренившимся в сознании соотечественников представлениям о моральных ценностях, ничего подобного не допускающих в пределы своих незыблемых границ...

Но как можно возмущаться только этим, не вдумываясь в то, отчего это явление существует в обществе вообще как таковое?? ... Ведь смерть маленькой Лейлы — подобна смерти других таких же служанок, да сжалится над ними Аллах, и никто не вспомнит о них, хорошо еще, что малышка умерла в теплом чулане, сжав ладошку на белом локоне своей куклы, своей мечты, а мечтать могут и десятилетние девочки, хотя, наверное, Лейле было побольше, может быть на полгода, но всё равно, смерти было достаточно, чтобы забрать ее жизнь и лишить мечты... Да и та, несчастная путанасекретарша, в своих новых туфельках и платье, наверное шелковым, так раздражающая тебя, Хадиджа, разве не прикрывает она свое нечистое тело какой-то мечтой, своим этим нарядом, который, как ты, кузина, считаешь недостойным ее, но тебя, в лучшем случае... Прости, что я злюсь, хотя это и не злость вовсе, а просто я задумываюсь над тем, как могут люди вообще оставлять детей на смерть в каком-то чулане, пусть даже в руках с вероятно украденной у кого-то другого куклой? Но у ребенка ведь кто-то украл самую жизнь... И если девочка умерла в теплом чулане, то вся ее несчастная жизнь была холодной, но и эту жизнь у нее отняли... Ты улыбнешься, если я скажу тебе, Хадиджа, что вообще

наша жизнь — горькая чаша, но которую мы должны испытать до конца... А думать о том, что нас кто-то любит, можно, конечно, как и надеяться, но еще лучше — ждать... А твоей секретарше ждать особо не хочется, да и нечего, вот она и подменяет это своими дурацкими нарядами, которые так раздражают тебя, а они, эти туфельки и шелковое платье, просто бессмысленно сияют, режут тебе глаза, прикрывая своим блеском, а может быть и наоборот, только подчеркивают мрак ее порочного тела... На всё — воля Божья, дорогая...

...Постепенно собирались и другие гости. Приехало семейство Лаллы Фатемы со множеством сыновей... Супруг ее, Хадж Абд эль-Карим, низенький, но, видно, весьма могучий мужчина, раз стал отцом такого количества сыновей. Лалла Рита часто задавалась этим вопросом, как это происходит, что маленькие и невидные мужчины могут обладать столь мощной мужской силой. И откуда только берется эта вирильность? Просто загадка какая-то. Одно из множества таинств жизни. У Лаллы Риты был небогатый жизненный опыт, — только своего замужества, и она смотрит на свою золовку, сестру мужа — Лаллу Фатему, словно разглядывая красоту другой женщины, пытаясь найти хоть какой-то изъян, но не находит. А та смеется, приветствуя семейство брата, звонко и радостно, невольно вызывая у всех улыбки и создавая какую-то приятную атмосферу веселости во всем доме... Теперь уже все женщины бьют в барабаны, радостно издавая гортанные долгие трели, которые звенят в воздухе... Воцаряется дух праздника, он всех пьянит, заставляет служанок выйти из кухни и оставить приготовление угощений, приветствовать гостей, и даже Хадиджа, запрокинув голову, забыв обо всех своих несчастьях, вместе со всеми исторгает из своего горла звуки радости. Повсюду дымят сандаловые

палочки, и их томный запах сливается с нежным ароматом флёрдоранжа, окутывающим женщин, а дымящиеся на подносах стаканчики с чаем заполняют гостиную настоем мяты... Мужчины курят сигареты, дети танцуют, кузины и кузены беседуют... Всех интересует, где и как их разместят в доме на ночь. Подсмеиваются над женихом — ведь он проводит свой последний вечер вместе со всеми абсолютно пока свободным...

Малика всё размышляет, а Хадиджа потихоньку всплакнула. Ну это скорее от родственных чувств и приятных эмоций, охвативших ее. Тетушки ее успокаивают, как могут. Это для них еще и удобный случай высказаться на тему и о своем опыте замужества... Сочувственно просят Господа Бога «наказать нечестивую собаку» — мужа Хадиджы. Лалла Рита вздыхает... Всех интересует, что за принцессу выбрал себе в жены их племянник... Слышится голос Хаджа Мохаммеда, который рассказывает мужчинам, что сам министр финансов его уверял в том, что марокканская дирхама стабилизируется... Кто-то из молодых усмехается, говоря, что министр ничего не понимает в экономике, которая зависит не от курса национальной валюты, а от того, как в стране молодежь употребляет наркотики... Хадж Мохаммед возмущается цинизмом молодого поколения, хотя, вздыхая, и прибавляет, что «в этом есть доля истины»... А Лалла Фатема поудобнее устраивается на диване и начинает рассказывать свою историю.

«Никто из вас не спросил, почему это не приехал со мной мой старший сын Мулай? Почему его нет со всеми нами в этот радостный день? Может быть, у него сегодня какие-то дела в Фесе и он приедет завтра, как большинство родни? Нет, на самом деле мой старший сын не будет на свадьбе своего двоюродного брата, хотя и любит его. Он и меня-то теперь приветствует издали, взма-

хом руки... А я ведь его выносила в чреве своем, родила... Он и кузин теперь не целует, когда они приходят к нам в гости. Отворачивается при виде их. А ведь всегда был такой жизнерадостный, насмешливый, щекотал родную сестренку Хурийю, а та смеялась до слез... Играл с ней в детстве, гулял в саду. А теперь даже не садится с нами за стол. Ест отдельно. Боится, что ли, что рядом с нами сидит сам сатана... Не отвечает на звонки, не выходит со своими племянницами вечерком, когда спадет жара и станет попрохладнее, прогуляться по улицам старой медины. Я вот спросила себя, отчего это он так стал таким?

Помните, я как-то рассказывала вам, несколько месяцев назад, что Мулай купил себе молитвенный коврик и стал истово молиться, опустившись на колени, вознося хвалу Аллаху?»

Женщины, слушая Фатему, сочувственно кивали головами, с одной стороны одобряя ее сына, а с другой — в тревоге предвидя неожиданную развязку событий: такая чрезмерная и неожиданная обращенность к религии сына Лаллы Фатемы настораживала всех. А она продолжала свой рассказ: «У моего сына есть некоторое недовольство своей жизнью, я это знаю. Ему ведь уже почти сорок, а он еще не женат, живет холостяком, без детей... Да и работа его особенно не удовлетворяла, и он стал помогать отцу торговать в его лавочке, что тоже было ему малоприятно. И я в общем-то никогда не видела своего сына счастливым, хотя всю жизнь рядом, в одном доме. Но я не замечала, чтобы сердце его когда-нибудь трепетало от восторга, от любви к кому-то. Он никогда, в отличие от своих братьев, не беспокоился о своем гардеробе, о том, хорошо ли выглядит, чтобы кому-то из девушек понравиться. Даже одеколоном не пользовался, не брился, как другие, и утром, и вечером,

не исчезал куда-то надолго после ужина, забыв ключи от входной двери и поздно возвращаясь, будя родителей, которые уже догадывались о любовных свиданиях других своих сыновей... Я только молила Господа об одном: «Пошли и ему радости бытия, сделай его существование счастливым!» Ведь без этого каждый прожитый день — как груз, который надо тащить на себе...»

Лалла Фатема замолкает, и внезапно ее лицо покрывается морщинами от улыбки: «А я ведь так хотела, чтобы у меня родилась хоть одна дочка! Но когда я увидела, как подрастали мои сыновья, как становились мужчинами, как кружили головы девицам, я поняла, что сыновей иметь лучше, чем дочерей, за мужчин не надо дрожать и переживать, как переживают отцы за своих дочерей, боясь, что те лишатся невинности. Да и сердце матери, наверное, бьется тревожно, когда она видит, что дочь ее растет, хорошеет день ото дня, что грудь ее наливается соком, тело расцветает, а в глазах томится желание... И мать думает: “Ну вот, и подросла добыча для какого-нибудь охотника, и что он с ней сделает?” А за сыновей дрожать нечего».

Лалла Наджа не смеется, она думает о своей младшей дочери, которая никому не досталась в качестве легкой добычи... Но для нее и долгое ожидание замужества, настоящей любви тоже очень унижительно, хотя она никогда не жалуется на свое одиночество. Живет себе под крышей родительского дома, особо не страдая, да и заработок ее позволяет относительную самостоятельность. Лалла Наджа прикрывает глаза, размышляя о том, что дочка ее вполне могла бы быть хорошей супругой, она щедра и великодушна, вывозит в своей небольшой машине прогуляться по старому городу мать, показывает и новостройки, где большие дома с нарядными витринами...

Лалла Рита улыбается, вспоминая, как стала матерью Саида, — это был ее первенец, а она еще была совсем молодой... Потом вспоминает то время, когда Саид в первый раз попросил у отца бритву, чтобы побриться. Потом, как ждала его с нетерпением с первых его свиданий. Он ей рассказывал о своих юношеских увлечениях, искренне восторгаясь красотой какой-нибудь девушки: «Вы и представить себе не можете, как она прекрасна!...»

Хадиджа молчит. Вспоминает, как она по-сестрински любила своего кузена Мулая. Может быть потому, что оба они были старшими детьми в своих семьях и их родители не могли не думать об их возможном браке. Но детство и юность промелькнули быстро, а потом судьба у них сложилась почти абсурдно... Хадиджа стала архитектором, уехала в Рабат, а он — каким-то продавцом в Фесе в маленькой темной лавочке без окон своего отца... Остался провинциалом, ничего не хотел менять в своей привычной жизни... И может быть, именно сейчас сказалось в его религиозном неистовстве то, что внутренне терзало его?

Лалла Фатема продолжила свой рассказ: «Мулай, так любивший свои прогулки с отцом по фесской медине, по ее тесным и тенистым улочкам, перебирать шуршащие шерстяные и шелковые ткани в лавочках торговцев, играть в шахматы с любимым брадобреем отца, встречать своих детских друзей в маленьком кафетерии с названием “Ренессанс”, куда они обязательно заходили два раза в неделю, даже поздно вечером, порой задерживался в своих беседах с ними. Это беспокоило отца, он не любил разговоры о политике, просил сына не вмешиваться ни во что, заниматься своим надежным делом, а в политике всё неизвестно к чему приводит... Мулай и меня как-то отвез на своей машине к моей лю-

бимой портнихе, да и вообще охотно всегда сопровождал меня в гости, куда я шла на какие-то праздники, то по случаю обрезания, то на день рождения, то просто навестить кого-то из заболевших знакомых... И вдруг мой сын резко изменился, почти ни с кем из родни не общался, ел дома неохотно, ни с кем не хотел проводить время ни за столом, ни в гостиной. Закрывался, запирая на ключ дверь, в своей комнате и слушал там постоянно радио и какие-то записи на кассетах, которые он получал от имама в мечети, а тот — из Египта и Саудовской Аравии...»

Лалла Фатема вздыхает: «Пусть Бог просветит наш разум! Ведь времена настали смутные, и мусульмане повсюду подвергнуты разным испытаниям и искушениям...»

Эль Хадж Мохаммед, слушавший рассказ своей сестры, вдруг сказал серьезным голосом: «Пусть будет осторожен твой сын. Некоторые из этих имамов в мечетях находятся и на службе в Министерстве внутренних дел. Они — мусульмане только по названию...» Хадиджа добавила: «Одна из моих коллег, тоже архитектор, очень красивая женщина, жившая свободно и независимо, в тридцать два года еще не будучи замужем, веселая, любившая выходить в свет, наряжаться по последней моде, дочь очень известного человека, шесть месяцев назад вдруг явилась на работу, закрыв голову хиджабом, в длинной юбке... Стала сторонницей партии “братьев-мусульман”. Я не знаю, что они делают с людьми, но эта моя коллега со всеми мужчинами теперь здоровадается только издали, ни с кем не общается, хотя лично я не вижу, чтобы образ ее жизни, ее вкусы резко изменились: платок на голове из чистого шелка, да и юбка — модная...»

Лалла Рита, посмотрев на свою золовку, сказала: «Да хранит тебя Господь! Да поможет тебе вынести это испытание! А дети у нас и рождаются для того, чтобы подвергнуть нас всяческим испытаниям. Они приносят с собой в этот мир и наши самые большие радости, и наше самое большое беспокойство и большие заботы... С Мулаем происходит что-то, что я не понимаю. Я просто не узнаю его. Он — как человек, вдруг упавший на дно колодца и захотевший жить только во мраке».

Хадиджа вздрагивает, услышав это. Ведь и она, как и ее мать, как женщина прожила свои годы словно на дне колодца и не хочет сейчас жить по-другому... Даже видя какие-то проблески света, она, как узница, не хочет выходить из своей тюрьмы... Когда-то и их дом наполнился смехом детей, кто-то что-то хотел в доме перестроить, обновить, все старались как-то окружить вниманием своего отца, что-то предлагали ему — то куда поехать отдохнуть, где провести каникулы, то что-то переставить в доме. А он только обещал: «Ну, ладно, поедem на море».

Но иногда мечты сбывались, и Хадиджа с нежностью вспоминает, словно теплый ветер коснулся ее сердца, как всё семейство усаживалось в отцовский автомобиль, который, тарахтя, увозил их по большим дорогам, менявшим привычный пейзаж их жизни... Но еще важнее были сами приготовления к путешествию. Детей словно охватывал какой-то экстаз, мать открывала шкафы, выбирала одежду для них, всё, что надо взять с собой в дорогу, предупреждала всех знакомых и родственников, что они все собираются уехать на несколько дней... Так было потом и в ее собственной семье... Само оповещение всех окружающих о том, что семейство едет в путешествие, благословение их на дорогу, пожелание скорее возвращаться, увидеться, добрые поже-

лания словно заставляли жизнь расцветать, прекращали ее единообразие... И когда дети просыпались поутру, нетерпеливо спрашивая, «ну когда же мы едем?», жизнь будто посылала знаки того, что скоро кончится всё это бесполезное существование в несчастье ощущать крышу родного дома и его надежные стены как какой-то тесный и душный каркас монотонной повседневности, когда даже само твое тело становится тюрьмой для твоего сердца, которое все время мечтает о чем-то другом... «Ведь когда я брала его за руку, — вспоминала Хадиджа, — он смотрел на меня каким-то отвлеченным взглядом, будто скучающим... Дескать, ну, что там ей еще надо?.. Чего она все время хочет чего-то другого? И снова эти бесконечные препирания, ссоры, взаимное недовольство... А надо было заранее всё это предвидеть, выходя замуж, когда постепенно семейное счастье превращалось в привычку, рутину, и всё дальше мы отодвигались друг от друга, ложась в супружескую кровать... Будто становились постепенно врагами, будто шло между нами какое-то сражение за жизнь... И каждый стал понимать свое счастье по-своему. Я плакала потихоньку, а он все ровнее дышал, спокойно засыпая... И каждое его всхрапывание я воспринимала как оскорбление. В конце концов я не выдержала. Возненавидела его... А тогда, когда мы еще собирались куда-то ехать, и он еще обнимал меня, я молила Бога, чтобы Он продлил мою радость... Но вот однажды он отложил наше путешествие на два дня, сообщил об этом с каким-то странным видом, который все чаще и чаще приобретало его лицо, а я просто не замечала этого. То ждала еще одного ребенка, то все рисовала проекты для новых светлых домов, в которых будут радостно жить люди... А мой собственный рушился, и никакие стены уже не могли спасти семью. Я взяла детей, и мы убежали из этого ада,

который угнетал меня уже много лет, а демон остался в нем... И когда я спрашиваю свою дочь о ее отце, она только плачет, бедная моя Сельма, как сама я не могла, плачет, оплакивая нашу судьбу. Неужели и ее ждет, мою старшую дочь, такая же участь? И сколько еще нам всем страдать? А я не хочу для детей повторения всего того, что пережила я. Может быть, уехать куда-нибудь? Но мы и так уже живем не у себя... И я каждое утро просыпаюсь в холодном поту от страха. Мне кажется, что мой бывший супруг нас продолжает мучить и даже усиливает свой гнет, чтобы похоронить нас всех заживо под обломками моей мечты о счастье, под руинами всех тех домов, которые я строю для других... Я никогда не рассказываю матери о том, какие страшные мне снятся сны, и о том, о чем я мечтала и мечтаю. Что может она подумать и что предчувствовать?

А для меня моя мечта о счастье имела гораздо большее значение, чем всё то, что давала мне и работа, которой я была очень довольна, и наши путешествия с Фаридом, моим мужем, и детьми... Ну а когда однажды он вдруг отложил почему-то и это наше приятное общение, то начался весь ужас в наших с ним отношениях... А он так ничего мне и не объяснил».

Хаджа посмотрела на Малику с затаенной тревогой, как будто та опять станет что-то интерпретировать, анализировать, по-своему думая о прошлом своей кузины.

Они вдвоем ушли из гостиной, где уже набралось человек тридцать гостей из Феса, Мекнеса, Касабланки. Ждали обеда. А кузины поднялись в спальню Хадиджы, которую она делила теперь со своими тремя дочерьми, для чего пришлось значительно переоборудовать бывшую девичью комнату Хадиджы.

Сюда доносился смех из гостиной. Вместе со всеми хохотал и жених, и в его теплом голосе звучала радость

от всех поздравлений и дружелюбных шуток в его адрес. «Слышишь, как смеется Саид?» — спросила Хадиджа Малику, все еще исполненная воспоминаниями и тоской о произошедшем с ней несчастье. «Пусть Господь хранит его! Пусть сбудутся все его надежды», — сказала Хадиджа и открыла свой старый шкаф, где еще в девичество хранила свои наряды, а теперь заполнила вещами, которые ей стали нужны в ее новой жизни в отчем доме, вещами разведенной с мужем женщины. Конечно, этот шкаф не такой большой, как в спальне матери, Лаллы Риты. Да еще он вставлен в стену, так что выглядит как обычный, современный, но Хадиджа его по-прежнему называет «мой старый шкаф»... «Раньше, — вспоминает Малика, — она широко распахивала дверь своего шкафа и выбирала то, что ей было нужно для прогулки со мной; а я, ее младшая кузина, с восхищением смотрела на ее гардероб, на множество полочек с разнообразной косметикой, всякими там увлажняющими кремами, флакончиками с лаком для ногтей, духов... Лак был ярким, клубничного или малинового цвета, рядом лежали разные пилочки и щипчики для маникюра, стояла фирменная пудреница от Елены Рубинштейн, был и тюбик с маслом какао для губ, чтобы они блестели...

Потом еще были полочки, где лежали прозрачные чулки телесного цвета, разные щетки для волос с серебряными ручками, доставшиеся по наследству от бабушки, стоял большой флакон одеколona с запахом лаванды. Это были сокровища девушки, готовящейся выйти замуж».

Тогда для Малики казалось, что широко открывая дверь своего шкафа, ее кузина Хадиджа распахивала двери в рай. Такого чувства она не испытывала, даже когда видела все женские сокровища своей молодой ма-

тери, на туалетном столике которой стояли хрустальные флаконы с парижскими духами, были разложены всякие футляры и шкатулки с ожерельями, кольцами, серьгами, — всеми настоящими драгоценностями, полученными как свадебные подарки... Как-то семилетняя Малика взяла понюхать один такой хрустальный флакончик, вынула пробку и нечаянно уронила духи на пол... Мать на нее страшно накричала, оторвалась от созерцания своего лица в зеркале и, стирая с себя остатки крема, заставила ее собирать осколки по полу... Да еще сказала ей в гневе, что девочка сделала это всё нарочно... Малика, конечно, всё тщательно подобрала, но поранила себе палец, и капля крови, увиденная матерью, заставила ту опомниться от гнева и продезинфицировать и забинтовать пальчик дочери...

Здесь, стоя перед раскрытым шкафом Хадиджы, она увидела на полках сложенные детские вещи, какие-то женские белые широкие хлопковые брюки, тоже флаконы духов хороших марок, ватные тампончики для снятия макияжа. баночки с кремом. «Это от морщин, — сказала Хадиджа. — Видишь, как собрались они на моем лице вокруг глаз. Мажу их, но они уже не исчезают. Даже если я высыпаюсь...»

...Кажется, что грустный голос Хадиджы доносится откуда-то из глубины шкафа. Она глухо говорит Малике, стоя перед его раскрытой дверцей, что до сих пор не может понять, почему всё это случилось с ней, ее детьми... «Мне все кажется, что тот страшный день развода никогда не кончится. После всего ада последних дней жизни в доме с Фаридом, казалось бы, что развод — избавление, спасение... Что я наконец стану сама собой, что не буду жить наизнанку, в постоянном страхе быть раненой невниманием мужа. А ведь мы когда-то любили друг друга, я родила ему детей, я была нежна с ним

даже несмотря на его вдруг появившуюся брутальность в отношениях со мной... Но ведь он был раньше другим. Что же произошло? Я стала ему врагом в нашем доме. Он смотрел на меня порой, как волк...

Малика молчала, размышляя о том, что женщины вообще-то должны любить в мужчинах некую брутальность, правда, сдерживаемую, способную лишь внушить слабому полу представление о мужской силе... А женщине достается лишь мягкость и нежность. Надо какое-то разделение ролей, в конце концов... Но если он тебя разлюбил, и ты стала жертвой, то в этом есть и твоя вина. Видимо, ты слишком увлекалась своими проектами, всё строила и строила эти свои каменные дома с толстыми стенами и большими окнами. А теперь, вернувшись в родительский дом, дорогая, что получила ты в своей женской жизни? Видимо, надо уметь смиряться, что ли, и научиться переносить переносимое... Наверное, в глубине души ты и сама это осознаешь... А может быть надо овладеть наукой по выбору для себя мужа: изучить его прошлое, знать, какие были у него предки, кто его родители, кто друзья... А когда вслепую выходишь замуж по любви, а та потом вдруг куда-то исчезает, а ты еще чувствуешь себя женщиной и хочешь внимания, то уже поздно...

Но Малика этого ничего не сказала Хадидже. Ждала, когда та повернется к ней и сама расскажет о своем разводе. И вот глухой голос кузины продолжил: «Вначале я думала, что Фарид полюбил какую-то другую женщину. Это было бы достаточным объяснением его поведения. Но я так и ничего не узнала. И это было ужасно... Смотрела на дочерей и думала, что они — живые нити любви, связывавшей нас когда-то с мужем. Но он разрывал эти нити. Наплевал на всё наше прошлое. Будто оно — как утопленник в море. Но ведь и с покойниками

так не поступают. Есть какие-то ритуалы, церемонии... А он, ты представить себе не можешь, Малика, привел меня в какой-то нищий городской квартал, где нас никто не знал, где повсюду — помойки и грязь, где дети играют посреди всех этих отбросов, где полно на улицах навоза, который забился мне в сандалии, испачкав ноги... Об этих убогих городских окраинах знают все, но очень приблизительно, стараются молчать... Но он привел меня именно туда, чтобы зафиксировать официально наш развод, как бы заранее мне предрекая мое нищее будущее, чтобы унижить меня окончательно... Я и представить себе такого финала нашей жизни с ним не могла. Там какой-то добрый чиновник выразил нам свое сожаление, но Фарид решительно отказался от своих прав на детей, что для меня, конечно, отрадно. Но тогда, в тот момент, мне показалось, что он сам, своими руками, выпустил всю кровь из моих вен. Я думала, что Фарид будет, наоборот, всеми способами отстаивать свои отцовские права, бороться за дочерей, ни за что не откажется от них за всё золото в мире. А вышло так, что он вроде бы и не признаёт их больше своими детьми, что они — не его плоды, как говорят...»

Хадиджа заплакала, оперевшись на дверь шкафа... «Ведь он живой, не умер, как можно так не любить своих дочерей?!»

Малика подошла к ней потихоньку, обняла ее и стала покачивать, словно успокаивая ребенка. «Да, — думала она, — он не захотел ни тебя, ни детей, и вот ты теперь, как старый чемодан, забытый в пустом доме после переезда... Но ты-то сама, что ты сделала, чтобы этого не произошло, чтобы теперь не страдать? Ты смотришь теперь на всё, что произошло, на своего бывшего мужа, как та беззащитная белая мулица, над которой был занесен нож, зарезавший ее. Ну вот, теперь и

смотришь, как кровоточит твоя рана... Вспоминаешь, как вы, раскрыв от ужаса глаза, шли с вашими дочками по грязным улицам, пачкаясь в навозе...

Разве всё это может стереть из памяти и то, что он сам, твой муж, шел по всей этой грязи, пачкая свои брюки, яростно тащил тебя в эту грязь? Это он хотел показать тебе, из чего вы сделаны, чему предназначены... А ты еще можешь думать о том, как во всей этой грязи живут люди, сострадаешь им, переживаешь, как можно дышать в этой нищете, вдыхать все эти жуткие запахи помоек, — ведь ты привыкла к приятному аромату благовоний большого дома — родительского и своего... Открой свои глаза, наконец, и пойми, что если мы все терпим такое мироустройство, делаем вид, что не замечаем в нем и его нищету, и его грязь, то мухи, рано или поздно, слетятся на этот омерзительный запах и в наши души, и в нашу жизнь... Это — факт... И вот ты теперь задыхаешься от унижения, а он, твой Фарид, — от ненависти, которая постепенно окутывала его своей сетью...

«Конечно, всё это печально», — размышляла Малика. А Хадиджа утерла ладонью свои слезы и глухо сказала: «...Конечно, я не стала нищей, я могу себе позволить, хоть и без шофера, любезно открывающего передо мной дверь, ездить на машине, покупать дорогие сумки...» Она смеется, и густые морщинки собираются в уголках ее глаз. Малика тоже улыбается, — надо поддержать кузину... Вспоминает тетюшку Айшу, которую видела в детстве в своем доме... Ту тоже постигла участь одиночества, и она утешала себя дорогими духами, сумками, французскими книгами, которые покупала в Фесе для своих племянниц, которые, слушая сказки, и представления не имели ни о какой-то Франции, ни о Нормандии, ни о белых и тучных ее коровах... Но детей

очаровывали все эти приключения какой-то Каролины из французских сказок...

...Малика вспоминает и убранство комнаты тетушки Айши, которая ей на ночь читала французские сказки, и однажды племянница заснула в ее спальне... Большая кровать была устлана белоснежной простыней с ручной вышивкой по краям. Напротив стоял туалетный столик из темного ореха, покрытый кружевной скатертью. На нем стояли всякие бутылочки, флаконы, баночки. На окнах висели нарядные шелковистые шторы нежно-желтого цвета... Тогда еще в Фесе никто так не затемнял окна, предпочитали тюль, а не тяжелые занавеси, которые у Айши были красиво задрапированы складками и оборками, как на платьях сказочных принцесс... Покрывало на кровати Айши было темно-зеленого цвета, расшито золотистым орнаментом, который сочетался с цветом штор. В полумраке спальни царил аромат духов. Малика вспоминает, как засыпала она на груди у Айши... Та была словно предназначена материнству, сама воспитала своих младших сестер и братьев, — мать ее уставала от двенадцати детей... Она рано вышла замуж, в пятнадцать или шестнадцать лет, и у нее не оставалось уже сил от бесконечных родов, чтобы укачивать малышей. Это делала за нее старшая дочь — Айша... Таким образом, для отца Малики Айша была как бы и сестрой, и матерью... А сама была обречена на одиночество... Хотя была и богата, и обеспечена всем, что может себе позволить женщина.

...Малика вспоминает дорогие украшения, браслеты, часы, которые носила любимая тетушка. Ей все завидовали. А еще, как укачивала ее Айша пением одной суры из Корана, который хранила она в своей сумочке или небольшом чемоданчике, когда уезжала... В тот вечер, который вспоминает Айша, был канун священного для

мусульман праздника. А на следующий день все братья и сестры разъезжались из родительского дома и увозили с собой своих детей. А Айша оставалась здесь. И Малика сейчас, убаюканная монотонным стихом Священного писания, засыпала спокойно... Но именно в тот вечер, прямо перед праздником, отец Айши сообщил всем родственникам, что Айша тяжело больна. Раком. Эта новость сразила всех, как удар молнии. Хотя все старались потом, в день праздника, утешить, как могли, Айшу, уверяя ее, что она поправится... Но сама-то она знала, что обречена. Опухоль уже была неоперабельна в левой груди, той самой, на которой спокойно засыпала Малика в детстве. Но Айша держалась королевой среди своих родственников, которые еще не вполне понимали, какая уже дистанция их, здоровых, отделяет от Айши. Ей все предлагали свои услуги, кто машину, кто своего шофера, но она ото всего отказывалась, и даже на кухне, среди своих золовок и своячениц, занятых приготовлением праздничного обеда, держалась особо. Она знала, что в ее теле уже поселилась смерть, и никто не может и представить себе степени ее отчаяния, которое она никому не показывала... У нее не было друга жизни, мужа, который бы разделил с ней ее горе. Скрасил сумерки ее жизни. И она ждала смерти как единственного спасения от одиночества, как ищет уставший путник спасительной прохлады в тени ветвистого дерева...

И вот теперь Малика помогает Хадидже пережить ее одиночество. Та всё стоит перед своим шкафом, раздевается, прежде чем пойти в ванную...

...Так было всегда, вспоминает Малика, Хадиджа раздевалась, не стесняясь никого, даже в юности стояла голая под душем. Когда в ванную заходили ее младшие братья, чтобы взять бутылочку одеколona и надушиться перед приходом гостей, которых надо было встречать

всем вместе, чистыми и душистыми. А Малика помнит, какой гордой Хадиджа стояла когда-то под душем — стройной, с высокой грудью... Иронично спрашивала братьев, придет ли к ним в гости их дальняя кузина, и уже не ради ли нее они прихорашиваются... Это было действительно так, и кто-то из братьев рассказывал Хадидже о всех достоинствах своей избранницы, или наоборот, хохотал, как бы говоря о том, что девица эта, несмотря ни на что, — легкая добыча.

...А сегодня узкая ванна, наполняясь пенистой водой, вмещает в себя уже совсем другое тело Хадиджы, которое та моет, не стесняясь присутствия своей кузины... Душ уже давно сломался в отчем доме, и Латефа носит тазики с теплой водой для ополаскивания Хадиджы... Повсюду на полу остаются лужицы, — старая ванна, переполняясь, плохо работает, подтекает...

Малике почему-то подумалось, что кузина ее сейчас лежит в этой тесной ванне, как в могиле... И снова вспомнила Айшу, которая так и умерла в одиночестве, спустя несколько лет после того, как получила свой страшный диагноз, в отчем доме... А когда-то и она любила, не стесняясь, раздеваться на глазах у младших детей и входить во всей своей красоте в ванную, где принимала душ, освежаясь, брызгала по телу духами, и их аромат заполнял ее комнату... И эта ванная, как и та, в доме, где жила Айша, была установлена когда-то Эль Хаджем Мохаммедом по просьбе его старшей дочери, Хадиджы. А вообще в семьях было принято ходить в традиционные мавританские бани, и Малика в детстве ходила туда, как и все дети, в сопровождении старших — матерей или тетюшек... И вот теперь снова смотрит на свою кухню, которая всё еще думает, что ее бывшая красота не исчезла, рассматривая себя, высушиваясь полотенцем, в зеркале. Да, конечно, у нее еще крепкие

груди, и в отличие от моих, думает Малика, они уже кормили детей, а мои, тоже упругие, иногда будто чем-то и наливаясь и расцветая, так и остаются никому не нужными, как и мой все еще пустой живот, так до сих пор и не дождавшийся появления в нем ребенка...

И снова, придвигая стул, на котором сидит, к двери ванной, обращаясь к Хадидже, она рассказывает ей еще одну грустную историю из их общего прошлого: «Ты помнишь о девушке на дереве?.. А я помню, как в детстве нам ее рассказывала Айша, когда мы плохо засыпали... Это о том, как у какого-то мужчины жена никак не могла забеременеть... И вот однажды она пошла на консультацию к колдунье, которая ей дала яблоко и сказала, что его надо съесть — и всё будет хорошо. Женщина вернулась домой, положила яблоко на стол, потом быстро ушла, вспомнив о том, что ей надо идти к кому-то в гости. Пока она отсутствовала, ее муж вернулся с работы в поле. Был голоден и хотел пить. Он трудился весь день. Но жены не было дома, значит, никто его не накормит... Но тут он видит красное яблоко, лежащее на столе. Мужчина берет его и съедает. Через несколько дней он стал замечать, что у него распухает нога... А его жена всё искала в доме забытое ею яблоко. Спросила у мужа, не видел ли он его. Муж и рассказал ей, как, вернувшись с работы в ее отсутствие, он съел это яблоко с голоду... Теперь, узнав от жены, что это было за яблоко, он понял, что в его распухающей ноге завелся ребенок... Он в отчаянии. Ведь столь желанный ребенок выйдет теперь не из чрева его супруги... Какой стыд! И он бежит из дома, убегает далеко, минуя поля, в лес, прячется под деревом, рухнув на землю... Через какое-то время нога его раскрывается, и из нее на свет божий появляется девочка. Рождение ее наблюдал только могучий орел. Он и предложил отцу взять его дочь на вос-

питание. Осторожно зацепив девочку клювом, поднял ее на своих крыльях в гнездо, которое было свито на самой верхушке дерева. И там и росла девочка под его прищотром. Выросла, стала девушкой, вскормленной прекрасным орлом. Она и сама была тоже ослепительной красоты. И ее чудесный голос завораживал своим пением всех птиц. И цветы расцветали на дереве от этих чудных звуков...

Но орел запретил девушке спускаться на землю, и она все время жила на своем дереве... Но вот однажды сын короля охотился в этом лесу и услышал пение на верхушке одного из деревьев. Поднял глаза и заметил в его ветвях прекрасную девушку... Вернулся во дворец, потрясенный... И отчаянно влюбился в эту девушку... Рассказал обеспокоенному его состоянием отцу об этой своей встрече в лесу... Сказал и о том, что на его просьбу спуститься с дерева девушка ответила отказом. Он отправлял и потом к ней с этой же просьбой разных искусных своих послов, но девушка все время не желала спуститься с дерева...»

Слушая Малику, Хадиджа уже вышла из ванной и, сказав, что не верит во все эти сказки, добавила: «И правильно делала, что не спускалась на эту землю. Здесь можно только подохнуть. И вообще, если слезешь с вершины, потом на нее уже не забраться, нет сил. Надо будет снова карабкаться вверх, подобно обезьянам, прыгая с ветки на ветку, а принцессам этого не положено... Но ведь твоя девушка была совсем невинной, ни о чем не ведала еще, и она, конечно, в результате спустилась с дерева?» «Ну, послушай же продолжение, — отвечала ей Малика. — Король издал указ, в котором обещал огромное вознаграждение тому, кому удастся спустить девушку с дерева. А того, кому не удастся угорворить девушку, слетит голова с плеч... Кандидатов

оказалось множество. Но и палач не уставал точить свой топор и стирать с него кровь... Но вот однажды, когда султан уже потерял всякую надежду увидеть своего сына счастливым и здоровым, во дворец пришла какая-то древняя старушка...» «Ну, конечно, — перебивает Хадиджа рассказ Малики. — Как всегда, кто-то из стариков должен вмешаться, чтобы заставить тебя жить по-своему...» «Так вот, дай закончить, — продолжает Малика, — эта старушка сказала, что знает способ, как заставить девушку спуститься с дерева. Молодой принц, пожалев старушку, спросил ее, а знает ли она о наказании, если и ее опыт не удастся? Старушка только улыбнулась ему в ответ и пошла к тому дереву... Добравшись до места, она стала подбирать с земли ветки, чтобы разжечь костер. И каждый раз, наклоняясь за ветками, она издавала легкий стон, постепенно усиливая его, как будто боль ломала ей спину. Девушка смотрела на всё происходящее внизу с вершины дерева, сострадая старушке. Потом спросила ее хрустальным голосом своим: «Как я могу помочь тебе, матушка? Только не проси меня об одном — спуститься с дерева. А на всё другое я согласна». Старушка глубоко вздохнула и со стоном, который мог бы растопить даже ледяное сердце, ответила ей: «О, если ты хочешь быть чем-то полезной мне, то помоги мне разжечь костер и приготовить на нем мне что-нибудь поесть!.. Но ты же не можешь сделать этого, сидя на верхушке своего дерева! Так что придется уж мне одной как-то стараться, хотя, наверное, я раньше умру от голода, прежде чем поем что-то... Ведь разжечь эти мокрые ветки все равно не удастся». Девушка посмотрела вниз и увидела, что, действительно, от влажности искра не разгоралась, и женщина напрасно пытается, чтобы огонь запылал. А в лесу становилось все темнее и влажнее. Женщина уже начинала

кашлять, ее старческое тело просто содрогалось от приступов, а они длились все дольше и чаще. Тогда девушка на дереве спросила ее, а не хочет ли она сама подняться к ней, залезть в гнездо, где отец-орел оставил много всякой снеди, и все еще не остыло, и она может поделиться пищей с несчастной... Но хитрая старушка ей ответила: «Увы, дочь моя, я так уже стара, да и сломала немало костей, чтобы добраться сюда... Но, видно, на роду у меня так написано, чтобы я умерла именно здесь, у подножия этого дерева, где на вершине живет красавица и верит, что ее отец — орел, который запрещает ей помогать беспомощным людям...» И произнеся эти слова, старушка легла под дерево, закрыла глаза и притворилась, что помирает... Девушка наверху не знала, что делать, и была в отчаянии. Но тут вдруг вспомнила, — ведь ее отец, орел, сам, когда-то спустился с вершины, чтобы подобрать ее — ребенка, родившегося из ноги. Орел рассказывал ей как-то ее историю... И что будет плохого, если и она на минуточку спустится вниз и поможет бедной старушке? Если сразу же и вернется, накормив ее, назад, в гнездо? Да орел и не узнает ничего, — решила девушка...

Ну, вот, таким образом мудрой старой женщине и удалось заставить девушку спуститься с дерева и стать женой принца, а потом и королевой...» Хадиджа спросила Малику, не Айша ли рассказала ей эту сказку? Малика ответила: «Да, Айша».

Та самая белолицая Айша, сама любившая сидеть в тени ветвистой мушмулы, в вечном ожидании счастья... Теперь она — в могиле, под землей, и прекрасное тело ее сгнило во влажных глубинах черной бездны этого мира, и смерть окружила ее в своей жестокости теми, кто дал ей когда-то жизнь, вырыв и их могилы рядом с ее... Рядом с ней лежит и ее отец, тот самый Орел, ос-

лепший от горя, с глазами, словно провалившимися внутрь, не выдержавшими тяжести постигшего его несчастья, — потери дочери. Он словно понял свою вину, что в течение жизни своей, как слепой царь Эдип, держался за свою дочь, не отпускал ее на свободу, любил ее невозможной любовью...

И вот теперь Малика, племянница той Айши, которая лежит в могиле, умерев, так и не испытав настоящей любви, всю свою жизнь посвятив верному ей часовому, постоянно сопровождавшему ее, уберегавшему, как казалось ему, от «темных закоулков» жизни, разве не жертва все той же традиции? Живет только в ожидании ребенка... А Хадиджа, которая сейчас лежала в своей ванне, худая, постаревшая, несчастная, несмотря на своих детей, обретенных в браке, разве и она не жертва своих мечтаний, в которых главным было построить Дом, в надежде на спасительную тень ветвей большого дерева, укрывающую от всех жизненных невзгод? Куда уходят корни этого дерева? В глубину традиции поверий о прочной семье как залоге Счастья...

Нет теперь у них ни надежных крыльев Орлов, которые уносят от невзгод на вершину Древа... Отец Хадиджи тоже уже устал. Кто сказал, что орлы летают вечно, и силы их не иссякают, когда они видят вокруг столько несчастий этого мира?..

...Когда в ванную вдруг вошла старшая дочь Хадиджи — Сельма, ее мать, еще не одетая, не прикрыв свою обнаженную, иссохшую грудь, вдруг закричала: «Не надо, не ложись в ванну, в ней еще стоит грязная вода! Подожди, когда спустится!» Она словно не хотела, чтобы тело дочери было омыто водами, в которых — следы несчастной судьбы ее матери... А Сельма во все глаза смотрела на свою обнаженную мать, которая уже не сдерживала рыданий. И уже стояла по щиколотку в

мутной воде на полу, где стояла лужица от протекавшей старой ванны... Мать не хотела, чтобы дочь утешала ее, хотела остаться одна, наедине со своим горем. Отталкивала дочь... Малика, словно хрупкая ширма, встала между ними, прося Сельму уйти, спуститься к гостям, сказать им, что они скоро выйдут, будут со всеми вместе, но Сельма оттолкнула Малику, обняла мать, которая уже склонилась над ней, захотев высушить замоченные в луже пальцы ног дочери... И сама еще мокрая, взяла ее на руки и вынесла ее из ванной комнаты, словно защищая девочку от возможной беды...

А Малика снова вспоминала, как лежала она со своими сестрами и кузинами вместе с Айшой на траве в тени старой мушмулы. Как тетушка, срывая спелые, сочные плоды, очищала их от кожуры и раздавала юным своим племянницам... Потом отмывала свои белоснежные руки под голубой струйкой фонтанчика, сделанного в стене дома, выложенной белыми керамическими плитками. Не сушила их, а просто сбрасывала с них брызги на девочек. В каплях воды горел яркий солнечный свет, и казалось, что они танцуют, сверкая, какой-то дикий танец, прежде чем высохнуть на их раскаленной от жары коже... Айша весело смеялась, и протягивала к девочкам руки, словно обносила их подарками...

Ближе к своему концу Айша лежала, вытянув свои уже опухшие от болезни руки вдоль белой простыни, покрывавшей ее. Она не двигалась. И казалось, что рядом с телом лежат две упавшие раненые птицы... Они иногда подрагивали. И было трудно сказать, колышет ли их легкий вечерок, укачивая эти уже неподвижные руки, или дышит ли это сама жизнь пока еще в теплом теле...

Однажды Малика увидела, как обезумевший от горя отец Айши смотрит на умирающую дочь. Дед просто ловил каждый ее вздох.

Потом, когда Айша скончалась, он начал резко терять зрение. Жаловался, что будто какой-то полог застилает ему глаза, мешает видеть окружающие его предметы. Врачи говорили, что у него катаракта. Для тогда еще маленькой и мало понимавшей Малики это слово означало только одно: водопад (как во французском языке — *cataracte* — *прим. перев.*). То есть дед видел перед собой сильный поток воды, который как бы низвергался с горы, унося всё от всех в своем бурном течении... И она представляла своего дела во власти этого потока, который застилал ему его зрачки, захватил его взгляд и унес его, как ураган...

Вот и сейчас Малика подумала, что Хадиджа, не разрешив дочери войти в ванную, тоже испугалась беспощадного потока вод, которые могут разрушить жизнь. А Хадиджа, как и все матери, берегла свою дочь «от нечистого глаза». Запрещенного религией. Ведь «сглазили» же, видимо, люди ее счастье. Ведь вернулась же она теперь, тощая и никому не нужная, в тот дом, из которого когда-то ушла после своей свадьбы. А вот теперь, совершив свое путешествие наоборот, оказалась на свадьбе своего родного брата...

...Когда Айша покинула спасительную тень своего любимого дерева — мушмулы — и вышла с племянниками на солнце, чтобы окропить их сверкающими каплями воды со своих омытых рук, отец следил за дочерью, любуясь ею из окон своего дома с высокими стенами. Потом, узнав о постигшей ее болезни, заплакав как ребенок, погрузился вместе с ней во мрак ночи ее несчастья. Лалла, ее мать, словно замуровалась в молчании. Вместе с дочерью она словно обрекала себя на

вечную ночь одиночества. И Малика думает теперь, что и она, бездетная, обречена на такую же ночь своей жизни. И кто это сказал, что можно спуститься с Дерева, что нужно освободиться от его спасительной и наполненной чудесными звуками грез и мечтаний тени?..

Когда-то, очень давно, Лалла Зохра зарезала белую мулицу в конюшне, чтобы отомстить за утонувшего в реке ребенка. С тех пор все женщины из семейства прадеда Хаджа Мохаммеда передают своим детям и внукам эту историю, и каждый из этой родни так или иначе в какой-то момент своей жизни ощущает дыхание прошлого за своей спиной. Но после смерти Айши ее мать больше никому из детей и внуков не рассказывала ничего, и никто не осмеливается попросить Лаллу вспомнить несчастную историю про белую красавицу-мулицу... Наверное, это стало невыносимо и ей самой. А может быть она думает, что надо было найти виновного и в смерти Айши и тоже зарезать? А может быть, как знать, Лалла считает себя саму, свое молчание повинными в горе несчастной дочери, — ведь она вечно, следуя запрету мужа, закрывала рот, не проронив ни слова, когда тот отказывал одному за другим всем женихам, претендовавшим на брак с Айшой... И теперь Лалла понимает, как всё похоже в этих печальных историях... Думает о том, что белая мулица и не знала, что ее зарежут, когда сама протягивала свою шею навстречу руке с кинжалом, ожидая очередной ласки...

И когда лезвие пронзило болью ее плоть, она тоже не поняла, что ее убивают, — ведь оружие смерти было в любимых руках, которые внезапно были залиты кровью... Она тоже ярко сияла, как и те капли воды, которыми Айша потом орошала детей, выйдя на солнце из спасительной тени своего Дерева...

«...Несчастье одинокой красавицы Айши должно нас всех научить любить жизнь, пусть это тебе покажется странным, — сказала Малика Хадидже перед тем, как пойти к гостям. — Жизнь продолжается для всех нас, кто ее любил и кого любила она. Жизнь настоящая, во всех своих проявлениях, в любви, в путешествиях, во всем нашем счастье и горе... И кто только внушил тебе, что можно продолжать жить, думая только о своих страданиях, — ведь это не проклятие какое-то, а ты все еще копаешься в каких-то моментах и немислимых преступлениях, совершенных тобой, а ты их и не совершала вовсе! Лучше подумай, на что обрекли нас наши отцы, сами себе в удовольствиях никогда не отказывавшие, искавшие их повсюду, а нам не разрешавшие выходить из родного гнезда, запиравшие нас в доме, как в тюрьме... Да ты, дорогуша, — само воплощение чистоты и невинности, доблести и чести, — всего того, что мужчины хотят от женщины! Посмотри получше на себя в зеркале! Увидишь, как все это с блеском отражается в нем! Посмотри вокруг себя, — всё это светится в полумраке твоей спальни! Посмотри в свой шкаф! Да там — все сокровища твоей невинности, твоей чистоты!.. Тебя просто охватила изнутри сама нечистота жизни других, и ты страдаешь, хочешь, чтобы тебя не касались чужие провинности, вот и борешься еще за свою красоту, закрывая глаза на чужие грехи! Но всё это можно преодолеть. Но ты и сама знаешь, почему ты себе сегодня выбрала эту роль какой-то обнаженной и уязвимой для всех статуи, которая почему-то еще способна сама утешать других... Тебе что, внушили, что ты — порождение ночи всемогущего Юпитера? Никто не осмелится никогда сосчитать его грехов. Мне надо было дожить до тридцати лет, чтобы понять эту сказку о девушке, которая родилась из ноги своего дурацкого отца, съевшего

непредназначенное ему яблоко, а потом жила в гнезде орла... В сущности, никто ведь не защищал ее... И ей повезло, что какая-то хитрая старуха заставила ее слезть с верхушки дерева... Я раньше ненавидела эту старуху. Но ведь это именно она помогла девушке найти своего принца... А мы с тобой, тоже выросшие в отцовских гнездах, добирались до своих суженых сами. Сами искали свою любовь. Сами ее завоевывали. А потому так горько и больно нам чувствовать теперь наши неудачи, наше падение с высоты нашей свободы... Выбор наш наших принцев оказался не тот, и выбрали мы опасную дорогу, даже в чем-то случайную, потому что на ней гарантировано встретить восемьдесят пять процентов проходимцев, трусов, людей, не достойных нашей чести и желаний... Разве не таких мы полюбили? Мне нравится, что ты смеешься! Ты снова становишься настоящей красавицей! Смейся!»

...Малика ждет, что ее любимый приедет на праздник завтра. Готовится к встрече. Смотрит и на себя в зеркало. Но все так же констатирует, что грудь ее по-прежнему пуста...

...Хадижда прошептала ей на ухо: «Ну как ты представляешь нас с тобой, мирно сидящих среди гостей?» «Знаешь, — ответила ей Малика, — завтра — праздник. Кому придет в голову тихо сидеть перед таким событием? А мы завтра уже проснемся другими. Мы будем думать только о том, чтобы хорошо выглядеть, чтобы принять как следует всех, кто еще приедет, мы будем произносить, как положено, слова приветствия, всякие речи, обращаться ко всем одинаково достойно... Даже к тем, кого мы не любим, даже откровенным лжецам и жуликам, заявившимся на церемонию свадьбы твоего брата... Ведь это событие не имеет себе равных, в нем торжествует любовь, которая объединила и тебя с Фа-

ридом, твоим бывшим мужем, и меня с моим возлюбленным, но которую так и не познала Айша, и о которой дочка твоя — Сельма, — начинает уже мечтать...

Хариджа вздыхает. «Да, если бы всё знать заранее...»

Но если бы знать заранее, и праздники были бы исполнены всяких предзнаменований, и все бы на них только и говорили о возможных неприятностях и предстоящих неудачах, и это были бы не праздники... И мы были бы обескуражены предстоящей жизнью, не сумели бы встретить свое завтра, зная, что нас в нем ждет, когда праздник закончится...

Хаиджа думает о том, что не сбылось в ее жизни. Вопросает себя: «Ну, а если всё так эфемерно, и на что надеяться нельзя, то к чему все эти торжественные церемонии, которые свидетельствуют только о том, что человек бросается в свое будущее, ни о чем не думая, даже не кинув взгляда в прошлое, которое многому могло бы научить...

Потом вспоминает о том, что раньше праздники были как-то скромнее... Но всё равно, и в моем случае, жизнь была до свадьбы и после нее... Времена изменились, но ничего не меняет людские надежды... Саид, мой брат и его невеста Амаль, зная мою историю, все равно глядят друг на друга с любовью в глазах, я увижу это их чувство в их взглядах даже в темноте, и ничто не может стереть его, даже знание о будущем... В этом есть что-то волшебное. Да и праздник свадьбы — само волшебство... И оно, словно тент, раскинутый над садом, где оставлена непокрытой только зеленая лужайка для гостей, где все сейчас сидят, окутывает всех, кто занят приготовлением праздничных блюд, кто сидит, болтая и вспоминая, и все те подарки, которые вручит мать невесте, и тот нежно-розовый кафтан, который я надену

завтра, и завтрашний мой визит в парикмахерскую, где сделают меня красивой. Но я, увы, не опьяняюсь этим волшебством. Не волнует мою кровь всё это ожидание праздника...»

Малика, зная об этом, касается руки Хадиджы: «Это оттого, что ты уже ни на что не надеешься. Но как знать? Мы все идем среди любимых могил, в чем-то отчаявшись. А некоторые, как тетушка Лалла, потеряв Айшу, даже моля смерть поскорее забрать и ее саму... А все-таки судьба сжалилась и над ней». «Все-таки?» — спросила Хадиджа, не поверив. «Ну да, помнишь, как они с Ба Сиди, ее мужем, переехали в маленький домик в новом городском квартале Феса?» «Но ведь их старый дом был такой просторный...» «Ну да, но что-то произошло после их переезда. А с тем домом, где они раньше жили, было связано столько печальных воспоминаний у Лаллы... Ведь она каждый вечер, запирая на ночь входную дверь, видела на крыльце свою уже тяжело больную дочь, стоявшую, облокотясь на перила... Айша не хотела уходить, ей было трудно даже подняться по ступням, и она иногда оставалась стоять на пороге и дышать воздухом всю ночь... И так длилось долго. Лалла плакала, умоляла дочь пойти в дом, прилечь. Лалла мне об этом рассказывала... И даже после смерти дочери ей всё казалось, что та стоит на пороге, снились страшные сны, что дочь по ночам навещает старый дом... Отец, как ты знаешь, ослеп от горя, и Лалла была практически одна, жила только ожиданием вечера, когда спустится к выходу и будет запирать дверь старого дома на ночь, и снова увидит на пороге свою дочь... Ждала встречи с ее усталой улыбкой... И вот однажды Лалле показалось, что она увидела дочь какой-то просветленной, хотя и стоявшую где-то поодаль, но светящуюся каким-то светом... И она сказала матери, что покидает, наконец, отчий дом, боль-

ше не хочет его видеть, и что мать не должна беспокоиться ни о чем... Они обязательно еще увидят друг друга, где бы ни оказались. Просто она не хочет быть больше связана именно с этим домом, где ей запрещали любить... А теперь она — свободна и может бродить, где захочет... После этой встречи Лалла помолилась и закрыла дверь на ключ. Под утро ей приснился этот сон. Но когда она вышла в сад, она действительно увидела у подножия старого дерева, в тени которого любила сидеть Айша, белого голубя. Птица склонила на бок головку и тихо и нежно запела. Отец подумал, что это снова поет его дочь... Он подошел к жене с полными слез глазами. Птица взмахнула своими белыми крыльями, приветствуя супругов, а потом улетела. Вот они и переехали в новый дом сразу же после этого. Там слепой мог передвигаться из комнаты в комнату, ничего не боясь опрокинуть, ни споткнуться, — помещение было небольшое. Вот и ты, Хадиджа, если вдруг услышишь ночью какое-то пение, когда ты уже ничего не ждешь, но знаешь, что сердце твое чисто, и что оно свободно для любви, значит, тебе поет твое Дерево, позволяя спуститься с его ветвей на свободу...»

*И терн сопутствует венцу,
И бремя жизни – злое бремя...
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!*

Н. Гумилев

Светлана Викторовна ПРОЖОГИНА

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В авторской редакции

МАГРИБИНКИ РАССКАЗЫВАЮТ...

(Очерки о судьбах женщин и об особенностях прозы
писательниц Алжира, Марокко и Туниса XX–XXI вв.)

*Работа выполнена в Отделе сравнительного
культуроведения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт востоковедения
Российской Академии наук.*

Компьютерный набор - З.А. Исаева, Н.В. Прожогина

Оформление и оригинал-макет - В.С. Булатов

Подписано к печати 20.07. 2020 г.

Отпечатано в ООО «Белый ветер»
Заказ №4322 Тираж 500 экз.